САБИТ МУКАНОВ

ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР

1835
1865
КОПАЛ
ИЛИ
ВЕРНЫЙ
ТАЛГАР
НАРЫН
КАПКАРА
КАШГАР

САБИТ
МУКАНОВ

ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР

РОМАН

Книга первая

Перевод с казахского
АЛЕКСЕЯ БРАГИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЖАЗУШЫ"
Алма-Ата — 1980

Р-2
М-90

Муканов Сабит.
М 90 Промелькнувший метеор: Роман. Кн. I./Пер. с каз. А. Брагина.— Алма-Ата: «Жазушы», 1980. с. 416.

Роман-эпопея Сабита Муканова «Промелькнувший метеор» повествует о жизни и деятельности выдающегося ученого, путешественника и просветителя-демократа Чокана Валиханова.
Первая книга посвящена детским и юношеским годам Чокана.
Во второй книге, где показано формирование идейных взглядов и убеждений Ч. Валиханова, повествуется о том, как, окончив учебу в Омском кадетском корпусе, начинающий исследователь готовится к выполнению главного дела своей короткой, но яркой жизни — экспедициям в малоизученные районы Азии. Писатель уделяет большое внимание дружбе Ч. Валиханова с Ф. Достоевским и Г. Потаниным, с людьми из степных аулов.
Выпуск двухтомника приурочен к 80-летию известного советского писателя.

Р 2

М 90 $\frac{70700-68}{402(05)80}$ Доп. 80. 4702230200

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА ХОЛМАХ КУСМУРУНА

Черный обруч

Начало событий, о которых я расскажу в этой киите, относится к первой половиие прошлого века. Можно сказать даже точиее — завязка романа относится к лету 1847 года, но читателю вместе со миой предстоят путешествня и в зиачительио более отдалеиные времеиа.

Что же касается места действия, то оио иа первых порах ограничеио холмами иа южиом берегу озера Кусмуруи, а затем захватывает обширные пространства и казахскнх степей, и Сибири, и столицу Российской нмперин, н караванные тропы Кашгарни, и древиие города Западиого Китая.

Одиако озеро Кусмурун в первых главах ромаиа будет встречаться настолько часто, что я считаю своим долгом подробиее поведать о ием.

Удивительное озеро! По-разному о нем говорит народиая молва. Однни можно верить, другие, следуя привычкам предков, наделениых живым и наивным воображением, могут коечто и преувеличить. Но вы сами хорошо разберетесь, где правда, а где вымысел. «И коиь не обскачет вокруг озера Кусмуруи»,— с восхищеннем скажет седой старожил. Его собеседник согласится с этим н добавнт, что длнна берегов Кусмуруна, как подсчиталн землемеры, составляет шестьдесят верст. Землемеры же — это известно всем — ошнбаются редко. Никто, коиечио, ие будет спорить, что с запада в озеро вливается речка Обагаи, а на восток из озера струнтся Тобол.

Поблизости вы ие встретнте большнх гор и дремучнх лесов. Прнвольно и широко раскннулась степь. Неподалеку от озера, особеино от южиых его берегов, оиа словио вздрогну-

ла, взволновалась и застыла невысокими покатыми холмами, переходящими у самой воды в небольшую живописную гряду. Самая высокая южная оконечность гряды постепенно сужается, выделяясь острым выступом на просторной низине, издавна прозванной Хан-Жаткан — урочищем, где жил хан.

Всмотритесь вместе со мной в очертания этого острого выступа. Порою он похож на железную наковальню кузницы, а в солнечное жаркое время, когда в полуденные часы возникают вдали зыбкие марева, он напоминает клюв гигантской птицы. И где-то угадываются ее распластанные крылья. Может быть, она еще в полете. Но клюв виден отчетливо: Птичий клюв — Кусмурун. Так по имени этого выступа получило свое название и озеро.

Но не только конец гряды вызывает в нашем представлении образ птицы.

Знатоки и ревнители этого края говорят:

— Взгляните на озеро с самого высокого холма. Взгляните весной, в год большого разлива. Озеро покажется вам огромным темно-серым гусем. Гусь растопырил ноги, расправил крылья, распустил хвост, вытянул к западу шею. Взгляните на озеро с того же холма осенью, когда на отмелях и у берегов выступает белая чистая соль,— и уже не гусь будет перед вами, а лебедь. Взгляните на озеро засушливым летом, когда рядом с белыми солончаками чернеет стылая грязь,— и вы снова увидите гуся, на этот раз уже пестрого.

Серый гусь, лебедь, пестрый гусь. Я сам наблюдал в разные времена года эти чудесные превращения.

В северной части Кусмурунских холмов из их подножий вытекают три родника, прозванные соответственно своему расположению Головным, Срединным и Замыкающим. Вода родников — пресная, прозрачная. По берегам их глубоких русел растут кривые низкие березки. Все три родника впадают в озеро.

Откуда же взяла свое название низина Хан-Жаткан?

Знатоки этого края говорят:

— В тридцатых годах прошлого века печально известный Кенесары Касымов поссорился с Сибирским губернаторством и вновь начал заигрывать с представителями Оренбурга. Именно поэтому он покинул Кокчетау и обосновался вместе со своими последователями в низине Кусмуруна. В это время в крае вспыхнула религиозная война, газават, под водительством Марала Курбан-улы, бывшего тогда духовным главой казахских мусульман. Кенесары, не сумев сговориться с оренбургскими властями, примкнул к газавату. Религиозное дви-

жение принимало опасный для царской России размах, и вызванные из Сибири и Оренбурга полки крепко сжали повстанцев с двух сторон. Кенесары бежал в степи Тургая, на берега Иргиза. Но за низиной у берегов Кусмуруна так и осталось навсегда название Хан-Жаткан.

Царские генералы по-прежнему относились к Кенесары и с недоверием и с опаской. Осенью 1834 года правительство построило на кусмурунских высотах боевые укрепления, и эта крепость стала центром вновь открытого округа — дувана. Округу было присвоено название Аманкарагайского, и старшим его султаном стал Чингиз Валиханов.

Между тем, Кенесары со своими приближенными отступил на юг, к Туркестану. В это же время царское правительство разграничило земли оренбургских и сибирских казахов. Западная часть реки Обаган перешла в ведение Оренбургского отдела, восточная — к Сибири. Аманкарагай оказался на оренбургской территории. И тогда Чингиз перевел свою ставку ближе к Оренбургским верховьям в лес Кунтимес, не пропускающий солнца. Округ его с той поры получил новое название Кусмурунского.

Чингиз Валиханов зимовал обычно в Кунтимесе. Летом он оставлял у холмов Кусмуруна, у трех родников, орошавших небольшие посевы, необходимых работников, сторожей, немощных стариков. Здесь пасся и набирал силу истощенный больной скот. Сам же Чингиз, возглавлявший Белый аул, повсюду называемый Ордой, откочевывал со своими отарами и табунами за сотни верст в сердцевину казахской степи к горам Улытау, к озерам Калмаколь и Салкынколь и еще дальше — к берегам Кенгира.

В Орде или Белом ауле было столько юрт, что когда их устанавливали, обширное степное пространство приобретало сразу обжитой вид. Издали белые богатые кошмы на молодой траве казались лебединой стаей, опустившейся на волны зеленого моря.

В самой почетной юрте, многозначительно прозванной Ставкой хана Аблая, жили сам Чингиз и его байбише — жена Зейнеп с несколькими детьми, отмеченными особой родительской любовью. В правом ряду юрт жили его остальные дети и слуги Слева возвышалась никогда не пустовавшая гостевая юрта. К детскому ряду примыкала юрта старшего брата Чингиза — Шепе, неподалеку от гостевой располагалась ас-уй, столовая,— ее войлок был темнее остальных.

На почтительном расстоянии от Орды находился аул Караши — хозяйственный Черный аул. Весь скот Чингиза сосре

доточивался там. Связь между Ордой и Караши поддерживалась на конях и верблюдах, ходить пешком было утомительно и долго. В Караши забивали скот, доили кобылиц и доставляли в Белый аул на верблюдах кумыс и мясо.

Редкий гость отваживался на коне въехать в Белый аул. Обычно он следовал строгому правилу — спешиваться у дальней коновязи, оказывая тем самым уважение Чингизу.

Поздней весною 1847 года Чингиз нарушил пути своих ежегодных откочевок. Его Белый аул остановился между холмами Кусмуруна у Головного родника, а Караши разместил свои юрты у Замыкающего родника. Юрты против обыкновения не были накрыты белыми кошмами. Их серый цвет словно оповещал, что Чингиз в это лето не намерен двигаться дальше.

Но сигнал Чингиза не произвел на этот раз должного впечатления. Едва ли не впервые нарушен был уклад жизни окрестных аулов. До сих пор время откочевок всегда сверялось с движением Ставки хана Аблая. Никто не позволял себе складывать своих юрт прежде, чем их начнут складывать в Орде. А ежели и случалось небогатому, безвестному кочевнику опередить Белый аул, то он не только уступал дорогу хану, но резал стригуна или кобылу, и лишь по крайней бедности — барана, чтобы обильным угощением в честь Чингиза принести ему свои извинения. Когда же наконец растянувшееся по степям кочевье достигало сочных трав и прохлады дальнего джайляу, никому и в голову не приходило возвести купольный обруч юрты — шанырак раньше, чем это произойдет в Белом ауле. Вслед за Ставкой все сородичи и земляки устраивались на житье. И сразу же после установки юрт в Черный аул Чингиза Караши начинали стягиваться дары — связанные веревкой бараны, лошади, верблюды. Каждый дар имел свое предназначение — либо это ваша личная доля, либо доля умерших предков. К щедрому даянию скотом прибавлялись и бурдюки кумыса. Одновременно с подарками сыпались и приглашения — отзавтракать, пообедать, пожаловать на вечерний той.

Этот заведенный раз и навсегда порядок внезапно был изменен весною 1847 года. В аулах отлично поняли, что Орда будет летовать на холмах Кусмуруна и Чингиз не сдвинется с места. Однако, невзирая на это, аулы сложили свои юрты и двинулись в дальний путь на джайляу. Молчаливо двинулись мимо Орды, мимо Ставки хана Аблая. Белый аул казался одиноким. И, словно его тень, темнел на склонах Кусмуруна у Замыкающего родника аул Караши.

Многие так и не поняли, почему Чингиз, никогда не остававшийся на лето у Кусмурына, в этот раз изменил своему обыкновению. Другие догадывались, но молчали.

Скажем вначале о тех, кто удивлялся и не доходил до сути. Этим непонятливым решение Чингиза казалось просто неразумным. Дело в том, что наступивший год принес жестокие ненастья. Зимой выпало мало снега, и к весне остался лишь его тонкий просвечивающий слой. Весною, как и минувшей осенью, дожди не шли. Лето выдалось знойным и ветреным, в степи подымались клубы сухого колючего песка. Дули обжигающие суховеи, выматывая людей, ослабляя животных. Рано пожухли травы, вместе с засухой наступила бескормица. Обмелел Обаган, в другие годы бурный и полноводный. Обмелел настолько, что рыбам не хватало воды, и они густо скапливались в протоках: окрестные жители черпали их ведрами. Спала вода и в самом озере. Обнажилось его солончаковое дно. Вязкое месиво источало гнилостный запах. Даже расположенные неподалеку большие пресные озера Қойбагар, Жане-багар и Тимтуир — про них в народе говорили, что они никогда не высыхают — в этот недобрый год словно спрятали от жаждущих обычный блеск своей глади. Қазалось, солончаки пошли в наступление на здешнюю степь. Қочевники, раньше обычного снимаясь с насиженных мест, спешили на дальние джайляу. Поговаривали, правда, что нынче и там очень скудно с пастбищами, но надеялись, что найдется вдали от родных зимовок немного баялыча и изеня, полыни и чия, зарослей таволги и караганника, еркека и заячьей кости. Аулы уходили к дальним пастбищам, а Чингиз оставался. Впрочем, хозяйственная сметка ему не изменила: с помощью Ахмета Жантурина, главы округа оренбургских казахов на Тоболе, он переправил свои табуны и отары к берегам Яика, сохранив в Кусмуруне лишь дойных кобылиц и баранов, предназначенных на убой.

Почему же все-таки весной 1847 года Чингиз не покинул Кусмурына? Самые дальновидные и близкие к нему люди не без оснований предполагали, что неожиданное решение султана было связано со сложным положением в Кусмурунском округе. Ему приходилось считаться и с запутанными родовыми отношениями и, главным образом, с предстоящей ревизией, которую по приказу генерал-губернатора Западной Сибири князя Горчакова должен был провести генерал-майор Федор Алексеевич Шрамм.

Но к этим событиям мы еще вернемся, а сейчас я позволю себе сделать несколько исторических отступлений, чтобы чи-

тателям все было ясно в дальнейшем. И прежде всего мне хочется кратко поведать, как зарождалась Орда.

Иные историки склонны связывать ее происхождение с Ордой жестокого завоевателя Чингизхана. Придворные его летописцы распространяли подобострастные сказки, будто бы не от человека произошел он, а от тепла солнечных лучей. Дескать, именно поэтому и дано ему было второе имя — Солнечный луч.

Солнечный луч,— утверждали они,— умирая, поделил свои владения на три части: Золотую Орду на Волге он подарил старшему сыну Джучи, Голубую Орду с центром в Самарканде — среднему сыну Чаготаю, Белую Орду в Пекине — Толеу.

Чингиз Вали-улы, Чингиз Валиев или Валиханов, отец героя нашего романа, родословную свою начинал от Джучи. Власть Джучи в год его смерти простиралась и на Крым, и на Астрахань, и на Казань. Чингиз был прямым потомком Жаныбека, а Жаныбек считался потомком Джучи. Хан XVII века Есим, прославленный своим мужеством и богатырским ростом, знаменитый Аблай, хан Среднего казахского жуза в XVIII веке, хан Вали, сменивший Аблая, вошли главными вехами в родословную Чингиза.

Предметом особой гордости Чингиза Валиханова был Черный шанырак, Черный обруч, опоясывавший его юрту.

Со времен Чингизхана,— утверждали сказители, знатоки устной истории,— множество раз менялись и остов юрты, и кошмы. Но Черный шанырак передавался из поколения в поколение и сохранял свой первозданный вид. Вырезанный старинными мастерами из дубовой колоды, этот обруч из года в год, из века в век впитывал в себя и конский жир, которым заботливо смазывали гладкую его поверхность, и копоть дымного очага юрты. Сохраняя свои первоначальные очертания, он стал иссиня-черным, приобрел твердость и блеск железа. Поэтому за ним закрепилось название Черного шанырака, звучавшее в степи знаком могущества и власти.

Теперь нам предстоит кратко поведать, каким путем очутился необыкновенный этот обруч в руках последнего Чингиза. Мы не будем углубляться в дальние века и начнем наше повествование с Аблая.

Отец Аблая Абильфаиз — некоторые люди знали его и под именем Вали — в начале XVIII века был главою Бухарского ханства. Предприняв успешный поход на Бухару, шах Ирана Надир завоевал ханство, убил Абильфаиза и истребил весь его род. В живых остался только сын Абильфаиза Аблай, по-

лучивший при рождении имя Абильмансура. Обреченного на смерть восьмилетнего мальчугана спас верный раб Абильфаиза. Он спрятал его в тандыре — глиняной печи для изготовления лепешек. Тандыр находился в гуще фруктового сада, и воины иранского шаха не нашли маленького наследника.

Вокруг Бухары, как утверждают летописцы, была воздвигнута каменная крепость. Денно и нощно в ее сорока воротах стояла стража. Крепость была такой высокой, что люди не могли взбираться на ее валы, и такой обширной, что и на коне ее с трудом объезжали. Она была такой неприступной, что ее валы и мотыге не поддавались, и топор отскакивал от камня, и лом не пробивал толстых стен. На случай осады или вторжения врага под стенами были прорыты глубокие подземные выходы, надежно скрытые от постороннего глаза. Как хорошо ни охранялись ворота, знающие расположение тайников Бухары всегда могли ими воспользоваться.

Так и сделал верный раб, встретивший Абильмансура. Он улучил час, когда враги устали от ярости и притихли. Вместе с мальчиком он проскользнул в один из хорошо замаскированных тайников. Беглецы благополучно выбрались в открытую степь.

«Куда же держать путь дальше?» — подумал раб и вспомнил, что в городе Туркестане есть ханская ставка Абильмамбета, человека известного в казахской степи и к тому же по матери родственника Абильфаиза.

Верный раб привел Абильмансура в Туркестан. Но жестокий хан вместо ласки и привета заклеймил рабским клеймом пятку своего родича и заставил его пасти баранов.

Мальчик подрастал и все чаще задумывался над своей судьбой, понял, какую участь готовил ему дядя, какое оскорбление нанес он ему. И тогда сказал Абильмансур своему верному рабу:

— Пойдем-ка отсюда куда глаза глядят. Лучше пасти чужие стада, чем у своих унижаться.

Так и сделали. Долго странствовали знатный подросток и его верный раб по степи, пока судьба не столкнула их между Чимкентом и Ташкентом с известным бием Толеу из рода Уйсунь. Здесь на склонах горы Казгурт стали они пасти байских верблюдов.

— Кто ты, как зовут тебя? — спросили однажды у Абильмансура.

— Сабалак, сын этого раба, — ответил он и больше ничего не добавил.

Шло время, и подросток Сабалак, верблюжий пастух, превратился в стройного и красивого джигита.

Байбише, старшая жена бия Толеу, относилась с материнской нежностью к джигиту-пастуху и сама заквашивала для него отдельно в небольшой миске айран, который он выпивал после утренней пастьбы.

Как-то раз байбише, отличавшаяся проницательностью, принялась испытывать своего мужа:

— Этот Сабалак совсем не тот, за кого он себя выдает. Ты сам это чувствуешь. Когда он заходит в юрту и приветствует тебя, ты сразу вздрагиваешь всем телом.

Толеу возражал. Мол, ничего подобного не происходит.

Однако байбише стояла на своем:

— Давай я прикреплю к твоей коленке шило. Сабалак поздоровается с тобой. Если ты вздрогнешь,— шило отлетит в сторону. Если нет, оно останется на месте.

Так и сделали. Байбише оказалась права. Стоило войти Сабалаку, как шило отлетело в сторону. Тогда и сам бий Толеу убедился, что боится джигита. Значит, этот юноша может принести ущерб его имени. Бий погрузился в раздумье, как бы избавиться от Сабалака. Посоветовался с женой. И байбише сказала:

— Когда он придет после утренней пастьбы, я его угощу не свежим айраном, как всегда, а кислым, перебродившим. Он оскорбится и сам покинет нас.

Что же сделал Сабалак? Он размешал желтую пенку на поверхности и залпом выпил кислое молоко.

Толеу не сумел понять своего пастуха, а байбише сказала:

— Джигит дал понять, что так же легко разметет народ, над которым ты властвуешь, как единым духом выпил этот айран. Теперь Сабалак уже не вернется к нам.

Байбише и на этот раз оказалась права. Джигит-пастух вместе со своим, как думали, отцом навсегда покинул Казгурт.

Тут это устное предание надо подкрепить исторической справкой, Известно, что казахи, кочевавшие в низовьях реки Сырдарьи и у гор Каратау, в 1723 году жестоко пострадали от нападения войск калмыцкого ханства, известного под именем Джунгарского. Джунгарское ханство начиналось от северных предгорий Тянь-Шаня. Хорошо вооруженные калмыки, используя свое численное преимущество и тактику внезапных набегов, разрушали селения, сгоняли казахов с родных мест.

Аулы бежали иа север, в степи Сарыарки и дальше, в Сибирь...

... Как слышал Абильмаисур, прииявшнй имя Сабалака, власть Туркестанского хаиа Абильмамбета снльио поколебалась, и казахи севера и центральиых степей с ией ие считались. Там правилн свои родовые вожаки — горластый Казыбек, Жаныбек из рода Шакшак, Кабаибай — представитель каракереев, Богембай из рода Канжнгалы.

В этн-то края и отправился из Казгурта Абнльмаисур вместе со своим рабом, которого выдавал за отца. Страиники остаиовились на ночлег у подиожья горы Хан. Здесь-то и совершил Абильмаисур жестокое преступление: он убил раба, спасшего его в детстве.

— Почему ои пошел на этот тяжкнй шаг?

И сказители отвечали:

— В те времеиа раба узиавали по отрезаииому уху. Отрезали еще в Бухаре ухо и у спасителя Абильмаисура. Джигиту, иаследиику хаиа, теперь претило быть сыном раба. Это могло помешать его замыслам.

Так уже в юиости проявился честолюбивый и жестокий характер Абильмансура, будущего зиамеиитого Аблая.

... Ои прошел Сарыарку, отдыхал иа берегах Есиля и иашел себе пристаиище в Кзылжаре.

Тамошиему баю Даулеткельды нз рода Карааул Абнльмаисур по-прежиему представнлся Сабалаком. Но, чтобы выглядеть отважиее и таииствеиней, ои выдал себя за джигнта, убившего в своем краю хаиского сыиа.

Даулеткельды охотио взял Абильмаисура к себе в табуищики.

Но джигит ие долго пас байский табун. Джуигарскне калмыки появились и иа Есиле, разорили много мирных аулов, увели иаграблеииый скот н плеииикoв.

Бии здешиего края собралн совет и решили, объедииив разбитые джунгарами силы, догиать врагов и отомстить им. Неподалеку от озера Балхаш казахи иастигли калмыков. Начался жаркий бой. Среди казахских воннов особеиио отличился одии джигит. Ои яростио носился по полю битвы с воииствеииым кличем «Аблай!», меткими и беспощадиыми были его удары. Миогне воииы стремились не отстать от храброго всадиика. Враг дрогнул. Казахи выиграли сражеине, освободили своих соплемеиииков, вериули захваченный скот.

Когда остыл жар битвы, воины стали припомииать подробиости и с удивлеинем спрашивали друг друга — кто же это выкрикивал имя Аблая. Оказалось, что это был табуищик

бая Даулеткельды Сабалак. Тут ие без помощи самого джигита открылась вся правда. Хаи Аблай, прослывший кровожадным в народе, был предком Абильмаисура, и юиоша в пылу боя произносил имя деда как победный клич.

В знак благодарности вчерашнему табунщику Сабалаку на берегу шнрокого озера к северу от Кокчетау были оказаны почести по старниным обычаям. Его обмыли в молоке белой кобылицы, зарезали для иего белого жеребца, усадили иа белую кошму и провозгласнли хаиом. Род Атыгай и род Караaул отдали ему в жеиы шесть девушек и поставили шесть белых юрт. Щедрость казахов Кокчетау не имела граииц. Кроме этих юрт они подарили молодому хаиу шестьдесят верблюдов, шестьсот лошадей, шесть тысяч овец. Озеро, на берегах которого происходили торжества, получило назваиие Хан-озера, а сам Абильмаисур с той поры стал имеиоваться ханом Аблаем.

Сказителн передают, что спустя миого десятилетий Арыстанбай-акын сложнл для внука Аблая Кеиесары такую пеcию:

Твой сосед я, коль близким меня ты не сочтешь.
Если дальним сочтешь, то врага обретешь.
Род мой Караaул, также род Атыгай,
Наш подарок — шесть жен — принял дед твой Аблай.

Аблай и в народиых предаиьях и в нсторических документах выглядит человеком иедюжиииого ума. Начав свой путь к власти хаиом Кокчетавских казахов, ои мало-помалу подчиняет себе род за родом и стаиовится во главе Большого и Средиего жузов, составивших три четверти всего казахского иаселеиия. Властолюбивый Аблай то давал клятву иа верность России, то отрекался от этой клятвы, то искал поддержку у русского царя, то у китайского богдыхаиа. Но так или иначе ои миогое сделал для укрепления жузов, хотя и оставил в народе горькую память.

В расцвете своего хаиства Аблай предпринял поездку в отчие края, чтобы иавестить могилы предков. В сопровождении многочнслениых нукеров он держал путь сперва в Туркестан, а потом в Самаркаид и Бухару. В зиак уважеиия ему были преподиесеиы богатые дары, привез он с юга в свою хаискую ставку в Кокчетау и несколько молодых жен.

Средн драгоценностей, доставшихся ему от предков, сказители иа первом месте называли Чериый шанырак, хранившийся до сих пор в Бухаре. Черный шаиырак отныне скреплял остов Большой белой юрты, став лучшим украшеннем и символом власти Орды.

Аблай умер в 1781 году. Если верить преданьям, у него было тридцать сыновей и сорок дочерей от пятнадцати жен. Жена Сайман, дочь каракалпакского бека Сагындыка, сына Шуакпая, родила ему четверых сыновей — Есима, Адила, Чингиза и Вали.

После смерти Аблая на ханскую власть притязали Вали и Касым, сын жены-калмычки. Касым не пользовался уважением народа. С отроческих лет он был строптив и жесток. Всем забавам он предпочитал барымту — набег на аул с уводом скота. Вали, напротив, слыл спокойным, даже тихим. Его любили и поддерживали. Его объявили ханом, и Вали стал наследником Черного шанырака. Но, приняв символ власти предков, он утратил значительную долю владений Аблая. Казахи разбрелись по степи. Часть из них откочевала к границам Кокандского ханства, часть — к Приуралью, тяготея к Оренбургскому генерал-губернаторству, к России. Словом, под началом Вали осталась только десятая доля населения, на которое распространялась ранее власть отца. Тем не менее омский губернатор признавал его ханом и поддерживал с ним связь.

В числе четырех жен Вали младшей и самой любимой была Айганым. Она стала женою хана, когда ему перевалило далеко за пятьдесят. Следуя устным преданьям, я подробнее расскажу об этой женитьбе хана на Айганым.

Вали, принявший с Черным шаныраком власть, по-прежнему жил в ставке отца, в урочище Кзылагач, неподалеку от Синих гор, Кокчетау. Подрастали дети, волосы хана тронула седина. Однажды пришлось ему поехать в аулы на берегах Есиля — разобраться и уладить некоторые тяжбы. В этом есильском краю жил и паломник в Мекку — хаджи Малим, выдавший некогда одну из своих дочерей замуж за Аблая. В доме сына Малима, хаджи Саргалдака, и остановился Вали.

Саргалдак долгие годы учился в Черной Бухаре, двенадцать наук изучил он от начала до их вершин. В своем краю у него была слава ученого мужа, не имеющего себе равных. Темные кочевники видели в нем святого, который мог и предсказать судьбу, и таинственной речью согнать шайтанов — чертей с неба, и скручивать в три погибели злых духов на земле. Кем только не был Саргалдак в глазах своих земляков: и духовным лицом — имамом, и единственным лекарем на есильских берегах. Получая обильную мзду и как исцелитель больных и как мусульманский наставник, Саргалдак богател

из года в год и ко времени приезда Вали уже был знаменитым баем в есильских аулах.

Вали-хан, закончив свои дела по тяжбам, гостил у Саргалдака. Хаджи воспринял многие обычаи Бухары и стремился быть верным во всем мусульманской религии, не отступать от ислама. Хотя он, как было принято в казахском быту, и не принуждал своих жен, невесток и взрослых дочерей скрывать свои лица под паранджой, но, однако, не показывал их чужим мужчинам и выделял женщинам отдельное жилье, откуда им был закрыт путь в гостевую юрту. Не сделал Саргалдак исключения и для Вали и его спутников.

В многочисленной свите Вали были и нукеры-конники, и охотники, и певцы-домбристы, и шутники-острословы. Словом, джигиты, владевшие самыми разными искусствами. Преимущественно молодые люди, охочие до всяческих забав. Один из джигитов загорелся желанием подсмотреть, что за прелестниц скрывает Саргалдак в строгом уединении. Изловчился, нашел укромный наблюдательный пост и сразу же приметил юную красавицу, поразившую его взгляд. До чего ж она была необыкновенной! Высокая, с тонким станом, со светлой кожей цвета яичного белка. Как сияли ее большие черные глаза в оправе чудесных ресниц, как оттеняли высокий лоб густые черные брови! Изящный, прямой носик был чуть-чуть приподнят. Но, должно быть, всего прекраснее были волосы, заплетенные в десятки кос. Когда девушка выпрямлялась, косы, закрывая шею и грудь, сливались в одну волнистую шаль, сверкающую живыми черными переливами.

Джигит, восхищенный пленительной красавицей, простодушно рассказал о ней Вали. Хан слушал внимательно, с любопытством и даже скрытым волненьем. Потом поручил джигиту все разузнать,— и кто она такая, и как ее зовут, и сколько ей лет. Расторопный нукер правдами и неправдами выяснил, что девушка эта с лунным именем Айганым — дочь Саргалдака от второй жены — узбечки, что ей всего шестнадцать лет, но она образованна по-мусульмански и знает несколько восточных языков.

Но и джигита и прежде всего самого Вали потрясла одна почти сказочная подробность. Всеведущий человек открыл эту тайну джигиту.

Вот что он рассказал:

— Наши ходжи считают себя потомками Мухаммеда-Пайгамбара. И теперь это неожиданно подтвердилось. На смуглом теле Мухаммеда-пророка между лопатками, говорят, был вещий знак — круглое родимое пятно. Временами оно появля-

лось и на теле его потомков. Много поколений сменялось иа земле, н иаконец вещий зиак выступил снова. Им-то н отмечена дочь ходжн Саргалдака Айганым. Это черное роднмое пятно на светлой коже посередине грудн между двумя выпуклостями повторяет размером своим н формой зиак Пайгамбара. Но в отличие от крупной родннкн пророка, еднественой на его теле, роднмое пятно Айгаиым, словно желая украснть девушку, повсюду оставило свои следы-крапинки. Одиа крапннка, как бисерное зерио, чериела под левым глазом, другая, такая же крохотная, приютилась над правым уголком рта; крапиинкн,— шептал всеведущий человек,— рассыпалиись н по жнвоту брызгами от родимого пятна. Роднтели горднлнсь, считая родннкн прнзиаком святостн дочерн. Но как нн стремилнсь они уберечь семейную тайну, народ навострнл свон пятьдесят ушей. Каждому был известен секрет Айганым. И сталн ее называть в степи лебедью с пестрой грудью.

Валн еще ни разу не повидал Айганым, ои только жадно вслушивался в рассказы о ней. Темная страсть просыпалась в пожилом хаие. И джигит только разжнгал ее новымн и иовыми подробиостями. Узиал ои, что Айгаиым в это знойиое лето часто уходила украдкой из аула к прохладиому н глубокому озеру Карасу и купалась там, защищеииая от людских глаз густыми камышовымн зарослями.

— Проберись к озеру, подкарауль девушку. Убеднсь, правду лн о ней говорят,— иаказал хан своему иукеру.

И спустя краткий срок иукер, задыхаясь от волнеиия, доложил, что Айганым поистине белая лебедь с пестрой грудью н что обнаженная оиа иесказаиио хороша.

Этн слова совсем взволиовалн хаиа. Ои прннял решенне немедлениио послать верного человека к Саргалдаку с предложеиием отдать младшую дочь ему в жены.

В те времена каждый богач, кто ие стоял за цеиой и мог выплатнть щедрый калым скотом, мог жеииться иа любой приглянувшейся ему девушке. Это понимал Саргалдак. К тому же Вали приходился ему довольио блнзким родичем — племянинком. Не мог ие считаться он н с тем, что Валн был ханом, владел Черным шаныраком. И посланец принес Вали согласие Саргалдака.

Но как же Айганым? В ее согласии ие было нужды. Тогда желаиие нли нежеланне девушкн идтн замуж не прииималось в расчет. По шарнату, своду мусульмаиских религиозиых, бытовых н гражданских законов, основаиных иа Кораие, соглашеиие между женнхом и невестой свидетельствовалось уже прн совершенни брака. И молчаине невесты считалось знаком

согласия. Девушки молчали. Они просто не смели поднять голос и почти никогда не произносили краткого слова «Нет!» Страх подавлял их волю. Они сознавали неизбежность судьбы и держали язык за зубами. Сказать «не согласна»— все равно отдадут замуж, только еще горше будет ее участь.

Но как поступила Айганым?

Через своих близких она обратилась к седому жениху с просьбой не селить ее вблизи Кокчетау, в соседстве с тремя ханскими женами и их многочисленными детьми. Пусть Вали избавит ее от обид и оскорблений, на которые не будут скупиться ревнивые соперницы.

— Если Вали желает меня видеть своей женой,— заключила Айганым,— то пусть переведут ханскую ставку ближе к Есилю.

Влюбленный хан принял все условия прекрасной юной невесты. После свадебного тоя он, оставив на прежнем месте своих старших жен, переселился к подножью горы Срымбет, неподалеку от Есиля, как просила Айганым. Эти события произошли к 1805 году, когда Вали исполнилось шестьдесят лет.

Айганым была не только красивой и образованной, но и умной женщиной. Войдя в дом ханской ставки, она настолько подчинила себе Вали, что уже с той поры, как утверждают современники, поводья власти оказались в ее руках.

В 1819 году Вали умер. Его сыновья от старших жен не хотели и не могли наследовать Черный шанырак. Сыновья Вали от Айганым — Абен, Мамке, Шепе, Чингиз, Кангожа и Альжаи (кроме них было две дочери — Алима и Сабира) — еще не помышляли о ханстве по своему малолетству. Да и сам порядок ханского управления начал расшатываться и утрачивать свое значение.

Поводья власти как были в руках Айганым, так и остались в них после смерти мужа, но уже ослаблялись самим временем.

Об Айганым поговаривали и дурное. Злые языки намекали, что неспроста завела она у себя круг джигитов. И вместе с тем никто не мог упрекнуть ее в том, что она не почитала памяти мужа. Год после его смерти она не снимала траурных одежд. Год после его смерти изо дня в день — утром, в полдень и вечером — она собирала девушек и молодых женщин. Далеко по степи разносились горестные голоса, и среди них выделялся сильный, словно рыдающий, голос Айганым. Хор исполнял жоктау — обрядовую прощальную песню ушедшему. И люди плакали, присоединяясь к хору. Когда же исполнился год со

дня смерти Вали, Айганым пригласила всех казахов, подчиненных ей, на поминальный той. Тысяча овец и сто лошадей были прирезаны на угощенье. О щедрых поминках слух прошел по всей бескрайней степи.

И этим торжественным тоем и налаживанием дружеских связей с русскими чиновниками Айганым стремилась укрепить свое положение.

В истории казахов, как и остальных народов Востока, не упоминается о том, чтобы женщина владела ханством. Можно встретить женщин-биев, женщин-ханов нет. Но дело в том, что ханство Вали после его смерти изрядно поубавилось численно и прежнего влияния, прежней силы уже не имело. Русские царские власти считались с вдовой, но большинство казахов, видевших в Вали своего хана, не признавало Айганым. От соотечественников и доставалось ей больше всего. Как говорится, «он человек свой, он и нарушит твой покой». Случилось так, что именно родственник Айганым по мужу Кенесары Касымов, союзник Кокандского хана, враг России, поднял на нее меч. Русские войска спасли жизнь Айганым. Разозленный Кенесары отомстил как только мог: он угнал весь ее табун, не оставив ни одного копыта. Борьба за Черный шанырак продолжалась, однако мелкие властолюбцы не имели прочной опоры. Пытался завладеть ханской ставкой Сартай, сын старшего брата Вали, еще одного Чингиза, чье имя в этом роду повторялось так же часто, как и имя Аблая. Попытка эта ни к чему не привела, кроме разжигания мелких страстишек, а для самого Сартая кончилась весьма печально — царские власти сослали его в Сибирь. Следующим претендентом оказался Абайдильда, сын старшей жены Вали. Он был довольно настойчив в своих притязаниях, но и ему пришлось отнюдь не добровольно отправиться в тот край, где ездят на собаках... Роды, входившие в Средний жуз, видя тщетность попыток убрать Айганым, сами разбежались на верблюдах кто куда мог. Но вражда и склоки продолжались. Раздолье было барымтачам — они то и дело угоняли скот друг у друга. Тобольские и омские власти наблюдали за тем, что происходит в степи, но до поры до времени воздерживались от вмешательства во внутренние распри казахов.

Смерть Вали, вдовство Айганым и борьба за ханскую власть совпали с назначением генерал-губернатором Сибири тайного советника Михаила Михайловича Сперанского, знаменитого реформиста при дворе Александра Первого.

Наблюдательный и умный Сперанский после первого же своего путешествия в степь и ознакомления с материалами

губернаторства пришел к выводу, что в системе управления сибирскими киргизами, как называли тогда казахов, многое необходимо изменить. Ханство, извещал тайный советник Петербург, настолько обветшало, что не стоит залатывать его дыры. Лучше с ханством покончить совсем, разделить Орду на дуаны — округа во главе с ага-султанами, старшими султанами — влиятельными ордынцами, а власть над всеми округами сосредоточить в руках самого генерал-губернатора Сибири. В Петербурге согласились с предложениями Сперанского, их одобрил и сам император. Так был разработан «Устав о сибирских киргизах», вступивший в действие в 1822 году.

Территория Среднего жуза с упраздненной ханской властью отныне разделялась на округа — Кусмурунский, Кокчетавский, Акмолинский, Баянаульский, Каркаралинский, Кокпектинский. Округа, в свою очередь, состояли из волостей с кши-султанами, младшими султанами, во главе. При губернаторе утверждалась должность советника из образованных и уважаемых казахов.

Во время работы над Уставом Михаил Михайлович Сперанский продолжал свое ознакомление со степью, обдумывая не только детали реформы, но и заранее подыскивая кандидатуры на должности ага-султанов. В этих поездках Сперанского сопровождал бойкий и грамотный переводчик, сын омского пастуха Кошена — Турлыбек. Может быть, по его просьбе генерал-губернатор и навестил аул Айганым у подножья горы Срымбет.

Лебеди с пестрой грудью в ту пору было не многим больше тридцати. Но даже сдержанный, не склонный к бурным проявлениям чувств тайный советник был восхищен умом и красотой молодой ханской вдовы. После первой же беседы с ней Михаил Михайлович сразу решил, что Айганым вполне справится с обязанностями ага-султана Кокчетавского округа.

Айганым женским своим чутьем поняла, что пришлась по душе Сперанскому. И, высказывая ему одно из своих честолюбивых желаний, она втайне рассчитывала на помощь всемогущего губернатора.

— Мои сородичи, ваше превосходительство, не знают, как строить зимовки. Бывает, и в трескучие морозы они отсиживаются в войлочных юртах. Я хочу подать им пример.

Сперанский не оставил без внимания намек вдовы. Вскорости в ее аул приехал инженер и разработал проект строительства бывшей Ханской ставки. Проект учитывал и местные условия и местные материалы. В ущелье между двумя склонами Срымбетских гор инженер предложил построить добротный

просторный дом на десять с лишним комнат. Дом сосновый — лес рядом. Бревна для тепла инженер посоветовал проложить верблюжьей шерстью, а стены обтянуть кошмой из шерсти белых ягнят. По обе стороны большого дома проект предусматривал строительство двух домов поменьше — отау, сараи, склады, скотные дворы. На площадке поблизости от Большого дома надлежало возвести мечеть и медресе, самые высокие здания зимовки.

Сперанскому проект понравился. Говорят, его смотрел сам император Александр Первый, и по высочайшему волеизъявлению строительство для Айганым было отнесено за счет казны.

В течение одного года Кокчетавская воинская часть выстроила городок в Срымбете.

Примерно в это время в Омске собрались все ага-султаны Среднего жуза: из Кокчетава — Айганым, из Акмолы — Коныркулжа, сын Кудаймеиде, из Каркаралы — Куспек, сын Тауке, из Баянаула — Кангожа, сын Тате, из Кокпекты — Аблай, сын Абиля. Омскому начальству предстояло определить на этом совещании кандидатуру советника из среды местных сибирских киргизов. Сперанский, прибывший на этот сбор из своей резиденции — Тобольска, со свойственной ему осторожностью назвал Айганым. Ага-султаны закряхтели, лица их налились кровью, словно им было нанесено оскорбление. Как они ни осторожничали, словечко «баба» все-таки сорвалось с языка одного из них и тут же было подхвачено остальными. Айганым и бровью не повела. Тогда Сперанский предложил кандидатуру своего переводчика Турлыбека, сына Кошена. Он был единственным из присутствующих казахов, не считая Айганым, знавшим русский язык. Он нравился Сперанскому своей сообразительностью. Но ага-султаны, белая кость, ханские потомки, не хотели поддерживать и Турлыбека. Мол, сын пастуха, шаруа, что он может смыслить в тонких делах управления. Однако на сей раз с мнением ага-султанов не посчитались. Да и сам Сперанский был энергичен, а ему перечить не смели.

Только уже после совещания султаны приговаривали в скверном расположении духа:

— Пропадем, пропадем, не зная русского языка.

Они сознавали, что самим приниматься за русский было уже поздно. И пришли к единодушному заключению, что дети не должны повторять ошибки отцов.

Много думала в эти дни о своих детях и Айганым. Думала и оценивала каждого. Не только как мать, но глазами отца, который один, по казахскому присловью, сыновьям своим ценитель.

Кто они, ее дети? Самый старший — Аблай. Он рожден на следующий год после замужества. Аблай — грозное и громкое имя. Женщины ханской ставки, чтившие память своего знаменитого деда, даже не осмеливались так называть мальчика. Он был для них только Абеном.

Казахи говорят:

Отец ли отец — не отцу это знать.
Кто детям отец — знает в точности мать.

У Айганым не было и тени сомнения, что ее Абен — сын Вали. Но аульные сплетники со дня его появления на свет тешили себя разными непристойными догадками. Они прекратились разве только со смертью отца. Подростку шел тогда тринадцатый год. Неожиданно все увидели, что он напоминает Вали и крупным телом, и вялостью движений и робким характером. На первом поминальном тое один из аксакалов-старейшин предложил благословить Абена. Может быть, и он будет ханом. Это не очень решительное предложение сразу же отвергли другие уверенные голоса. Мол, что ты на рост смотришь, ты загляни в его мысли. Он еще ребенок, к тому же несмелый. Разве он сможет стать во главе наших родов?

Второй сын Айганым — Абильмамбет — родился в 1810 году. Его обычно называли Мамке. Мальчиком и подростком он ничем себя не проявлял, а юношей присоединился к отрядам Кенесары и погиб в одной из схваток.

Третий сын — мы с ним еще не раз будем встречаться на страницах нашего повествования — получил имя Шегена. Оттого ли, что он был недоноском и пролежал сорок дней в лисьем треухе — тымаке, подвешенном к решетке юрты, то ли от самой природы, но и роста и тела он не набрал. Таких крохотных людей казахи считают изворотливыми и коварными. Качества эти с избытком проявились и в Шегене. Сызмальства он был забиякой и пустословом. Злости было в нем хоть отбавляй. Его даже прозвали Шытырлак Шепе, лопающийся от злости Шепе. Со временем слово Шитырлак отпало Когда произносилось: «Это опять проделки Шепе»,— все понимали, о ком идет речь. У него были рыжеватые волосы, прозрачные, с голубизной, глаза, вздернутые ноздри. Те же аульные сплетники говорили, что Шепе точно изо рта рыжего Сартая выпал,— так на него похож...

Четвертый сын Айганым — Чингиз родился за четыре года до смерти отца. С малых лет он подавал надежду стать настоящим джигитом.

Вы только всмотритесь в него, говорили о мальчике. И по-

ступки его разумны, и, дескать, играет он не как все, и даже походка у него особенная, и речь приятная. Ему предстоит в будущем владеть Черным шаныраком.

Сама Айганым выделяла Чингиза из среды своих детей. «Лишь бы ты рос здоровым, мой жеребеночек,— шептала она над его постелью.— Вырастешь, хозяином орды станешь. Тогда и я умереть смогу спокойно...»

Уже в год своего появления на свет Чингиз был отмечен особым вниманием. В доме Вали тогда гостил старший брат Айганым Пырали-ишан. Их отца, благочестивого Саргалдака, к тому времени не было в живых. В окрестных аулах уважение вместе с ореолом святости перешло теперь к Пырали. Правда, он не был так образован в мусульманском духе, как отец, но — утверждают — дар предсказателя полностью перешел к нему по наследству. Он, верили в аулах, знал такие заклинания, что мог прогонять шайтана с неба и сворачивать в рог недобрых духов на земле. Его благословения приносили удачу, его проклятий боялись как божьей кары.

В доме Вали, в Орде, Пырали окружали почетом и лаской. Когда Айганым родила сына, Вали попросил ишана дать мальчику имя.

Пырали внимательно посмотрел на младенца-племянника, воздал хвалу родителям и всем именитым людям, которые были в доме. Собрался с мыслями, заговорил медленно и значительно:

— Сон я видел недавно. Саргалдак, мой священный отец, приходил ко мне. Сказал, скоро родится мальчик и повелел дать ему имя Чингиза. Я спросил священного отца, в чем значение этого его повеления. И Саргалдак ответил: «Начальный хан — Чингиз и последний хан — Чингиз. Вся сила первого Чингиза сосредоточится в нем, в моем внуке».

Как могли не верить словам Пырали и родители и все, кто был здесь в этот час? Как мог рассказ о вещем сне прорицателя не обойти степные аулы? Малыш, нареченный теперь не только дядей, но и людской молвой последним Чингизом, привыкал и к ласкам родителей и к почтительности посторонних.

Тяжело заболел Вали. Когда потеряна была надежда на выздоровление, его спросили:

— Что вы нам завещаете, хан-ага?

Вали тихо произнес, с трудом подбирая слова:

— Живые не внемлют голосу мертвецов. О чем говорить мне вам сейчас? Живите по заветам бога. Хозяин Черного шанырака, которым владел когда-то наш дальний предок Солнеч-

иый луч, вот он: Чингиз, Чигажаи! К нему ои перейдет по наследству!

...Умер Вали, и Черный шаиырак пока больше не ставился для ордыиской белой юрты. Айганым, принявшая ханскую власть, не решилась воздвигать его над своей головой, считая священное наследство предка достоянием мужской руки. Но она ухаживала за Чериым шаныраком, держала его под замком и зимой и летом, а каждой весной выставляла на солнце, сушила, чистила, смазывала жиром виовь. Вырастет Чингиз, думала оиа, повзрослеет, женится, власть перейдет к иему, и для новой богатой юрты она установит этот знак всемогущества и родовитости.

Чингиз беспечио играл, не подозревая, что ему прочат великое будущее. Равнодушио он отнесся и к известию о том, что в степи ждут высокого гостя из Петербора — Петербурга, лицо царской фамилии.

Сам Сперанский сообщил это Айгаиым.

Опытный царедворец, не оставивший мысли о дальнейшей карьере, прерваиной виезапной высылкой и даже весьма почетным, но малым, по его масштабам, сибирским генерал-губернаторством, решил не без тайных расчетов обставить как можно пышиее встречу знатной персоны.

Ои написал письма ага-султанам всех округов и приказал им изготовить самые дорогие белоснежиые юрты, чтобы высокий гость был приятно удивлеи при одном их виде. Юрты предполагалось расставить на живописном берегу Иртыша. Там было задумано провестн и той с байгой, иациоиальной борьбою и другими народиыми нграми.

Не в характере Айганым было уступать другим ага-султаиам. Ей хотелось всех превзойти и юртой и ее убранством. Она собрала лучших мастеров своего округа и долго советовалась с ними. Задумала так: свалять кошмы из шерсти белых ягнят; добавить мел в кошмы, чтобы придать им ослепительиую белизну; для решеток и шанырака подобрать разноцветные краски; края кошм ориаментировать узорами из красного сукиа; и снаружи юрты и виутри развесить специальио вытканные для торжества ковровые ленты; стеиы и пол убрать дорогими коврами и циновками.

Мастера прииялись за работу. О нарядных коврах, о праздничиой посуде и других ласкающих глаз редкостных вещах Айганым ие иадо было заботиться: такого заветного добра в Орде в доме Вали было вдоволь. Богатство это накапливалось годами, десятилетиями, веками. Пышиые меха, бесцениые ковры востока, золотые и серебряные блюда и чаши,— чего толь-

ко не было в сокровищах потомков Аблая. Даже ухаживать за этими драгоценностями, беречь их было не под силу одному человеку. Не для одной праздничной юрты, для нескольких юрт с избытком хватило бы этого убранства!

Юрту для знатной персоны приготовили в срок. Те, кому ее удалось посмотреть, восхищались:

— Ничего подобного и видеть не видели. Да и слышать не слышали, чтобы где-нибудь была такая юрта.

Ага-султаны втайне друг от друга готовились к празднику. Чтобы удивить не только высокого гостя, но и своих соседей. Впрочем, тайны плохо сохранялись в степи. Султаны во все концы рассылали соглядатаев. Если бы можно было собрать всех соглядатаев вместе, они бы единодушно сказали:

— Лучше, чем юрта Айганым, пожалуй, нет нигде.

На берегу Иртыша рядом с лесом юрты выглядели еще красивее, чем в степи. Одна наряднее другой. Ослепительно белые птицы на зеленой глади. И каждая по-своему привлекательна.

Однако по внешнему виду юрта Айганым оказалась на втором месте. По мнению знатоков, первенство неожиданно взяла юрта, сооруженная богатейшим баем Кзылжара, купцом первой гильдии Маймаком, сыном Пышкантая. Так городской торговец перещеголял степных султанов.

Две белых юрты были прочно соединены вместе. Одна служила как бы передней, другая — гостевой. В этой двойной юрте все было удивительно: простор — гостевая была восьмистворчатой; окно и зеркало, вставленные в решетчатый остов; купол, венчающий шанырак; полумесяц, возвышающийся над куполом. Со стороны юрту Маймака можно было принять за мечеть.

Любой, глядя на нее, восхищался:

— Да-а-а!! Вот где роскошь! Без купеческого мешка денег такой юрты не построишь.

Корабль с важной персоной на борту должен был пристать к Иртышскому берегу неподалеку от праздничного аула. Здесь построили удобные сходни. И сходни, и путь к белому городку, и дорожки к каждой юрте решили устлать коврами.

Юрта Маймака манила к себе.

Но к юрте Айганым манил ковер, разостланный перед входом. Все внутреннее убранство юрты и в особенности этот ковер были привлекательнее нарядной войлочной мечети Маймака.

Знатоки и ревнители старины рассказывали о ковре Айганым почти легенду.

Аблай-хан достиг расцвета своего могущества, когда, по словам придворных акынов, и звезды предвещали ему удачу, и камни в горах катились, послушные одному его знаку, и птица счастья сама летела к нему навстречу. В эту пору хан отправил в Бухару сведущих в ремеслах людей. Он поручил им руками туркменских мастериц выткать ковер самых ярких и пестрых красок, ковер из чистой шерсти и шелка такой длины и ширины, чтобы им можно было свободно застлать пол самой просторной мечети.

Долго ли, быстро ли ткали ковер,— об этом ничего не известно. Готовый, он восхитил всех. Он так переливался многоцветьем павлиньих перьев, что глаза уставали любоваться им. Одного такого ковра было достаточно для полной поклажи верблюда. И пятеро джигитов с трудом поднимали его.

У султанши был и вкус и возможность выбора дорогих вещей, которым не было числа у Аблая и у мужа ее — Вали. Много ценных даров пожаловано было и русскими царями, и китайскими императорами, калмыцкими и кокандскими ханами, бухарскими эмирами, именитыми беками и своими баями. Рассказывают, в 1759 году Аблай, свидетельствуя свое желание находиться под властью России, отправил в Петербург своего родственника — посла Жолбарса. Царица Елизавета Петровна одарила посланца собольей шубой с парчевым верхом. Когда хан Аблай поехал на свою родину в Бухару, эмир преподнес ему дар властителя Индии — яхонт с кулак размером, стоимостью в сто лошадей. Китайский богдыхан отправил ему на золотом подносе шестьдесят больших фарфоровых чаш. Калмыцкий хан Галден-Церен в дар Аблаю отдал свою младшую сестру Хохоче, а в приданое ей расщедрился на столько драгоценностей, что под их грузом сгибался верблюд. Сибирский Ишим-хан одарил Аблая шестигранным алмазом. В нем играли лучи как вспышки молний. Сквозь этот крупный камень родниковой чистоты просвечивало солнце. Кроме Орды, не было аула в степи, где бы хранились такие сокровища.

Словом, Айганым смогла сказочно украсить юрту внутри и коврами, и мехами, и старинной посудой, и самоцветами.

Но лучшим украшением юрты была сама ее хозяйка. Возраст ее к этому времени подошел к тридцати, и она была матерью восьмерых детей. Восточная ее красота притягивала своей зрелостью. Айганым пополнела, однако не настолько, чтобы расплыться. Она сохранила статность. Статность кобылицы, рожденной от породистого аргамака.

Еще красивее и стройней выглядела Айганым в нарядах, подготовленных к встрече высокого гостя.

Легкая корона с вставленными в золото дорогими каменьями в центре, с крупным зеленым яхонтом, спускающимся на лоб. Из-под короны редкими белыми нитями шелка ниспадало нежное покрывало. Красноватый камзол из тонкой парчи — казахи ее называют уштоп,— орнаментированной золотым узором, плотно надевался поверх платья с двойным подолом. Подолом настолько низким, что вышитые сапожки на высоких каблучках можно было разглядеть лишь, когда Айганым находилась в движении. Айганым шла. Мелькали сапожки. На концах двух густых черных кос тихо звенели шолпы. Кольца и браслеты сверкали на пальцах и запястьях.

Сам Сперанский распорядился, чтобы Айганым в новом наряде появилась только в день приезда лица царской фамилии.

Но недаром говорят, что у народа пятьдесят ушей. Казахи всех шести сибирских округов узнали, как преобразилась в Омске Айганым. Судили вкривь и вкось, строили самые неправдоподобные догадки.

Одни утверждали:

— Сперанский и Айганым давно спелись. Вдова недолго тосковала. Вот губернатор и хочет ее показать разодетой.

Другие, напротив, передавали:

— Есть у некоторых народов обычай — высокому гостю предлагать в постель красивую женщину. Как бы наша Айганым не стала таким подарком.

В этих словах, в общем далеких от правды, были и ее зерна.

Сдержанному суховатому Сперанскому нравилась Айганым. В ней он впервые видел женщину востока — броскую, яркую, экзотическую. И вдобавок наделенную хитрым и гибким умом. Но если он впервые увидел такую женщину в Иртышской степи, то и высокий гость до сих пор не встречал ничего подобного. Пусть обратит внимание, пусть удивится. Может быть, и в юрту к ней зайдет. И отблагодарит генерал-губернатора за столь диковинное знакомство. Бог даст, все будет хорошо.

Долгожданный день приближался. Все высокие военные и административные чины Омска во главе со Сперанским встречали лицо царской фамилии, следовавшее по казачьей линии. Айганым среди них не было, хотя первоначально подумывали о том, чтобы взять ее в свиту. Сперанский решил — интересней и неожиданней будет ее появление у белой юрты. Не было среди встречавших и султанов остальных казахских округов. Им предписано было ожидать знатную персону на берегу Иртыша в своем праздничном ауле. Церемониал разработали самый подробный. Старшим, ага-султанам, вменили в обязанность находиться в час прибытия судна у самого причала.

Трое — по одну сторону сходней, трое — по другую. Требовалось стоять, низко склонив головы и скрестив руки на груди. Пожелает высокий гость заговорить,— отвечайте, приподняв голову. Не пожелает, самим — ни-ни! Что касается младших, кши-султанов, то им был поручен уход за гостями. Остальным казахам до начала праздничных состязаний и игр запрещалось даже показываться у юрт.

Как бывает почти всегда, получилось несколько иначе.

...Корабль в положенный срок причалил к мосткам. Ага-султаны заволновались, заметались, но все же успели выстроиться там, где им было указано. Но тут оглушительно заиграл военный оркестр, по мостку начали спускаться офицеры из свиты, и каждого можно было принять за лицо царской фамилии. Одни здоровались, оглядывали султанов, на ходу заговаривали с ними, другие проходили важно и молча. Медные трубы взвыли столь грозно, что ага-султаны прозевали высокого гостя.

Уже на пути к юртам Сперанский успел шепнуть в суматохе султанам:

— Во всех юртах побывать не сможет. Зайдет в одну-две, которые ему приглянутся. Идите за мной, не отставайте. Может, потребуются объяснения, завяжется разговор.

Взгляд знатной персоны остановился на юрте Маймака. Пружинистыми, натренированными шагами он, сопровождаемый офицерами, быстро вошел под войлочный купол с полумесяцем, считанные мгновенья пробыл там и так же пружинисто и быстро вышел обратно. За ним семенил польщенный вниманием, багровый от радости кзылжарский купец первой гильдии, но лицо царской фамилии решило следовать дальше. Однако пришлось слегка сдержать свой стремительный шаг. У юрты полукругом стояли ага-султаны со Сперанским в центре. Разговор вот-вот мог состояться, если бы взгляд высокого гостя не встретился со взглядом Айганым.

Султанша вспыхнула, зарделась. Она, и как наследница Черного шанырака, и как представительница своих аулов, и просто по-женски,— была несколько оскорблена тем, что высокий гость, сходя с корабля на землю, и на всех них и на нее не обратил никакого внимания. Ее самолюбие было уязвлено. Теперь она не хотела позволить члену царской фамилии повторить пренебрежительный поступок. И встретившись с его взглядом, она сделала то, что делают все красивые женщины на свете. Легко откинула нежное покрывало, прямо посмотрела на гостя своими большими черными глазами, улыбнулась так, что это можно было принять и за смущенье, улыбнулась на

одну какую-то секунду, и тут же опустила ресницы и снова почтительно склонила голову.

Знатный гость, необыкновенно слабый по женской части, все это сразу же приметил и немедленно оценил и бросающиеся в глаза и возможные достоинства красивой кайсачки, представительницы полудикого в его понимании племени. «Они же едят сырое мясо и жен содержат вместе. Неужели и она? Ест кровавую баранину и живет с другими женами своего кочевого повелителя?— мелькнуло в его воображении.— Не может быть! Это — Восток, это украшение гарема».

Не угадывая ход мыслей высокого гостя, но безошибочно чувствуя, что он думает именно о ней, Айганым распрямилась и в изящном полупоклоне сделала лицу царской фамилии знак, приглашающий в юрту.

Вот это приглашение, очевидно, и не понравилось высокому гостю. Он, он один имеет право приглашать, имеет право выбирать. Не доставало еще, чтоб его выбирали.

Пренебрежительная надменность снова вернулась к нему. Надменность, столь отчетливо воплощенная в его манере картинно задирать назад голову, в его бесстрастных, никогда не мигающих глазах, в его пружинистой быстрой походке.

Еще раз окинув взором белый войлочный городок, зеленеющий невдалеке лес, он, не взглянув на ага-султанов, сказал Сперанскому одну краткую фразу на непонятном языке и зашагал по мосткам так, что всей свите — и офицерам, и чиновникам, и хозяевам юрт — пришлось суетливо поторопиться за ним.

Айганым огорчилась. Не столько за пренебрежение важной персоны к себе и своим соплеменникам, сколько за сына. Она привезла Чингиза в Омск с тайным желанием показать мальчика высокому гостю. Может, погладит его по голове, даст напутствие на службу царю, благословит, обратит внимание. Времена ханства удаляются в прошлое, понимала она. И если Чингизу не суждено быть ханом, пусть он будет по крайней мере чиновником или офицером.

На беду Айганым Чингиз в дни, когда устанавливали юрты, заболел. С утра до вечера он носился по берегу Иртыша, забегал в березовый лес, нашел неглубокий глинистый овраг со звериными норами, очень приглянувшийся ему. В овраге этом и в лесу водилось много комаров. Они искусали мальчика и, должно быть, явились причиной болезни. Чингиз метался в жару, вызвали омского лекаря, и он успокоил мать, уже впадавшую в отчаяние. После сильной дозы лекарств сын пропотел, впал в дремоту и начал поправляться.

В день приезда важной персоиы осуиувшийся и побледневший мальчик испытывал только небольшую слабость. И если бы не строгий наказ матери оставаться в юрте и ие снимать праздничной одежды, он снова убежал бы на Иртыш и не преминул завернуть в лес и к оврагу.

Из юрты он слышал, как взревели медные трубы оркестра, слышал взволнованные голоса и потом внезапно наступившую тишину. К нему пришла мать, утешала его, хотя он и не был ничем огорчен, кроме запрета выходить на берег Иртыша.

— Ничего, сынок. Сперанский сказал, что он еще вернется,— пригорюнясь, повторяла мать.

— Кто он?— спрашивал Чингиз.

— Он, близкий самому белому царю человек... Опять неудача для нашего ханского рода! Но мы с тобой еще дождемся счастья.

Чингиз равнодушно зевнул, он не совсем отчетливо понимал, о чем идет речь, а мать снова перебирала в памяти все подробности приезда и столь неожиданно быстрого отъезда знатного гостя.

Сперанский предупредил, однако, султанов, чтобы они сохраняли в юртах все как было. Высокий гость побывает в Семипалатинске и еще вернется в Омск. Не зря же готовились к празднику!

Айганым тешила себя новой надеждой.

Но опять получилось не так. Лицо царской фамилии избрало обратный путь в Петербург через Барнаул, Томск и Тюмень.

Сперанский несколько возместил ущерб, нанесенный самолюбию султанов шести округов. Он приехал со своими приближенными, обошел все юрты, поговорил с каждым ага, задержался в гостях у Айганым.

Праздник в честь генерал-губернатора продолжался несколько дней и удался на славу.

На тое Айганым сидела рядом с Михаилом Михайловичем. Она спросила его, как ей быть дальше с Чингизом. Сможет ли он в будущем стать ага-султаном?

Сперанский объяснил, что если сейчас опора русской власти в уважаемых людях из ханских родов, то со временем это может несколько измениться.

— Нам нужны помощники из хороших туземных семей,— доверительно говорил генерал-губернатор,— но прежде всего знающие русский язык. Наша задача подготовить хотя бы небольшое число образованных подданных Российской державы, преданных царю. Еще не все ваши султаны понимают это.

Мой совет — начинайте полезное дело. Пусть ваш сын учится в Омске.

— А где? А кто мне поможет?— воскликнула Айганым, понимая, что сейчас решается судьба Чингиза.

— Помогу я,— твердо и тихо отвечал Сперанский.— В Омске открылось войсковое училище. Есть там и отделение для мусульман. Сын ваш будет одним из первых офицеров-кайсаков, и кто предугадает, может, он станет большим человеком.

Айганым не знала, как благодарить Сперанского. Впервые за много дней радостно стало у нее на душе. Лучшего придумать для Чингиза, кажется, было нельзя.

Заарканенный Чингиз

Будь на то воля Чингиза, он не остался бы в городе. Мальчик слишком привык к степному раздолью, к благодатным ущельям Срымбета. Омск сразу отпугнул его теснотою и пылью улиц, домами, стоявшими вплотную друг к другу, высокомерностью людей, замкнутых, недружелюбных, таких чужих ему. Ни табунов, ни быстрого аргамака. Он видел лошадей, впряженных в повозки. Они казались клячами по сравнению с аульными. Разве что коровы, возвращавшиеся к вечеру с пастбищ, мычали так же, как дома. Но их было так мало. Изредка попадались свиньи. Чингиз никогда не встречал их прежде. Однако детским своим сознанием он вспоминал язвительные рассказы домашних, воспринимал свиней как поганых животных. Даже глядеть на них было противно до тошноты...

— Не буду здесь жить, не буду!— закричал Чингиз в день прощания с матерью.

— Будешь!— со всей решительностью отвечала мать.

А когда убедилась, что слезами сына не успокоишь, отвесила ему, уже садясь в тарантас, звонкую пощечину. Чингиз заревел. Айганым даже не посмотрела в его сторону, и лошади тронулись.

Конечно, в глубине души она жалела своего любимца. Но, ох, как ей не нравилось, что мальчуган, почти джигит, надежда Срымбета, оказался капризным и плаксивым.

Впрочем, скоро все обошлось. Чингиз, зачисленный в эскадрон азиатского отделения Сибирского войскового училища, проявил способности к ученью. Не имея раньше никакого представления о русской грамоте, он в первые же годы стал бойко читать, писать и говорить по-русски, попал в число лучших учеников. Продолжай он после училища свое военное

образование и дальше, кто знает, как сложилась бы его офицерская судьба. Но на пути Чингиза были барьеры, построенные еще до его определения на учебу. И возвела эти преграды сама его мать Айганым.

Еще в год большого праздника на берегу Иртыша, когда в Омске съехались все знатные вожаки Среднего жуза в честь приезда в Сибирь именитого петербургского гостя, Айганым познакомилась в своей нарядной юрте с ага-султаном Баянаульского округа Чорманом, сыном Кушика. Айганым и Чорман понравились друг другу. Сближенье их, к удивлению многих, было завершено неожиданным сватовством: малолетнего сына Айганым Чингиза объявили женихом, а малолетнюю дочь Чормана Зейнеп — его невестой.

Мы еще вернемся к подробностям этого сватовства, но прежде должны представить читателям Чормана.

Его отец Кушик, принадлежавший к роду Каржас, хотя и не славился богатством среди скотоводов Баянаула, но слыл человеком спокойным и хозяйственным. На любознательного, смышленого Чормана больше всего влиял близкий к отцу бий Шона, известный всей степи своим умением решать самые запутанные аульные тяжбы. На одном таком разбирательстве присутствовал и тринадцатилетний Чорман. Он выступил неожиданно для всех с остроумной и убедительной речью, положившей конец всем спорам. После этого случая в степи его стали с уважением называть мальчиком Чорманом, мальчиком-бием.

Забегая вперед, следует сказать, что во время восстания Кенесары Касымова Чорман перешел на сторону русских войск и сражался с братьями — баями Тайжаном и Сейтеном, своими родственниками по деду. Братья-баи потерпели поражение. Они, очевидно, погибли, а их имущество пошло в военную добычу. Табунный косяк Тайжана и Сейтена в три тысячи лошадей в это время находился на пастбищах урочища Кызак между Омском и Тюменью. Табуны оказались без владельцев. Исчезли взятые в плен и наследники братьев-баев. Чорман смекнул, что может стать хозяином косяка и тут же объявил лошадей скотом рода Каржас. Табуны, пригнанные в Баянаульскую степь, сразу сделали Чормана одним из крупных здешних баев. К тому же за помощь русским войскам царские власти отблагодарили Чормана воинским чином есаула.

Чормана уже не называли мальчиком-бием.

— Бай, бий, апицер!— подобострастно говорили о нем аульные главари. И добавляли вполголоса:

— Хитрый наш Чорман, оборотистый, с ним не потягаешься.

Эти качества не мешали, а скорее помогали Чорману пользоваться уважением своих братьев земляков. Он был обходителен и знал, кого надо поддержать и чьей поддержкой пользоваться. Даже внешность его располагала к себе. Он был высок, осанист, с черной заостренной бородкой внушительного вида и густыми пышными усами. В год знакомства Чормана с Айганым ему было всего двадцать семь лет, и приятно было смотреть на его свежее, гладкое — без единой морщинки — лицо.

И Айганым в свои тридцать пять лет еще не утратила зрелой женской красоты.

Знакомство это не прошло мимо аульных сплетников, окружавших кривотолками каждую их новую встречу. То тут, то там ронялись едкие фразы:

— Не подобало бы так...

— Нашла себе мужа ханская вдова.

— А он-то каков. Нет, что ли, баб моложе?..

Слухи ползли один другого ехидней. И вдруг удивительная весть: Чорман и Айганым стали сватами. Как же так? Если это правда, значит, правда и то, о чем поговаривали раньше.

Сплетники ошибались. Но ложные в сути самой слухи имели под собой какую-то почву. Чорман, пришедший в изумление от осанки, красы и ума Айганым, стал искать с ней встреч. Айганым, не раз ловившая жадные мужские взгляды, сразу поняла, почему ее стал часто навещать баянаульский султан.

Поняла она и то, что ей не следует отвечать жаркими чувствами на взгляды Чормана. У Айганым хватало силы владеть собой. С ранней юности она привыкла утаивать сны. Почти девочкой выданная замуж не просто за старого человека, а за властительного хана, она научилась дорожить своим влиянием в Орде и даже гордилась званием ханской жены и дочери хаджи. Несмотря на то, что время от времени вокруг ее имени возникали всяческие слухи, она предпочитала не давать для них лишнего повода. В глубине души Айганым, конечно, прекрасно сознавала, что она далеко не невинный ангел, а простая смертная, такая же, как все. Но ей очень не хотелось давать это кому-либо почувствовать: будь это слывущий знаменитым мирза, будь это обыкновенный скотовод — шаруа. Дай им только волю, они с удовольствием будут распускать новые небылицы, похваляясь своей близостью к вдове и преувеличивая свои победы. А если она и в самом деле со-

грешит? Уж тут ничего не поделаешь. Ведь поступил так ее деверь, рыжеволосый Сартай, которого она пустила к себе за порог, будучи убежденной, что лишнего слова он не скажет. Но и Сартай не оправдал доверия ханши. Тогда Айганым жестоко отомстила ему, посодействовав — понятно, совсем по другому поводу — высылке Сартая туда, где на собаках ездят.

Но людского злословия ничем не остановить.

— Призадумайтесь,— шептали сплетники,— почему окружила она себя молчунами-джигитами? Да еще из бедняков...

По всем этим причинам Айганым настороженно отнеслась и к Чорману, делая вид, что не замечает его пылких взглядов. Это сильно удивляло султана, уверенного в своей нетрудной и скорой победе над вдовой, как обычно бывало с ним в любом другом ауле. Однако, как говорится, запретный плод сладок. Самолюбие Чормана было уязвлено, и он решил добиться своего во что бы то ни стало. Приезды его участились.

Как же относилась к нему Айганым?

Он привлекал ее как бай и султан, выбившийся своей волей из простых людей. Еще до знакомства с Чорманом она была наслышана об его уме. Однако время шло, взгляды баянаульца становились все откровеннее и жарче. Айганым не только поняла его увлеченность, но и сама в душе любовалась красивым и статным джигитом, к тому же таким молодым. По-прежнему не допуская вольностей, она тем не менее однажды поддержала Чормана в его предприимчивом балагурстве.

— Тебе хочется, чтобы мы были ближе друг к другу. Я согласна. Для этого дорога есть.

Чорман еще не понимал, куда она клонит.

— Обменяемся, Чорман, девушками.

— Ладно,— неуверенно отвечал Чорман,— но как это сделать?

— Сказать по правде, бог отобрал моих дочерей, а у тебя есть... Не так ли?

— У меня есть дочка, только маленькая еще.

— Маленькая подрастет. Казахи детей с колыбели сговаривают.

Вот только сейчас Чорман уразумел смысл разговора. До этого ему казалось, что Айганым шутит. Поэтому теперь ответил серьезно, раздумчиво:

— Не торопи меня, ханша, с ответом. Я прежде должен посоветоваться с родственниками.

Айганым согласилась.

Затеянное Айганым сватовство имело на ее взгляд серьез-

ные основания. С той поры, как она пришла в ханскую ставку, ей постоянно приходилось наблюдать: родовитые баи, кичащиеся своей древней кровью, своими знаменитыми предками, те самые ханы, которых иначе называют торе, сватаются друг к другу, обмениваются женихами и невестами. Пусть они родственники, лишь бы не сосали молоко одной матери, лишь бы не имели одного отца. И часто получалось, что в пределах одного и того же аула близкие сородичи, имевшие общих дедов, становились сватами. В родственных отношениях появлялась путаница. В глазах Айганым все это выглядело малопристойным. Еще недавно старые казахские обычаи строго запрещали подобные браки между родственниками вплоть до седьмого колена. Аульная аристократия все чаще нарушала эти обычаи.

Многие торе, понимая вред таких браков, женили своих сыновей на незнатных невестах. Но дочерей своих решительно отказывались выдавать замуж за простых джигитов.

Айганым знала из рассказов и личных наблюдений, что дети, рожденные простыми казашками, наделены добрым здоровьем, крепкой костью. Они и внешне выглядят обычно приятно. А дети торе? Особенно торе, находящихся в близком родстве? Они растут низенькими и хилыми, легко подвержены болезням, отличаются капризным характером и нерадивостью. И очень редкие из них бывают красивыми.

Один старый акын поучал:

Запомни: жену из торе ты возьмешь,—
С ней горькое горе себе наживешь.
Жена из торе льнет к мужчинам другим.
Мужчины друг другу отныне враги.

Мужчины-торе затевают вражду,—
Не жить и двум родственным юртам в ладу.
И гривы тогда у коней не растут,
И жир на горбе не накопит верблюд.
Так будет вражда продолжаться, пока
Один из врагов не погубит врага.

И еще есть одно краткое народное изречение:

Кто за торе пошел,— тому не повезло:
Он на себе самом несет его седло.

Да, Айганым была свидетельницей постоянных междоусобных распрей потомков Аблая. Дети разных жен вечно ссорились друг с другом, и ничем нельзя было погасить эту вражду. Дух озлобленности и подозрительности властвовал едва ли не во всех семьях знатных родов. Айганым была хо-

рошо известна вражда детей Бокея, сына Барак-хана из Каркаралинского округа, Тауке, Есима и Султангазы. Вражда переходила и к внукам. И внуки уставали от нескончаемых нападок, но ничего не могли сделать, чтобы прекратить их навсегда.

Как хотела Айганым, впитав эти горькие впечатления, переженить всех своих сыновей на простых девушках, сломать замкнутое кольцо знатного рода. Оттого-то она не отталкивала Чормана и завела с ним речь о сватовстве. И хотя Чорман не ответил ей сразу прямым согласием и сослался на необходимость посоветоваться с родственниками, Айганым догадалась, что отказа не будет.

Что касается Чормана, не без гордости считавшего себя первым ханом из черной кости, то он давно искал случая породниться с потомками знатной белой кости. Правда, он больше думал о том, чтобы удачно женить своих сыновей. Айганым внесла поправку в его мечты.

— Что ж, пусть будет так,— рассуждал Чорман,— сегодня отдам дочь, а завтра найду и сыну невесту. Все так и пойдет своим чередом.

Сведущие люди рассказывают, что первый той, посвященный сговору Айганым и Чормана, был проведен в Омске, на берегу Иртыша. На праздник были приглашены не только султаны и знатные люди аулов, но и многие городские чиновники, связанные по службе со степными округами. В юрте были приготовлены угощения на любой вкус. Ничто не могло бросить тень на устроителей пира. А сколько лошадей было раздарено в честь смотрин Чингиза и его невесты — не сосчитать!

Довольная тоем и оказанным ей почетом Айганым пригласила Чормана посетить будущей осенью Срымбет.

Чорман был намного богаче Айганым. И поэтому ханская вдова задолго до приезда Чормана пригласила знатных баев и биев родов Атыгай и Карааул посоветоваться с ними о предстоящем празднике и будущем брачном союзе.

— Чорман,— говорила Айганым,— не посрамит свое доброе имя. И род Каржас и род Суюндик помогут ему. Он приведет столько скота, что наши котлы позолотятся. Под его дарами прогнутся верблюжьи спины.

Айганым замолчала, пристально вглядываясь в приличествующие разговору важные лица султанов и старейшин.

— Что вы скажете мне? Сват мой, но Орда — ваша. Чем вы встретите Чормана?

Вожаки родов не были многословными.

— Как ты задумала, так н решим,— был их краткий ответ.

— Тогда слушайте меня,— Айганым приосанилась, голос ее стал звучным н властным,— скот на убой будет вашим, все подарки — мон. Сколько бы гостей нн приехало,— хоть тысяча,— я каждому найду место н каждого одарю.

... Чорман готовился к тою в Срымбете не по старым обычаям. Он давно заглядывался на городскне порядки в Омске, н купеческий новый размах не давал ему покоя. Переимчнвый и любящнй, чтобы о нем ходила восхищенная молва, он не пожалел денег иа выезд. В повозкн тройками н в тарантасы парами были впряжены конн масть в масть — в белых чулках: нх ноги были обтянуты шелком. Уздечкам и сбруям цеиы не было. Повозки сопровождали джигнты. Должно быть, сто всадннков. Срымбетовцы былн восхищены. А тот, кто инкогда не бывал в городе, так и застыл с разннутым ртом.

Гостям был оказан самый радушный прием. Онн разместнлнсь н в большом доме и в соседних, меиьших по размеру. Многне степняки впервые видели такие удобные городскне строения. Пока только в Срымбете можно было встретить у казахов столь разумно и просторио спланнрованные дома.

Со времеи Аблая в роду прниято было девушке, выходящей замуж, дарить в прндаиое только новые вещн. Что касается иевесток, то придаиое дарилось ие им, а Ханской ставке. Так добро накапливалось годамн. В те времеиа, когда ставка размещалась в войлочной юрте, все подаркн н другое ценное имущество пряталнсь в пещерах горы Срымбет. Пещеры так и иазывались складамн. При откочевке иа джайляу у складов оставляли охрану. Когда по просьбе Айганым стронлся деревяииый городок, сделалн и саран. Надобность в пещерах отпала. Айганым жнла в своем городке и зимой и летом. Откочевки иа джайляу больше ее не прельщали, в Срымбете она чувствовала себя спокойиее в любое время года. Приметой оседлого быта стало проветривание нмущества — весною н осенью. Ковры, меха, одеяла выбнвалнсь на открытом воздухе. Останавлнвалнсь восхнщенные аулчане, рассматривали вещн, глаз отвести не моглн от инх.

Вот так же и спутннкн Чормана не могли отвести глаз от украшений, расстеленных н развешанных в гостевых комнатах дома Айгаиым.

Не скрыл своего удивления и сам Чормаи:

— Наши казахи любят бахвалнться своим скотом, но даже тысячный табуи аргамаков ие стоит и половины этнх драгоцениостей.

После нескольких дней обильного угощения гости стали собираться в обратный путь. Айганым напомнила Чорману, что надо договориться о калыме — выкупе за невесту.

Чорман попробовал пошутить:

— Пусть будет по-твоему. Но калым должен быть достоин такого сватовства. Баранов надо гнать тысячами, коней — сотнями, верблюдов — десятками.

Разговор шел в большой гостиной. Айганым и бровью не повела. Но старейшины атыгайцев и караульцев нахмурились. Шутки они не приняли. Один из аксакалов неодобрительно взглянул на самоуверенного, покрасневшего от мяса и кумыса Чормана, сказал с достоинством тихо и внятно:

— Все, что просишь,— получишь...

Чорман, годившийся в сыновья аксакалу, снисходительно улыбнулся.

— Я же только в шутку. И уж если говорить правду, в этот день, когда мы соединяем две молодые жизни, у меня и желания нет обременять сваху и ее родичей большими расходами.

Айганым вспыхнула. Это задевало ее самолюбие. «Далеко пойдет»,— подумала она, но промолчала. И снова тихо и внятно произнес аксакал:

— Ты — человек известный, ты — Чорман. Но и мы не последние люди. Возвращаться с пустыми руками,— значит, оскорбить нас. Сам видишь,— драгоценностей в доме хватает. А рядом в степи есть скакуны-иноходцы. Выбирай отборных, чтобы было чем гордиться. И тебе и нам...

— Так и будет!— воскликнул Чорман.— Я не уеду от вас с пустыми руками. Но позвольте мне самому назначить калым. У меня есть кое-что на примете.

— Бери, что хочешь!— зашумели атыгайцы и караульцы.— Испытывай нашу щедрость.

И Айганым согласно опустила голову.

Наступили минуты напряженного ожидания. Что же скажет Чорман?

Он медлил, медлил и наконец бросил два кратких слова:

— Серую Пику!..

Шумно вздохнули и гости и хозяева: одни — с недоумением, другие — облегченно.

Но тут надо читателю все объяснить подробно.

У Вали, мужа Айганым, был брат Чингиз, а у Чингиза сыновья — Сартай, Торгай и Тани. С рыжим строптивым Сартаем, сосланным на север, читатель уже встречался. Торгай и особенно Тани были незлобивыми, тихими людьми. Тани

даже имел прозвище «Кроткий торе». Он никогда и в глаза и за глаза не упрекал Айганым в причастности к бедам брата Сартая. Он продолжал с ней дружить и при случае на людях поговаривал, что в общем-то Сартай получил по заслугам. Больше всего на свете Тани любил охоту. И не просто охоту, а с беркутом или ястребом. В юрте — отау Тани, поставленной на противоположном склоне Срымбетской горы, Чорман и приметил после обильного угощения удивительного ястреба, спокойно сидевшего на деревянной подставке. И пронзительными глазами, и опереньем, и размерами птица эта была не вполне обычной. Чорману рассказывали, что ястреб этот чуть ли не сродни сказочному бидайыку, умелому истребителю гусей и уток, что обученная ловчая птица не имеет себе равных во всей степи и что неспроста ей дано прозвище Серая Пика. Еще тогда, в гостях у Тани, уж очень хотелось страстному охотнику Чорману заполучить необыкновенного ястреба, но высказать это сразу он счел неудобным. И теперь, когда он собрался с духом и в самый удобный момент произнес: Серую Пику!— Тани смутился. Ему жаль было расставаться со своим любимцем. Он даже пробормотал — бери, что хочешь, только не птицу. Но его слова потерялись в одобрительных возгласах старейшин. Идти против них Тани не посмел.

Так довольный Чорман стал владельцем Серой Пики.

На прощанье он пригласил к себе в гости Айганым. Она пообещала приехать весной, но ей не удалось сдержать своего слова.

В жизни Айганым наступали перемены: пошатнулось ее общественное положение, начались семейные неприятности, ухудшилось здоровье.

Вдова Вали-хана не сумела противостоять росту влияния кокчетавских баев и прежде всего Зильгаре, сыну Каратоки, представляющему ветвь Андагул, рода Атыгай. Зильгаре и его внуку Шопану принадлежали самые обширные угодья по течению Есиля, сотни десятин плодородной земли и прекрасных пастбищ. Об их многочисленных отарах и табунах до сих пор рассказывают были и небылицы.

Вспыльчивый и честолюбивый Зильгара, отец четырнадцати сыновей, искал себе опору не только в приумножении богатства, но и в укреплении своего положения в округе. Он искал случая расчистить себе дорогу к должности старшего султана, и этот случай скоро представился.

В эти годы отец Кенесары Касым очень часто совершал набеги и на богатые байские аулы и на русские поселения. Не раз у него происходили стычки и с царскими войсками. Касым

враждовал с Зильгарой и с Шопаном. Изрядно пограбил он их есильские аулы. Зильгара в отместку решил помочь русскому войску сокрушить Касыма и его сына Кенесары. Хорошо зная степь, он повел отряды по следам мятежников. Они были изгнаны из пределов Сарыарки. Царская власть в знак своей благодарности присвоила Зильгаре чин хорунжего и возвела его в дворянское достоинство.

Когда хитроумным замыслом Сперанского стали вводиться дуаны и была учреждена должность старших султанов, чтобы свести на нет ханскую власть, Зильгара в силу сложных обстоятельств не смог занять новый заманчивый пост. Не смог он в то время и выступить против Айганым.

Но теперь Сперанский был далеко, омский губернатор Вельяминов не поддерживал вдову Вали, жалоб на Айганым было не меньше, чем на других ага-султанов. Изменилось, как и предполагалось, отношение русских властей ко всем выходцам из именитых ханских родов; потомки ханов быстро утрачивали свое влияние и среди казахского населения.

Айганым стала едва ли не первым ага-султаном, которую решили сместить. И сместили.

На ее месте очутился Зильгара.

Оскорбленная, лишенная прежнего уважения, она не могла тогда поехать в гости к Чорману. Ей казалось, она навсегда опозорена.

В доме у горы Срымбет стало тихо и печально. Айганым замкнулась. Ей никого не хотелось видеть. Только Чингиз, ее любимый сын, мог бы принести ей утешение. Но он учился в Омске, был далеко от аула.

Чингиз поначалу рос медленнее других детей. Многие сверстники обгоняли его, и он в детстве выглядел маленьким не по годам.

Когда на третье лето после долгой разлуки Чингиз по вызову матери приехал наконец домой, Айганым поразилась, она не сразу узнала сына. Перед ней был вытянувшийся, даже слишком высокий подросток. Он, пожалуй, выглядел бы неуклюже длинным, если бы не военная форма, придававшая ему вполне взрослый вид, скрадывавшая некоторую угловатость. Он поздоровел, окреп, стал розовощеким.

А как хорошо он говорил, какие слова появились в его языке. Видно, много знаний он приобрел. Познакомившись с мусульманскими науками еще дома, он теперь так углубился в них, что мог свободно толковать содержание Корана. На азиатском отделении войскового училища преподавание велось на татарском и чагатайском языках, изучался и араб-

ский. Одновременно шло обучение русскому письму и чтению. Военное дело и общеобразовательные предметы преподавались, понятно, тоже по-русски.

Но если мать не сразу узнала сына, то Чингиз был просто потрясен видом матери. Он привык к ней, стройной и высокой, привык к ее ясным черным глазам, к теплым рукам с гладкой приятной кожей. За годы разлуки она располнела, расплылась, обрюзгла. В свои почти сорок лет она вдруг сразу стала неопрятной жирной старухой. В ней изменилось все — от вздувшихся, потерявших гибкость пальцев до помутневших, тускло проглядывающих сквозь набрякшие веки глаз. Прежними оставались только сжатые тонкие губы. Но, увы! Стоило Айганым приоткрыть рот, как вместо недавних жемчугов, словно нанизанных на нитку, теперь желтели редкие разрушающиеся зубы.

Чингиз все милое аульное детство любовался матерью и гордился тем, что он ее сын. Он испугался в эту встречу, расстроился. И своим уже не детским умом сообразил, что не только жирная и обильная пища и совсем не заботы по кокчетавскому округу, а несчастья и обиды, внезапно обрушившиеся на нее, сделали свое недоброе дело.

Айганым тяжело дышала и постоянно жаловалась на сердце. Случались с ней и обмороки.

Порою, во время сердечного приступа, она думала с тоской и страхом: «А вдруг умру. Умру, так и не повидав сына». И сейчас, когда он приехал, полный здоровья и силы, Айганым, испытывая прилив материнской радости, впервые вздохнула с облегчением. Тоска уходила, как дымок костра в синее небо, и болезнь почти не давала знать о себе.

Она теперь не сомневалась в светлом будущем своего мальчика. С новой силой женщиной завладела мечта: «Увидеть бы, как женится мой Чингиз, а там и смерть не страшна».

Эту мечту можно было бы осуществить и теперь. Как говорится, человек в тринадцать лет хозяин очага. А Чингизу уже четырнадцать. В такие годы сплошь да рядом в аулах справляют свадьбы. Да вот беда — невеста еще маленькая. Только десятый год пошел дочке Чормана. По законам шариата девочку можно выдавать замуж и в таком возрасте. Но казахи не соблюдают этого мусульманского обычая. Они ждут, когда девочке исполнится тринадцать. Пришлось ждать и Айганым. Четыре года было еще впереди.

Успокоившись после приезда сына, Айганым было набралась терпения, но не прошло и двух лет, как посланец из Баянаула привез от Чормана дурную весть:

— Сын твой плохо ведет себя в Омске. Спутался с дочкой Саттара, у которого живет на квартире. Собирается взять ее в жены.

Жестокие эти слова вонзились в сердце Айганым. Туман застлал глаза.

Когда она пришла в себя, попросила гонца повторить, что он ей сказал. Может быть, послышалось?

Но нет. Слова были горькой правдой.

— Разве я загнал бы так коня?— говорил баянаульский посланец.— Разве Чорман-ага отправил бы меня, не проверив известия? Он так и передал: «Пусть Айганым, пока не поздно, отведет эту напасть. Либо назначит мне место встречи».

Сомнений не оставалось: новая беда обрушилась на дом Айганым.

Надо немедленно принимать решение и срочно собираться в поездку, вопреки распорядку жизни, установленному в последние годы в Срымбете. Пришлось преодолеть болезнь, не посчитаться с душевным состоянием.

Для Айганым приготовили тройку, впряженную в удобную повозку. С ней вместе в коробе, как всегда, были прислуживающая ей Куникей и кучер Балтамбер, сын Туткыша. Вдову сопровождал парный тарантас с несколькими джигитами.

Спутникам своим сказала, что едет в Омск. Но, усаживаясь в повозку, перерешила. Надо, подумала она, заехать сначала к свату Чорману. Уж если он к ней посылал гонца, значит, ему известны все подробности жизни Чингиза. Да и хороший совет может дать Чорман. Может быть, тогда ей будет легче разговаривать с сыном.

Чорман жил на берегах Темного озера Нияза. Путь туда из Срымбета проходил через кокчетавские горы.

И при жизни Вали и в первые годы своего вдовства Айганым повсюду в своих краях пользовалась радушным гостеприимством. В любом ауле для нее часто устанавливали отдельную юрту и оказывали всяческие почести.

В эту поездку все было иначе.

Вестей о себе она давно не подавала, а в аулах хорошо знали, что Айганым лишена ханской власти. Иные откровенно отказывали ей в гостеприимстве, ссылались, что времени нет, другие придумывали еще какие-нибудь пустяковые причины, только бы уклониться от обязанности приготовить угощенье, только не показать ненароком своего уважения к вдове Вали-хана и еще недавней султанше. Ну, а если и предлагался ночлег, то жеребят никто не резал. Мол, довольствуйся, Айганым, тощим ягненком, а то слишком жирно будет!

Такая пренебрежительность ранила и без того уязвленное самолюбие Айганым. Она начинала побаиваться и встречи с Чорманом. Но тут ее опасения были совершенно напрасными. На берегу Темного озера Нияза Айганым ждали как почетную гостью, как будущую родственницу. Чорман даже распорядился выслать дозорных на быстрых иноходцах, расставить их цепочкой по пути Айганым, чтобы, заметив ее приближенье всадники передавали весть один другому и аул вовремя подготовился к приему.

Темное озеро Нияза только называлось темным. На самом деле вода в нем была чиста и прозрачна. Это о таком озере говорят:

Пусть табуны войдут в него напиться,
В нем и тогда вода не замутится.

И еще говорят:

Его вода прозрачнее слезы.
Она как мед,— попробуй на язык.

На том берегу озера, где шелковая трава не была тронута копытами, Чорман велел поставить белые юрты и как можно лучше украсить их внутри,— он хорошо помнил убранство комнат дома в горах Срымбета. Неподалеку на свежем ветерке выпасались дойные кобылицы. И тут же резвились жеребята, не подозревавшие, что их участь решена.

Чорман распорядился не только об обильном угощении. Старейшинам богатых аулов родов Каржас и Суюндик он передал:

— Пусть у Айганым нет власти султана, но Черный шанырак Чингиза в ее руках. Народ любит болтать всякое. Кто не охоч до сплетен? Но я-то знаю — вдова сберегла свою честь. Она не только мой гость, но гость всех каржасов и суюндиков. Она — моя сватья, и она для всех нас — байбише. Уважайте ее, как я. Приезд Айганым не должен застать вас врасплох.

Чорман заботился о хорошей встрече Айганым совсем не потому, что очень дорожил будущим зятем-торе. Баянаульский султан тонко разбирался в жизни и отлично знал, что цена на торе упала, и они далеко не в прежней чести. Но он был человеком слова и стыдился нарушить свое обещание. Кроме того, Чорман отдавал себе отчет в том, как рождаются степные сплетни. Два тоя было во время сватовства — в Омске и в горах Кокчетау. Наслышанный про эти тои народ в случае разрыва брачного союза будет позорить Чормана и

его дочь. Дескать, отказался от своей невесты этот щеголь, болтающийся в городе. Такого позора пуще всего остерегался Чормаи. Для того ли ои достиг удачи и богатства, чтобы иад ним посмеивались в степи?

Вот это, казалось бы, ие столь уж важиое, обстоятельство больше всего и беспокоило Чормаиа. И чем дальше, тем сильнее. Он подумывал и о том, чтобы навестить в Омске разгулявшегося жениха и попробовать вернуть его иа путь благоиравия. Но тут же отбрасывал эту мысль, представив, как Чингиз не пожелает его слушать. Чорман уже иесколько раз встречался в Омске со своим будущим зятем. Ссужал его деиьгами, даже предлагал взять все расходы по учению. Летом присылал ему барана, зимой — стригунка, как законно причитающуюся долю. До поры до времеии Чиигиз охотно прииимал подарки и вдруг стал иачисто отказываться. Чормаи понаблюдал, поразведал и пришел к убеждеиию, что всему виною — дочь Саттара. Чорман поиял — ему ничего ие добиться; исправить дело может только одиа Айгаиым; сынок уважал мать и побаивался ее.

... Чорман встречал Айганым иа подступах к аулу. Не только иукеры — представители родов Каржас и Суюндик сопровождали его. Чуть ли ие впервые участвовала в подобных торжествах и трииадцатилетияя дочка бая Зейиеп. Чормаи вначале хотел ее оставить дома, ио в последнюю мииуту раздумал и взял с собой.

Когда появилась на свет Зейиеп, бабушка, мать Чормаиа Мамык, взяла к себе свою первую виучку. Мамык души в ией не чаяла и так нежио привязалась к ней, что у иее в груди даже молоко появилось, и оиа выкармливала им Зейнеп. Девочка едва иачала лепетать, как Мамык иаучила ее говорить:

— Я ие Чормаиа ребеиок, а Кушика...

Впрочем, Зейиеп походила ие иа Чормаиа и ие на деда своего Кушика. Лицом оиа была вылитая мать — Топаи, румянощекая аульная красавица.

Чормаи и Топаи пожеиились раио.

Чормаи, как мы уже рассказывали, в трииадцать лет в 1810 году выиграл родовую тяжбу, блеснув необычайным для его возраста красноречием. Через год он уже стал мужем Топаи, а еще спустя несколько лет сражался с сарбазами Касыма, присоединившись к войскам русского царя.

Зейиеп была третьим ребенком в семье, первым родился Муса, за иим — Иса. Избаловаииая, капризная, оиа долго считала своего отца старшим братом, а свою маму Топаи — снохой. Оиа рано научилась ругать их браииыми словами и

при этом отчаяиио шепелявила то ли от природиого дефекта, то ли от привычки ломаться.

Зейнеп до поры до времени воспитывалась как мальчишка. Верховая езда с детских лет стала ее любимым заиятием. Проводить время среди табуищиков, иоситься по степи на легком и быстром скакуие, а при случае и состязаться в скачках было для иее высшим удовольствием. Оиа иисколько ие считала зазориым делом пасти лошадей, и даже иаходила в этом для себя радость, как и в байге.

Отказа ей ие было ии в чем, росла оиа иа приволье, привыкла к кумысу, каймаку и свежему мясу, иосилась по степям в седле и без седла. К тому же давала зиать и кровь предков — крупиых, рослых, здоровых. По всему этому раио стала оиа высокой и сильиой девушкой. Кому иеизвестеи был ее возраст — легко ошибались, смело давая ей пятиадцать, а то и все шестиадцать лет, когда ей ие было и полиых тринадцати.

Зейиеп уже слышала, что отец и Айгаиым договорились между собой, что у иее есть жеиих Чиигиз зиатиого хаиского рода и что учится ои в русском войсковом училище в Омске. Слышала оиа от досужих сплетиков, а их в ауле всегда было предостаточио, что жеиих иарушает слово, даииое матери, и ведет себя ие вполие достойио. Слухи эти оиа восприиимала, как ие касающиеся ее, словио речь шла о другой, ис зиакомой ей девочке.

Но когда к берегам Темиого озера Нияза иеожидаиио дошла весть, что сюда едет Айгаиым, будущая ее свекровь, Зейиеп впервые пришла в смятеиие, почувствовав, что прежде ие волновавшие ее иамеки и слухи близки к правде. Девочке казалось, будто оиа беспомощиый козлеиок киик, иастигиутый волком. Бабушка Мамык, так нежио оберегавшая свою виучку от всяческих житейских иевзгод, вериая ее защита, скоичалась в прошлом году. Зейиеп ие сблизилась с родителями после смерти бабушки, даже ие переселилась в их дом и продолжала спать иа постели Мамык, с ией рядом оставалась только служаика — бабушка Бутикей. В эти дии и виимательная Бутикей ие могла ее утешить. Уткиувшись в подушку и заливаясь слезами, Зейиеп с острой болью и тоской вспомииала ласковую Мамык, замеиявшую ей мать. Рассеялось иавсегда иаивиое представлеиие о том, что оиа мальчик. Перестали прельщать ее забавы в табуие. Оиа думала только об одном; что же теперь ей делать, как иайти выход из этого тупика.

Может быть, подумала оиа, ее выручит старший брат Муса? Юиоше исполиилось пятиадцать лет. Ои был уже почти

взрослым джигитом и любил своевольную сестренку. В свое время отец хотел определить его в Омск, в училище, где теперь учился Чингиз, но бабушка решительно воспротивилась этому, считая, что мальчика нельзя отдалять от дома. И когда отец под влиянием Мамык передумал и предложил отдать его учиться в Баянаул, учиться и по-мусульмански и по-русски, бабушка уже не возражала и только с тревогой спрашивала, не будет ли ему трудно и там.

В Баянауле Муса чувствовал себя хорошо. Горная прохлада, сухие и чистые степные ветры закалили его. Он очень скоро стал красивым юношей богатырского телосложения.

В детстве Муса и Зейнеп были неразлучны, хотя брату часто доставалось от капризной любимицы бабушки. Зейнеп была задирой, драчуньей. Она, бывало, не только выбранит Мусу, но и палкой его перетянет. А если Муса отнимет палку и прочно схватит ее за руки, то начинает визжать и плеваться. Но брат терпеливо сносил эти выходки. Когда же он уехал в Баянаул, Зейнеп начала тосковать. Словом, как жеребята: сблизятся — кусаются, разбегутся — ржут, зовут друг друга.

Но шалости эти уже отошли в прошлое, Муса с хорошими отметками кончил школу в Баянауле и уже мечтал продолжить учение в Омске, чтобы стать военным.

Весть о скором приезде Айганым и волнения Зейнеп были понятны юноше. Он и прежде знал о помолвке сестры, но серьезно к этому не относился. Свадьба представлялась далеким будущим, чем-то вроде игры. Но теперь игра становилась действительностью. В ауле Зейнеп вслух называли невестой, обсуждали, как будет к ней относиться Айганым. Только вот о Чингизе Муса почти ничего не знал.

Муса, окончательно уразумев, что и его сестренка стала невестой и разделит обычную судьбу своих сверстниц, пробовал помешать этому, пытаясь расстроить сговор. Зейнеп в его глазах была еще ребенком, у нее на губах, как говорится, и молоко не обсохло. Рано ей было испытывать унижения в чужом доме. Но мать Топан — а к кому еще мог обратиться Муса за помощью,— грубоватая и строгая мать Топан оказалась неумолимой. Всех своих детей она гоняла одним и тем же прутиком и считала, что они должны слушаться одного движения ее бровей. Да и дети беспрекословно подчинялись ей, кроме Зейнеп, озорного «мальчишки» бабушки Мамык. Топан, когда Зейнеп жила в доме бабушки, не вмешивалась в ее воспитание, ничем не попрекала свою дочь, смирялась с ее «мальчишеством». Так продолжалось некоторое время и после смерти Мамык. Но и Зейнеп становилась старше, прекратила свои

выходки и оставалась верной только одной своей привычке — носить мальчишескую одежду.

Однако просьбы Мусы не привели ни к чему. Топан была неумолима. На слова сына она не обратила никакого внимания, а к дочери послала близких женщин, чтобы они воздействовали на нее.

— Скажите этой баловнице, что пора взяться за ум. Что может подумать свекровь? Пусть оденется как положено. Вон какая здоровая. И груди появились. А в узких брюках бедра так и выпирают. Довольно ей щеголять в мужской одежде. И нечего волосы трепать. Пусть их расчешет и заплетет в две косы.

Зейнеп и на этот раз взбрыкнула и выставила женщин с такой неистовой бранью, что те только руками развели. Они вернулись ни с чем к Топан. Мать разгневалась еще пуще, но нового шага не предприняла:

— Пусть ее блажит. Никуда ей от своей судьбы не уйти. Все равно стреножим.

Избавившись от настойчивых тетушек, Зейнеп не избавилась от страха перед неизвестным будущим. Она злилась, волновалась и наконец заболела. Но даже мечась в жару на бабушкиной постели, Зейнеп никому не сказала о причинах своей болезни. Никому, кроме Мусы. Брат еще раз попытался поговорить с матерью, но снова натолкнулся на грубость.

— Не мели чепухи!— истошно кричала Топан.— Что предназначено богом, то и будет! Хочешь, чтоб люди нас осмеяли? Как же это девчонка вдруг не пойдет замуж? Поболеет и выздоровеет. А ты переживаешь. Уж если хочешь отрезать ухо сплетникам, так лучше — на! Режь мое. Не будешь? Тогда перестань мне морочить голову!

Так ничто не могло остановить надвигающихся событий. Встреча с Айганым произошла. Правда, не совсем так, как задумал Чорман.

Он выехал с утра со своими нукерами из аула, и в полдень уже приветствовал Айганым. Отдав должные почести, он проводил ее в белую юрту на берегу Темного озера. Чорман предполагал отпраздновать приезд сватьи как положено, без лишней суеты и спешки. Вместе они должны были навестить аулы старейшин родов, вволю попировать и спокойно распрощаться. Но вышло иначе. Недолго погостив в белой юрте, Айганым, улучив удобную минуту, сказала только одному Чорману:

— Я слышала злые намеки. Но не друзья, а враги подхватили их и разнесли сплетню. Я знаю своего ребенка. Мой Чин-

гиз, мой Чнгажан не сделает того, что о нем болтают. Кто не увлекается в молодости? Не правда ли, Чорман? Ну, пошалил мальчик, кровь-то играет. Только он никогда ие был легким, как перекати-поле. Если даже что и случилось с ним, я его обуздаю. Я — мать, не позволю посторонним вмешиваться в судьбу сына. А у самого силеиок не хватит! Пусть только попробует стать поперек. Но зиаешь, Чорман, вскочил прыщик, нельзя ему давать зреть. Надо нам вместе поехать в Омск.

Чорман согласился с Айганым. И трех дией вдова ие погостила на берегу Темного озера. С ней отправился ие только баянаульский султан в сопровождеиии иепремениых джигитов, не только сын его Муса, но и главиая вииовиица всех волиений Зейнеп.

Как ни оберегалн Зейнеп от дурных известий об ее женихе, как ни утаивал их сам Чормаи, хорошо зиавший, что происходит в Омске, тринадцатнлетияя невеста постепеино начииала все понимать.

Чорман, непреклонный в своем решении породииться с торе, вначале даже от жены своей скрывал слухи о Чингизе. Скрывал до самого приезда Айганым.

Но, увы, старання Чормана былн напрасными. Топан сама успела выведать все, и однажды с издевкой ошарашила своего мужа знанием таких подробиостей, какие ему самому никто ие рассказывал:

— Ах ты, мальчик-судья, бала-бий, кого это ты решил перехитрить!..

И пошла, и пошла, и пошла. Ветер ли ей принес эти иовости, или сам шайтан нашептал, ио Топаи говорила правду.

И Чорману нельзя было увильнуть от прямого ответа. Ои ей все объясннл и раскрыл свои замыслы до конца. Топан согласилась со всеми его доводами, согласилась и с тем, что Зейнеп иадо везтн в Омск и заключить там брачный союз, иезависимо от того, хочет или не хочет сейчас Чингиз стать ее мужем.

— Везн ее, вези!— поддакивала Топаи.— Не одиа Зейнеп стаиовится в трннадцать лет хозяйкой очага. Бывает, и помоложе девушки заводят семью.

— Значит, готовь дочь в дорогу,— велел довольный исходом разговора Чорман.

Но Топан не очень-то была увереиа, что строптивая Зейнеп сразу подчинится ей. Вдруг оиа опять примется за старое, опять начнет капризничать, боязливо вздыхала мать. И не пошла сама, а послала к ней женщин, как и в прошлый раз.

Снохи шли с опаской, начали издалека, осторожно и длинно. Но не успели они высказать и малой части своих доводов, как Зейнеп прервала их кратким и безоговорочным согласием.

— Конечно, поеду.

Зейнеп всегда была склонна к неожиданным поступкам. Несколько дней назад она и слышать не хотела о поездке в Омск, а теперь согласилась сразу, не дослушав уговоров тетушек.

Взбалмошная девчонка, что и говорить! Но дело было не только в ее вздорном характере. Она находилась в том возрасте, когда все меняется — и тело, и мысли, когда все неясное в какое-то мгновение становится ясным.

Давно ли она не придавала никакого значения своей помолвке с Чингизом. Детство в ней брало верх над отрочеством. И когда кто-нибудь посмелее заговаривал с ней об ее будущем или делал только намеки, весь запас бранных слов, приобретенных Зейнеп у табунщиков, обрушивался на смельчака.

Но быстро подошло время девических мечтаний. Она уже представляла себе первую встречу с Чингизом, которого все называли ее женихом. Сегодня становилось не похожим на вчера: совсем по-иному начинала она бояться этого свидания. Может быть, слишком желая встречи, она и отвергла первое предложение ехать в Омск. Ведь тогда конец ее мальчишеским забавам. И мало ли что произойдет тогда.

У Зейнеп обострилось и чувство самолюбия. Узнав теперь, что ее жених колеблется, что он какую-то другую нашел в городе, она едва не сгорела от стыда. Да, она могла ссориться даже с отцом. Но в ее глазах среди всех взрослых людей в той степи, которую Зейнеп могла себе представить, не было человека умнее и уважаемей отца, Чормана. А кто она, Зейнеп? Она прежде всего дочь Чормана.

Так дочь Чормана не подвела своего отца.

Обрадованные согласием Зейнеп, родители, особенно мать, теперь озабочены были другим, как бы получше, побогаче нарядить свою любимицу.

Она ведь еще продолжала щеголять в странной полумальчишеской одежде. Шапочка была отделана не выдрой, а белым — в завитках — мехом. И верх шапочки, словно у разгульного джигита, зеленел ярким бархатом. И камзол обтягивал талию, камзол, сшитый не из шелка, как полагалось для девушки, а из домотканой шерсти ягненка. Мальчишеские брюки сшиты были из той же шерсти и отделаны мехом у

щиколоток. Темную, как у юношей, рубаху она заправляла в брюки. Наступали холода, и Зейнеп облачалась в белый мерлушковый полушубок. А в самую лютую стужу она любила шубу, про которую в аулах чуть ли не сказки рассказывали. Верх шубы этой сшивали из шкурок черных жеребят. Не трех там или четырех, а из целых пяти шкурок, потому что Зейнеп непременно хотелось, чтоб и на ребрах рукавов, и на груди, и на спине развевались конские гривы. И еще ей надо было, чтобы шкурки были черными-черными, как вороньи крылья. Отец, потакая капризам своей единственной дочки, и без того черные шкурки сам возил в Омск к красильщику меха, чтобы засверкали они небывало густым черным отливом. Но и этого мало. Шуба была подбита дорогим мехом хорька. Не только в Баянаульской степи, во всей Сарыарке, во всем Прииртышье такая шуба была, как утверждают, единственной. К шубе Зейнеп подходили сапожки, выстланные войлоком, сапожки с высокими голенищами. Летом они сменялись легкой алой обувью жоикайма — хожу, как на пружинах.

Первый раз в жизни женское платье с подолом до колеиок Зейнеп заставили надеть вскоре после смерти бабушки.

Зейнеп упрямилась, мать сперва ее мягко уговаривала. Но когда уговоры ни к чему не привели, Топан перешла на свой обычный в таких случаях грубый окрик:

— До каких пор, говорю, ты будешь выставлять напоказ свои бедра. Была бы еще худенькой, на штаны твои никто не косил бы глаз. А то вон какая жирная. Спрятать, говорю, пора задницу — ты ее, как овца курдюк, развесила. Где твой стыд, спрашиваю? Сам бог не позволяет, чтобы приметы женские на виду у всех торчали...

Мать кричала и кричала, а Зейнеп понурилась, но не сдавалась.

— Скажите,— исходила яростью Топан,— разве бывало, чтобы жеребенок сам хотел, чтобы его стреножили. Жеребят насильно арканят. Плюньте на ее причуды. Я вам велю. Разденьте насильно и одевайте в женское. Боитесь, что уколет...

Так в первый раз заставила мать свою Зейнеп одеться, как все девушки в ауле.

Но перед этой поездкой все было куда спокойнее и тише. Волновалась только одна мать, роясь в сундуке в поисках подходящего наряда. Чего только не было там — бусы и шолпы, платья и камзолы, прибереженные для дочки. Среди многочисленного добра была одежда, пошитая разноплеменными бродячими портными из кокандского и китайского шелка, из дорогих русских тканей.

Когда мать наконец подобрала приличествующую этой поездке одежду и Зейнеп оделась без всяких понуканий, все ахнули, словно увидели ее впервые. Так расцвела, такой привлекательной выглядела она в новом своем наряде.

Зейнеп была стройной, милой, пленительной. Словно это ее прославляли степные акыны:

Среди всех красивых отличить легко
Белое лицо твое — кровь и молоко.

Не о ней ли сложили песню:

Плавная, как лебедь, степью проплыла,
Серебряным горлом ты меня звала!

Не о ней ли пропели и эту:

Черные глаза твои блещут и горят,
Стан твой очень тонкий, гибкий, как тростник.
И зубов жемчужных ослепляет ряд,
И прохладны губы, как степной родник.

И еще одна песня:

Величавой походкой уходишь ты в путь...
Будто белая юрта, упругая грудь...

Если собрать разные изречения акынов о девичьих прелестях — это и будет Зейнеп, это и будет красавица в казахском народном понимании. Ко всему этому она отличалась высоким ростом и приятной округлой полнотой.

Высокая ростом, умом ясна —
На чье же счастье она рождена?

В ответ на это люди, знающие Зейнеп, с восхищением говорили:

— Она рождена только для того торе, что учится в Омске. Ай, какая красивая! Ай, какая стройная! Одна беда — капризы ее язык изломали.

Еще в ту пору, когда щеголяла она в своем мальчишеском наряде, жители аула вслух мечтали о том, как расцветет Зейнеп, сменив не в меру яркую одежду молодого джигита на обычное девичье платье. Теперь они дождались исполнения своей мечты и наперебой делились друг с другом новостью и передавали ее в ближние и дальние аулы. И так как вести в степи распространяются быстро, а любопытным в степи нет числа, то к юрте Чормана потянулись и конные

и пешие взглянуть на Зейнеп в новом наряде. Но суеверная Топан всячески прятала дочку от посторонних, побаиваясь дурного глаза, особенно накануне такой важной поездки.

Самые настойчивые, не попав в юрту, грозили проделать дырки в кошме, и разозленная Топан сказала своим джигитам:

— Еще юрту повалят. Берите камчи, гоните их в степь.

Обиженные таким нелюбезным приемом, аулчане расходились и разъезжались, ворча и угрожая:

— Нарядили дочь, будто бы не знаем, зачем...

— Сбыть с рук решили, не иначе...

— Выйдет — хорошо, а не выйдет — себя вините!..

И намекали издалека, что им уже известно, как ведет себя легкомысленный омский жених.

...Шум так же быстро утих, как и вспыхнул. Наступил день отъезда.

С тех пор как Чорман пришел к власти в Баянауле, он приобрел вкус к почету, привычку пышно обставлять свои путешествия в степь. За день вперед он высылал по своему пути верховых, чтобы они подготавливали заранее места обеда и ночлега, ставили юрты, обеспечивали свежим кумысом и мясом. В аулах по пути следования суета, заботы, как бы не ударить лицом в грязь, не прогневить султана. Всех всадников надо было напоить и накормить, всех гостей Чормана. А к нему и в Омске приходили многие. И на квартиру, где он останавливался, доставляли сабы кумыса, стригунов и кобылиц-трехлеток на мясо. Вестовые султана извещали в аулах, что потребуется столько-то и столько-то мяса и даже денежные суммы определяли для предстоящего тоя. Ослушаться тут было нельзя. Не выплатишь долга или утаишь его часть, тебе же хуже будет. Султану не трудно и в тюрьму упрятать, и в ссылку послать.

...Во время прежних своих поездок в Омск Чорман не любил спешить. За два-три дня можно было бы приехать в город, но он растягивал путь на несколько недель, наслаждаясь пиршествами и долгими разговорами у дастархана.

На этот раз он изменил своему обычаю и, сославшись на болезнь Айганым, собрался быстро и останавливался только на необходимый недолгий отдых.

По дороге решили, что Чорман в Омске остановится у своего старшего родственника — бая Кудера, а Айганым в доме имама Габдиррахима, которого называли ахоном шести округов. Айганым и прежде гостила у Габдиррахима. Ханше было удобно жить в его доме еще и потому, что это он, Габ-

диррахим, помог ей устроить Чингиза в дом татарина Сейфсаттара Сейфулмаликова, одного из первых городских богачей. Дом его, рассказывал тогда Габдиррахим, просторный, сосновый, сыну будет хорошо жить и подкормят мальчика, и за одеждой его присмотрят. Помнила Айганым и радушный прием, оказанный Сейфсаттаром еще до того, как сын поселился у него. Все четыре жены Сейфсаттара оказались женщинами разных национальностей — татарка, узбечка, казашка и уйгурка. Каждая жена жила отдельно, у каждой всего вдоволь, в том числе и ребятишек, весело сновавших по двору, а в обширном доме бесшумно нарушавших границы владений своих матерей.

На Айганым Сейфсаттар произвел очень хорошее впечатление. Рослый и чуточку сутуловатый, смуглый, густобровый, с черными смолистыми усами, приподнятыми концами кверху, и такой же черной пучкообразной бородкой, какую обычно носят башкиры. В его глубоко посаженных глазах светилась усмешка. Глаза поигрывали лукаво и даже чуточку игриво, хотя при этом его монгольское, несколько суровое лицо продолжало оставаться неподвижным. Он был и обходительным и замкнутым. И жадным и щедрым. Про него, татарина, говорили, что он башкир, превратившийся в казаха.

Айганым увидела в нем своего человека и даже прозвище ему дала — Черный естек. Естек — под этим именем среди казахов были известны башкиры.

А он в свою очередь почтительно звал ее байбише, но произносил это слово, заменяя «ш» на «ч».

И они не обижались друг на друга.

Однажды Сейфсаттар сказал Айганым, что, если она в чем-нибудь нуждается, он готов ей всегда прийти на помощь, а рассчитаться всегда успеет.

Айганым вначале вежливо отказалась, но некоторое время спустя, приехав в Омск, испытала нужду в деньгах и одолжила у Черного естека довольно большую сумму. Когда же настал срок возвращаться в аул, то растерянно спросила у него, как ей быть теперь с долгом.

Сейфсаттар или, как сокращенно называла Айганым, Саттар — успокоил ее. Дескать, нет ничего страшного:

— Нужно еще — берите. Впереди у нас много времени.

Отношения у них складывались как нельзя лучше. И вот теперь их дружбе, кажется, подходил конец. Предстоял неприятный разговор. Не могла смириться Айганым с вестью, что ее сын не только путается с дочкой Черного естека, но чуть

ли не решил взять ее в жены. Как бы ни был богат Саттар, разве можно было поставить его рядом с Чорманом.

Одна мысль владела Айганым — отвести беду, близко не допускать сына к этой девке.

Габдиррахим познакомил ее с Черным естеком, он обязан и помочь ей теперь. Айганым думала, что, остановившись у него, она выяснит все подробности. Пригрозит ему в случае его отказа тушить пожар, в котором он хоть и не прямо, но виноват. Она имеет право ему пригрозить. Кто он, Габдиррахим? Еще недавно бедный имам Омска. А ныне с помощью Айганым и Чормана стал ахоном шести округов. К нему стекаются и деньги верующих и подношения натурой. Он стал богатеть и научился сам выбивать свою долю по каждому удобному случаю. Живший несколько лет назад в медресе Омской мечети, он уже успел построить себе восьмикомнатный особняк с подворьем, где разместились многочисленные хозяйственные службы. Небольшого роста, еще на памяти Айганым худой и хилый, он разжирел и приобрел осанистость. И перед намазом в ближайшую мечеть и на уроки в медресе он ездил в собственной повозке. Откуда, спрашивается, все это взялось? Откуда хлынуло к нему богатство? Из степи, из казахских округов. А среди окружных султанов самым влиятельным и сильным был теперь Чорман. С ним жили в согласии и все остальные султаны. Вот на это обстоятельство больше всего и рассчитывала Айганым. У Габдиррахима есть возможности ей помочь, есть сила уважаемого имама. А не захочет — Чорман подействует на него. Пусть попробует Габдиррахим ему перечить, не посмеет, нет. Не пожелает расстаться со званием ахона шести округов.

Чтобы нашим читателям все стало ясным, придется подробнее рассказать о Сейфсаттаре. И не только о нем.

В первой половине XIX века в Средней Азии столкнулись колонизаторские интересы Англии и России. К тому времени, о котором у нас идет речь, Англия цепко зажала в своих тисках Индию и с жадностью высасывала из нее кровь. Англичане тянулись к Тибету, в Кашгарию, они начинали проникать и в Кокандское ханство. Они зарились на рынки и сырье сопредельных с Россией народов. Не дремала и Россия. Ее беспокоили действия и планы Лондона, ей надо было знать, что происходит рядом. Поэтому Россия искала людей, способных вести разведывательную работу в странах Среднеазиатского Востока. Одним из таких умелых разведчиков и был Мафди Рафаилов, азербайджанец по национальности, долгое время живший в Петербурге. Не раз он бывал в Тур-

ции, Иране и Индии, выполняя особые поручения. Он ловко сочетал деятельность разведчика с торговыми делами, в которых настолько преуспевал, что получил звание купца первой гильдии. А за свою негласную политическую работу был произведен царским правительством в надворные советники.

Выезжая по своим дальним маршрутам, Рафаилов запасался и хорошей экипировкой и достаточным количеством денег. Умел он выбирать надежных спутников. Одним из них был крещеный татарин Мамзур, прозванный христианами Харитоном, а мусульманами — Хасаном. Этот татарин, бывавший и в Казани и в Омске, свел Рафаилова с Сейфсаттаром Сейфулмаликовым.

Сейфсаттар приглянулся Рафаилову. Служил он приказчиком у богатого русского купца Ганшина, а в год знакомства с Мафди был уже самостоятельным торговцем, сколотившим небольшое состояние. Ему уже приходилось бывать в Кашгарии и доходить до Тибета. Он знал дороги, знал языки, неплохо говорил даже по-китайски. Рафаилов взял Сейфулмаликова в свой торговый караван в качестве проводника. Так они и стали служить вместе — Мафди, Хасан и Сейфсаттар.

Караван Рафаилова двинулся путем, хорошо известным Сейфсаттару. От города Чугучака через горы Тянь-Шаня курс был взят на Кашгарию. Песками Такла-Макан путники огибали один за другим уйгурские города. Сейфсаттар решил провести караван северной окраиной Такла-Макан, свернуть к городу Кумулу, иначе называющемуся Хами, и дальше, через Алтынтау, пробиваться в Тибет. Южные города он намеревался посетить на обратном пути. План этот не удался. Уже в городе Кучар (казахи его называли Кошером) стало известно о смерти китайского императора, богдыхана. В стране был объявлен траур. Иноземным торговцам в течение шести месяцев запрещался въезд в города, а те, которые там уже оказались, на этот же срок лишались права выезда за городские пределы. В такое заточение и попал караван Рафаилова. Но предприимчивые торговцы извлекли пользу даже из этой вынужденной стоянки. До сих пор торговцы встречали на своем пути большие киргизские аилы, кочевавшие по ту и по эту сторону Тяньшаньских гор. Киргизы, занимавшиеся преимущественно животноводством, очень нуждались в товарах, особенно в одежде. Товары находились от них далеко, и они рады были караванщикам. Тут Рафаилову и его спутникам предоставились необыкновенные возможности. Рассказывают, торговцы получали яловую овцу за ткань на одну ру-

баху и две овцы за пару сапог. Скот, приобретенный таким образом, они выгодно сбыли в Кучаре, где, как и в других уйгурских городах, был всегда велик спрос на мясо. Овцы шли в обмен главным образом на дорогие меха — шкурки куниц, соболей, белок, выдр. Выгодно здесь можно было приобретать и драгоценную яшму самых разных оттенков.

Через полгода караван двинулся из Кучара дальше, в таинственный Тибет. Там, в Тибете, древней родине драгоценных руд, было много золота и серебра. Настоящей цены благородным металлам местные жители тогда не знали. Богатство, как, вероятно, не без преувеличения рассказывают современники, было рассыпано по земле. Приложи немного усилий и собирай. Правда это или вымысел, но можно с полным основанием утверждать, что каравану Рафаилова повезло. Каких только слитков серебра и золота не было там приобретено. И жамбы — подарки родителям и родственникам невесты, и слитки тай-туяк размером в копыто годовалого жеребенка, и слитки кой-туяк — копыто овцы, и даже слитки атан-туяк величиной со ступню верблюда.

Долгими были торговые странствия в те времена. Караван Рафаилова в поисках богатой прибыли лет семь-восемь находился в Тибете и Кашгарии. Рафаилов хотел побывать и в Кашмире. Вероятно, не только купеческие интересы, но и замыслы разведчика влекли его туда. Однако караванщики так истосковались по родной земле, по родным домам, что и слушать не захотели уговоров своего хозяина Рафаилова. Пришлось возвращаться, и снова путь лежал песками пустыни Такла-Макан.

Где-то между Яркендом и Кашгаром Рафаилов неожиданно заболел. Внезапно появилась опухоль и стала расти не по дням, а по часам. Поговаривали, что во время ночлега, когда он спал, его укусила либо ядовитая змея, либо паук-каракурт или тарантул. А может быть, все произошло совершенно иначе, как утверждали осведомленные люди. Хасан и Сейфсаттар сговорились между собой и решили завладеть богатством Рафаилова. Им известна была страсть Мафди к опиуму, и они подмешали туда змеиный яд. От этого яда он и умер.

Случилось это в год восстания уйгур под предводительством ходжи Жангира против китайского владычества, продолжавшегося полтора столетия. Уйгуры снова взяли управление страной в свои руки.

Караванщики привезли труп Рафаилова в город Кашгар и с разрешения местных властей похоронили его рядом с мо-

гилой святого Аппак ходжи, Белого ходжн. Похоронили Рафанлова с почестямн н даже воздвнгли ему мазар.

Хасан н Сейфсаттар нспросили у Жангира дозволення возвращаться через перевал Музарт. Преодолев перевал, стали спускаться западными предгорьями Тянь-Шаня к границе. Тут на караван напали кочевые киргизы н взяли в добычу много скота и нного добра.

О подробностях ограбления рассказывалн по-разиому. Но скорее всего правы были те, которые утверждали, что Хасан и Сейфсаттар ловко воспользовались нападеинем кочевников н припрятали принадлежащие Рафаилову золото, серебро и другне драгоценности, свалнв пропажу на грабителей.

Погонщики каравана разбежалнсь кто куда, спасаясь от преследователей в горных ущельях. Но Хасан и Сейфсаттар держались друг друга и вместе продолжали путь. На границе Сейфсаттар оказался уже однн с несколькнми осликами, нагруженными рухлядью.

В таможне он рассказывал уже по-своему подробности ограбления:

— В страхе у каждого над головой свой аллах. Всяк себя стремится спасти. Я бежал куда глаза глядят. Кто погиб, кто остался жнв,— ие знаю.

Сейфсаттар, утверждают знающие люди, лукавил. Он просто убнл своего спутника Хасана, сбросил его в пропасть с какой-нибудь скалы. А похищенные вместе с ним драгоценностн уберег под седлами и в старых мешках, забитых рухлядью. Но ему поверили, н он благополучно привез в Омск рафанловскую прнбыль.

Сейфсаттар сделал так, чтобы его богатство не бросалось в глаза людям. Он заннмался небольшой торговлей, воздерживался поначалу от значительных трат, вел скромный образ жнзнн. Возвратившиеся караванщикн передавалн нз уст в уста, что тут дело нечисто, что Сейфсаттар совершнл преступленне. Омскне властн взяли его на подозренне, в течение нескольких лет следили за ннм, однажды даже учнннли допрос. Но прямых улик не было. Сейфсаттар держался спокойно, и тайна так и осталась иераскрытой.

Сейфсаттар богател. Однако мало лн кто богатеет! А то, что он пускал в оборот и награбленные капиталы, доказать ннкто не мог. Так он беспрепятственно стал купцом первой гнльднн н уже самостоятельно стал отправлять хорошо снаряженные караваны в страны Средией Азии и Китай.

Чннгиза он охотно взял в свой дом. Наслаждаясь богатством, Сейфсаттар стремился его приумиожить. Этой цели

могли бы содействовать почет н уважеиие со стороиы влиятельиых казахов. Сын ага-султаиа, правителя целого округа, знатный чингизид с хаиской кровью в жилах в глазах Сейфсаттара становился надежным звеиом, связывающнм его, богатого татарского купца, со степью. Со времеием и Чиигиз станет одним из сильных правнтелей, думал Сейфсаттар. К тому же, ои намеревается учиться по-русски. Человек, знающий русский язык, ие пропадет. Почему бы такого человека не приручить, почему бы не сделать так, чтобы он пустился в полет из его, сейфсаттаровского гнезда.

И еще одна мысль не давала покоя хитрому преуспевающему купцу. Ведь в его гнезде и примаика для такого степного орленка готова. Четыре жены роднли ему ие только десяток сыновей, но и пять или шесть дочек. Среди них была н ровесиица Чингиза, смелая, с огоиьком Днль-Афруз, дочка третьей жены, узбечки Гульхан. Бог ие обделнл девочку красотой н способностямн. Училась оиа так же, как Чингиз, в русской школе. Так в глубоко посаженных глазах Сейфсаттара загорался огонек иадежды: будут вместе расти, привыкнут друг к другу, а там, глядишь, Чингиз уже не сможет обойтись без нее.

Надежды Сейфсаттара были не напрасными. Как только Чингиз появился в его доме, ои сразу приметил Днль-Афруз. В первые дни н месяцы это была почти детская привязанность. Чингиз скучал по родной степн, ему не так уж весело жилось в чужом городе. Но наступали сроки, н Чингиз иачинал по-другому посматривать иа привлекательную всегда оживлеииую Диль. Прошло еще время. Год, а может быть, два нли три. Если день был занят муштрой, и второй день тоже, н быстрая Диль ии разу не попадалась на глаза, Чингнзу стаиовилось не по себе.

Так в тринадцать лет Чингиз влюбнлся. И Диль-Афруз не была к нему равнодушна.

Эта любовь не пришлась по душе узбечке Гульхаи. Оиа пыталась было помешать дочке и Чингизу. Но Сейфсаттар властно прикрикнул иа нее:

— Молчи! Не мешай им, дура! Нравится нм быть вместе — пусть будут! Пусть дружат с этих лет, зиачит, аллах предиазначил им жить вместе.

Гульхан не сдавалась.

— И аллах ие предназиачил и тебе иеизвестио — будут ли они жить вместе.

На непроиицаемом лице Сейфсаттара мелькнуло подобие улыбки.

— А почему бы ему и не жениться. Разве не корм голодному торе мое состояние?

Гульхан знала о том, что мальчик уже помолвлен с дочерью Чормана из рода Каржас.

— Что же станется с той, из Баянаула?

Сейфсаттар хохотнул:

— Что и с тобой сталось. Ты одна из четырех моих баб, и она такой будет.

Гульхан только рукой махнула.

...Чингиз знал о том, что где-то в далеком ауле у него растет невеста. Влюбленный в Диль-Афруз, он, воспитанный в обычаях того времени, думал про себя так же, как Сейфсаттар. Он возьмет в жены свою милую Диль, если согласится мать. И тогда у него будет только одна жена. Но если мать будет настаивать на своем и смирится Диль-Афруз, он возьмет дочку Чормана второй женой.

Чингиз даже набрался мужества поговорить об этом с девушкой.

Но она вспыхнула, оттолкнула от себя Чингиза, а потом стала мучить его слезами:

— Как только ты мог сказать такое? Как только ты осмелился?

И, помолчав, добавила сквозь слезы:

— Если ты говорил серьезно, а не шутил надо мною,— злая это шутка, Чингиз,— то я перестану существовать не только для тебя, но и для мира.

Может быть, эти слова Диль-Афруз покажутся читателю высокопарными. Но дело в том, что именно так она думала и говорила. В сложной полигамной семье вырастала девушка, воспитанная на русских и французских книгах, воображавшая себя романтической героиней, способная пойти на любую жертву ради любви.

Чингиз вначале не придал значения ее словам.

Юноша и девушка продолжали встречаться и зашли далеко в своих отношениях.

Однажды Диль сообщила Чингизу, что она беременна. Он и прежде говорил: «Нет силы, способной разлучить нас». Это было уже убеждением тогда. И в этом своем убеждении он окончательно укрепился теперь.

И вдруг эта весть. Весть, летящая стрелой в сердце: едет мать!

И новая весть: завернула по пути в аул Чормана.

И еще более горькая весть: мать и Чорман едут вместе, невеста с ними.

Чингиз вспомнил обещание матери приехать в Омск и устроить той в честь окончания ученья. Время исполнить обещание приблизилось. Но мать почему-то не поехала прямо через Кзылжар. Значит, этот крюк в три раза больше обычного пути сделан ради дочери Чормана. Значит, мать узнала о его отношениях с Диль-Афруз. Значит, они попытаются принести ей и мне несчастье. Пусть приезжают! Пусть пытаются! Я буду стоять на своем. В крайнем случае останусь в Омске. Мне же предлагают здесь службу. Что они тогда со мной сделают?

Так, рассуждая сам с собой, Чингиз предчувствовал неминуемую схватку. По возможности мягко, чтобы не напугать свою Диль, он рассказал ей об этом.

Впрочем, омским казахам и даже всем мусульманам было уже известно во всех подробностях и о поездке, предпринятой Айганым и Чорманом, и о событиях, происходящих в доме купца первой гильдии Сейфсаттара. Слухи эти коснулись и ушей Диль-Афруз еще до того, как с ней начал разговор Чингиз. Одинокой птицей, застигнутой в ровной степи бураном, чувствовала она себя. Куда бежать, где спрятаться, что делать? Она представляла неукротимый нрав Айганым, властную степную силу Чормана. Ей было хорошо известно, что Чингиз не только уважает мать, но и побаивается ее. И без того неприятный приезд Айганым и Чормана совсем омрачится появлением в Омске Зейнеп, любимой дочки султана и келин ханской вдовы.

Все это пришло на память Диль-Афруз в минуты разговора с Чингизом и с новой силой взволновало ее смятенную душу. Диль не выдержала, ахнула и упала в обморок. Но даже когда она пришла в себя, Чингизу не легко было ее успокоить. Ей было худо еще и потому, что в доме все знали о случившемся, а отец в это время находился по своим торговым делам в Семипалатинске. Ведь только гибкая камча Сейфсаттара могла навести порядок, прекращала споры четырех жен. Они и в обычное время постоянно ссорились, жили как кошки с собаками, желая друг другу зла. Они не здоровались между собой. Но если можно было сделать хотя бы одной из них какую-нибудь пакость, три остальных дружно объединялись. Так случилось и на этот раз. Все три жены злорадствовали, нагло подсмеивались и над Диль-Афруз и над ее матерью. Гульхан беспомощно суетилась и причитала у постели дочки.

Диль-Афруз пролежала несколько дней, в рот ничего не брала, кроме воды. А когда она наконец встала, в Омск приехали виновники ее несчастья.

На берегу Иртыша стояло несколько юрт аула рода Каржас, и сородичи со всей щедростью были готовы оказать гостеприимство своему султану Чорману. Здесь Чорман и остался. Айганым, направлявшаяся в дом Габдиррахима, сказала ему на прощанье:

— Слушай, Чорман, сына я все равно заставлю повиноваться, захочет он поступать по-моему или не захочет. Но ты сам не передумал? Дай мне еще раз согласие на брак наших детей.

И Чорман опять подтвердил, что слова своего он не меняет:

— Все в нашей воле. Они уже вошли в возраст. Шариат разрешает жениться и раньше.

На том и расстались.

Едва голова коня, впряженного в повозку Айганым, коснулась ворот подворья Габдиррахима, как сам грузный хозяин выбежал навстречу. Хитрый имам, он был готов к ее приезду и хорошо знал все его обстоятельства. Однако сделал вид, что ничего не подозревает и просто обрадован неожиданному появлению почетной гостьи.

— О-о, байбише, добро пожаловать. Как мы давно не виделись!— лебезил он скороговоркой. Несмотря на свою полноту — он обрюзг и ожирел за эти годы, бородка и усы с одинокими прежде сединами тоже стали теперь черно-белыми — ловко подскочил к повозке, легко приподнял крупную отяжелевшую Айганым и поставил ее на землю:

— О-о, байбише, прошу в дом...

Довел ее до порога, пропустил вперед в открытую дверь и, осторожно поддерживая ее локоть, проводил в просторную гостевую. В комнате этой обычно останавливались богатые баи, мирзы, именитые бии, властительные представители дуанов и всяческие ученые и влиятельные мусульманские священнослужители. Весь дом Габдиррахима был убран в восточном стиле и, в особенности, комната для гостей: ее стены, сплошь увешанные коврами, сияли яркими пламенеющими узорами. На устланном ворсистыми коврами полу лежали и шелковые одеяла с подушками.

Габдиррахим предложил чай, кумыс. Надо утолить жажду с дороги, а потом можно приступать и к беседе.

Между тем, гостевая комната наполнялась людьми — джигитами Айганым и приближенными имама. Чаепитие обещало быть длительным. Это как раз и не устраивало Айганым.

— Хазрет,— почтительно обратилась она к имаму,— нам бы надо было поговорить наедине.

— Не лучше ли сперва чай, байбише? Устали в пути,— Габдиррахим попробовал оттянуть разговор.

— Чай после, хазрет. Нам надо остаться вдвоем.

Не дожидаясь, пока их попросят выйти, люди один за другим покидали комнату. Кто-то еще мешкал, до кого-то еще не дошел смысл слов Айганым, но она уже указала имаму место рядом с собой. И тот, изображая всем своим лицом полное недоумение, послушно приподнялся и с трудом, под тяжестью собственного груза, перевалился поближе к Айганым.

Когда они наконец остались вдвоем, Айганым спокойно спросила, все ли здоровы в семье Сейфсаттара, и также спокойно, не выдавая своего волнения, попросила имама рассказать, что он знает об отношениях Чингиза с дочерью купца. Габдиррахим начал отнекиваться, удивляться, утверждать, будто впервые слышит такое. А если там и случилось что-нибудь, то он, имам, не подозревал ничего и не может к этому быть причастным. Айганым поняла: на ее обходительность и хитрость Габдиррахим отвечает тем же. Вежливостью тут ничего не добьешься. И вдова пошла напрямик:

— Это ты познакомил меня с бродячим башкирцем, это ты определил моего мальчика в его дом. Это в твоей голове и в голове Сейфсаттара еще тогда возникли черные мысли. Слушай, хазрет, пожар разгорелся. Ты его сам и потушишь. Иначе станешь моим первым врагом. И тогда пеняй на себя.

Ох, как опасно было иметь дело с ханской вдовой. Габдиррахим старался и так и этак. Спорил, снова уверял Айганым в своей полной непричастности. Но она так умела наступать, что имам понял всю бесполезность дальнейшего сопротивления. Больше всего подействовала угроза Айганым лишить его ахунства шести округов. Тут было произнесено имя Чормана: уж если у женщины не хватит сил, то у баянаульского султана их достаточно. Под конец Айганым совсем напугала имама:

— Смотри, хазрет. И дом твой велю поджечь. Ты и охнуть не успеешь, как вспыхнет пламя, и все твое богатство пойдет на ветер!

Переждала и тихо сказала:

— Давай твою руку, хазрет! Будем действовать вместе!

Перетрусивший толстяк так растерялся, что не смог сразу ответить. Он даже не представлял себе, как можно исправить положение. И, помолчав, невнятно пролепетал:

— Что же надо делать, байбише? Скажи...

— Дела наши не так уж плохи,— отвечала Айганым,— сына я призову сюда, чтобы вернуть его, беспутного, на дорогу.

Понадобится запереть — запрем. Приглашу я сюда и дочь Чормана. А ты, хазрет, благословишь этот брак.

Имам только головой кивал в знак согласия.

Айганым поделилась своим замыслом с Чорманом.

Так Зейнеп из аула на берегу Иртыша перешла в большой городской дом и жила полупленницей в одной из его комнат. Она нисколько не сопротивлялась, потому что не только свыклась со своим будущим замужеством, но и сама хотела теперь стать женой Чингиза.

В самом дальнем углу своего подворья имам выстроил для младшей жены — токал — флигель — небольшой четырехкомнатный дом из сосновых бревен. Назывался он почему-то юртой молодых — отау. Туда-то и переселилась из гостевой комнаты большого дома Айганым, чтобы там говорить с Чингизом, там заключить брачный союз, там жить до отъезда из Омска.

Известие о том, что мать ожидает его в отау Габдиррахима, Чингиз скрыл от Диль-Афруз. Еще заболеет снова, с тревогой думал он, а клятвы все равно не нарушу.

У Айганым не было сомнений в том, что сын придет. Но не было и спокойствия на душе. Она терзалась в догадках, как поведет он себя теперь, как лучше обуздать его своеволие, как заставить забыть эту девку. Айганым строила одно предположение за другим, выбирала мысленно пути к сердцу сына и никак не могла выбрать самого верного, самого надежного. В эти минуты нелегких раздумий в дверях появился ее мальчик, ее Чингиз. Он, казалось, сиял. Он вытянулся, вырос, выглядел особенно стройным и подтянутым в ладной, словно созданной для него военной форме. Но, странное дело, все ее раздумья мгновенно улетучились, не испытывала она уже едва вспыхнувшее чувство радости встречи. Зато досада и злость неудержимо росли в ней.

А Чингиз? Он вдруг ощутил себя мальчиком, он потянулся к матери, как в аульном детстве, он бросился к ней, чтобы обнять ее, приласкаться, выкрикнув одно-единственное слово:

— Мама, апа!..

Но Айганым резко оттолкнула Чингиза:

— Апа? Вот тебе апа!

Она с размаха ударила его по лицу.

Что было сильнее — боль или внезапное унижение,— он не смог разобраться и потом. Он помнил: горела щека, ломило скулу, будто по ней стукнули камнем; темные круги дрожали в глазах. И от удара и от горькой обиды он повалился на диван. Кто знает, сколько бы пролежал он в таком оцепенении,

уткнувшись лицом в жесткий ворс ковра, еслн бы ие визглнвый окрик матерн:

— Подыми голову, посмотрн мне в глаза!..

Чингиз послушался н дрогнул от страха. Мать склонилась над ним с кинжалом в руке. Он видел тонкий холодный блеск отточениого лезвия. Да мама ли это? Так, должно быть, прнходит посланинца самой смерти. Неужели оиа так разгневаиа? Неужели она сможет воизить в него кинжал. Значит, он был прав, когда боялся ее. Чингиз отпрянул в сторону от матери. И снова представил себя беспомощным ребеиком, которого вот-вот жестоко накажут.

— Мама, апа!— только и сумел жалобио простоиать он на высокой, почти детской ноте.

Конечио, Айганым выхватила кинжал не для того, чтобы расправиться с сыиом. Она хотела его припугиуть. Но кто может ручаться, чем бы окончился приступ безотчетной ярости, еслн бы не этот детский, почти беспомощный зов. Он-то н пробуднл усиувшее в этн минуты материнское чувство. Айганым увидела перед собой маленького Чингиза, зрачок своих глаз. И разом пропала злость и необузданность хаиши, бабья теплая слабость хлыиула к вискам, проступила каплями пота иа лбу н ладоиях, кинжал выпал нз рук, н сама она безвольно растянулась на том же диване и запрнчитала:

— Ойбай, ойбай, лицемерный аллах! Ты взял у меня мужа, ойбай! Отнял мою женскую радость! Ты лншил меня удачи, ойбай! Ты отобрал у меня скот. Где мое богатство, ойбай? Хитрый аллах! Теперь ты хочешь отиять и мое последнее счастье, счастье матери. Что я тебе сделала плохого, лицемерный аллах? Ойбай, почему ты так жесток ко мне?..

Она голосила, растнрая по лнцу слезы, н Чннгнз проннкался жалостью к матери, забыв, что щека горела от пощечииы. Он обнял мать, прнжался к ее рыхлым вздрагнвающим плечам:

— Не иадо так, апа, не надо! Ведь ничего еще не случнлось, а ты горюешь...

— Ничего не случилось, ойбай? Горя, зиачит, иет?— Айганым запричитала еще громче. Она высвободнлась от объятий сына, сложила ладони н молитвеино подияла их.— Вот этимн руками я благословляла тебя от чистого сердца матери. А ты иаплевал иа благословение, ты нарушил наш обет.

— Какую я давал клятву? Когда я нарушил, где?— невольно вскрикиул Чингиз. Ведь он н в самом деле ничего не обещал матери.

— Спрашнваешь, когда и где?— В голосе Айганым снова

зазвучала угроза. Она перестала плакать, подняла кинжал.— Отвечай, пока душа в теле. Правду говори, слышишь. Ты в самом деле решил взять в жены дочку этого естека?

Чингиз растерянно воззрился на мать. Язык слабо повиновался ему.

— Апа, я думаю...— запинаясь, начал он, но Айганым его резко оборвала:

— А ты не думай. Отвечай прямо: ты берешь эту девчонку в бабы, хочешь сделать ее своей женой?

— Апа-ау, выслушай меня, прошу...

— И слушать не хочу, как ты виляешь. Не будет она твоей бабой, пока я жива. Не то что спать, а и ходить с ней рядом не позволю. Ослушаешься, кинжал вот этот всажу в тебя, если хватит сил моим рукам. А не хватит, в себя его воткну!

— Апа моя, апа,— заторопился Чингиз,— дослушай меня, два-три слова тебе скажу.

Айганым устало вздохнула:

— Ну, ладно, давай свои два-три слова.

Чингиз было решил придать разговору шутливый оттенок, даже попробовал улыбнуться, чтобы хоть немного поднять настроение матери. Но быстро понял — ничего из этого не получится, волнения и страха он не преодолеет, говорить бодрым голосом не сможет. И все же он попытался быть чуточку тверже:

— Скажи мне, апа, разве мы не из того рода, где в обычае мужчин иметь несколько жен?

— Ну, и дальше,— обдала его холодком Айганым, не отвечая на вопрос.

— Значит, и мне можно так, апа?

Айганым подумала, спокойно сказала:

— Можно и тебе. Но сперва с благословения аллаха отведай курдючного сала и печенки на свадебном тое и возьми в жены дочь нашего свата Чормана. Поживешь с ней, привыкнешь к ее ласкам за несколько лет, а потом твоя воля — хоть сто баб бери.

— А если, апа, поступить по-другому?

— По-другому, говоришь? Как?

— А так: с дочери естека начать. Ты бы хоть раз взглянула на нее.

— Зачем мне смотреть. Я, что ли, ее себе в бабы выбираю.

— Нет, ты познакомься сначала. Какая у нее душа, апа, какая она удивительная...

— Чем только она тебя удивила?

— И красой, и стройностью, и нежностью.

Чингиз опять говорил плаксиво и умиленно. Этим-то и воспользовалась Айганым, чтобы прикрикнуть на сына:

— Ты что, вокруг пальца хочешь меня обвести? И что ты за вздор несешь? Не выйдет, говорю. Не выйдет, и все тут. Только через мой труп возьмешь ты эту девку.

Чингиз окончательно потерял равновесие. Где уж ему было обдумывать свои ответы. Высоким срывающимся голосом он выкрикнул:

— Ребенок у нас будет, апа!

— Помет на голову такому ребенку.— Злость волчицы мерцала в глазах Айганым.— Сколько таких детей гниет в степных оврагах. И тех, что родились живыми, и тех, что скинули блудливые девки до срока. Живым ли появится на свет, неживым — все равно ваш ребенок для оврага рожден!

— Нет, апа, нет!.. У нас будет не так.

— Не так?— И Айганым размахнулась, чтобы залепить новую пощечину. Но сын ловко уклонился, рука матери повисла в воздухе, и новый взрыв ярости затряс ее.

— Не будет она твоей женой, не будет!— Разгневанная Айганым глухо и сильно стукнула три раза по ковровому полу.— Запомни, не будет!

— Я сказал, апа, женюсь. По-моему выйдет!

— Выйдет, говоришь? Нет, нет и нет!— Лицо Айганым стало еще злей и краснее, чем в то мгновение, когда она ударила сына. И опять лезвие кинжала сверкнуло в ее руке.

На этот раз она направила кинжал себе в подреберье.

— Пусть тогда я сама умру!..

Все последовало дальше непостижимо быстро. Чингиз успел повиснуть на руке матери, отвести от ее тела кинжал, уже коснувшийся камзола. Но, повиснув на одной ее руке, он понял, что справиться с матерью не так-то легко. Преодолевая сопротивление сына, рука Айганым упрямо тянулась пырнуть клинком жирное тело, пырнуть себя там, где учащенно и тяжело билось ее больное усталое сердце.

Чингиз, как мог, уговаривал мать. Но ничто не помогало: ни сыновьи уговоры, ни сыновьи крепкие руки. Айганым металась, как тигрица, попавшая в капкан, и хрипло приговаривала:

— Пусти, пусти! Тебе говорю, пусти!

Она так цепко сжимала кинжал, что Чингиз не выдержал и дрогнул. Он заплакал:

— Апа, апажан, сделаю все, что ты захочешь...

— Правда, сын?— И голос и рука матери стали мягче.

— Правда, апажан! Правда, мама-голубушка!

— Поклянись тогда прахом своего деда!

— Клянусь прахом моего деда!

— Нет, не так! Ты имя его назови!

— Дедом моим Аблаем клянусь!

— Нет, не так! Ты полностью все скажи.

— Прахом деда моего Аблая клянусь!

Айганым отложила кинжал, сунула руку за пазуху и вытащила оттуда какой-то предмет величиной со спичечную коробку. По темной коже Чингиз сразу понял, что это такое. Мать не однажды рассказывала, как ее святой дед привез из Мекки крохотный рукописный Коран, Калам-шарифт. Его подарил деду имам, священнослужитель на могиле пророка в Медине. А дед подарил Коран внучке своей Айганым. Она считала священную эту книгу тумаром — талисманом и постоянно носила при себе во внутреннем нагрудном кармане.

— Раскрой книгу, целуй Калам-шарифт!— приказала мать.

Воспитанный в религиозном духе, Чингиз помедлил. Произнести клятву с Кораном в руках означало отрезать все пути назад.

— Держи!— повторила Айганым не терпящим возражения тоном.— Снова поклянись и поцелуй.

Как ему ни было трудно, Чингиз повиновался и через силу поцеловал Коран.

Айганым нельзя было узнать, так она повеселела.

— Кончено!— с облегчением сказала она.— Да буду я жертвой дальних предков твоих, и моего деда святого, и самого пророка, повелителя двух миров. Хватит ли у тебя силенок перешагнуть через их прах.

И как заклинание произнесла слова молитвы:

— Пайгамбар алла аллахи галайхи уас-салем.

Чингиз молчал. Мать оказалась сильнее его. Он был полностью побежден.

Но сомнения в удаче еще не оставляли Айганым. Представился случай — значит, надо решить все до конца. Приоткрыв дверь, сладеньким тихим голоском она спросила:

— Здесь кто-нибудь есть?

Айганым сама наказала своей служанке Куникей стоять наготове у входа, как только Чингиз появится в отау. Куникей не только выполнила наказ ханши, но, прильнув ухом к двери, слышала все от начала до конца, что происходило в комнате. Она переживала встречу своей госпожи с сыном, переживала, затаив дыхание, не смея выдать себя, не то что переступить порог.

И теперь, услышав спокойный голос ханши, она впорхнула в комнату легко, словно жаворонок, который освободился от непреодолимой силы змеиных глаз, заставляющих птичку цепенеть над землей.

— Ау, благословенная. Я здесь.

— Позови имама, Куникей. И невесту вели привести. Пусть и свидетели придут,— распорядилась Айганым. И уже вдогонку бросила:— Да смотри, чтобы посторонние люди не набежали.

Потом смерила острым взглядом поникшего Чингиза:

— Не горюй, сынок. Сейчас придет твоя нареченная, посланная тебе духами двух предков. Дед ее славен, как твой дед. И она тебя достойна. Свеженькая, как первое молоко. Любой джигит почитал бы за честь назвать ее своей любимой. А ты еще артачишься.

Чингиз молчал.

Айганым прислушалась: вокруг было тихо.

Еще раз пристально посмотрев на сына, она вышла в соседнюю комнату.

Айганым была убеждена, что первыми откликнутся свидетели. Они не станут мешкать. С ними она договорилась. Что касается Зейнеп, то такой уверенности у Айганым не было. Невеста очень юная, с капризами, на людях показываться не привыкла. Вдруг начнет колебаться, тянуть, а придет в отау — засмущается.

Напрасно опасалась Айганым. Решение, принятое Зейнеп еще в ауле, было на удивление твердым. Девочка выросла самолюбивой и не переносила оскорблений. Она и в дороге думала об обиде, нанесенной ей дочерью какого-то торговца-естека. В Омске эта обида стала еще горше. И девушка попросила одного из джигитов отца, которому доверяла всей душой, показать ей Чингиза. Какой он, мой торе? Джигит пообещал исполнить просьбу.

— Только смотри, сделай так, чтобы я увидела его, а он меня нет,— предупредила она напоследок.

— Будет по-твоему,— согласился джигит.

Вскоре выяснилось, что повидать Чингиза со стороны проще простого. Чингиз в своем войсковом училище, может быть, и отставал немного от других в изучении общих военных наук, но в кавалерийском деле не имел соперников. С малых лет он ездил на стригунке, потом гарцевал на жеребце-трехлетке, а когда повзрослел, то мог скакать не только на любом коне, но объезживал и не знавших седла табунных норовистых неуков. В училище он сразу пристрастился к армейским скакунам,

приобрел вкус к казачьей джигитовке, к играм на ипподроме и вызывал восхищение военных и штатских омичей искусством верховой езды.

Пожалуй, всему немногочисленному в те годы населению Омска был известен этот статный молодой ордынец в форме казачьего урядника с шашкой на левом боку. Известен был как отличный наездник. Им любовались не только в дни состязаний на ипподроме, но и тогда, когда он проезжал пыльной улицей, красуясь в седле, сдерживая бег своего породистого скакуна.

Джигиту нетрудно было установить в городке улицы, где имел обыкновение показываться Чингиз. Юноша знал, что им любуются, и следил за своей осанкой, за шагом коня.

Вот и вышло так, что невеста впервые увидела Чингиза во всем его великолепии. Она разглядела и его быстрые пронзительные глаза, и брови вразлет, и туго перетягивающий плечо ремень, и небрежное поигрывание послушным конем.

Зейнеп подумала: и мечтать нельзя о лучшем муже. Ни за что не отступлюсь от него! И тут же задала себе самой тревожный вопрос: а вдруг он от меня откажется. Говорят, дочка естека умеет завлечь, в городских нарядах щеголяет. Нет, не бывать этому! А если...

И Зейнеп привязала к позолоченному поясу, которым стягивала безрукавный камзол, небольшой ножичек. Вдруг пригодится, мелькнула недобрая мысль.

...В этот памятный день, когда Чингиз пошел в отау на свидание с матерью, Зейнеп предупредила Куникей:

— Хорошая весть будет — иди к моему окну с поднятыми руками. Плохая весть, я и так догадаюсь.

Зейнеп в ожидании стояла у окна и не сводила глаз с флигеля, в котором скрылся Чингиз. Она слышала стук собственного сердца, и ей ежеминутно казалось, что приоткрывается входная дверь. Сколько прошло времени? Час, два? Зейнеп от нетерпенья зажмурила глаза, а когда их открыла — двор пересекала Куникей. Она бежала с поднятыми руками. Зейнеп выскочила ей навстречу, не переводя дыхания от волнения.

— Спеши к нему, голубка, спеши!— радостно торопила ее служанка.— Аллах помог нам. В той, левой, комнате твой жених с матерью. Иди к нему скорее.

И Куникей помчалась дальше звать имама и свидетелей.

Зейнеп, не чуя под собой ног, пронеслась по двору и влетела на порог показанной ей комнаты. Несколько мгновений в нерешительности задержалась: ее будущей свекрови здесь не было; непонятно, куда она могла скрыться, ведь Куникей ска-

зала, что ее ждет и Айганым; Чингиз сидел один на диване, обтянутом коричневым бархатом; сидел, задумчиво опустив голову.

«Будь, что будет»,— подумала Зейнеп и бросилась к нему.

Мило шепелявя — мой торе, мой торе!— она, еще никогда никого по-женски не ласкавшая, жарко и доверчиво прильнула к Чингизу. Она крепко и неловко обхватила его обеими руками и целовала его в щеки. А он, пригорюнившийся, не отвечал ей.

От волнения Зейнеп шепелявила сильнее обычного.

— Мой торе, я буду тебе хорошей подругой. Бог предназначил нам быть вместе. Смирись.

Тут послышались шаги, голоса, и в комнату почти одновременно вошли со двора имам со свидетелями, а из второй внутренней двери Айганым. Зейнеп встала с дивана не раньше, чем ее все увидели, и в несколько притворном смущении — она не была робкой от природы — отошла в угол, стараясь ни на кого не смотреть.

Айганым, конечно, видела все. Она следила за каждым шагом Зейнеп, подслушивала каждое ее слово. Обратила она внимание и на то, как равнодушно вел себя Чингиз. Но не давая понять, что ей все известно, сладко и торжественно произнесла:

— Как приятно смотреть на вас, дети. Вы навсегда обрели друг друга. Хазрет, пора!— шепнула она Габдирахиму.— Вы же сами утверждаете: разлучать молодых — грех, соединять — благо. Сотворите же благо для детей, читайте ежеп-кабыл.

Имам начал читать ежеп-кабыл, молитву мусульман при заключении брака. И свидетели сделали свое дело. И молодые испили свадебной священной воды.

Чингиз покорно исполнял все, что требовали от него, не смея нарушить клятвы и воли матери. А Зейнеп сияла, не в силах скрыть своей радости. Она напоминала верблюжонка, которому только поводья не давали как следует расшалиться.

Флигель — отау был отдан молодым. Не велено было никого туда впускать, кроме единственной служанки.

Чингизу пришлось смириться со своей участью. Но Зейнеп не давала ему горевать. Она не выпускала своего торе из ласковых и сильных рук. Еще вчера проводившая время в невинных забавах, не желавшая расставаться с мальчишескими своими нарядами, озорная гроза табунщиков, она неузнаваемо изменилась за несколько дней. И откуда только в ней, юной степной шалунье, так рано проснулась пылкая опытная жен-

щина? С каждым днем становилась она неистовей и горячей в своей любви.

— Привыкают друг к другу,— сказала осведомленная во всем Айганым Чорману.

— Это хорошо, но не было у нас свадебного тоя,— пожалел Чорман и тут же предложил сватье ехать вместе с молодыми к нему в Баянаул и там отпраздновать как следует. Айганым не возражала. Стали уже готовиться к отъезду, как вдруг разнеслась недобрая весть: утонула Диль-Афруз. Она не простила Чингизу измены и бросилась с высокого берега в глубокую Обь.

Вначале сомневались — так ли это. Но все оказалось правдой.

Айганым и Чорман неодинаково отнеслись к гибели дочки Сейфсаттара.

Айганым испугалась. Ее прежде всего страшило, что Чингиз после смерти Диль-Афруз затоскует, будет ходить сам не свой. Боялась она и Сейфсаттара, только что вернувшегося домой из Семипалатинска. Рассказывали, убитый горем естек во всем обвиняет Чингиза, грозит карой, решил обратиться в суд. Мол, скот отдам, чтобы его засудили, а нет — головой рассчитаюсь. Купец был опасным врагом, властью денег он мог испортить жизнь Чингизу и даже уничтожить его. Айганым в поисках выхода задумала бежать с молодыми в родной аул, ночью незаметно исчезнуть из Омска. А там пусть ищут концы, степь защитит.

Совсем иначе рассуждал Чорман:

— Чего нам бояться, ее никто не убивал. Ее никто не толкал в воду, сама утонула. А почему утопилась, никто толком не знает. Скажут, путалась с моим зятем. Да разве это причина? Кто отказывается от кумыса, кто не тешится с девушками? Если все девушки и юноши из-за любовных неудач будут в реки бросаться, в живых на свете никого не останется. Ничего мы не потеряли и не надо нам бояться Сейфсаттара. Говорят, он сел на коня. Ну и что? Куда он пойдет, туда и мы пойдем. Как он докажет, что мой зять виновник ее гибели? Он думает, закон поможет ему. А я думаю, закон поможет нам. Волноваться не стоит. Не могу же я отменить той из-за того, что чья-то дочь утопилась. Сказал, отпразднуем свадьбу, значит, отпразднуем.

Но как же отнесся к этой смерти сам Чингиз?

Служанка-татарка в тот же день шепнула ему об этом так, чтобы не услышала Зейнеп.

Он не сразу поверил и даже был немного напуган, но осо-

бению переживать не стал. В его неокрепшую семнадцатилетнюю душу прочно вошло представление о ханской крови, о достоинстве богатых и родовитых ханов, всегда имевших по нескольку жен. Его отец имел семь жен, дед — двадцать три. И хотя Диль-Афруз была первой любовью Чингиза, он считал ее своей первой женой. Это ведь он говорил Диль: «Ты для меня все». Это ведь он обещал ей верность, и Диль верила обещаниям. Но жаркие ночи во флигеле-отау имама Габдиррахима сделали свое дело. Обещание оказалось нарушеным, к Диль-Афруз Чингиза уже почти не тянуло. Он жалел девушку, но жалость эта была неглубокой.

Да и Зейнеп помогала рассеять и боль и память о прежнем.

Она не оставалась в неведении. Болтливая служанка втайне от Чингиза в срок известила и ее. Но если Чингиз огорчился, то Зейнеп открыто обрадовалась и облегченно вздохнула:

— Уф!.. Избавилась я от этой беды. Скажи, а Чингиз уже знает?

Служанка развела руками:

— Думаю, что нет... Кто ему мог сказать?

Но по нахмуренному лицу Чингиза Зейнеп догадалась, что ему все известно. Она не докучала ему никакими вопросами, не сделала ни одного намека; только ласки ее стали нежнее и горячей.

Так все и обошлось бы, и свадебный той в Баянауле отпраздновали бы на славу, если бы не нагрянула новая тяжкая беда.

Неожиданно заболел Чорман. Началось с пустяка. Однажды утром он почувствовал зуд над уголком рта. Зуд не проходил, потом появился прыщ размером с кончик пальца. Прыщ начал расти. Звали лекаря-баксы. Не помог. Разыскали русского врача, и тот не сумел ничего сделать. Все лицо заплыло в опухоли. Прошла какая-нибудь неделя, и Чормана не стало. «Бог послал ему смерть»,— говорили доброжелатели. «Это в наказание за гибель дочери Сейфсаттара»,— злорадствовали враги.

Видные посланцы родов Каржас и Суюндик, съехавшиеся в Омск, единодушно решили везти труп Чормана на его родину, в Баянаул. С похоронами надо было торопиться: наступала летняя жара, а Чорман при жизни отличался дородностью и полнотой.

Казалось бы, путь Чингиза и Зейнеп вместе с Айганым лежал в Баянаул на похороны и поминальный той. Но тут произошли события, изменившие естественый ход вещей.

Чингиз, рассчитывавший остаться на военной службе в

Омске, получил совсем другое назначение. Именно в это время его старший родственник Кенесары поднял свое многочисленное войско, уже оттесненное от Кокчетау в Тургайские степи, на новое восстание. В этот раз на религиозную борьбу — газават его благословил имам Марал. Кенесары перенес свою ставку на берега озера Кусмурун. Царские власти решили сразу потушить разгоревшийся степной пожар, направив на подавление мятежного султана два карательных отряда: один из них формировался в Оренбурге, другой — в Омске. Омский отряд возглавлял лихой офицер Шамрай. Ему необходим был помощник из образованных казахов, знающий и военное дело и русский язык. Советник Турлыбек Кошенов для этой цели предложил на утверждение западносибирского генерал-губернатора Вельяминова кандидатуру Чингиза. У Турлыбека было, по крайней мере, два основания сделать все, чтобы Чингиз отправился в дальний поход. Он видел в нем опасного соперника — молодой офицер мог занять его место. Видимо, на судьбу Чингиза повлиял и Сейфсаттар. Он во что бы то ни стало хотел отомстить ханскому отпрыску за смерть своей дочери. Поговаривали, что он щедро одарил золотом и толмача-советника Турлыбека и самого генерал-губернатора.

Выбора у Чингиза не было. Назначение его не радовало — как-никак приходилось подымать меч на своих же сородичей,— но особенно и не огорчало. Предстояло решить самый трудный вопрос, как быть с молодой женой, где останется Зейнеп. Айганым, будь это в ее воле, увезла бы невестку к себе в Сырымбет. Однако весь род Каржас, и в особенности сын Чормана Муса, даже мысль об этом приняли как оскорбление.

Не по своим шестнадцати годам рослый и решительный Муса сказал:

— Если бы Чингиз остался в Омске или поехал бы в свой аул, другое дело. Но ведь он будет в походе. И еще неизвестно, когда вернется. А у нас горе, у нас на руках покойник. Я не могу отправить к родственникам мужа сестренку, на которую сразу свалилось несчастье. Она такая юная... Как она перенесет свое одиночество? Нет, этого я не могу позволить. Сестра поживет с нами. Возвратится Чингиз и возьмет свою подругу.

С Чингизом наедине Муса говорил прямо и сурово:

— Власти тебе приказали — ты едешь в поход. А я свою сестренку в трауре везу домой. Я тебе желаю благополучия. Ты думаешь, я не знаю о твоих похождениях в Омске. Что ж, в молодости все горячатся, и я тебя не могу укорять. Но теперь вы заключили брак. Бог вас соединил и родители. Перед богом и перед народом некуда отступать. Знай, сестра не свер-

нет с пути, будет тебя терпеливо ждать, сколько надо. Ну, а если ты свернешь в сторону — помни: добром это не кончится. Как потребуется, так и сделаю. Ни перед чем не остановлюсь.

Самым грустным и тяжелым было прощание с Зейнеп. Черные, как смоль, большие, чуть выпуклые глаза ее затуманились. На длинных изогнутых ресницах дрожали капельки слез. Дрожали и не скатывались. Она склонила голову, скрестила руки и тихо шепелявила, проглатывая «р».

— Мой торе, твоя воля быть моим или не быть моим. Но я до самой смерти твоя. А если тебя для меня не станет, не будет и меня для мира.

Чингиза позвали, минуты прощанья кончались. Зейнеп так и застыла в горести, не вышла за порог. И Чингиз думал о ее последних словах, возвращаясь к ним не раз в долгие дни похода. Что это значит —«не будет и меня для мира?» Неужели она может умереть? Умереть, как Диль-Афруз? Какие испытания посылает мне судьба! Почему мне встречаются девушки, готовые наложить на себя руки?

... Два года походной жизни подходили к концу. В отряде Шамрая Чингиз возмужал, приобретая не только военную сноровку, но и основательно раздумывая над своим будущим. Много было в походе тяжких дней, победа давалась нелегко. Только через два года войско Кенесары после кровопролитного боя было отброшено к берегам Сырдарьи, сражаться дальше с мятежным султаном и одолеть его предстояло уральским казачьим частям.

Карательный отряд Шамрая возвратился в Омск. Их встретили хорошо: Шамрай был произведен в полковники, Чингиз — в подполковники.

В степи было еще тревожно. Опасность новых вспышек восстания, особенно в окрестностях Кусмуруна, заставляла власти принять предупредительные меры. Возник проект создания нового Кусмурунского казахского округа со строительством военного укрепления на берегу озера. Туда прочили начальником полковника Шамрая, а Чингиза предложили назначить ага-султаном.

До утверждения проекта и Шамраю и Чингизу предоставили отпуск для отдыха.

Чингиз подумал и решил сначала ехать не к Зейнеп, находящейся не так далеко от Омска, а к Айганым, в глубинную степь, в Срымбет.

Чувствами он рвался к Зейнеп, но к матери — разумом и сыновьим сердцем.

Он рано лишился отца, почти не знал его ласк и забот.

Его растила, воспитывала мать. Перед ней он считал себя в неоплатном долгу.

Вся жизнь матери была перед ним как на ладони. Он знал о ней столько хорошего, но теперь начинал понимать и плохое.

Чингиз догадывался, почему его мать, едва перешагнув сорок лет, так быстро начала стариться. В этом возрасте женщины, и степные и городские, выглядят еще хорошо, если, конечно, их не подтачивает болезнь. Чингиз вспоминал мать Диль-Афруз Гульхан. Ровесница его матери, Гульхан выглядела прекрасно. Статная и свежая, она могла привлекать как женщина. Она была в расцвете сил. Еще морщинки не появились на гладком и румяном ее лице. Но разве Айганым жилось хуже? Разве у Айганым было больше изнуряющих забот? Или омский воздух целебнее степного и городская пища лучше аульной? Нет, Айганым жилось легче, богаче, привольнее! Уважение и почет тоже не укорачивают жизнь. Их-то и не доставало Гульхан и хватало в избытке Айганым. Почему же все-таки так случилось?

Однажды степной акын сказал:

Полунамек сильней прямых обид.
Он как больного колика страшит.

Чингиз пришел к убеждению, что здоровье матери, ее дух и волю сокрушили бесчисленные полунамеки.

Без мужа баба,— есть такие толки,—
Беспомощна, как нитка без иголки.

Должно быть, оттого, что Айганым рано овдовела, да еще потому, что сама едва ли была до конца безгрешна, кого только ни припутывали к ней — русских и казахов, и знатных и незнатных, и молодых и старых. Самый малый слух охотно подхватывали сплетники и сочиняли целые истории. Аульные бездельники всем на потеху добавляли в эти истории новые подробности. Находились и умелые шутники-рассказчики, которым ничего не стоило передавать сочиненную сказку в лицах, на разные голоса, с такими жестами и мимикой, что слушатели смеялись до слез.

Узнавала об этом и сама Айганым. Непристойные россказни доходили и до ее детей. И до Чингиза, жившего далеко от матери в Омске.

Тогда он не придавал сплетням большого значения, а теперь не сомневался в том, что вместе с настоящими бедами эти постоянные насмешки преждевременно состарили его мать.

Она болела еще тогда; еще тогда ее, грузную, потучневшую, мучали одышка и сердцебиение. Но то, что она совсем слегла, одолеваемая тяжелой болезнью, Чингиз узнал только в дни своего возвращения в Омск из похода на Кенесары. Нашлись аулчане-очевидцы, сомневавшиеся в том, что она долго протянет. И Чингиз поспешил в Срымбет, чтобы застать ее живой, чтобы получить материнское благословение.

Айганым почти не вставала с постели. За эти два года она так изменилась, что Чингизу стало не по себе. Приезд сына пробудил на некоторое время ее угасавшие силы. Хотелось поговорить о его дальнейшей судьбе, рассказать ему, что происходит вокруг.

И в Срымбете и во всем Кокчетавском округе произошло много событий. Со слов матери и от близких людей Чингиз скоро разобрался во всем.

Честолюбивый Зильгара, сменивший в свое время Айганым на посту ага-султана, не смог удержать власть в своих руках. Его сын Алибек, заносчивый бездельник и барымтач — любитель угонять чужой скот, не оставлял в покое жителей окрестных аулов. Никакого сладу с ним не было, и возмущенные скотоводы отправляли бесконечные жалобы не только в Омск, но и в далекий Петербург. И власти, убедившись в справедливости жалоб, решили: если Зильгара не может утихомирить своего родного сына, то какой же он ага-султан. На эту должность был назначен тихий Таии, внук Аблая от сына Чингиза. Тот самый Таии, у которого Чорман выпросил в дар любимую ловчую птицу, ястреба Серую Пику. Народ поддержал Таии, ханского потомка, человека благоразумного и спокойного. Подала за него свой голос, лишенный прежней властной силы, и больная Айганым

Новый ага-султан сразу прослыл правителем благодушным. Но его доброты хватало далеко не на всех. До сих пор он был одним из почетных приближенных Айганым, до сих пор она его считала преданным ей родственником мужа. Но увы, оказалось, что Таии просто ждал случая, чтобы выпустить свои спрятанные когти Он затаил глубокую обиду на Айганым еще с того года, когда она упекла в ссылку его младшего брата Сартая. В свое время он чуть ли не одобрял ее поступок — дескать, Сартай сам виноват, но на самом деле обозлился и в течение долгих лет держал камень за пазухой, чтобы ударить теперь свою сноху.

Таии, взяв узду власти в свои руки, начал мстить Айганым. Первым его решительным шагом было убийство Балтамбера.

Еще отец Балтамбера Тунгатар, из ветви Караман рода Уак, почти всю жизнь был табунщиком Вали. Он походил на великана и обладал могучей силой. Сам Балтамбер превзошел и отца. Рост — верблюжий; посмотреть на него сзади — лопатки и затылок, как у быка-трехлетки; засучит рукава — мускулы на руках дыбятся волнами на озере в бурю; но дотронься до мускула — почувствуешь крепость и твердость камня. У него, широкого и нескладного, все было необыкновенных размеров. Голова, как надутый бурдюк; уши, как ладони; нос, как ступка для проса; мясистые красные губы; курчавая черная борода, с младости не знавшая бритвы, и только глазки были слоновьими — узкими и небольшими. Балтамбер был наделен сказочной силой. Он мог схватить за челку необъезженного горячего коня и свалить его наземь, он хватал несущегося аргамака за хвост и останавливал его. Если бы он не был табунщиком, стал бы батыром. Степные батыры и так не осмеливались вступать с ним в поединок. В быту Балтамбер был очень неопрятен; мыться не любил, грязь въедалась в поры его кожи; от него всегда пахло потом; он крупными горстями засовывал в рот жевательный табак — насыбай, и уголки его губ были всегда испачканы коричневой слюною. Но здоровьем он отличался удивительным. Даже в сильные морозы накидывал чуть ли не на голое тело старенький чекпен из верблюжьей шерсти, натягивал на босые ноги подлатанные сапоги, брал видавший виды кожаный малахай и работал без рукавиц, не чувствуя холода. А летом ему было достаточно широких штанов: он обходился без рубахи и не боялся солнца. Ел он за двоих, а то и за троих. Ему не составляло труда справиться с чашей сала и выпить ведро кумыса. Но обжорство не было в его натуре. Поест так один раз в день и больше не прикасается к пище. Характер у него был покладистый. Балтамбер избегал ругани и споров, не стремился советоваться по любому поводу, а молча делал свое дело. Легко прощал маленькие обиды. Но если по-настоящему сердился, то не кричал, не дрался, а просто сжимал обидчику руку, сжимал там, где есть мускулы, и это было больнее сильного удара. И если уж кто-нибудь задирал его, то на расстоянии, побаиваясь подходить близко.

Балтамбер начал пасти табун вместе со своим отцом. Потом ему поручили дойку кобылиц в ауле Вали. Балтамбер привязывал к канату двадцать-тридцать кобылиц и успевал их выдаивать, пока другие не справлялись и с пятеркой. В скорости с ним никто не мог тягаться. Прежде кумыс привозили на верблюдах, теперь Балтамбер сам притаскивал пе-

реполненные тяжелые сабы. Ночью он выпасал свой кумысный табун. Бывало, у других табунщиков лошадей поедали волки, а у Балтамбера за все время не пропал даже стригунок. Весь дом Вали, в особенности Айганым, уважали такого редкостного работника.

Но что за дело было до этого аульным сплетникам. У них есть свой шариат, без благословения аллаха. Айганым не зря, мол, уважает Балтамбера. Значит, они близки друг к другу. Так поговаривали еще при жизни Вали, а после его смерти утверждали, как непреложное:

— Балтамбер? Разве он дояр Айганым? Нет, это ее муж.

Сплетня распространялась, росла, бросала тень на честь рода Аблая. Кто хотел, тот и чесал язык: а вы не знаете, ханша у нас какая! Особенно надоедали родственникам. Те, в свою очередь, завидуя ли такому работнику или просто стремясь уколоть Айганым, раздражали ее сначала полунамеками, а потом брякали и напрямик. Однажды байбише в гневе запретила говорить об этом:

— Не мелите больше чепухи!

И вместо того, чтобы отдалиться от Балтамбера, приблизила его к себе. В свое недолгое ага-султанство она брала его возчиком, зная, что он всегда охранит ее в пути. И позднее, расставшись с должностью ага-султана, она выезжала в гости в его сопровождении. Потом Айганым приглашать стали реже, но она не изменила своей привычке ездить в степь, в предгорья, к лесным озерам. И по-прежнему парой лошадей правил все тот же Балтамбер.

Аульных сплетников это окончательно вывело из себя. Они придумывали слухи один другого грязнее:

— Устанет Айганым в пути, захочет передохнуть, тогда они останавливаются, и Балтамбер гладит ей спину.

— Это что?! Он ее и в озере сам купает.

— Купает? Вы лучше скажите, что их связывает.

— Айганым считает — ездить с батраком хорошо: и он ничего не скажет, и другие не подумают.

— Нашла себе байбише табунщика. Молодого, огромного, богатырской силы.

Передавали из уст в уста, придумывали новые подробности.

А в последние годы сочинили обидное:

— Состарилась ханша, не гладит он ей больше спину.

Но вопреки сплетникам Балтамбер по-прежнему оставался близким человеком Айганым.

Сплетни поползли снова, как только Тани принял пост

ага-султана. Не без его усилий они достигли таких размеров, что оскорбляли достоинство всех потомков Аблая. И самого Тани в их числе. Вот тут и начал ага-султан со своими доверенными людьми хладнокровно и обдуманно готовить убийство Балтамбера. Искали самый верный способ и никак не могли найти. Убивать в открытой схватке — еще неизвестно чья возьмет. Нескольким пешим на него пойти — он их расшвыряет кулаками, конных подослать — посбивает с коней своим увесистым соилом. Нет, действовать надо по-другому. И выход был найден.

На юго запад от Срымбета, неподалеку от Иманских гор, с недавнего времени возникла станица из татар, приписанных к казачьему сословию. Тани завел дружбу со станичным атаманом Салахом, человеком жестоким и корыстным. Он-то и посоветовал султану прикончить Балтамбера из пистолета. Это, сказал он, самое легкое дело.

— Из пистолета?— переспросил Тани. Он знал ружья, знал пушки, знал стрелы, но пистолета и в глаза не видал.— А какой он?

— Вот какой!— и Салах вытащил из кармана небольшой пистолетик.

— Маленький какой. И может убить человека?— недоверчиво покосился Тани.

— Наповал убьет. Слова произнести ваш Балтамбер не успеет.

Салах показал, как надо обращаться с пистолетом и отдал его Тани. Но кто же стал исполнителем этого мрачного поручения? Выбор султана пал на Шепе, старшего брата Чингиза, тщедушного коварного человечка. Он, давно начиненный аульными сплетнями, ненавидел Балтамбера. Не имевший и понятия о чести, он делал вид, что оскорблена его честь. Он давно грозился то проткнуть табунщику брюхо ножом, то срубить ему голову топором. Погоди, останавливал его Тани, случай удобный выбрать надо. И сделать без шума, чтобы никто не знал.

Как хищно обрадовался Шепе, когда Тани вручил ему пистолет. Наконец-то! Договорились так: ночью Шепе найдет Балтамбера в степи, там, где он пасет кобылиц. Найдет будто бы случайно и спросит словно в шутку: «Убить тебя, Балтамбер?» Балтамбер так же в шутку ответит: «Убивай! Только как это ты сделаешь?» И Шепе попросит табунщика отойти и пошире распахнуть на груди свой старый чекпен верблюжьей шерсти. Ничего худого не подозревая, Балтамбер так и сделает. И тогда... Тогда надо стрелять!

Поначалу все шло так, как задумали. Простодушный Балтамбер стал в ярком свете луны против Шепе и даже выпятил свою могучую волосатую грудь.

— Ну, теперь убивай.

Шепе, не показывая пистолета, запрятанного в рукаве, тщательно прицелился и спустил курок.

Пуля навылет пробила грудь. Выстрел был негромким, отрывистым. Балтамбер ничего не понял. Он почувствовал боль, прижал руку к сердцу, но даже не пошатнулся. Шепе выстрелил второй раз в голову. Балтамбер упал, не успев вскрикнуть.

Тут подбежали люди, подосланные Тани — они скрывались неподалеку,— схватили труп, отвезли его к озеру Кылы у подножья Срымбета и так глубоко закопали в глухом овраге, что никому не удалось обнаружить внезапно исчезнувшего Балтамбера.

Напрасно Айганым просила сороднчей мужа найти табунщика. Напрасно она отправляла людей в его родной аул. Напрасно ее успокаивал Тани. Мол, испугался дурной молвы и упреков. Поэтому и скрылся в родных краях. Где же его там искать.

После исчезновения Балтамбера Айганым совсем перестала выходить из дома, не вставала с постели. Никто не может достоверно сказать, что здесь было истинной причиной: обычное ли участие в человеческой судьбе или, действительно, она относилась к нему не так, как к другим. Так или иначе, но ей стало совсем худо.

...Чингиз плакал, глядя на мать. Ему горько было смотреть на слипшиеся от пота волосы, на тусклые глаза, на бесформенное расползшееся тело, которым она перестала владеть. Она говорила с трудом и, задыхаясь, жадно ловила ртом воздух.

Чингиз плакал.

Но его приезд просветлил сознание матери, оживил ее ум, помог собрать последние силы. Она не проливала слез. Отдавая себе отчет в том, что доживает последние дни, Айганым нашла мужество говорить с любимым сыном о будущем. Отрывисто и тем не менее ясно высказала она ему заветную мечту. Как ей хотелось дождаться того часа, когда избранная ею самой невестка Зейнеп переступит порог Орды и займет свое место келин в доме.

Чингиз молчал. Он боялся ответить невпопад, боялся ускорить приход смерти, уже незримо подстерегающей мать.

Чингиз не мог сказать всего, что он передумал за эти го-

ды. Он помнил, как в дни его любви к Диль-Афруз злился на мать, как был подавлен ее волей, как утратил надежды на счастье. И хотя потом он смирился со своей участью, и Зейнеп стала ему близкой и дорогой, чувство досады и недоверия к матери так и не исчезло за эти два походных года. Много передумал он и о Зейнеп. С нежностью, с горечью, с тревогой.

Нет вины Зейнеп передо мной, говорил он сам себе. Ее судьба — замужество, ей нужен был мужчина. И если им стал я, она не властна была выбрать другого. Она ему говорила — люблю! И она не лгала. У него нет повода упрекать ее в болтливости. Она не баба, прошедшая через замужество Какой у нее жизненный опыт? Девушка, почти девочка. Только что раскрывшийся алый цветок. И ему, а не кому-нибудь, дала она вкусить первую медовую сладость. Девушка, почти девочка И шепелявила она по-детски. Но своей стройностью и привлекательностью не уступала степным красавицам. И душою чиста. С того часа, как остался с ней наедине, во флигеле-отау, и до последней минуты прощанья ему довелось испытывать ненасытное наслаждение ее красотой, ее пылкостью. Все время, и в походе и теперь, звучали ее слова при расставании:

— Мой торе... Я до самой смерти твоя.

После возвращения в Омск и здесь, в Срымбете, он узнавал подробности ее жизни в Баянауле, узнавал о тамошних переменах. Зейнеп приехала домой беременной и благополучно родила ему дочь. Но девочка через несколько месяцев умерла. Зейнеп в глазах аулчан стала не невестой, а женой Чингиза. Брата жены, Мусу, несмотря на его молодость, утвердили ага-султаном. Слава об его уме, честности, красноречии и находчивости росла в степи. В короткий срок он завоевал такое же уважение, которого долгой службой добился его отец Чорман.

До Чингиза дошла еще одна новость. Она имела к нему прямое отношение. Муса отметил годовые поминки по отцу и, сняв траур, исподволь начал готовиться к отправке сестры в аул мужа. Теперь приготовления были уже закончены. Степью летала весть, всех приводившая в изумление. Ойбай, какой богатый, ойбай, какой щедрый! Две белоснежных юрты со всяческим добром, двадцать пять верблюдов, впряженных в подводы, чуть ли не сотня дойных кобылиц, гурты овец на убой. Узнала об этом и больная Айганым. Все до тонкостей узнала. И обрадовалась. Но еще больше обрадовалась

она намерению Чингиза самому поехать за женой. Тем более, что тут не обошлось без подсказки матери.

Айганым собрала у своей постели родственников и друзей, чтобы посоветоваться о поездке Чингиза в Баянаул. Он, посланец ханского рода, не должен уступать им в щедрости.

— Пусть его руки будут полными даров,— наставляли старейшины.— Пусть сопровождают его уважаемые посланцы ближних родов — Керен и Уаки, Атыгай и Карааул, Канжигалы и Курлеут. Чтобы не искать ночлега, захватите с собой шатры. Их дадут вам охотно казаки из крепости. И косяк дойных кобылиц не забудьте. Пусть будет подготовлено вымя у каждой кобылицы. Ничего нельзя упустить Запаситесь колотушками и недоуздками, ведрами для дойки и бурдюками, чтобы хранить кумыс. На мясо гоните следом молодых, еще не жеребившихся кобыл Пригласят вас в аул по пути — заезжайте, не пригласят — не вздумайте останавливаться рядом. Заехал ты, Чингиз, в аул — будь щедрым! Мирза в ауле должен остаться доволен и подарками и речами. С тобою должны быть острословы: им первыми начинать беседу за дастарханом. Певцов надо взять с собою, домбристов, батыров-балуанов. И смотри, Чингиз, чтобы опытные люди присматривали за табуном.

Словом, от малого до большого все было предусмотрено. Потомок хана, офицер, будущий султан отправляется, как подобает, в свадебное путешествие.

Чингиз понимал, какое значение придавалось в степи всем этим внешним знакам достоинства и богатства. Но его беспокоила больная мать. Хватит ли у нее сил дождаться его и Зейнеп. Он спросил об этом напрямик сородичей, осторожно посоветовался с матерью.

Седой сородич сказал·

— Айганым сама пожелала, чтобы ты ехал. Мать сказала — собирайся! Значит, надо собираться в путь Придет смерть, как мы ее убережем. Не придет — и врачи ничего не сделают. Умрет Айганым — похороним ее по обычаям предков. Справим поминки как положено. Прочтешь ты молитву за упокой ее души. Познала она радость жизни, видела и почет и благоденствие. Ее будущее — тот, иной мир А все, что останется от нее здесь, будет светом для вас, детей ее. Но подожди горевать. Ты еще, может, успеешь обернуться и застанешь ее живой. Привезешь келин — двойная радость для Айганым будет.

Мать одобрила Чингиза на прощанье:

— Не задерживайся, не надо! Только смерть и удача зна-

ют — увидимся мы или нет. Встретимся мы — поблагодарим бога за добро. Не встретимся — будь счастлив. Знай, я счастлива сейчас. Ты меня не огорчаешь теперь, как раньше. Ты послушался меня. Благословляю тебя, как в детстве, белым молоком своим.

Вскоре караван Чингиза тронулся в дорогу.

Айганым снова стала предаваться молениям. В последние годы она ревностно соблюдала все религиозные обычаи. Жизнелюбивая и деятельная прежде, она превратилась в настоящую святошу, столь редкостную в казахском ауле. Если болезнь не укладывала ее в постель и если она не обедала или не ужинала, то часами не сходила с жайнамаза — коврика для верующего во время чтения молитв.

Айганым собиралась даже совершить паломничество в Мекку, чтобы заслужить звание хаджи. Она вышла в путь вместе с остальными паломниками, но очень скоро поняла, что ей не дойти,— мешали одышка и сердцебиение. Пришлось вернуться домой. Она строго придерживалась поста, не считаясь с болезнью. Но после учащения припадков и поститься было опасно, как сказали сведущие люди.

Оставалось одно — молитвы.

— Что вы читаете?— спрашивали ее.

— Нафиль. Не знаете, что такое нафиль,— я объясню. Девочка обязана читать намаз с девяти лет, мальчик — с тринадцати. Молитвы, не прочтенные в жизни, ложатся грехом на виновного. Виновный обязан отмолить этот грех. Вот это и называется нафиль. Так я стремлюсь заполнять молитвами конец жизни.

Болезнь не давала возможности Айганым соблюдать по всей форме обычай. Она не могла молиться стоя, приходилось сидеть. Полнота не позволяла ей выполнять обряд саждачи — касаться лбом пола. Она ограничивалась только небольшим наклоном головы.

Ей так хотелось, чтобы в доме был постоянно священнослужитель, которому бы она доверяла до конца. Младший двоюродный брат Айганым Пырали служил прежде в Орде, в ауле Вали имамом. Но, раздосадованный в первые годы вдовства сестры оскорбительными слухами, он заявил, что больше здесь жить не может, и поспешил в родные края. Его заменил мулла — татарин Галиаскар, получивший, если верить ему, образование в Дарра ал Фунум, религиозной школе в Каргалы, неподалеку от Оренбурга. Ставший имамом в мечети, построенной рядом с домом в ущелье горы Срымбет, он не внушал уважения, и можно было сомневаться в его дейст-

вительной учености. Тяжелая болезнь чаще заставляла Айганым думать о смерти. И если мулле Галиаскару до сих пор как-то прощалось его невежество, то теперь Айганым сочла ниже своего достоинства позволить этому безвестному татарину отпевать себя после смерти. Поэтому она и послала гонца к брату своему Пырали. Пырали не откликнулся сразу. «Сколько лет меня не искала, а теперь, видишь, зовет»,— подумал он. Гонец прибыл и во второй раз. Имам не посмел отказать сестре и приехал в Срымбет. С грустью он увидел, что состояние сестры тяжкое, пожалуй, безнадежное. Он решил быть около нее, пока в болезни не наступит перелом к лучшему, либо уж до смертного конца. Пырали хотел повидать и Чингиза вместе с его молодой женой. Имам мечтал отпраздновать с Айганым их возвращение. Но этой мечте не суждено было сбыться.

...Весть о том, что молодые едут, как водится в степи, на несколько дней опередила их приезд. В Срымбете заволновались. Особенно обрадовалась Айганым. К ней возвратился дар речи, утраченный накануне. Она беседовала с каждым, кто подходил к ее изголовью, и давала всяческие советы, как лучше встретить Зейнеп.

— Бог смилостивился!— говорили родные.— Что будет дальше, знает только аллах Только бы Айганым увидела своими глазами той невестки и сына.

— Многого мне не надо,— шептала с улыбкой Айганым,— сношеньку свою Зейнеп я полюбила всей душой. Поцеловать бы ее в белый лобик.

Айганым оживилась. Оживилась в последний раз, осветилась надеждой, как это нередко бывает перед близким смертным часом.

Спокойно лежала она на постели, как вдруг послышался шум, перестук копыт, смешанный с возгласами радости и удивления. Уже можно было различить слова:

— Приехали, приехали!

В комнату Айганым заглядывали те, кто попроворнее, и шутливо требовали суюнши — подарок за хорошую весть.

Айганым широко раскрыла глаза, хотела что-то сказать, но не смогла. Снова сомкнула веки, тяжело и хрипло вздохнула и стихла.

Это был последний вздох Айганым.

Вражда с Есенеем

Приказ об образовании нового Кусмурунского округа и о назначении Чингиза его ага-султаном дошел до Срымбета в ту пору, когда молодая Зейнеп уже обосновалась в доме своего мужа.

Казалось бы, чего проще — взять сразу Зейнеп в султанскую ставку. Но у Зейнеп, строго почитавшей аульные обычаи, были свои представления о долге снохи, и она не могла их нарушить. Пусть первые встречи со свекровью были совсем краткими, они успели полюбить друг друга.

И теперь, когда земля на могиле Айганым еще была свежей, Зейнеп с горечью вспоминала ее слова, сказанные едва ли не перед самой кончиной:

— Молю аллаха, чтобы он взял меня. Услышит он мою мольбу,— тогда поплачь надо мною от души, жеребеночек мой.

Зейнеп восстанавливала в памяти песенный плач по умершему — жоктау. Впервые ей довелось повторить вслед за акыном сложенную им долгую поминальную песню в дни похорон отца. Юная, почти девочка, она пропела ее тогда до конца слово в слово. Подавленная горем, она не забыла ни одной строки. Ей не надо было придумывать что-то новое. Песня-жоктау сохраняла свой смысл: печаль оставалась печалью. Женщины ханского рода вместе с молодой женой султана следовали казахскому обычаю. И утром, и в обед, и вечером они подхватывали песню Зейнеп. Ритмичный, хватающий за душу хоровой плач троекратно звучал в ауле каждый день.

Только запев сложила сама Зейнеп:

Кошмы бабушка мне побелила,
Разукрасила юрту мою.
Плачу я у твоей могилы,
Песнь печали — жоктау пою.

И дальше шла поминальная песня, спетая акыном тогда еще, на похоронах отца.

Самоотверженность Зейнеп и ее верность памяти свекрови не прошли незамеченными. Многие женщины восхищались ею.

— Лучше и не может быть невестки, чем наша Зейнеп. Как, бывало, хвалила ее ханша. Поговаривали, будто она женила Чингиза против его воли. А смотрите, как ныне оправдались ее надежды.

Но кроме траура возникла и другая причина, не позволившая Зейнеп переехать сразу в Кусмурун.

Она стала плохо себя чувствовать. Поест немного, начинает тошнить. Иной раз она так ослабевала, что ей нелегко было встать с постели. Опытные женщины разгадали, в чем дело: Зейнеп тяжко переносила первое время беременности.

Нашлись всеведущие старушки, посоветовавшие ей съесть мозг беркута. И не прирученного беркута, а вольного, дикого. Зейнеп тут же решила, что лучшего лекарства и быть не может. Прихоть эта до конца овладела молодой женщиной. Где только достать птицу?

Случился рядом некто Быкан, сын Вали-хана и его байбише. Приехавший в аул на похороны Айганым, он дожидался здесь сорокового дня, срока большого поминального тоя. Дрогнуло сердце старого охотника на ловчих птиц, когда он узнал про желание Зейнеп. Жил Быкан в Кзылагаче, неподалеку от гор Кокчетау. Он обычно ловил беркутов на вершине неприступной скалы Ок-Жетпес — Стрела не долетит. Немногие смельчаки добирались до острого, вонзающегося в небо, каменистого пика. Бывало, и смельчаки срывались с его опасной крутизны. Но Быкан поднимался на Ок-Жетпес не раз и не два, и суеверные люди шептали друг другу: должно быть, дух предков помогает ему.

Этих беркутов, так и прозванных охотниками Ок-Жетпес, он ловил лишь тогда, когда начинала стареть или терять зоркость его прежняя прирученная птица.

В других местах беркутов Быкан не добывал. И силой, и остротой взгляда, и хваткой они не могли сравниться с орлами Ок-Жетпес. Только пойманный там беркут мог закогтить не то что лису, но и волка, настигнув его с расстояния, куда едва доходит окрик человека.

Сказители утверждали, что птицы эти появились в горах Кокчетау с тех времен, когда в Кзылагаче на белой кошме был поднят хан Аблай. Они уверяли, что беркуты заповедной скалы даются в руки только избранным охотникам и, как правило, только тем, в чьих жилах течет древняя кровь Аблая. Рассказывали еще, что на вершине Ок-Жетпес обитает только самка беркута, высиживающая птенцов, а где в это время находится беркут-самец — никому неизвестно. Один старый человек высказал однажды догадку, что беркут-отец летает над горами Урала, поэтому, дескать, и детеныши приобретают черно-белое оперенье, похожее на черные уральские вершины, покрытые белым снегом. Чего только не говорили про этих беркутов. Была и такая легенда: покинут беркуты

Кокчетау, утес Ок-Жетпес, если в аблаевском роду не будет сыновей, способных их приручать. И ханские сторонники начинали серьезно побаиваться: хиреет род, уменьшается число преданных ему людей. Не рухнет ли Черный шанырак, не улетят ли навсегда черно-белые птицы?

Быкан был хранителем беркутиных гнезд, как чабан — овечьих отар. Он умел узнавать, когда самка отложила яйцо. Это случалось не каждый год. Если самка откладывала два яйца, то одно непременно раскалывала клювом. Ничто не укрывалось от глаз Быкана. Самка беспокойно носится над вершиной,— значит, в гнезде яйцо или уже вылупившийся птенец. Если самка подолгу пропадает летом — значит, не ждет в этом году потомства.

Быкан отличался завидной наблюдательностью и уменьем ловить беркутов. А больше, пожалуй, он ничего и не умел делать. Житейские заботы мало трогали его. Ко всему он был равнодушным, но принимал близко к сердцу и горести и удачи своих сородичей, живших от него на достаточном отдалении. Умирает кто-нибудь — он тут как тут. Рождается ребенок — Быкан не замедлит появиться. Правда, и в случае таких событий внешне он сохранял свою постоянную невозмутимость.

Что касается всяких поверий и примет, то к ним он всегда прислушивался и знал великое множество.

Стоило ему прослышать, что молодая келин пожелала полакомиться мозгами дикого беркута, как Быкан обрадовался этой вести и по-своему ее истолковал. Ему были известны и раньше причуды беременных женщин. Рассказывали: одна ни с того ни с сего потребовала волчьего мяса. Значит, на свет появится злой и жадный человек. Другую потянуло попробовать змеиного варева. Да, Да! Бывало и такое. И уж тут ничего хорошего не жди,— малый вырастет изворотливым и лукавым. А уж если появилось желание отведать мозг беркута, не соколом ли суждено стать сыну? Смелой, осмотрительной птицей, любящей высоту.

— Не зря появилось такое желание у нашей келин Зейнеп,— рассуждал про себя Быкан.— И подумать только, тянет ее не к прирученному, а к вольному беркуту. Как знать, может быть, и сын ее станет зорким джигитом, с крепкой хваткой. И снова начнет процветать ханская ставка.

О том, что келин произведет на свет дочь, старый Быкан не позволял себе и думать.

Охотник припомнил, что прошло уже около трех лет с того дня, когда он извлек из гнезда на вершине Ок-Жетпес своего

последнего беркута. Побывал в горах этим летом, приметил, что самка беркута опять кружится над скалой и приносит в свое гнездо и зайцев, и горных индеек, и даже малых ягнят. Нет сомнения, птенец подрастает. Есть возможность исполнить желание беременной Зейнеп. Быкан твердо решил: во что бы то ни стало он привезет келин самку беркута или, в крайнем случае, птенца. Надо исполнить прихоть Зейнеп, накормить ее мозгом орла.

С такой целью он и уехал, рассчитав, что вернется к сороковому дню, к поминальному тою. Замысла он никому не выдал: и дома и в ауле Чингиза сказал, что проведает родственников. Быкан всегда умалчивал, что собирался взобраться на вершину Ок-Жетпес. Так поступил он и теперь.

Его не пугали крутой подъем, острые каменные выступы. С детства он свыкся с горными кручами. И в свои пожилые годы сравнительно легко одолевал высоту. Иные запасались канатами и с трудом карабкались по почти отвесному склону, иные и не мечтали о подъеме. А он полз, плотно прижимаясь к склону, поднимался по отполированным до блеска камням, где, казалось бы, и змея не смогла удержаться. Непостижимо тонким чутьем находил он малейшие выступы и цепко ухватывался за них. Быкан не знал, что такое головокружение: ему было просто некогда оглядываться вниз, ему было чуждо чувство страха. По-хозяйски запасался он перед очередной ловлей всем необходимым, по возможности легким, снаряжением — люлькой, сплетенной из чия, бараньей шкурой, мотком шпагата. Завернув беркутенка и обвязав люльку, он осторожно скатывал ее по склону, избегая скоплений камней. Беркутенок был хорошо защищен, а сам охотник при спуске пользовался волосяным арканом, закрепляя его замысловатым узлом на стволе можжевельника, чудом росшего на самой вершине. Где-то на середине спуска одному ему ведомым приемом он высвобождал первый узел и завязывал второй на стволе одинокой сосны. И тогда благополучно возвращался к подножью утеса.

Подъем и спуск проходили не без осложнений. Быкану приходилось испытывать немало неприятных минут. Но в общем, не зря его называли покоряющим вершины. Он старался не замечать случайных ушибов, приноравливался к крутизне и в равной мере надеялся на свои мускулы, ловкость и дух предков. Архар мог бы позавидовать ему,— так скоро он очутился на вершине и в этот раз.

Птенец оказался в гнезде. Он был один, без матери. Уже отросли его крылышки в темно-белых полосах. На клюве не

проступали розовые пятна, как у самки. Клюв оказался ровного желтоватого цвета, как обычно бывает у самца. Добрая примета, подумал Быкан. Это беркут, не иначе, сына подарит нашему роду Зейнеп.

Хороший знак прибавил ему сил и решимости.

Но не так-то просто было взять беркутенка. И клюв и когти у него окрепли. Он уже вот-вот мог взмахнуть крыльями и взлететь. Птенец отчаянно сопротивлялся, не даваясь в руки охотнику. Он стремился поцарапать похитителя, норовил его клюнуть, отталкивался от него, топорщил крыльями. Низкий злобный клекот вырывался из его горла. Улучив мгновение, Быкан накинул на него сеть и связал ноги. Но, видно, связал не слишком крепко, потому что, едва он стал заворачивать беркутенка в баранью шкуру, как птенцу удалось освободить одну ногу и вцепиться когтями в край чекпена. Вцепиться так крепко, что пришлось одним резким движением оторвать кусок полы. Поединок приближался к концу. Быкан уже втискивал запеленатого беркутенка в чиевую люльку, как вдруг резкий шум и орлиный клекот заставили его вздрогнуть. Это подлетела к гнезду мать беркутенка. Она напугала охотника, не успев нанести ему удара. Быкан ощутил только сильный толчок. Хищная птица разволновалась сама, взвилась вверх, угрожающе распластала широкие крылья. Охотнику показалось — орлица в размахе не уступала размерами шкуре стригунка. Почему же она его не поранила, не схватила? И тут он понял, что был хорошо защищен расщелиной, зажатой с двух сторон камнями. Если бы не эти камни, о которые мог расшибиться беркут, плохо пришлось бы ему, Быкану.

Птица продолжала кружить, как бы нацеливаясь, чтобы вновь ринуться на охотника. Но теперь его нельзя было застигнуть врасплох. Быкан мягко, без толчков скатывая по откосу плетенку с птенцом, наломал себе для защиты несколько больших ветвей можжевельника и начал сам спускаться, обезопасив себя арканом. Дважды пыталась налетать на него орлица и улетала ни с чем. Вероятно, она поняла — человека ей не победить. Она набрала высоту и скрылась за набежавшей пестрой тучкой. Когда Быкан вернулся в Срымбет со спасительным беркутенком, Зейнеп радовалась как девочка, которой привезли долгожданный подарок.

Радовался и Быкан, невозмутимый и вялый в обычное время. Ну какой охотник не любит прихвастнуть, набить цену своей добыче!

— Если бы сношенька наша не готовилась к рождению

сына,— приговаривал он,— никогда не убил бы такую птицу. Вырастил бы этого беркута, приручил,— он бы не только лису брал с лёта, не только волка, но и медведя с оленем.

Зейнеп с аппетитом съела мозг птенца, и дело сразу пошло на поправку.

Жена выздоровела, Чингиз мог собираться в дорогу. В Кусмуруне уже с нетерпением ожидали ага-султана нового округа. Из близких людей он решил взять с собою только двоих: своего старшего брата Шепе и Абы, сына и внука туленгута в ханском роду.

Мы уже встречались на страницах нашего повествования с Шепе, нареченным мусульманским благословением Шахимарданом. В народе его недолюбливали. За глаза его иначе и не называли, как Шытырлак Шепе — лопающийся от злости, либо Шыпылдак Шепе — злобою переполненный. Всем был известен его вздорный характер, его склонность к низким и подлым поступкам. Понятно, и Чингиз отнюдь не преувеличивал его достоинств. Слышал он и о причастности Шепе к убийству Балтамбера. Но Чингиз был убежден, что старший брат будет зорко стоять на страже его интересов. Помнил он и одну пословицу с ядовитым житейским смыслом:

Когда презирается младший брат,
Старший — почетом и славой богат.

Чингиз это присловие приспособил в свою пользу. Мол, если презирают старшего брата, значит — будут в округе уважать меня.

Полное мусульманское имя Абы — Абак было почти всеми забыто. Слуга он и есть слуга, туленгут. Несмотря на то, что ему с малых лет привелось служить Шепе и даже участвовать в коварных его проделках, нрава он был незлобивого, в меру хитер и весел. Особое пристрастие он питал к шуткам и мог без конца подсмеиваться над своим собеседником, не считаясь ни с возрастом его, ни с положением. Ровесник своего хозяина, он и над ним мог подшучивать. Чингиз раньше не сталкивался с ним,— впервые Абы сопровождал его в поездке за невестой. В путешествии он был незаменимым человеком — и услужливым, и находчивым, и неунывающим. Поэтому и теперь Чингиз выбрал его в спутники. Уговаривать Абы не надо было, он согласился сразу.

Многие не одобряли выбор Чингиза, нашептывали ему: зачем ты берешь злющего задиру Шепе — покоя тебе не будет. А этот Абы — собака, лающая на привязи. Их дурная сла-

ва по пятам пойдет за тобою. Если уж не хочешь брать хороших людей, поехал бы лучше один.

Но Чингиз был упрям и не посчитался с мнением доброжелателей. У него в уме зрели свои планы, свои расчеты. Больше всего он надеялся на Шамрая — своего начальника в долгих степных походах, человека, дружески расположенного к нему. За время омских лет и военных экспедиций Чингиз несколько отдалился от аульной жизни и пренебрегал многими казахскими обычаями. Его успели наградить язвительным прозвищем Окаменелой бабки.

Народ много терпел от Шамрая. В Срымбет доходили слухи, что едва сей бравый командир появился на берегах Кусмуруна, как стал закладывать стены новой крепости и сгонять с родных кочевий аулы. Говорят, его спрашивали, куда же мы денемся? А он твердил свое — куда хотите, мне до этого дела нет. И бичи пускал в дело, а против непокорных — и дон-асар — одолевающие высоты. Так называли когда-то казахи пушки и пушечные ядра. В степи пролилась кровь. Были и раненые и убитые.

Когда подтвердилось известие, что ага-султаном в Кусмурунский округ назначен Чингиз, к нему приехали гонцы из пострадавших аулов. Слухам о бесчинствах Шамрая нельзя было не верить.

— Приезжай скорее, защити нас.

— Хорошо, приеду, посмотрю,— кратко, по своему обыкновению, отвечал Чингиз.

— Сгорим мы, пепел один останется,— взывали к нему, торопили его.

Но султан не очень-то обнадеживал:

— Что же делать... Погодите, приеду.

Ага-султан, осуждая в душе жестокость начальника крепости, боялся его и словом обидеть. В Шамрае он видел опору, в Шамрае, с которым отныне ему предстояло разделять власть, а не в своих бедных соотечественниках.

Потомок ханского рода, он понимал, что былое величие и сила Аблая уже не распространяются на него, что и мать Айганым только по привычке называли ханшей, но уже никто серьезно не верил в степи в ее влияние, в ее способность решать важные для аулов дела.

Это сознавала и Айганым в последние годы своей жизни. Ханская ставка на ее глазах утрачивала свою притягательность. Чтобы сын сохранил власть, ему необходимо было оставаться не только верным офицером царской службы, но

искать на посту ага-султана нового округа поддержку выдвинувшихся теперь богатых и влиятельных казахских главарей.

Так и только так ее Чингиз смог бы, хотя не в полную меру, считаться последним ханом и не дать окончательно рухнуть знаменитому Черному шаныраку.

В этом, примерно, русле Айганым и говорила с Тани, принявшим в свое время от нее ага-султанство. Она не подозревала, что сам Тани давно уже не был ее единомышленником и даже участвовал в козням против нее.

Но Айганым в этом разговоре, звучавшем, как завещание, не совершила большой ошибки, потому что Тани и сам готов был теперь идти на сближение с Чингизом. Несколько завидуя ему, как потомку ханского рода, втайне кося глаза на Черный шанырак — как-никак, а в течение долгих времен он был символом никем не оспариваемого могущества,— Тани видел в Чингизе и своего соратника. Не мог он отказать и Айганым в уме и расчетливости.

Смолоду Тани был щеголеват и не отличался особой самостоятельностью. В общем, он довольно легко поддавался уговорам.

Он издавна прозван был Айганым Укили — молодцом с перьями филина, которыми на затылке украшал свой головной убор.

— Знаешь ли ты, мой Укили, что шуба не бывает без воротника, а народ — без старших?

— Слыхивал такие слова, тетушка.

— А знаешь ли ты, мой Укили, какие роды кочуют в Кусмурунском округе?

— И это знаю. Больше всего там кереев и уаков.

— А границы нового округа известны тебе, мой Укили?

Тани хорошо знал и границы округа. Ему подробно рассказывал о них приезжавший недавно из Омска важный русский чиновник. Округ начинался от Кзылжара, был ограничен течением реки Есиль, от поворота реки, известного под именем Колденен, граница шла через степь до озера Кусмурун, а дальше тянулась по берегу Обагана, вплоть до слияния его с Тоболом. И, обходя по восточному краю казачьи станицы, снова возвращалась к Петропавловску — Кзылжару.

Айганым внимательно выслушала рассказ Тани о землях нового округа. Горько вздохнула, заговорила:

— Приходилось и мне ездить по этим степям. И когда был жив наш Жаксы-ага (Добрым старшим, Жаксы-ага, называла она своего мужа Вали-хана) и после его смерти. Все ты знаешь, мой Укили. Известно тебе и казахское присловье о

родах: Аргын, как небо, Кипчак, как звезда, Керей, как овца, Уак, как ягненок. Понял ты, куда я клоню?

— Кажется, понимаю, тетушка.

— Так вот, овец-кереев больше всего в Кусмурунском округе. Ведут они свое происхождение от четырех предков — Балта, Кошебе, Сибан и Тарашы

Тани начинал уставать от этого долгого вступления:

— Говори яснее, женеше. Туман у меня в голове.

Но Айганым не торопилась.

— Ты должен знать каждого, кто взглянет на эти ветви. Тлемис и Иса управляют потомками Балта, Табая и Байдалы. Находящиеся во главе Кошебе, Токсан и Турлыбек ведут за собой тарашынцев.

— А Сибаном?— перебил тетушку Тани.

— Вот о Сибанах и главная речь. Там заправилы — Есеней и Есип. Понял?

Но эти имена не произвели должного впечатления на Тани.

— Какой ты нетерпеливый и непонятливый. Я тебе говорю о самом важном. Среди главарей четырех ветвей кереев самым богатым, сильным и влиятельным стал Есеней, сын Естемеса. Перед ним заискивают все кереи, многочисленные, как овцы. Понял? Ему поклоняются и уаки. Род Канжигалы и род Курлеут тоже признают его силу. А Есеней — ярый враг ханского поколения. Ты был еще мал, мой Укили, когда Касым-торе мстил кереям и уакам за то, что они подчинились русским. Многих он порубил. И сколько скота угнал. Тогда Есеней объединил кереев и уаков, пошел войной на Касыма, настиг хана у озера Кактын кара суы, вступил с ним в сражение и победил. Войска Касыма-торе бежали к Актау и Ортау. И с той поры Есеней ненавидит ханский род. Человек он упрямый, безжалостный, не остановится ни перед чем. Характером сильный, угрюмый. Говорят, он ни разу не смеялся в жизни. Да что там смеялся. Даже не улыбался никогда.

— Никак не уразумею, почему ты, женеше, так много говоришь мне об Есенее?— прервал тетушку Тани, которому по его легкомыслию претили долгие разговоры.

— Ах ты, нетерпеливый Укили!— огорчилась Айганым.— Неспроста я так подробно рассказываю об этом. Чингизу, моему Чигажану, надо ехать в Кусмурун. А на кого он должен опираться в округе? Только на Есенея. Как говорится, поклоняться можно и слабому, опираться только на сильного. Как он иначе будет управлять?

Айганым опять горько вздохнула:

— Слабая я стала. Не успею дождаться Чингиза. Передай ему все, что я тебе сказала.

Тани обещал все подробно рассказать Чингизу. Он сдержал свое слово.

...Выезжая иа место новой службы, Чингиз решил исполнить материнский завет — побывать у Есенея, познакомиться с ним поближе. Аул Есенея находился на берегу реки Кундызды — Бобровой, вливающейся с востока в озеро Кусмурун. Чигизу не надо было сворачивать далеко в сторону от своей дороги.

И пока Чингиз собирается в путь, мы поведем речь об Есенее.

Как было уже сказано, Есеней принадлежал к ответвлению Сибана из рода Керея. Одни считали, что Сибан по крови своей был настоящим уаком и только по материнской линии являлся родственником кереям. Была и другая версия родословной. Маленький Сибан жил у дяди, происходящего из уаков, и только джигитом пришел он в аул кереев. Но больших расхождений в этих рассказах не было. Сибана единодушно считали достойным человеком, положившим начало многочисленной ветви кереев.

От Сибана произошли Еримсоры, Кортык, Кунгене и Шокматар. Сын Кортыка Кошкарбай дал жизнь Токмамбету и Сеиту. Сеит стал отцом Естемеса.

Естемес был совсем ребенком, когда умер Сеит. Имущество отца растащили его хваткие дяди, а самого Естемеса отдали на воспитание родственнику по матери Ашимбаю-батыру из рода Карааул. У богатого Ашимбая было множество табунов, и Естемес с малых лет пас лошадей. Когда он вырос в джигита, Ашимбай женил его. В 1789 году у Естемеса родился сын, названный Есенеем.

Мальчиком Есеней, как и его отец, пас байских коней. Как и отец, с детства он понимал униженность своего положения табунщика.

Однажды, перегоняя табун на новое пастбище, Есеней увидел, что в сторону степей Сарыарки движется царское войско — впереди вооруженные конники, позади — обозы. Войско остановилось передохнуть неподалеку от юрты Есенея. Табунщик-подросток стал свидетелем, как ожеребилась одна породистая кобыла. Жеребенок был слаб, русские не захотели с ним возиться в пути, и начальник отдал его Есенею.

Однако подросток смекнул, что ему лучше скрыть, как он получил жеребенка в подарок от русского офицера, и он решил придумать случай, похожий на сказку.

— Днем, когда отдыхали лошади,— рассказывал он,— я стреножил коня, прикрепил его поводья к своему поясу, растянулся на земле. Думал о всяких своих невзгодах, об унижениях, что приходится терпеть от дяди. Всплакнул и незаметно уснул. Во сне приходит ко мне аксакал, добрый такой и внушительный. Эх ты, горемычный, говорит мне, перестань терзать себя и вставай. Садись на коня и скачи прямо на запад. Доскачешь до оврага и в овраге найдешь молоденького жеребенка темно-рыжей масти. Он сосет стебли курая. Слышишь, вставай! В жеребенке твоя удача. Я проснулся. Лошади, пощипывая траву, удалились от меня. А конь мой, тот, который привязан был к поясу, пофыркивал и в нетерпении бил копытом землю. Я послушал аксакала и помчался к оврагу. Действительно, в овраге темно-рыжий жеребеночек жует курай. Рядом — кобыла, жирная, как шужук, конская колбаса. Я спешился и к жеребенку. Он нисколько не боится. Обнял его, поднял и привез к своему стану...

Есеней долго никому не показывал жеребенка, хозяину ничего не говорил. А когда жеребенок вырос в кобылу-трехлетку — случил ее с жеребцом. Кобылица принесла нового жеребенка и тоже темно-рыжего. Тут-то и заприметил их Ашимбай,— они выделялись и статью своей и мастью. Откуда они, спрашивает. Есеней рассказал свою сказку, и дядя поверил. Да и все вокруг узнали об этом. Шли годы, и множилось потомство найденыша. В табуне уже стали появляться аргамаки Есенея, составившие скоро целый косяк. Про них уважительно говорили: «Это те, что курай сосали». Или попроще: «Есенеевские темно-рыжие, словно курай».

Число темно-рыжих перевалило за сотню. Есеней выплатил калым и женился. Косяк его разросся, и Ашимбай-батыр разрешил своему племяннику перекочевать в родной край, край Сибана.

Есеней стал богатеть на дедовских кочевьях. Уже до пяти тысяч аргамаков насчитывал он в своих табунах. И все, как один, стройные, одномастные. Говорят, в те времена конский базар, куда гоняли сбывать коней сибирские казахи, находился в Самаре за большую тысячу верст. Чтобы добраться до него, надо было перевалить Уральские горы. Но русские купцы, приобретавшие степных коней, за аргамаков Есенея платили втридорога. А Есеней продавал их сотнями. Может, завистливые люди и преувеличивали, передавая из уст в уста, что ежегодно на самарской ярмарке он получал выручку за полтысячи лошадей.

Есеней пришел к расцвету своего богатства, когда в степи

появился Кенесары. Он грабил аулы, угонял скот. Напал он и на табуны Есенея. Не одну сотню аргамаков из тех, что сосали курай, прибавил он к своей добыче. Кереи и уаки дали Кенесары отпор, вступили с ним в схватку и не только отобрали награбленный скот, но взяли в бою и немало пленных. Есеней не без дальнего расчета привел их в Пресногорьковскую станицу в распоряжение штаба казачьего линейного войска. Казахи так и называли Пресногорьковскую «Ыстып», как в их произношении звучало слово «штаб».

Царские власти в благодарность за такой поступок Есенея дали ему чин хорунжего. С той поры он стал еще более известен. Есенею нередко помогал упрочить положение недавний переводчик — толмач, а теперь советник шести казахских округов в Омске Турлыбек Кошенов. Недаром он приходился новоиспеченному хорунжему двоюродным братом по материнской линии.

Читателю уже доводилось встречаться на страницах книги с первой женой Есенея Каникей, дочкой именитого Зильгары. Два ее сына, Аманжол и Мыки, умерли от оспы еще младенцами. С той поры она уже не беременела. Есенею страсть как хотелось иметь детей. Мечтал он и о том, чтобы заполучить вторую жену помоложе. Но Каникей, как яростная медведица, и шагу ему не давала ступить. Ее приводило в гнев одно подозрение, что Есеней задумал ввести в дом младшую жену — токал. И каждый раз она грозила обратиться за помощью к своим братьям, а их у нее было четырнадцать.

Так проходили дни, месяцы, даже годы.

Но наступило лето, когда один небогатый бай Артыкпай, внук известного Нияза из кипчаков рода Курлеут, перегонял скот с потравленных пастбищ родного Баянаула к далеким предгорьям Урала, где, как он слышал, в изобилии растет перистый ковыль. Путь его проходил мимо аула Есенея, поставившего под осень свои юрты у слияния Обагана с Тоболом. Сделав остановку, Артыкпай позвал Есенея к себе в гости.

Он послал к баю-хорунжему с приглашением свою единственную дочь Улпан. Девушке только что пошел шестнадцатый год. Она росла, не ведая забот и тревог, привыкла проказничать и баловаться, словно озорной мальчишка. Порой и одевалась по-мальчишески, не обращая внимания на безобидные уговоры отца, во всем ей до сих пор потакавшего. Ей никого не удалось обмануть и в этом случае: выдавала стройная девичья фигура, две длинные косы, высокий певучий голос.

Когда в сопровождении джигита Улпан появилась в юрте

Есеиея, он после первого слова приветствия понял, кто стоит перед ним. Есеней впился в девушку глазами и уже ничего не мог с собой поделать. Так старый волк одним взглядом пожирает белого ягненочка. Зацапать бы ее, зацапать! Но Есеней владел собой и ни одним движением не обнаружил вспыхнувшего желания. Только глаз ему не удавалось отвести. С виду оставаясь равнодушным, он немногословно поблагодарил за приглашение и велел передать отцу, что завтра будет у него на обеде вместе с ближними и приближенными.

Артыкпай отлично знал, что для Есенея недостаточно зарезать молодую овечку или стригунка. Его надлежит угощать яловой кобылой. И с утра он отправил в табуи Улпан с джигитами, наказав им выбрать трехлетку пожирнее.

Улпан, проводившая много времени среди табунщиков, отличная наездница, победительница в любой конной игре, где участвуют девушки, сама облюбовала жертву — молодую, лоснящуюся от жира кобылицу, сама ловко набросила на ее шею петлю аркана и с помощью джигитов поволокла ее к стоянке отца.

Есеней прибыл несколько раньше, чем ожидали, и уже отдыхал на подушках.

Залаяли, завизжали собаки, раздались людские крики. Это мимо черных юрт батраков Артыкпая волокли на убой норовистую кобылу.

— Ау, замолчите, собаки! В нашем ауле Есеней гостит.

Есеней, развалившийся на подушках, сразу узнал высокий голос Улпан. Он мигом вывел его из дремоты. Он и смущал, и дразнил, и даже вызывал досаду. «Чертова девчонка,— думал он про себя.— Смотри, какая смелая! Подсмеивается надо мной, что ли? На шею хочет сесть? А хороша... Жаркая, должно быть. Имя мое назвала. Собак мною пугает. Погоди, я еще покажу тебе».

Угощенье прошло как угощенье. Есеней вернулся домой поздней ночью с разгоряченной кровью и неостывшим чувством досады. А утром проснулся и понял: что ему угрозы Каникей, что ему ее четырнадцать братьев! Эта проказница должна быть его младшей женой.

Артыкпай уже собирался в дорогу, как вдруг явился посланец Есенея с неожиданным требованием — отдать в жены единственную дочь.

Не обладавший избытком решительности и храбрости, Артыкпай обмяк, оробел. Он приостановил дальнейшие сборы в путь и отправил к Есенею самого красноречивого из своих

людей, предварительно обдумав вместе с ним все главные возражения. И вот что велено было сообщить Есенею:

— Зачем, Есеке, вы хотите показывать надо мной свою власть? Почему забываете вы, что я не нищий тyленгут, а внук Нияза из курлеутов, Нияза, имевшего некогда сорок тысяч лошадей. Есеке должен помнить, что я к тому же по матери племянник именитого Казыбека с голосом, подобным грому. Пусть меня не так глубоко уважают в степи, но я тоже не лишен почета и тоже владею табунами. Будь бы у меня несколько дочерей, я бы еще отдал одну, скрепя сердце, вам в жены, Есеке. Но ведь Улпан для меня единственная, как зрачок глаза у кривого. Пусть для людей она уже невеста, для меня Улпан остается ребенком. Чем я провинился перед вами, что вы хотите отобрать у меня несмышленое дитя? Я встретил и проводил Есеке с почетом. Я не заслужил оскорбления. Пусть Есеней возьмет свои слова обратно. Пусть не идет на насилие, думая, что я вдалеке от своих братьев. Пусть не разжигает вражды. Он сыт и так. Обойдется он без лакомого куска.

Есенею был передан слово в слово ответ Артыкпая. Властный упрямец разозлился. Он повторил свое требование и добавил:

— А если нет — угоню его табуны обратно.

И прежде оробевший Артыкпай теперь совсем растерялся. А тут подоспели непрошеные советчики и окончательно сломили его волю:

— Он, Есеней, от своего не отступится. У тебя два выбора, один из них ты должен сделать. Пусть это горько для тебя, но отдать дочь надо. Волк воет — значит, есть хочет. Есеней приметил добычу и не успокоится, пока ее не возьмет.

Так говорил один, а другой советчик ему поддакивал.

— Ну, хорошо: допустим, ты погонишь табуны обратно туда, где уже вытоптаны травы. Думаешь, этим дело кончится? Ты разоришься, но Есеней найдет удобное время и все равно отберет у тебя дочь.

Артыкпай чувствовал: его схватили за горло. Дальше сопротивляться было бесполезно. На его беду нашлись люди, сумевшие внушить и дочери, что отец ее попал в безвыходный тупик.

Куда девалась строптивость Улпан? Еще вчера задорная и смелая баловница, она подошла к отцу заплаканная, угрюмая, готовая на все. С горестным сознанием, что она оказалась в капкане, с обреченностью, непостижимой для ее полудетских лет, сказала она разумно и твердо:

— Каждая девушка может стать бабой, если ее продают за калым. А кому продают — у нее не спрашивают. Нет, я не вечный камень для родного очага. Не я отца кормлю, скот его кормит. Пусть он и гонит скот, куда задумал, а меня отдает Есенею.

И вышла. Повзрослевшая, печально-спокойная, знающая, что судьбы не миновать.

Артыкпай согласился против своей воли, наперекор отцовским чувствам. Он оставил Улпан Есенею, а сам откочевал дальше.

Дочь в час расставанья с отцом расплакалась, разрыдалась. И рыданье перешло в песню:

Меня Есенею ты отдал,
Не смог отстоять до конца.
Растоптаны юные годы:
Муж старше седого отца,
Джигитом он хочет казаться.
Но месть ему тайно коплю...
На голову толстого старца
Шанырак его юрты свалю.

Настанет время, и Улпан выполнит свою угрозу.

Но свадебный той прошел мирно, и весть о женитьбе Есенея на Улпан облетела степь, дошла и до Срымбета. И, пожалуй, лучше всех осведомлен был об этом событии Абы...

...Вот и теперь, когда Чингиз вместе со своими спутниками приближался к берегам Кусмуруна, шел обычный дорожный разговор о степных делах, о предстоящих аульных встречах.

Ждали Чингиза во многих аулах, готовил ему встречу и Есеней. Дозорные своевременно его извещали, где новый Кусмурунский султан останавливался на ночлег, а где только обедал.

Есеней относился к Чингизу противоречиво. Чингиз был врагом Кенесары, участвовал в походе русских войск против хана, помогал согнать его с окрестных степей Кусмуруна и отбросить на запад до самого Иргиза. Врагов Кенесары Есеней считал своими друзьями, а друзей мятежного хана — своими врагами. Но с Чингизом дело обстояло несколько сложнее. В поступках Чингиза, в его сражениях с Кенесары Есеней видел обычное проявление духа соперничества внутри ханского рода. Ханы, идущие друг на друга с воинственным кличем «Архар!»— враги на короткий срок. А для него, Есенея, они ненадежные союзники, непрочные друзья. Кроме того, хорунжий недолюбливал Чингиза. Но все эти чувства

отступали на задний план перед тем соображением, что Чингиз ныне стал султаном округа и, кто знает, мог сослужить ему добрую службу в будущем. Обдумав и взвесив все доводы, Есеней принял решение оказать Чингизу должный почет, встретить его, как высокого гостя.

В ауле началась суета подготовки.

Прежде всего стали подготавливать восьмикрылую белую юрту, хранившуюся разобранной в будничное время. Пышную эту юрту ставили только в дни больших праздников и для знатных приезжих. Выбрали живописное место на берегу Кундызды, окаймленном тальником и кудрявыми березками.

Позаботились и о внутреннем убранстве юрты. Частый посетитель ярмарок и базаров, Есеней с толком умел приобретать и одеяла, и ковры, и самую что ни на есть богатую расписную посуду.

Владея тысячными табунами, чванливый и гордый, он как-то повелел изготовить невиданных размеров сабу для кумыса из шкур шести крупных жеребцов. Такого кожаного бурдюка ни у кого не было. Бурдюк получил название тай-жузген — «и стригунок может в нем плавать». Дважды в год эта саба до краев наполнялась кумысом. Весною, когда кобылиц отбирали для дойки, в тай-жузген струились потоки пенистого напитка, известного под именем кумыс-мурындык, иначе говоря, кумыс, бьющий в нос. Осенью, после окончания дойки, в сабу лился сырге-молдиретер. Или чистый кумыс, убереженный от жеребят. Дважды в год Есеней приглашал на той соседние аулы. Весной главным угощением была хранившаяся с зимы туша жирной лошади, провяленная в теплые дни. Осенью к кумысу, убереженному от жеребят, прирезалась откормленная к этому сроку яловая кобыла.

Об этих пиршествах ходили легенды. Находились люди, утверждавшие, что полный до краев тай-жузген утолял жажду обитателей пятисот юрт аулов Кошебе и Сибан.

Необычный этот бурдюк был приготовлен и для тоя в честь Чингиза.

— Пусть саба будет полной к приезду торе,— наказал Есеней.

И слуги принялись ревностно выполнять повеление хозяина. Дело это было не таким уж сложным. Стоило подоить день-два подряд кобылиц, стоящих у жеребят, привязанных к жели — веревке, натянутой на колья. Несколько труднее было взбивать кумыс в такой огромной чаше. А ведь напиток этот становится вкусным только в том случае, когда он хорошо взболтан. Одному только силачу Тоганас-балуану уда-

валось орудовать мешалкой, размеры которой соответствовали громадной сабе. Мешалка была тяжелой, с массивной рукоятью, к которой было прикреплено серебряное кольцо. Если Тоганас-балуана не оказывалось поблизости, на конце мешалки тугим узлом завязывался шпагат, а другой его конец прикреплялся к волосяному аркану, опоясывающему снаружи юрту. Два джигита, сменяясь по очереди, ритмично раскачивали шпагат, и мешалка приходила в движение. Взбалтывая кумыс, она глухо ухала, и жители аула сравнивали эти звуки с тревожными криками буревестника над озером.

В канун приезда Чингиза мешалка ухала всю ночь напролет. Гудел тай-жузген, пенился кумыс, и его кисловатый пьянящий дух кружил головы уставших джигитов.

И глухие удары мешалки, и аромат степного напитка доходили до юрты Есенея. Он тяжко ворочался, просыпался, снова и снова пытаясь представить, как произойдет встреча.

На той он собрал не только своих сибанов, но и достойных, с его точки зрения, представителей других родов — уаков, канжигалы, курлеутов. Он задумал окружить торе за почетной скатертью — дастарханом уважаемыми людьми, но строго предупредил их:

— Помните, он не простой казах, чтобы останавливаться, где угодно. Он вырос в городе вместе с русскими торе. К тому же вам и самим известно, как честолюбивы эти ханские потомки. На обеде и во время общей беседы мы будем все вместе. А когда он захочет отдохнуть, не докучайте ему. Пусть он будет один со своими нукерами. Для вас я поставил отдельную юрту.

Многие очевидцы этих заботливых приготовлений недоумевали:

— Что это с ним? Его не узнать. Он прежде на ханскую породу смотрел, как конь на волка.

— Значит, у него свои расчеты. Он такой человек. Зря ничего не делает.

Третьи, стремясь быть глубокомысленнее, говорили:

— Не торопитесь. Подождем, что день покажет. У каждого дела есть свое начало и свой конец.

Утром приехал Чингиз. Его почтительно встретили близкие Есенея. Но сам Есеней не вышел из юрты. Этим он давал знать Чингизу: я старше тебя годами. Ты сам должен прийти ко мне и отдать мне приветствие. А тогда уж будем и пировать и совещаться.

Чингиз понял это. И когда его провели в гостевую восьми-

крылую юрту, он сказал джигитам, что приведет себя в порядок с дороги и направится к Есенею отдать ему свой салем.

— Да будет так!— ответил старший из джигитов.

С этого приветствия — салема и начались все беды.

Оставшись наедине с Шепе и Абы, Чингиз снова продолжал свои расспросы об Улпан.

— Значит, говоришь, красавица?

— Сам-то я не видел, но все говорят, что токал Есенея — это чудо из чудес.

— Ну, и ты поможешь мне лучше увидеть это чудо?

— Посмотрим, султан. Стараться буду, как всегда,— с хитрецой обещал Абы, разжигая давно известное ему женолюбие Чингиза. В любой поездке он искал встреч с молоденькими аульными прелестницами, и Абы неизменно проявлял удивительную изобретательность, устраивая такие свидания.

Абы подозревал и на этот раз, что желание Чингиза увидеть Улпан сильнее желания приветствовать хозяина аула. И еще неизвестно, почему он так настойчиво решил несколько отклониться в сторону от прямой дороги к крепости.

Гостевую юрту Чингизу поставили на таком расстоянии от юрты Есенея, что к ней проще было доехать на конях. Но гости не спешили. Отпробовали отменно взболтанного кумыса, поели, немного отдохнули. И вместо того, чтобы поговорить о делах, Чингиз опять спросил:

— А вдруг я не увижу Улпан? Что ты тогда предпримешь, Абы?

— Не переживай того, чего не стоит переживать. Я тебе сказал, султан,— посмотрим. И посмотришь ее.

— Ты уверен в этом?

— Чингиз, ты гость в доме Есенея. Он — бай, он — батыр. Он — аксакал своего края. И когда мы пойдем к нему с приветствием, неужели он спрячет от нас свою токал? Так почти не бывает, султан!

Опасения Чингиза оказались напрасными. Абы говорил правду.

Улпан всегда была рядом с Есенеем в его доме. Поджидала она гостей вместе с мужем и на этот раз.

В ней нельзя было узнать прежней несдержанной, угловатой девчонки. Не прожив и года с Есенеем, она уже родила ему дочь, округлилась, ласками вошла в доверие к старику, приобрела над ним власть. Раньше ее баловал отец, теперь баловал муж. Об Улпан и в девичестве отзывались: конному не даст проехать, пешему — говорить. Так и теперь, вопреки

обычаям, она вмешивалась в речн старшнх, храбро высказывала любое свое суждение и стала такой острой иа язык, что многие побанвалнсь при ней заходить в юрту мужа.

Изменился и сам Есеией. Он позабыл свои охотничьи забавы н, редко принимая приглашения, почтн перестал бывать в соседних аулах. А если уж отправлялся в гости, то иепремеино в сопровожденни Улпан. Туда, куда ей было иеприятно идти, ие делал шага н ои. Немиогословиый н прежде, он теперь охотно предоставлял возможиость Улпаи говорить от своего имени.

В богатой юрте Есенея Улпаи одевалась еще нарядиее, чем в отцовском доме. И гостям оиа показывалась в дорогих обиовах, и на люди выходила щедро разодетой. Тщеславиый Есеней всячески поощрял щегольство младшей жены. И вместе с ней гордился ее головным убором — саукеле, так украшеиным драгоценностямн, что, по словам зиатоков, он стоил косяка отборных лошадей.

Прослышав, что к иим в аул едет Чиигиз, Улпан вырядилась в свое лучшее платье и решила блеснуть драгоценными самоцветами. Камнн переливались и в золотых кольцах, надетых на ее длииные пальцы, н на подвесках шолпы, вплетенных в густые косы, выпущеиные поверх камзола вопреки обычаю замужних женщин, и в сережках, которых оиа не носила в обыкиовенные дии.

Есеиею не очеиь понравилось такое прихорашнвание имению в деиь приезда зиатиого гостя. Но он промолчал, втайне иадеясь, что Чиигиз ие посетит его жилья. Не зря же он отвел ему гостевую юрту на отлете от аула на тихом берегу Куидызды. Там он и угощеиье отведает, там и посовещается с иими, оттуда троиется и дальше в путь. «Эти торе, эти ханские отпрыски,— думал Есеней,— редко снисходят до того, чтобы иавестить хоть и богатого, ио простого казаха. Ну, а зайдет, так пусть зайдет». Но, бросив в это мгиовеиие взгляд на похорошевшую и такую иарядиую Улпан, он униженио иачал молить аллаха, чтобы молодой султан миновал их юрту.

Однако бог ие виял просьбам бая. Пришел джигит и сообщнл, что Чиигиз готовится отдать ему салем. Ну и пускай приветствует, пускай попялит глаза, рассуждал он про себя. Пускай убедится, что у меня красивая токал. А дальше что? Ничего!

Он ошибся, Есеией.

Улпаи, слышавшая о красоте Чиигиза и его похождениях, желала увидеть его ие только из простого любопытства. И когда джигит прииес весть, столь огорчившую ее мужа, она

вздрогнула, разгорелась, разрумянилась. Но тут же постаралась сдержать свое волнение, скрыть его от Есеиея. Оиа сразу сообразнла, что ей следует сесть подальше от мужа, заиимавшего, как прннято, почетное место на сложеииой вчетверо мягкой жеребковой подстилке. Она займет пост у белого шелкового занавеса по правую сторону от входа. И муж ие сможет за ней иаблюдать, тем более, зренне его в последнее время притупнлось, н молодого хаиа ей удастся как следует разглядеть.

...Чингнз вошел в юрту в полдеиь, в обедеииый час. Кошма, прикрывающая сверху юрту, была откинута, и в шнрокое отверстие проиикали лучи полудениого солица. В юрте было светло, как в степи.

Чингнз сразу увндел Улпаи, алевшую майским маком на белом шелке занавеса. Может быть, ои так и не отвел бы от иее глаз, так и забыл бы, что он явился сюда отдать приветствие Есенею. Но Абы вовремя и громче, чем было положеио, приветствовал хозяина. Хитрый Абы мгновеиио оценил обстаиовку н отвлек внимаиие Чнигиза от красавицы. И Чиигнз, сообразнвшнй, что надо вести себя достойио и приличио, подавил растерянность, приложил правую руку к груди и молвил с легким вежлнвым поклоиом:

— Ассалаумалейкум!

Впрочем, Есеней оказался зорче, чем предполагала Улпаи. Чересчур прнстальный взгляд Чиигиза, брошеиный на жену, не прошел для него незамечеиным. И поэтому он молча протяиул руку Чнигизу, не ответнл на приветствие.

Почувствовал себя иеловко н сам Чингиз. Беседа ие ладилась. Ои поглядывал то иа Есеиея, то иа Улпан. Молчал и Есеией, угрюмо опустив глаза, пока, наконец, ие догадался приказать джигитам нести угощенне.

В такнх случаях не подают обильную еду — обед готовится для гостевой юрты, ограничнваются кумысом.

Отпробовалн в молчаиии.

Чтобы как-то сгладить иеловкость, первым заговорил Чингиз, уже пришедший в себя. Он коротко рассказал о цели своего путешествия.

Есеней никак не высказал своего отношения, протянув безличиое:

— А-аа!

Снова наполиилн кесе, снова выпилн. Разговор ие клеился.

— Я спешу, Есеке, в Кусмурун. Завернул к вам, чтобы вас поприветствовать. И с вашего разрешеиия пойду в гостевую юрту.

Есеней равнодушно согласился и продолжал сидеть так же хмуро, не поднимая глаз.

Обернувшись у выхода, Чингиз еще раз задержал долгий взгляд на Улпан. Она разрумянилась еще жарче. Она была такой чуждой этой скучной натянутой обстановке, этому грузному и уже старому угрюмому человеку. Ее живые глаза встретились с глазами Чингиза: «Свидимся ли мы еще? И если нет, то прощай, прощай».

В эту самую секунду Есеней опять посмотрел на них. «Ишь ты, переглядываются»,— с ревнивой злобой приметил он и тут же решил отказаться от своего первого намерения поговорить и попировать с Чингизом в гостевой юрте. Об этом своем решении он сообщил не сейчас, а потом, сославшись на недомогание.

Но глаза двух молодых людей уже встретились. И ничего поделать было нельзя.

Когда гости отдалились от юрты Есенея, Чингиз не выдержал:

— Абеке мой, ответь, пожалуйста, мы видели сейчас ангела или человека?

— Я думаю, человека,— отвечал невозмутимый Абы, отличавшийся к тому же в этих делах вполне практической сметкой.

— Но как мне дотянуться до этого ангела своими руками?

Абы, уверенный, что до любой женщины дотянуться не так уж сложно, прямо не ответил на вопрос и начал набивать себе цену, рисуя всяческие препятствия на пути к Улпан.

— Право, не знаю как. Трудно, должно быть. Есеней лег на дороге как старый черный верблюд. Слышать я о нем слышал, но вижу в первый раз. Ну и глыба! Ну и чудище! Ну и громадина! С какой стороны на него ни посмотришь — удивляешься да и только. Ты посмотри на его грудь. Ну чем не торба, набитая дорожными припасами. Голова ни дать ни взять — настоящий казан. А шея, как у быка! Но и нос и отвисшая нижняя губа — это у него от верблюда. И взгляд как у разъяренного верблюжьего самца. А бородавку ты видел на подбородке? А лицо? Все в рябинках...

Абы так разошелся, что его нельзя было остановить. И хотя Чингиз примерно так же представлял себе Есенея, ему сейчас не хотелось о нем думать. И как только может его терпеть Улпан! Ее облик вытеснил из мыслей Чингиза все остальное. Он должен с ней встретиться. Встретиться во что бы то ни стало. И поэтому султан равнодушно слушал своего туленгута. Наконец ему надоела его болтовня.

— Хватит, Абы, давай о другом!

— А о чем ты хочешь говорить? — спросил Абы, прекрасно понимая, к чему клонит его хозяин.

— Как мне увидеть Улпан, как мне ее заполучить?

Абы сощурился, вздохнул:

— Нелегкое это дело. И знаешь, кто в этом виноват?

— Кто же, кто?

— Ты сам виноват, мой торе.

Чингиз уставился на Абы с недоумением:

— И в чем же я виноват?

— Ах, Чигажан! Только ты перешагнул порог юрты Есенея, так и воззрился на его токал. Будто никогда не видел баб. Старый волк мигом приметил это. Вот он и надулся. Мулла говорил — за одним человеком бредут сорок шайтанов. Ну, а за этой токал все сто. Позабыл ты осторожность, торе. Все сибаны, от младенцев-ползунков до стариков следят за каждым ее шагом. Не так-то легко провести старого волка.

— Я согласен с тобой. Ты прав, Абы. — В каждом слове Чингиза звучали огорчение и мольба. — Но тебе и не такие узлы приходилось распутывать. Помоги, Абеке!

Абы поартачился вначале, но потом обнадежил своего султана:

— Не огорчайся! Что-нибудь придумаю. Испытаю судьбу. Но если уж ничего не получится — смотри, не ругай!

— У тебя непременно получится, — повеселел Чингиз.

— Наступят сумерки — приступлю к делу Не вздумай меня искать пока не вернусь.

Когда они находились уже довольно далеко от Есенея, Абы оглянулся и увидел женщину, выходящую из юрты. В лицо ее трудно было узнать — мешал платок, наброшенный на голову и низко опущенный на лоб. Но Абы сразу догадался, что это Улпан.

— Смотри, Чингиз, — тронул он его за плечо, — клянусь головой, это она. И вышла проводить тебя глазами. Поверь мне — а женщин я знаю, — ты ей крепко пришелся по сердцу.

Женщина, словно почувствовав, что говорят именно о ней, круто свернула к оврагу, заросшему тальником. А хитрый Абы подумал, что если она направилась туда днем, почему бы ей и вечером не пойти этой же тропинкой. Подумал, но ничего не сказал Чингизу.

Тем временем в гостевой юрте все было приготовлено к празднику. Съехавшиеся аксакалы — старейшины, аульная знать, бии-краснобаи, домбристы и певцы пили кумыс из бездонного тай-жузгена, а на берегу Кундызды уже дымились

котлы с мясом только что забитой яловой кобылы. Говорили о степных делах, поздравляли Чингиза с назначением в Кусмурун, осторожно выпытывали у ага-султана нового округа, кто у него будет теперь в друзьях и что он думает о возвращении аулов, согнанных с родных мест начальником крепости. Чингиз старался не посвящать приближенных Есенея в свои планы, но отвечал вежливо, шутил, когда можно было отделаться шуткой, и с достоинством принимал поздравления. Сосредоточиться и вести по-настоящему деловой разговор ему мешали мысли об Улпан.

В сумерки, никому не сказав ни слова, Абы направил коня к дому Есенея, но не напрямик, а так, чтобы заехать туда со стороны оврага. Как и многие степняки, он обладал способностью быстро запоминать местность. В тальнике он привязал коня и неторопливо побрел пешком вдоль оврага.

А мы теперь вернемся к Улпан, потерявшей покой с той минуты, когда она увидела Чингиза.

Сразу после того, как Улпан вошла младшей женой в дом Есенея, она добилась полного доверия мужа и так безупречно вела себя, что все двести глаз и ушей Сибана не могли уличить ее в чем-нибудь предосудительном. Есеней убедился в верности своей токал и постепенно стал выполнять все ее желания. Ей не надо было повторять однажды высказанную просьбу. Улпан приобрела власть в доме. За несколько месяцев она сумела так прибрать к рукам Есенея, что отлучила его от старшей жены — байбише Каникей. Юрту Канikей теперь ставили в ауле ее младшего брата Еменалы — туда от аула Есенея долго было и верхом скакать. Теперь многие люди, чьи дела, а порою и судьба, зависели от Есенея, шли сначала на поклон к Улпан, заискивали перед ней, старались вручить ей подарки. За любой помощью шли прямо к Улпан. И она ни в чем не отказывала. Лошадь попросят — давала лошадь. Подвода понадобится — езжай, пожалуйста. Шерсть тебе нужна — поделится и шерстью, не говоря уже о мясе и молоке. Она не очень-то берегла богатство, нажитое Есенеем, а он смотрел сквозь пальцы на ее расточительность. Ласково отзывались о ней в соседних аулах: Улпанжан, ладони, готовые помочь, щедрая хозяйка. А когда она родила дочку, и дочка круглыми глазенками и большим носом удивительно походила на отца, к Улпан стали относиться еще уважительнее.

Должно быть, и дальше укреплялась бы молва о достойной молодой жене, но на свою беду повстречалась она с Чингизом.

Улпан не раз приходилось слышать о султане Чингизе. О его уме, храбрости, привлекательности. Хоть бы посмотреть

на него, втайне мечтала она. И вот он появился. Молодой, с тонкими черными усиками. И как ему шла офицерская форма, делавшая его еще стройнее. И эта сабля с золотым эфесом. Но прежде всего она видела его глаза. Быстрый горячий взгляд.

Улпан влюбилась сразу: вот мой джигит! Заговорить с ним она не смогла. Побаивалась Есенея. Но на его горячий взгляд она успела ответить горячим взглядом. Глазами она стремилась ему сказать:«Наступит ли день, когда мы будем вместе?»

И когда Чингиз покинул юрту, она выскользнула за ним вслед.

Но еще в юрте она уловила недовольство Есенея. Едва ли не впервые в нем пробудилась ревность. Улпан поняла это. Особенно после его деланно равнодушных слов:

— Да, этот сынок Вали-хана вырос в красивого джигита.— Сказал и внимательно посмотрел исподлобья. Женская хитрость пришла на помощь Улпан. Она сделала вид, что похвала Чингизу прошла мимо ее ушей. Ее ответ звучал скорее как возражение мужу:

— Говорили, эти торе необыкновенно опрятны. Кажется, так оно и есть. Но нет у этого Чингиза подхода к человеку. Важничает очень... А о красоте его... Да кому она нужна? Ведь с лица не воду пить!

Есеней что-то пробурчал, так и не уразумев, что хотела сказать этим Улпан.

А думала Улпан совсем о другом. Встречусь ли я с тобой, мой джигит? Где та тропинка, которая приведет тебя ко мне? А может быть, ты на меня взглянул совсем случайно? Не обманываюсь ли я? Но если ты посмотрел на меня взглядом влюбленного, значит,— я еще раз увижу твои глаза.

Где же та тропинка, снова повторила она про себя. И вспомнила тальниковый овраг. Его называли тоем — праздничным оврагом. Сколько в нем уединенных мест! Почему бы ночью, когда все уже спят, не прийти туда моему джигиту? Почему бы не встретиться там нашим тропинкам?

Под вечер, как всегда, она прошла к тому склону оврага, где располагались на отдых верблюды. Еще в детстве, в ауле отца, Улпан любила возиться с верблюжатами. Особенное удовольствие доставляло ей ставить их на колени. Она сохранила и теперь эту свою привычку. В пору ее замужества у Есенея было около двух с половиной сотен верблюдов. И Улпан любила помогать верблюжатникам.

И сегодня все происходило, как обычно.

Верблюды слушались молодую хозяйку. Порадовался по-

гонщик Туткыш, поблагодарил ее. Туткыш по праву слыл хорошим верблюжатником. Только его одного и слушался верблюд, носивший кличку Змеиной Головы. Он еще верблюжонком испытывал страх перед Туткышем и продолжал бояться его, став яростным самцом.

Змеиноголовый начинал беситься в январе, и вплоть до апреля его обыкновенно держали на цепи, прикрепленной к железному колу. В это время он бросался и на животных и на людей. В летние месяцы он был значительно спокойнее и тех, кто не подходил к стаду, не трогал. Незнакомому человеку лучше было не приближаться: всякое могло случиться, лютый нрав Змеиноголового просыпался в одно мгновение. Но чужие люди здесь не бывали. Поэтому Туткыш, заставив Змеиноголового лечь, теперь его не привязывал.

Все в этот вечер происходило, как обычно. Но когда Туткыш дошел до Змеиноголового, Улпан, шедшая следом, велела его привязать.

— Это зачем же, светик мой?

— Разве ты не знаешь, что в ауле гости. Кто-нибудь забредет в овраг, Змеиноголовый на него и накинется.

Туткыш послушно выполнил просьбу хозяйки.

Уже совсем стемнело. Верблюды легли на отдых.

Улпан шагнула к тальникам, нащупала тропинку, стала спускаться к руслу оврага. И вдруг отчетливо услышала негромкий оклик и вскрикнула в испуге. Если бы Туткыш был не туговат на ухо, он поспешил бы на помощь.

— Не бойся, айналайын!— Рядом с нею вырос из темноты тот самый человек, что навещал юрту мужа вместе с Чингизом.

Незаменимый для таких деликатных поручений, Абы был вежлив, немногословен и практичен. Они быстро договорились о встрече, назначили время — за полночь и место — неподалеку отсюда.

Улпан вернулась домой, с трудом скрывая волнение. Она старалась быть особенно ласковой с Есенеем. Зная его привычки, приготовила любимый ужин: свежий творог — иримчик, разведенный каймаком — сливками, снятыми с кипяченого молока. Угождая мужу, она сама кормила его, подносила к его губам чашу с густым шубатом — острым вспененным верблюжьим кумысом.

Но как ни старалась в этот вечер Улпан, ей не удалось успокоить Есенея, разогнать холодок и настороженность, возникшие в его душе. Он ел иримчик, потягивал кисловатый шубат, дотрагивался до мягких белых рук жены, а сам решил ночью не спускать с нее глаз.

Они легли на свои постели, расположенные в разных концах юрты. Такой порядок давно завел сам Есеней. Он сильно храпел во сне, а иногда и бредил. Зная об этом, он однажды сказал Улпан в порыве мало свойственной ему нежной предупредительности: «Постели себе постель подальше от меня, так тебе спокойнее будет».

Так было и сегодня. Есеней лег и сразу захрапел, но на сей раз нарочно. Мол, притворюсь спящим и посмотрю, что будет делать Улпан. Однако долго бороться с дремотой он не смог и в конце концов заснул по-настоящему.

Долго ли он спал, и сам не ведал. Его разбудил ожесточенный лай волкодавов, которых он держал уже много лет. Собаки никогда не лаяли спроста — они чуяли либо волка, либо чужого человека. Есеней вслушался. Вначале собаки заливались рядом, потом лай стал глуше. Он раздавался со стороны верблюжьей стоянки, со стороны оврага. Волки на верблюдов не нападают. Не иначе как появился чужой. Может быть, вор? Но воры не посмеют позариться на его скот. Тогда кто же это?..

Сон мгновенно пропал.

— Улпан!— позвал Есеней.

Жена не ответила. Он еще раз окликнул ее. Тишина. Даже собаки перестали лаять. В темноте кое-как добрался до постели Улпан. Постель оказалась пустой. Это было так необычно. В первые мгновения Есеней подумал, что ее тоже разбудил лай, что она встревожилась, как встревожился он, и, легкая на подъем, побежала за волкодавами. Но почему же тогда она не разбудила его? И кто он? Это самое главное.

Вчерашняя ревность и подозрительность вспыхнули в Есенее. Злоба, яростная злоба овладела им. Он вспомнил про старое ружье с почерневшим стволом, с которым не разлучался в прежних походах. Ружье так и хранилось у его изголовья вместе с кожаным мешочком для пуль и пороха. В прошлом он был метким стрелком, попадал дикой козе в глаз, сбивал на лету утку.

Когда Есенея спрашивали, зачем он хранит свое ружье под подушкой, он обыкновенно отвечал присловьем старого акына:

Не говори, что сгинул враг —
Он спрятался в овраг.
Не говори, что вор исчез —
Под шапку он залез.

...Разозленный Есеней в одном нижнем белье выскочил с ружьем из юрты. Долго не раздумывая, он бежал вперевалку к верблюжьему стану, к оврагу. Пронизывающий даже на бегу

ночной холод постепенно возвращал ему трезвую сообразительность. Он сбавил скорость и стал рассуждать: допустим, мои подозрения справедливы. И я его сейчас убью. Или убью мою токал. А что тогда?

Он представил себя как важного влиятельного Есенея. В душе он считал себя таким — вожаком округа, уважаемым хорунжим. Ну, а если вожак из-за бабы, как она ни мила, убьет человека? Чего доброго, его отдадут под суд. И все-таки он их выследит. Выследит и... И вот тут Есеней никак не мог найти правильного решения. Стрелять? А надо ли стрелять?

...В этот час неподалеку от спящих верблюдов Чингиз и Улпан предались ласкам. Утомленные, они не переставали радоваться своей молодой жаркой близости. Их первую встречу омрачили лаем волкодавы. Но, узнав Улпан, притихли и они, рассевшись на краю оврага и навострив уши, словно оберегали свою хозяйку. Спустя некоторое время они почуяли выбежавшего из юрты Есенея и бросились ему навстречу, снова подняв истошный лай.

Улпан встрепенулась. Невольно стал всматриваться в ночную темноту и Чингиз. Улпан первая узнала Есенея и задрожала всем телом.

— Ой!— вскрикнула она.— Мой бай идет сюда.

— Ну хотя бы и он.— Чингиз был не из пугливых.

— Джигит мой, господин мой,— с тревожной мольбой шептала Улпан, дрожа от страха.— Ты его не знаешь. Он уже испытал вкус крови. Он тебя так не отпустит. Беги в тальник, торежан. Скорее беги.

Но Чингиз считал бегство постыдным. С ним была его неразлучная сабля, и, в крайнем случае, он мог постоять за себя. Ему казалось унизительным показать свою спину Есенею, который происходил из простых скотоводов. Он продолжал упрямиться и после уговоров Абы, вынырнувшего из кустарника в опасную минуту.

Но к счастью Есеней ничего не увидел. Его окружили собаки, взвизгивая и ласкаясь. Он постоял, постоял в раздумье, ежась от холода, и повернул обратно.

— Ушел, значит,— презрительно прошептал Чингиз,— Я бы показал старому волку, на что способен молодой лев.

Может быть, в душе он был и доволен, что столкновения не произошло. А к откровенной радости Улпан примешивалось чувство досады: надо же было появиться ее толстому баю, когда он был меньше всего здесь нужен. Теперь уже не продолжишь встречи с милым. Да и когда еще ей суждено повториться?

— Прощай, джигит мой, я пойду...

Чингиз не находил слов для расставанья. Не мог он больше и задерживать Улпан. Он силился представить, что ожидает бедную его возлюбленную после этого неосторожного пылкого свидания. Печально он ей сказал:

— Надеюсь, что старый волк не посмеет тронуть тебя, Улпан. А если что-нибудь случится, найди способ дать мне весточку. Я тогда посчитаюсь с ним, последние зубы его вылетят.

— Не твоя это забота, мой джигит, не вздумай защищать меня,— грустно отвечала Улпан.— Как жила, так и буду жить. Волк не съест ягненка, благословленного судьбой. Как судьбой положено, так и будет. Но не думай, мой джигит, что старик — слабый враг. Зубы у него еще крепкие. И злость он умеет копить и кусается больно. Смотри, чтобы он не повредил тебе.

Время было уходить каждому к себе в юрту.

— Помни мои слова, торе!— напутствовала Улпан Чингиза.— Вокруг нашего аула старик расставил много капканов. Капканы крепкие. Попадешь в такой, захлопнется так, что не выберешься. Не вздумай повернуть коня к нам. Объезжай стороной наш аул.

— Посмотрим, милая. Прощай!

И они разошлись.

Поразмыслив перед сном, Чингиз понял, что вряд ли он когда-нибудь вернется сюда. Он еще раз представил милые черты Улпан, ее горячие ласки. Какая она пленительная! Но у него было много и других встреч. И они забывались, как забудется, должно быть, и эта ночь.

Улпан не знала, что ее ждет в юрте мужа. Дрожа всем телом не столько от ночного холода, сколько от волнения, с трудом преодолевая страх, она тихонько вошла под войлочный свод в могильную темень. Есеней мирно похрапывал. То ли он действительно спал, то ли притворялся. На цыпочках Улпан добралась до своей постели и бесшумно шмыгнула под одеяло.

Есенею, понятно, было не до сна. Уверенный в том, что его токал встретилась с этим ханским отпрыском, он обдумывал разные способы мести Чингизу. Но жена пусть лучше ни о чем не догадывается. Так будет вернее. Он слышал, как она возвратилась и легла в постель и продолжал всхрапывать как можно натуральнее. А когда убедился, что она заснула, и сам погрузился в короткий беспокойный сон.

Встал он по привычке спозаранку и отправился посмотреть, как выгоняют на пастбище верблюдов. Встретился с Туткы-

шем, прошелся по стойбищу и вдруг неожиданно увидел, что Змееноголовый привязан к столбу.

— Он же сейчас безопасен. Зачем ты его привязал?

— Токал так велела, бай. Говорила, гости у нас в ауле, может им повредить...

Простодушный Туткыш и не подозревал, что окончательно разоблачил Улпан.

Есеней безразлично протянул что-то невразумительное, а сам подумал, до чего хитра его младшая жена.

А Чингиз утром с аппетитом поел мяса прирезанного в его честь жирного стригунка и отправился со своими спутниками в Кусмурун.

...Улпан была права. Есеней, не торопясь и не расходуя свою злость по пустякам, готовился к борьбе с Чингизом, готовился ему отомстить. Он и прежде испытывал неприязнь к Чингизу, как выходцу из ханского рода. Теперь к давней неприязни прибавилась неистребимая ревность.

Этой же осенью Есеней переехал в урочище Буркеу, пожалованное ему русскими властями в награду за участие в сражениях с Кенесары. Здесь рос смешанный лес — сосны, березняк, тополя. На полянах, защищенных от степных ветров, было удобно поставить юрты, пасти скот. Доставляли неприятности осы и мухи — в Буркеу их развелось великое множество. Обживать Буркеу казалось трудным еще и потому, что в его окрестностях часто встречались крутые яры и сопки. Но достоинства урочища: свежий воздух, зелень, уединенность — перевешивали его недостатки.

Здесь, в Буркеу, Есеней и приступил к своим действиям против Чингиза.

Прежде всего он послал одного своего двоюродного брата Байдалы, сына Отыншы, к Турлыбеку Кошенову, советнику при омском генерал-губернаторе. Байдалы был человеком сообразительным, знал русский язык, участвовал в сражениях с Кенесары. Есеней поручил Байдалы подробно рассказать Турлыбеку о делах в округе, о борьбе с Чингизом и разведать обстановку.

Байдалы вернулся и передал слово в слово наказ Турлыбека Кошенова:

— Не надо торопиться, Есеней. Чингиз, как пламя, вспыхнувшее в степи. Помчишься на пламя — сам обожжешься. Казахи, ты знаешь, тушат степной пожар по частям. Так надо поступать и тебе, Есеней. Копайте вокруг Чингиза рвы. В удобный час в один из таких рвов его и столкните. От вас это дело не уйдет. И еще надо помнить: на будущее лето в крепости

Кусмурун созывается собрание представителей округа. Ему придают большое значение и называют чрезвычайным. Будут люди из Омска, ведающие делами сибирских казахов. Приеду, возможно, и я. Тогда обо всем и посоветуемся.

Не знавшие русского языка казахи по-своему переиначили слово «чрезвычайный». Они назвали предстоящий сбор «ширпыши». Деятельно готовился к ширпыши и ага-султан Кусмурунского округа Чингиз, чтобы достойно встретить и омских начальников и аульных вожаков.

...В начале лета из Омска в Кусмурун двинулись многочисленные возки в сопровождении сотни верховых казаков. Ехали не торопясь долгой дорогой вдоль казачьих станиц. От Пресновской, где жил капитан и перекрещенный поэтому Кпытаном, путь пролегал через казахские аулы. Несколько в стороне находился аул Есенея на берегу озера, получившего название Бедного озера Есенея. Туда и завернули омичи.

Есеней, заранее извещенный о приезде высоких гостей, ничего не пожалел для их приема. Юрты, гостеприимно белевшие на лугу, и внутри были убраны на славу. Бай-хорунжий выставил самую богатую посуду, а об угощении — нечего и говорить: пейте кумыс из драгоценных чаш, ешьте и свежее нежное мясо ягнят, и копченое, припасенное с весны. Ешьте вдоволь с расписных блюд, а потом отдыхайте на пуховых шелковых подушках.

Генерал-губернатору Есеней преподнес в знак удачной дороги по восточному роскошный дар — конское копыто из чистого золота.

Пока гости пировали, Есеней успел потолковать с Турлыбеком. Они были не только двоюродными братьями по материнской линии, но и уважали друг друга как люди одного рода Керей. Турлыбек, отдавая дань возрасту Есенея, почтительно называл его «ага», а Есеней в свою очередь, обращался к нему, как нежно обращаются к младшим «ини».

Все, что накопилось в душе, высказали они в беседе.

Турлыбек считал всех представителей ханского рода торе — господами. И по-своему ненавидел этих «господ», наивно представляя остальных аульных вожаков, руководителей родов — простыми людьми, людьми из народа. О бедных казахах, влачивших жалкое существование, о тех, кто работал на баев, он попросту не думал. И поэтому со всей убежденностью обличал ханских потомков, приносивших народу одни злодеяния.

— Ты знаешь, ага, что говорят степняки:

Кто сторону торе возьмет,—
Узнает скоро зло.

И на себе он понесет
Всю жизнь его седло.

Народ терпел лишения, потому что подчинялся ханским потомкам. Многие тащили на себе ханские седла и надломились. Сколько скота у людей погибло, сколько самих людей. Как говорится, лучше ой-ой-ой, чем путь к аллаху. Пойми, ага, сейчас русские власти с нами обходятся лучше, чем собственные торе. Вот и будем идти своей дорогой. На ханских потомков упала цена. Воспользуемся этим и постепенно избавимся от них. Таким, как ты, надо отдавать поводья власти. Видный человек, а вышел из простого лица.

Все это льстило Есенею, и он почти во всем соглашался с Турлыбеком, однако сказал:

— Больше, чем всех торе, мне хочется увидеть сброшенным в ров Чингиза.

— Не торопись, Есеке! То, что я тебе передавал с Байдалы, говорю и теперь. Терпение нужно. От ханских потомков мы избавимся постепенно. Эта пора уж близка. В Каркаралинском округе первыми ага-султанами были Куспек и Жамантай, ханские потомки. А кто теперь на их месте? Кунанбай, сын Ускембая, простого человека из рода Тобыкты. В Акмолинском округе ага-султаном был ханский потомок Конырходжа, сын Кудайменде, а теперь наш казах Ибрай, сын Жайыка. В Кокчетавском округе все время хозяйничали потомки хана Аблая, а теперь там твой шурин Муса, сын Зильгары. Во всех шести сибирских округах остался только один ага-султан из ханского рода — Чингиз. Значит, и его скоро сбросим.

— Скоро, говоришь, сбросим. Но когда это «скоро» наступит? И как?— нетерпеливо перебил Есеней своего младшего брата.

— Подожди, ага. Всему свой срок. Пусть он пока резво шагает. Сейчас еще рано накидывать на него петлю. Поводим его на длинном аркане с такими свободными путами, что и сам он не будет их замечать. Аркан надо постепенно укорачивать, а путы суживать.

Есеней начинал уразумевать, в чем дело, а Турлыбек продолжал свои прозрачные иносказания:

— Тебе известно, ханские потомки падки на приманки. Только надо их умело подкармливать. Дикий беркут сам попадает в руки, если заглотнет кусочек мясца на аркане. Так и ханский потомок, твой Чингиз. А уж когда он попался, ему легче легкого надеть на голову кожаный колпачок и коготки прикрепить к подставке.

Старший брат заулыбался, ясно представив себе заарканенного Чингиза:

— Добрые слова сказал ты, иии.

Есеней, если бы только можно было, ни за что не поехал бы в Кусмурун на этот ширпыши, чтобы не видеть ухмыляющееся лицо ненавистного Чингиза, окруженного почетом. А может, и в самом деле не выезжать из аула. И он повторил свою мысль вслух.

— Нет, ага, это будет большой ошибкой.— Турлыбек, уже много лет работавший в Омске, разбирался лучше Есенея и в служебных отношениях и в способах укреплять свое влияние.— На расстоянии своему врагу не подставишь ногу. Чингиза надо свалить прямым ударом. И выбрать время, чтобы нанести удар. Если не поедешь в Кусмурун, многое потеряешь в глазах других. Как ни скрывай, люди хорошо знают твое отношение к Чингизу. И если тебя там не будет, подумают — струсил, опасается торе. Да и сам Чингиз догадается, что ты решил отомстить. И лучше подготовится к борьбе. Одолеешь ли ты его тогда?

Есеней внял совету Турлыбека. Он приехал на собрание как ни в чем не бывало. Восседал степенно и важно, огромный, внушительный. Как старейшина округа, сказал первое слово. И омские представители, и Чингиз заметили его спокойное поведение. Есеней встречался и с оренбургскими казахами и с представителями оренбургской русской администрации.

На собрании ширпыши были окончательно установлены границы земель оренбургских и сибирских казахов и составлен акт с приложением карты. Грамотные скрепили его своими подписями, неграмотные, а таких было большинство, поставили отпечатки пальцев. Оставил на бумаге оттиск своего пальца и хоруижнй Есеней.

Этот Кусмурунский съезд важен был и своими подспудными переговорами, нешумиыми, а порою и просто уединенными встречами в отдельных юртах.

Несколько раз к Турлыбеку заходили люди с жалобами на Чингиза. Говорили, что несправедлив, притесняет. Советник генерал-губернатора от прямого ответа уклонялся, неизменно отсылая просителей к Есенею: вы с ним потолкуйте, прислушайтесь к его словам, он вам поможет.

Когда стали разъезжаться, Есеней пригласил Турлыбека к себе в гости.

— Хорошо, я охотно поеду. Но надо и Чингиза позвать. Откажется — его дело.

Чингиз действительно отказался, найдя удобный повод. Но

поблагодарил за приглашение. Он сообразил, что Есеней поступает по чужой указке.

В гостях у Есенея Турлыбек сказал напрямик:

— Ну, Есеке, теперь засучивай рукава и начинай копать ров для Чингиза. Ты меня понял?

— Не совсем...

— Каждую жалобу на султана пересылай в Омск. Постарайся, чтоб этих жалоб было побольше. А об остальном уж я сам позабочусь.

...Рука у Чингиза была твердая и жестокая. И хотя он свои действия согласовывал с крепостным начальством, с Шамраем, а чаще просто выполнял его приказы, население всю вину перелагало на одного султана.

Главным источником всех недовольств было лишение аулов их исконных земель.

Земли южного побережья озера Кусмурун с незапамятных времен принадлежали тагышской ветви аргынов. Ее составляли преимущественно бедняки. Они, можно сказать, были первыми казахскими шахтерами: копали под отвесными склонами кусмурунских холмов легко воспламеняющийся уголь, грузили его на свои немногочисленные арбы, возили его на джайляу и в русские села. Уголь шел по дешевке, но все-таки можно было кое-как кормиться и одеваться. Занимались тагышинцы и соляным промыслом. Соль можно было добывать и в засушливые годы и в годы половодья, когда она выступала белой густой каймой после отлива.

С возведением крепости тагышинцы лишились права добывать и уголь и соль. Их просто согнали с насиженных мест. Сопротивлявшихся заставили откочевать силой оружия. Никто не встал на их защиту. Они обратились с просьбой к Чингизу, чтобы он заступился за них, но ответ султана был кратким:

— Это приказ царя, я не могу его отменить.

Пробовали искать помощи у Турлыбека. Тот посоветовал поехать к Есенею. Есеней подумал и сказал:

— Пишите бумагу в Омск. Там разберутся.

Легко сказать — пишите бумагу. А кто ее напишет?

И тут Есеней вспомнил, что в Пресногорьковской, в Ыстапе, жил старый русский человек Семен Бекетов. Он хорошо писал на своем родном языке и прекрасно знал казахский. В аулах был известен под именем Ысымана. С Есенеем подружился во время совместных походов на Кенесары.

— Кто напишет? Ысыман напишет. Поезжайте к нему!

И тагышинцы поспешили к Бекетову. Он составил по всем

правилам жалобу, и она отправилась в Омск. За ней последовала другая, третья.

Есеней и его сторонники выискивали и справедливые и несправедливые поводы, чтобы подкопаться под Чингиза.

Впрочем, сам Чингиз давал предостаточно оснований возмущаться его поведением.

В пойме реки Обаган, в северном ее течении, находился аул Акташи, родственный тагышницам. Жители аула вступились за своих сородичей и тем накликали беду и на себя. Чингиз с помощью казачьих войск согнал с обжитого места и акташинцев. Пришлось аулу перекочевать в дальние степи Тургая.

Бекетов помог написать и акташинцам пространную жалобу.

Играя на родовых распрях, Чингиз стал оказывать покровительство уакам и притеснять кереев, находившихся под влиянием Есенея. Султан стягивал уаков на берега Обагана. Особенно покровительствовал он двум уакским старейшинам Отею и Даушу. Им он и передал богатую пойму, принадлежавшую акташинцам. Передал не за «спасибо». Бай Отей, владевший тысячами чубарых лошадей, отблагодарил Чингиза двумя косяками отборных аргамаков. Стоит ли удивляться, что после такого дара Чингиз сделал Отея главным бием своей Орды.

В Омске не замедлило появиться новое заявление.

Так о любом поступке Чингиза становилось известно в канцелярии генерал-губернатора.

Чингиз вошел во вкус. Когда в ауле он заканчивал разбирательство какой-нибудь тяжбы, выигравший непременно вручал ему либо кобылу с раскормленным крупом, либо верблюда с тяжелой поклажей.

Но если и Чингиз не брезговал взятками, то его вдвойне превзошел старший братец Шепе. Низенький, крепко сбитый, но уже начинающий жиреть человечек, поглаживая свои пушистые усы, вступал в любые споры, кричал, угрожал, вымогательствовал. Он сопровождал свои угрозы отборной руганью и лез в драку, забывая, что силенок у него маловато. Но перед ним отступали даже здоровяки, боявшиеся не этого задиристого гусачка, а его младшего, власть имущего брата.

Шепе бахвалился могуществом Чингиза и брал все и всюду, где только можно.

Но он, не довольствуясь поборами, пристрастился и к прямому воровству. Воры, преимущественно конокрады, рыскав-

шие в Кусмурунском округе, стали своими людьми в доме Шепе. Кожык из уаков, Баубек из карааульцев, Тайкот из кереев тайно приводили к нему в условленные места угнанных коней, и он их сбывал по сходным ценам.

Есенею стало известно и об этом. Он снова послал потерпевших к Бекетову, и тот, набивший руку на составлении жалоб, лихо строчил очередное заявление в Омск. Жалоб было много, и за каждую он получал настолько приличную мзду, что за эти годы приметно поправил свои дела и стал одним из богатых русских людей в Пресногорьковской.

Заявления в Омск шли потоком, но Турлыбек Кошенов не во всем оказался прав. А может быть, он вел и двойную игру. Так или иначе, но жалобы оставались без ответа.

Тогда Бекетов — сам ли догадался или по совету Есенея — стал посылать письма в Петербург, на имя самого царя.

Так в Омске скоплялись не только жалобы, адресованные генерал-губернатору, но и жалобы, присланные на расследование из Собственной его величества канцелярии.

Сделать вид, что этих жалоб нет, тихонько прикрыть их было уже нельзя.

И тут наше повествование снова возвращается к лету 1847 года, к началу главных событий нашего романа.

В это время генерал-губернатор Западной Сибири отдает приказ произвести ревизию в Кусмурунском округе по заявлениям местных жителей. Руководство ревизией возлагается на генерал-майора Федора Алексеевича Штамма.

Чтобы представить себе ясней положение в степи, нужно иметь в виду еще одно обстоятельство.

Когда подточилась и по существу уже рухнула ханская власть, и на смену ей пришли округа и окружные начальники, не пустившие глубоких корней в степи и еще только ощупью вырабатывавшие новые методы управления, среди рассеянных по широким просторам казахских родов участились случаи барымты — грабительского увода скота, набегов на аулы. Старшим и младшим султанам, утвержденным в округах царской властью, было поручено решительно бороться с барымтой. В борьбе с барымтачами участвовали и русские войска. Чингиз принадлежал к тем султанам, кто не без успеха содействовал прекращению этих открытых грабежей. Барымту искореняли в течение нескольких лет и добились известных результатов. Но не окончательных. Дело в том, что открытый грабеж стал принимать формы темного воровства, а барымтачи не без основания приобрели кличку черных разбойников.

Среди этнх разбойннков былн уаковец Кожык, сын Макаша, н керей Медебай, сын Кншкнльднка.

Бай Макаш, владевший большнми табунами, жнл в пойме рекн Кундызды, неподалеку от Кусмуруна. У него, спокойного человека, не было никакого тяготення к спорам н грабежам. Но после смертн Аблая, в годы соперннчества Валн н Касыма, двух сыновей властительного хана, Макаш склонился на сторону Касыма. Поэтому Чннгнз, сын Валн-хана, счнтал Макаша своим врагом. Став ага-султаном Кусмурунского округа, Чингнз враждебно отнесся н к Кожыку, сыну Макаша. Он потребовал от него нлн откочевать куда угодно, нлн, если ему уж так хочется сохраннть свон владенья на Кундызды, прнвестн ему, Чннгнзу, несколько сотен коней.

Однако Кожык, не в прнмер своему отцу, жадный любитель барымты н отчаянный заднра, оскорбнлся предложением Чннгнза. Он н коней не дал султану и с места не тронулся. Тогда упорный Чннгнз прнбегнул к нспытанной помощн Шамрая. Сотня казаков согнала Кожыка с берегов Бобровой речкн. Прншлось ему укрыться в Еснльской стороне, где роднчн наделнлн его землею в лесу Менизей.

Кожык обосновался в Менизее вместе со свонм братом Кокаем, слабым и здоровьем и характером. Переезд на новое место гнбельно сказался на судьбе хнлого бая. Он вскоре умер, н о сго смертн прослышал Есеней, жнвшнй в эту пору в своем уеднненном далеком Буркеу.

Когда-то Есеней крупно повздорнл с Кожыком. Вороватый Кожык похнтнл у него беркута, не зря прозванного Зорким Глазом за его способность выслежнвать н настигать лнс. Зиая хватку Кожыка, Есеней не отправнл к нему гонца, а самолнчно прнехал на его осеннюю стоянку. Кожык, по своему обыкновенню, грелся в чем мать родила у очага своей юрты. В жаркие летнне днн он н по аулу мог бродить совсем налегке, не ведая, что такое смущенье.

Есеней, не слезая с коня, остановнлся у юрты н зычиым голосом, не премнину выругать Кожыка н занкою н собакой, возвестнл о своем прнезде. Как ни своенравен был Кожык, но закона гостепринмства ие нарушнл, накннул на голые плечи легкий чекпен нз верблюжьей шерстн и по всем правнлам прнветствовал Есенея, как старшего. Правда, Есеней не взял его протянутой рукн н решнтельно потребовал отдать беркута.

— Почему ты его отнял? У тебя девять сыновей, а у меня нн одного. Ты на ннх надеешься, а мне на кого надеяться? Отдай Зоркого Глаза.

Кожык опустил голову, сложил руки, смиренно проговорил, заикаясь:

— Ты по-обе-дил, Есе-еней! От-отпро-буй моего уго-щения и заб-бирай своего бе-беркута.

Но в этот приезд в дни поминок по Кокаю Есеней был миролюбив и даже не вспомнил истории с беркутом. Да и не ради поминок прибыл он к Кожыку, хотя и прочитал, как положено, поминальную молитву. Совсем другая мысль владела Есенеем. Он не сомневался в ловкости Кожыка. Бывалый барымтач стал теперь одним из самых опытных тихих разбойников. Помогали ему в конокрадстве и девять отчаянных, удавшихся в отца сыновей и все окрестные воры, льнувшие к нему, как к признанному вожаку. За всеми ними так и утвердилась кличка сторожевых псов Кожыка. Потерпевшие чаще всего побаивались вступать с ними в спор. Мол, самой судьбой предназначено было лишить их скота. Ну, а те, что посмелее, пробовали жаловаться старшим и младшим султанам, но проку из этого не выходило никакого. Своею властью султаны в этом случае не пользовались, изредка ограничиваясь пересылкой жалоб омским властям. А там и дело с концом.

Убежденный, что Кожык затаил в душе злую обиду на Чингиза, зная его силу и воровскую изворотливость, Есеней принялся разжигать в нем чувство мести и честолюбие.

— Эх ты, Кожык-заика. Присмирел ты, я вижу. Где твоя прежняя хватка?— играл Есеней на его слабых струнах.— Почему ты не берешь кун, почему ты решил простить убийство своего родственника Балтамбера? Ты что, Чингиза боишься? Много славных сынов было в твоем роду Уак. Люди помнят Камбара-батыра на черном с белой звездочкой коне Помнят и Ер-Кокше. Даже молодые знают Ер-Косая и Сары-Баяна. Только ты забыл их славу и стал рыхлым и слабым, как баба. Уаки, вы перестали защищать свою честь. Потомки Вали-хана убили вашего сильного родича и спрятали его тело. А у вас только и нашлись слезы, чтобы оплакать Балтамбера. Сколько лет прошло с тех пор, спрашиваю я. Кто из вас сел на коня, чтобы отомстить за смерть мужчины своего рода. Притихли вы и теперь, когда на вас свалилось такое несчастье. Что же ты молчишь? Отвечай!

Но растерянный Кожык молчал. Молчал от этого неожиданного напора, от нахлынувшей вновь обиды. Заикавшийся всегда, он сейчас разволновался так, что мог только тянуть, задыхаясь от волнения:

— Э-э-э...

Тряслись губы и подбородок. Есеней, почувствовав, что ему удалось загнать Кожыка в тупик, атаковал его еще стремительнее:

— Слова не можешь произнести, заика! Ты кого боишься? Ханских потомков? Разве ты не знаешь, что сейчас ханскому роду и вся цена — пять копеек!

— И в-верно!— произнес с трудом первое осмысленное слово Кожык. Он переполнялся кипящей злостью, и она вот-вот готова была прорваться наружу. Злость и гнев угрюмо вспыхнули в узких глазах, желваки так и перекатывались под кожей.

— И верно!— передразнил его Есеней.— Так что же ты сидишь сложа руки. Или ты со всей твоей силой и всеми твоими уаками только против меня идти способен: то призового коня уведешь, то любимого беркута уворуешь. Где же твой боевой дух для настоящих врагов? Может, у тебя не хватает, а может, и совсем не бывало.

Есеней наступал, а Кожык, охваченный бессильной яростью и стыдом, выглядел беспомощным и жалким. И вдруг из узких раскосых глаз первого в округе конокрада и задиры брызнули слезы.

Слезливость эта только усилила натиск Есенея.

— Я считал до сих пор, что ты мужчина, батыр! А ты вон какой слабый!— Он собрался с чувствами и выкрикнул старинное слово неудовольствия и презрения: — Эх, тайири! Распустил нюни, как баба, а надо взять в руки оружие. Чтобы я не видел больше твоих слез!

Пристыженный Кожык рукавом верблюжьего чекпена утер слезы, а Есеней продолжал свое:

— Чингиз у тебя отобрал землю, заставил искать в степи пристанище у родичей. Он виновен в убийстве достойного мужчины твоего рода. Отомсти ему... Иначе твое имя навсегда забудут или будут вспоминать с усмешкой. Скажут: «А, это тот Кожык»...

— Что же мне делать, посоветуй, Есеке!— Кожык, кажется, был готов на все, чтобы не слышать больше упреков.

— Тогда слушай, запоминай и действуй. Врукопашную его уже не свалить. Надо издали, с расстояния, так ударить его в живот, чтобы он потерял рассудок.

Кожык только переспрашивал и поддакивал, соглашаясь с каждым словом Есенея.

— Орда Чингиза сейчас на границе оренбургских и сибирских казахов. Сибирских я настрою против него сам. А ты бери соседей. Уводи табуны у оренбургских баев побогаче.

Пусть думают, что это делают сторонники Чингиза. Он окажется между двух огней. Он может и не выбраться, а уж обожжется наверняка!

Есеней был настойчивее и находчивей Кожыка. Кожык понял: только так можно отомстить Чингизу, сильно поколебать его положение. И после отъезда Есенея начал неутомимо действовать. Он и его подручные уводили косяки аулов аргынцев и кипчаков, аулов родов Жагалбайлы, Жалпас, Шомекей, кочевавших на землях оренбургских казахов. Ворованный скот сгоняли в глухие урочища, принадлежавшие опытным конокрадам — барымтачам, а теперь тихим разбойникам Медебаю, сыну Кишкильдика из кереев и карааульцу Баубеку.

Чингиз ничего не мог поделать. У него был один выход — обратиться к русским властям. А в оренбургских аулах росла и крепла молва, что Чингиз мог бы справиться с Кожыком, но боится народа, которым правит, а поэтому покровительствует ворам и конокрадам.

Слухи в степи ходили самые противоречивые.

Упорно поговаривали: из Оренбурга и Омска не то должны выступить, не то уже выступили отряды. Они, мол, встретятся в Кусмуруне и вместе пойдут на Кожыка и его приспешников.

Напуганный недоброй вестью, вновь растерявшийся Кожык отправил своего посланца Андамаса к Есенею за советом. Андамас тоже был батыр-конокрад, известный не только своими темными делами, но красноречием и гибкостью.

Вести, привезенные Андамасом, для Есенея не были неожиданными. Правда, он не предполагал, что события могут принять такой оборот. Он склонен был думать, что все разрешится встречей биев двух враждующих сторон. Но теперь положение обострялось, и Есеней не меньше Кожыка был напуган сообщением о возможном вмешательстве русских войск.

Не полагаясь на одно свое влияние и собственный ум, Есеней немедля собрал тех представителей округа, которых безоговорочно считал мудрыми и доброжелательными. Среди них едва ли не на первом месте находился бий рода Кошебе Табай, женатый на родной сестре Есенея Матак. Когда совещались роды Кошебе и Сибан, более уважаемого человека, пожалуй, не было.

Табаю и дал первое слово Есеней, как только начался совет в связи с приездом Андамаса:

— В таком сложном положении ты один, Табеке, можешь найти разумный выход.

Бий Табай начал с прямого вопроса:

— Скажи, Андамас, правду: ты головорез, которому нет дела до того, что происходит вокруг? Или тебя можно считать еще и джигитом, способным понять, что ему скажут. И потом поступать в согласии с другими?

— Как я могу сказать заранее?— пожал плечами Андамас.— Зачем я буду выхвалять себя? Вы говорите, решайте. А потом увидите сами, понял я вас или нет.

Бий Табай заговорил. Неторопливо и хитроумно. Он посоветовал Андамасу перед новым окружным собранием в Кусмуруне поехать к Чингизу и отдаться в руки властям. На этот сбор, на второй ширпыши, с тех пор как Чингиз стал ага-султаном, должны съехаться и сибирские и оренбургские казахи. Но прежде чем созвать их всех, Чингиз предпочтет посоветоваться с влиятельными людьми только одного своего округа. Вначале там будут посланцы кереев и уаков. От Кошебе — мы с Байдалы, от Балта — Тлемис с Исой, от Торыши — Токсан и Аю, от Сибана — Есеней и Есип, от низинных уаков — Елембай и Ермен, от горных — Жарыгамыс и Шабанкул, от Курлеута — Джигит, от Канжигалы — Шанки. Ну, еще несколько других. В ханской Орде под Черным шаныраком Чингиз будет восседать на почетном месте. А по правую и левую сторону разместятся посланцы родов.

— Ты понимаешь, что речь пойдет о тебе!— круто повернулся Табай к Андамасу.— И обвинять тебя, должно быть, будет сам Чингиз. Слушай, запоминай.

— Слушаю вас, Табеке,— не слишком обрадованно откликнулся Андамас.

— Зная тебя, он все равно спросит твое имя. Ты спокойно ответишь. Он задаст тебе вопрос, не ты ли и есть конокрад-барымтач. Соглашайся и с этим. Он спросит, правда ли, что ты воровал скот у оренбургских казахов. Не отрицай и этого. Скажи: да, воровал. А сам воровал или тебя посылали? Удиви его ответом: сам воровал, никто не посылал. Чингиз разойдется, начнет сердито допытываться. зачем воровал? И тут тебе растеряться нельзя. Отвечай сдержанно и уверенно: опора у меня есть, султан. На кого же ты опираешься, удивится Чингиз. А ты, не повышая голоса, называй по порядку всех биев, что будут находиться в его юрте. Дошло до тебя?

— Все ясно, Табеке, но...— замялся Андамас.

— Повтори то, что я сказал. Перечисли всех биев, что будут сидеть и на правом и на левом крыле.

Андамас послушно назвал все имена, названные Табаем.

— Вижу, ум у тебя есть. Помни, на кого ты опираешься. И об этом прямо скажешь Чингизу.

— Ойбой, Табеке, ойбай,— потерял равновесие Аидамас.— Да ведь Чингиз душу из меня вытянет, на растерзание отдаст.

— А ты не волнуйся, дыши ровно.— Табай даже улыбнулся.— Надо делать так, как я тебе сказал. Об остальном не раздумывай. В обиду тебя не дадим. Да и что тебе сделает Чингиз? Разве что скажет: кереи и уаки могут быть тебе опорой в добрых делах, но как они посмеют оправдать твои нечестивые поступки? Тогда ты ответишь: добрые дела не требуют поддержки, а они меня и в беде выручат. Чингиз тогда выйдет из себя: не мели чепухи, скажет. Не будут они тебя защищать. А ты ему ответишь: как так не будут, если они выходцы из кереев и уаков. Да я их... Тогда...

Бий Табай, пустив в ход свое красноречие, нарисовал, сам того не желая, малоутешительную для Аидамаса картину. Посланец Кожыка совсем растерялся, пробовал возражать, но изощренный в спорах Табай продолжал наседать и каждый раз безжалостно его обрывал. Не так-то легко было тягаться с бием.

— Понял я, Табеке,— горестно вздохнул Аидамас.— Но... Но...

Закончить ему не удалось.

— Никаких «но»!— обозлился бий.— Поступай, как тебе сказано. А не хочешь — продолжай бродяжничать и ищи смерть на дороге.

Аидамасу хотелось сказать, что он и здесь не встретил никакой поддержки и что вряд ли получится прок из всей этой затеи, но тут вмешался Есеней и посоветовал ему не пререкаться со старшими.

«Что я скажу теперь Кожыку?»— подумал про себя Аидамас и замолчал, скис. Он бы и уехал, считая, что ничего не добился. Однако напоследок Есеней подбодрил его, сказав с глазу на глаз:

— Не падай духом. На всякий случай держи в памяти совет Табая. Вреда от этого не будет. Но я не думаю, что произойдет именно так. Откуда мы знаем, как поведет себя Чингиз и хватит ли у него пороха задавать тебе такие вопросы. А пока садись в седло и передай Кожыку, что с ним заодно многие сильные люди. Но смотри, не попадайся в руки Чингизу. Дождись сбора в Кусмуруне всех главарей кереев и уаков. Тогда все и решится.

Андамас уехал. На душе у него было смутно. Ясно ему

было только одно: вражда в степи накалилась, и Есеней, накаплнвая злость н снлу, сплачивал своих сторонников, чтобы ударить по Чингизу.

Строптивый Чокан

Читатель помнит, как складывались первые годы жизни Чингиза н Зейнеп.

...Сперва Чингнз построил знмовку у берегов Священного озера в сосновом лесу Аман-Карагай, а осенью вернулся с молодой женой в родной Срымбет в сопровожденнн своих нукеров. Весь многочисленный скот, принадлежавший Айганым, он оставил родным братьям н родственникам, а себе взял только стригунка — иноходца. И то лишь потому, что так распорядилась мать. Когда этот жеребенок яркой рыжевато-желтой масти появился на свет, Айганым сказала:

— Даст аллах жизнь и здоровье, мы еще увидим, как жеребенок станет взрослым аргамаком, и мой Чигажан оседлает его. Поставьте на бедро жеребенка тавро нашего предка хана — лунный серп и дайте ему клнчку Сагым-сары, Желтое Марево.

Сагым-сары с той поры, как встал на ноги, не знал н мелкой рыси и нетерпеливых скачков галопа, но никто не мог угнаться за его ритмичной уверенной иноходью.

Чингиз взял себе иноходца, облюбованного матерью, и ровным счетом ничего больше еще н по другой причине: ему достаточно было скота, приведенного родственниками жены. Старший брат Зейнеп Муса произнес, рассказывают, такие слова: не допущу, чтобы моя единственная сестренка чувствовала себя сиротою, пусть она гордо входит в дом мужа; выплачу сполна ее долю. И выделил ей из наследия Чормана все, что положено в таких случаях: и двадцать пять верблюдов, необходимых для кочевок, н около ста лошадей, чтобы не просить у людей кумыс, н свежее мясо на зиму, и около пятисот овец, чтобы не пустовали загоны.

Однако даже этот скот, полученный в дар от Мусы, Чингиз не целиком оставил себе. Добрую долю он передал своим братьям. Он разрешил себе такую щедрость потому, что в Кусмуруне за какие-нибудь три-четыре месяца у него и без Мусы умножились табуны н отары. Одни пригоняли скот как угощение — ерулик, другие как непременную дань султану — сыбагу, третьи — в счет подводного сбора — колик, четвертые как сауын — молоко, а пятые, не раздумывая долго, просто

как взятку за будущие благодеяния хана, как по-прежнему его называли.

Зейнеп в аул своего мужа привезла вместе со всяческой утварью две белоснежных юрты-отау и одну серую — для хозяйственных дел. А сам Чингиз из добра, доставшегося от предков, выбрал один-единственный Черный шанырак. Он и его пытался оставить родичам, но аксакалы, собравшиеся на проводы, уговорами и молитвою настояли на своем. Дескать, аруах — дух предков жив в этом шаныраке, и он, Чингиз, должен владеть им, как самый достойный продолжатель ханского рода!

Весной Зейнеп родила сына. Случилось так, что у Чингиза в это время гостил ишан Калкай, старший сын ишана Марала, некогда поднявшего мусульманскую войну — газават против белого царя. Чингиз дружил с родичами Марала, дружил тайно и поддерживал их, как временами поддерживал и мятежных сыновей Касыма — Есенгельды, Саржана, Кенесары и Наурызбая, хотя перед лицом русского правительства показывал себя их врагом. Еще до своего разгрома и бегства на Сырдарью сам ишан Марал жил некоторое время в Аман-Карагайском лесу. Поэтому и озеро получило название Священного.

Ныне ишан Калкай скрытно пробрался в родные края и пользовался гостеприимством Чингиза. Он рассчитывал присмотреться вокруг, выяснить, в каком состоянии находятся бывшие владения его отца и нельзя ли их вернуть себе по праву наследника. Он стремился, понятно, найти надежных и уважаемых сторонников. И пользовался для этого каждым удобным случаем. Когда к нему обратились потомки Валиханa с просьбой дать имя новорожденному, он охотно согласился.

Ревностный поборник ислама, чуть ли не четверть века проучившийся в Багдаде и прослушавший курс всех двенадцати главных наук, он решил назвать сына Чингиза именем, вошедшим в историю священных войн — газавата. Он вспомнил неустрашимого хазрета Гали, женатого на дочери Мухаммеда-пророка Фатиме. Восемнадцать сыновей, говорит предание, имел хазрет Гали, и все они были батырами как на подбор. Но и среди них своим бесстрашием прославился Мухаммед-Канафия, сподвижник отца в его походах.

Так не без хитрой скрытной надежды ишан нарек мальчика, рожденного Зейнеп, Мухаммедом-Канафией.

Зейнеп, которая несколько шепелявила, затруднялась полностью произносить это длинное имя. Она стала называть

своего сына просто Канашем, а среди окружающих чуть ли не с первых месяцев жизни за ним утвердилось прозвище Чокан.

В начале XIX века в Прикаспийских степях, на территории так называемой Букеевской орды на почетную белую ханскую кошму был поднят Жангир Букеев, и акын тех времен Байток из рода Алаша так возвеличил новоиспеченного хана:

Когда ему первый исполнился год —
Речам его бойким дивился народ.
Когда же Жангиру исполнилось два —
Пером на бумаге он вывел слова.

Похожие были-небылицы рассказывали и о Чокане.

В ханском роду соблюдали обычай — держать ребенка в бесике, пока он не научится говорить. Следовала этому обычаю и Зейнеп. Однажды она его покормила, и Канаш-Чокан уснул в своей колыбели. Неожиданно приехали гости. Они торопились по своим делам и поэтому отказались от свежего мяса, довольствуясь вяленым. Обед приготовили быстро, и гости сразу принялись за еду. Тут-то и проснулся Чокан. Он высвободил ручонку, откинул край покрывала и отчетливо сказал:

— Ау, гости, не оставьте меня голодным.

Гости удивленно переглянулись, уставились на бесик, а младенец как ни в чем не бывало продолжал:

— Я правду говорю... Дайте мне хоть немного мяса.

Чокан многих перепугал. Кто-то даже воскликнул:

— Ой, аллах! Что это за наважденье!

Не растерялся только бий Елембай из рода Уак. Недаром он слыл спокойным и смелым.

— Смотрите, как побледнели. Ребеночка устрашились? Подумали, он вас проглотит. Ну, если так, пусть меня съест.— Бий поднялся с подушек и подошел к бесику.— Лучше-ка я его развяжу.

Елембай распеленал ребенка и поднял на руки. Чокан был кругленьким, плотно сбитым. Бий пощелкал его по тугому животику:

— Вот это батыр! На какую беду кереев и уаков он родился? Ох, уж ханские потомки. Привыкли собирать дань. Еще от материнской груди не оторвался, а требует мяса. На тебе! Ешь.

Елембай сунул ребенку в рот мягкий кусочек казы. Ма-

лыш пососал-пососал лакомую копченую конину, проглотил ее и потребовал еще.

...И отец, и мать, и родственники баловали Чокана, оберегали его от болезней, от дурного глаза.

Сам Чингиз в нем души не чаял. И потому что в нем проснулись отцовские чувства и по другой причине.

Бродившие в степи темные сплетни об Айганым рано или поздно доходили и до Чингиза. Временами он начинал сомневаться в честности своей матери: кто же мой отец, кто? Ему уже со всеми отвратительными подробностями сообщили о Балтамбере. Нашелся наглый смельчак, осмелившийся сказать ему в лицо, что он, Чингиз, очень походит на этого дюжего табунщика, приближенного Айганым.

К счастью Чингиза, его горькие сомнения рассеял Турсымбай-батыр из ветви Балта рода кереев. Турсымбай, когда он приехал в Кусмурун, выглядел почтенным старцем, ему и на самом деле перевалило за девяносто. Скорее всего, старики говорили правду, что именно он поднимал знамя самого Аблай-хана. Батыр для своих почтенных лет неплохо держался в седле. Но за дастарханом во время беседы был забывчив, слезлив, не вовремя засыпал. Жил он скудно, питался кое-как и давно поизносил свою одежду. Он посетил Чингиза, чтобы дать напутствие внуку Аблая: Чокан в это время уже стал на ножки и выбегал из юрты.

Чингиз встретил Турсымбая как положено. Уговорил его сбросить изношенный халат, накинул ему на плечи новый, угощал его самым вкусным, что только было в доме.

В гостевой юрте они вели неторопливую беседу. Чингиз, услышав звонкий голосок сына, вышел, подхватил на руки своего любимца и принес его старому Турсымбаю.

— Благослови его, батыр-ата. Это твой внучонок.

Турсымбай долго и удивленно всматривался в Чокана серыми выцветшими глазами. И вдруг по его маленькому коричневому лицу потекли слезы.

— Аруах!— приговаривал он.— Аруах, дух предков с нами!

Чингиз взволновался:

— Что вы расплакались, ата? Я ничего не понимаю.

Старый батыр не нашел сил сразу ответить.

— Ата, скажите, я умоляю вас.

И Турсымбай с трудом проговорил сквозь слезы:

— Я не могу не плакать, Чингиз. Твой сынок — вылитый Аблай.

Чингиз поверил батыру. Батыра всегда считали правдивым. С той поры он часто повторял про себя: «Если мой сын похож на Аблая, значит и я — потомок хана». И вдвойне полюбил своего Мухаммеда-Канафию, лаская и балуя его с горячей отцовской гордостью.

Мальчик рос памятливым, внимательным, зорким. Он любил вертеться среди взрослых. На празднествах ему особенно нравились песни. Он весь превращался в слух и когда сказитель вел свой неторопливый рассказ.

Постоянного учителя у Чокана не было. То мать ему показывала начертания арабского письма, то бродячий мулла, норовивший как можно дольше задержаться в богатом и гостеприимном ауле.

Чаще других акынов в Орде бывал Жаманкул из курлеутской ветви рода Кыпчак. Он слагал звучные и мудрые стихи, но не чурался и хвалебных слов в честь Чингиза. И самолюбию султана льстило, когда известный акын под домбру ладно и горячо прославлял его дела, его ум и храбрость. Кроме того Жаманкул знал множество народных песен, сказаний и сказок. Знал их так, как пастух — травы, как охотник — ловчих птиц, как ребенок — материнскую колыбельную. Жаманкул помнил наизусть многие жыры — эпические поэмы. А это высоко ценил Чингиз, перенявший от Айганым любовь к народному творчеству. Чингиз не только слушал, но и записывал, и своими записями снабжал русских друзей.

Старый акын с благодарной нежностью относился и к сыну султана. До чего смышленый, до чего внимательный мальчик! Значит, говорили правду, что он едва ли не в пять лет научился мусульманской грамоте. Жаманкул однажды в этом убедился сам, с удивлением и восхищением.

Однажды по просьбе Чингиза акын напевал жыр «Едиге». Чокан замер у ног отца.

Он не все понимал в ритмичном рассказе акына. Особенно, когда речь шла о давних временах, когда переплетались имена сказочных героев и живших на самом деле, жестоких и властных: Чингизхан, Тимур, Токтамыш, сам Едиге... Войны и войны... Выжженные города и селенья. Все это было и страшно и далеко. Но плавное повествование сменялось песней, и песне вторила домбра Жаманкула. И мальчик весь превращался в слух, впитывая чудные и близкие его сердцу слова.

— Я молодой сокол, выросший в горном гнезде, я возвращался в родные горы; я кулан, выросший без цепей... Я пасусь и отдыхаю; я горше полыни...

— Мой бег быстрее бега молодого верблюда, в ноздри которого не пройдет конский волос... Я бешен, как молодой верблюд, и меня не остановить перетянутой веревкой.

— Выше сосны я вырос, высокая осина; ударит ли ураган в мою вершину, не содрогнусь... Я раздвоенная дубовая ветвь, которая хотя и гнется, но никогда не сломится...

— Не волнуйся, глупое озеро! Если раз только мы напоим в тебе табуны наши, то ты сделаешься грязным болотом.

— Не кричи ты, чибис-птица, уйми свой голос, бедная птица, сложи свои крылья, опусти вольно шею! У меня ведь нет табунов, пасущихся на берегу, нет сына, который бы мог взять из гнезда твои яйца в свои полы.

... Обычно песни Жаманкула записывал Чингиз. Но в этот раз песни записал сын. Он восхищался песней и злился, что не поспевал за певучей и стремительной речью акына. Но сразу после записи восстановил пропущенные места и прочел записанное отцу и акыну слово в слово.

Старый Жаманкул прослезился, обнял Чокана.

А отец смотрел на сына с гордостью и нежностью. Но по строгим своим правилам даже не похвалил.

И вдруг Чокан сказал:

— Скучно в юрте. Пойду в степь. Может, сокола увижу, а может, встречу кулана.

И убежал.

Чокан вырастал капризным и строптивым. Больше, чем мать и отец, повинен был в этом Шепе. Словам старого батыра, что мальчик похож на Аблая, он радовался не меньше Чингиза. Фанатичный до предела, слепо убежденный в том, что ханский род их произошел от самого «Солнечного луча», он считал и отца, и братьев, и самого себя, конечно, белой костью; всех остальных казахов он презирал, как только белая кость может презирать черную. Шепе в свое время тоже одолевали сомнения: ему, как и Чингизу, пришлось выслушать много грязного о своей матери. Но если Чокан — вылитый Аблай, значит, и Чингиз его чистый потомок. А если Чингиз — потомок, значит, и Шепе принадлежит всей кровью ханскому роду. Чокан стал в его глазах живым подтверждением их знатности. И поэтому Шепе сердечно привязался к племяннику

В представлении Шепе все было просто и ясно: сильному предписано судьбой пожирать слабого. Ты сильный — сокрушай всех на своем пути. Шепе придерживался пословицы:

Шесть дней бурой[1] могучим быть милей,
Чем холощеным шесть десятков дней.

Ты сильный: только успевай заглатывать живьем других! Шепе не был начитан, ничего не смыслил в истории своего народа, не знал как следует и его теперешней жизни. Он не думал ни о прошлом, ни о будущем. Главное состояло в том, что Чингиз стал ага-султаном. В руках у султана сила — его поддерживает власть белого царя. Никому не дано сломить Чингиза, значит, и он, Шепе, в безопасности. И Шепе творил преступные дела, оставляя в неведении своего брата, образованного и честного человека.

По своему жестокому и наивному представлению Шепе считал, что каждый, кто принадлежит к ханскому роду, кто является торе, непременно должен быть насильником и даже мучителем, что ему положено брать поборы с населения, принимать за самую маленькую услугу самые большие дары. Он и ребенку стремился внушать подобные мысли.

Один акын, приближенный к ханской юрте, сложил такие стихи:

В земле богатства щедрые сокрыты,
Хранят коралл и жемчуг глуби вод.
По молодости сколько ни греши ты,
Мужчина ты, и устрашишь народ.

Словом, помни о том, что ты мужчина, и не просто мужчина, а ханского рода. Значит, все твои грехи простятся, а ты будешь нагонять страх и сполна получать положенное тебе по праву сильного и знатного.

Хотя Шепе и превозносил силу, хотя он и любил рассказывать о властных ханах и могучих батырах, но сам был начисто лишен и храбрости, и мужества, и какого бы то ни было величия. Плюгавенький, невзрачный, он возбуждал одни насмешки. За глаза над ним потешались, но вслух никто не подсмеивался, зная его мстительный характер. Разрешала это себе одна Шонайна. Женщины-казашки часто дают прозвища своим мужьям. При этом соблюдается закон контраста. Смуглого называют белоснежным, шумного — тихим, робкого — батыром, неумелого и ленивого — мастером. Шонайна величала своего муженька Горой или Вершиной. Сначала он злился, а потом привык. Привыкли к прозвищу и в Орде.

Шепе во всех своих поступках был маленьким человеком.

[1] Бура — верблюд-самец, в народном фольклоре — воплощение мужества.

Ему нравилось науськивать, подзуживать. Был он приветлив и по-своему сообразителен. Он даже любил по-своему Чокана. Ограниченный умом, недобрый по сути своей, он и не подозревал, что портит мальчугана.

Примечая в нем черты строптивости и капризного упрямства, он не только всячески потакал ему, но, как говорится, подливал масла в огонь. Это он научил племянника на вопрос «Чей ты сын?» отвечать: «Я сын Абея». Так ему было легче произносить имя Аблая. А со временем он уже вполне отчетливо называл отцом своего могущественного деда. Шепе настойчиво внушал памятливому и впечатлительному Чокану, что Аблай не простой человек, что предок его рожден от самого луча солнца, и, значит, он, Чокан, уже по происхождению своему стоит намного выше простых казахов.

Шепе подсказывал Чокану, что ему следует высокомерно относиться к простолюдинам, к черной кости. И не только пренебрегать ими, но и доставлять им как можно больше неприятностей. Даже постыдной ругани — и той научил ребенка Шепе. Научил не добродушным шалостям, не забавным проказам, а уменью оскорблять, причинять зло. Плюнь ему в лицо — он тебе ничего не посмеет сделать, тяни за бороду, растреножь коня, на котором приехал незнатный гость, спрячь камчу, шапку, пояс, седло, да так спрячь, чтоб потом их и не отыскали. Вот так Чокан и привык забавляться. К Чингизу приходили жаловаться на сына, он пытался его утихомирить, но тут стеной вставал Шепе.

По наущению дяди Чокан, бывало, вместо того, чтобы подчиниться отцу и признать свою вину, передразнивал его и вдобавок произносил бранные слова.

Недобрый Шепе плохо влиял на Чокана. Но и он не в силах был поколебать в мальчугане его бескорыстную, бесконечно далекую от почтительного страха любовь к отцу. Да, он грубил, был способен и на другие своевольные поступки. Но разве мог сравниться похожий на злого карлика Шепе со статным отцом, умевшим так хорошо разговаривать с приезжими русскими на их языке. Отцом, знавшим сказки бабушки Айганым. Отцом, носившим такой красивый мундир, который и во сне не снился дяде Шепе. Отцом, прощавшим ему то, что другие никогда бы не простили. И какая у него ласковая улыбка светилась в глазах, в уголках губ, даже в усах, всегда аккуратно подстриженных.

И случалось так, что на обычный вопрос Шепе «Чей ты сын?», Чокан, помедлив с полминуты, неожиданно отвечал:

— Чингиза!

— А я тебя учил чему?— спрашивал дядя.

— А вот чему!— И Чокан, сделав гримасу, срывался с места и убегал в степь.

Как он любил игры в степи! Как он любил забегать далеко-далеко, где уж никто ему не мог мешать, никто его не останавливал.

Свои отчаянные проделки Чокан совершал не один. Мальчишки немногочисленных юрт соседнего аула Карашы входили в отряд Чокана. Он, полновластный командир, себе в помощники избрал своего ровесника Жайнака. Они родились в один год, в один месяц, в один день, в один и тот же час рассветного времени. Чокан рос медленно, хотя и выглядел крепышом. Худенький Жайнак вытягивался, как стебелек, был намного выше Чокана. Они играли вместе с того времени, как стали ходить. Шепе негодовал. Он считал предосудительной дружбу сына торе и сына слуги — тулеигута. Но не в его силах было разлучить их. Как ни старался Шепе, они сходились снова. Нудно вколачивая Чокану слова о черной и белой кости Шепе преуспел только в одном: Чокан частенько поругивал своего сверстника, а порою и поколачивал. Жайнак отличался завидной выдержкой и незлобивостью. Может быть, где-то ему было и не совсем приятно чувствовать, как в Чокане вдруг просыпался дерзкий торе. И еще грустнее было сознавать, что он всего-навсего тулеигут. Но мальчишки остаются мальчишками, к тому же и Чокана и Жайнака природа наделила и добротой и отходчивостью.

Маленький торе вообще лучше чувствовал себя в ауле Карашы. Он не очень жаловал своих братьев и сестер. Может быть, потому, что был любимчиком и матери и отца. Сестренку Ракию он частенько обижал и поколачивал, она, естественно, сторонилась его. Но к сводной сестре Жайнака Айжан он относился с удивительной нежностью. Когда она была совсем маленькой, он даже в люльке ее качал и носил на своих еще неокрепших руках. Она подросла, он стал с ней играть. Даже подарки приносил — ленточки, бусы, перья.

Однажды Чокан привел ее в Орду. Хитрый нашел предлог. Будто бы она хочет поиграть с сестренкой. Зейнеп взглянула на Айжан и с ревнивым огорчением заметила, что девочка из аула Карашы и румянее, и красивей, и живее ее дочки. А спустя несколько дней она от кого-то услышала, что Чокана и Айжан называют Козы-Корпеш и Баян-слу, влюбленными с детства друг в друга. Вот тогда султанша и запретила Айжан бывать в ауле. Но это нисколько не помешало Чокану встречаться с ней. Карашы был для него как дом

родной. Он по-прежнему играл с Айжан, по-прежнему таскал для нее из дома и лакомства и безделушки.

Но лучшим товарищем для игр в степи был для него Жайнак.

Их дружба особенно крепла в летние месяцы во время откочевок на джайляу. Расстояния между аулами так сближались, что не только сами малыши, но и придирчивые родительские глаза не могли отличить детей торе от детей простых казахов. Детвора резвилась вовсю, и уж если начиналась потасовка, никто не считался с тем, где белая кость, а где черная. Кто сильнее, тот и одолевал! Из мальчишек в отряде Чокана побеждал обычно Жайнак. Кто с ним мог сравниться и волей, и силой, и ловкостью, и находчивостью? Он выигрывал всегда. Даже в том случае, когда его настигали, Жайнак вывертывался, и попробуй, догони его! Ну, а в схватке один на один неизменно валил соперника на землю. Жайнаку дали прозвище Рыжего Верблюда. За его рост, за силу. Нрава он был самого кроткого. Никогда не задирался и слушался Чокана, безоговорочно признавая его первенство и по уму и по знатности.

... Мы теперь возвращаемся к лету 1847 года, когда начинаются главные события нашего романа. Именно Чокану и Жайнаку выпало на долю вовлечь Чингиза в сложную и малоприятную для него историю.

Чокан вырастал озорником, но озорником с умом, со своим, пускай еще детским, но достаточно определенным взглядом на жизнь. Он внимательно присматривался ко всему, примечал, что происходит вокруг него, вокруг дома, вокруг аула, и всему давал свою, порою наивную, но чаще верную оценку. Многое наблюдая, многое слыша из чужих уст, Чокан постепенно составил себе представление о людях Кусмурунского округа, и знатных и незнатных. Мало-помалу он стал разбираться в том, кто поддерживает его отца и кто выступает против. Людей, питавших злобу к отцу, он просто ненавидел. Продолжая слыть баловнем ханской семьи, Чокан извлекал из этого свою выгоду и зло подшучивал над теми гостями, которые — он это отлично знал — были неугодны отцу. Он мстил им, а они, не понимая, в чем дело, почти благодушно отмахивались: «Мол, смотри, как резвится сын торе! Дитя, что с него возьмешь!» Гости не трогали Чокана еще и потому, что побаивались гнева Чингиза.

Впрочем, однажды Чокану пришлось уразуметь, что не все остается безнаказанным, и он стал более осмотрительным. А случилось так. В аул приехал небезызвестный Кожык, че-

ловек влиятельный, хитрый вор, которого не зря опасался отец. Мало того, что Чокан передразнивал его манеру заикаться, но еще и на голову ему полез. Раздосадованный Кожык, не смущаясь других гостей и хозяев, довольно больно шлепнул Чокана, сказав при этом: «Будь хоть божий сын, сгинь с глаз моих!» В ярости он мог напугать не только мальчика: желваки так и ходили по лицу, глаза выпирали из орбит. Чокан отпрянул, а Кожык снова рванулся к нему. Проказнику показалось, что на него налетает беркут. Он выбежал из юрты. Обиженного Кожыка едва удержали и успокоили. С тех пор Чокан не нападал на незнакомых людей.

В то время, о котором идет речь, мальчик не мог замечать, что врагов у отца становится все больше и больше и к самым сильным из них принадлежит Есеней. К лету 1847 года страсти накалились, хотя в степи с виду было спокойно. Рядом с ханским аулом оставался только аул Карашы. И можно было наблюдать, как вдали караванной цепочкой тянулись на джайляу другие аулы округа.

Правда, в поле зрения Чокана попадал еще один аул, вернее два, располагавшиеся бок о бок. Их юрты стояли к северу от озера в пойме реки Обаган. Главою кочевья был уже известный нам Отей-бай и одновременно бий, происходивший от ветвей Отей и Дауш рода Уак. Правой рукой его стал сравнительно молодой бий Тулеген, человек живой и находчивый, служивший ему верой и правдой.

Весною аул Отея позднее других снялся с места, но летом неожиданно вернулся снова, когда остальные аулы еще продолжали кочевать на джайляу.

Мальчик догадывался: тут что-то не так. Но всех подробностей, естественно, он знать просто не мог.

Необычные кочевые маршруты аула Отея определяла тоже вражда, разгоравшаяся в степи все жарче и жарче.

Роды Керей и Уак под водительством хорунжего Есенея вели ожесточенную борьбу с ханской ставкой, с Чингизом. Им были не по душе преимущества, полученные им от русского правительства. И больше, чем войско в русской крепости, их раздражали посягательства Чингиза на землю, на пастбища, на сложившиеся веками родовые обычаи.

Отей и Тулеген вначале не хотели ссориться с Чингизом.

— Мы остаемся на месте,— говорили они посланцам Есенея.

Но их не оставили в покое.

— Либо вы с Чингизом, либо вы с нами. Если вы поддерживаете Чингиза, значит, вы наши враги. Что мы говорим

Чингизу, то достанется и вам. Присоединяйтесь к нам, тогда будем бороться вместе.

Гонец говорил веско. За каждым его словом стояла сила. Отей и Тулеген, искушенные в спорах, заколебались.

— Медлить нельзя!— настаивал гонец.— Чингиз будет повержен. Вы же сами видите: он не выезжает на джайляу, он думает, его спасут русские солдаты в крепости. Но и они ему уже не помогут. Кочуйте на джайляу с нами. Иначе вам придется на своей спине испытать крепость ударов наших соилов и плетей.

Это был уже приказ. И ему нехотя подчинились. Отей и Тулеген присоединились к аулам, суетливо уходящим на джайляу.

Но кочевка не принесла удачи. И на джайляу земля оказалась бесплодной, сухой и горячей, как такыры пустыни. Полынь с типчаком зазеленели после того, как в степи прошли скудные талые воды. Зазеленели и сразу засохли. Дожди не выпадали, немилосердно жгло солнце. Земля источала пыль и становилась похожей на камень. Аулы разбредались в поисках пастбищ.

В ту пору душного солнцепека — ни травинки на земле, ни капли с неба — в грустное кочевье Отея дошла весть, что в поймах Тобола и Обагана прошли дожди и уже совсем иссохшие луга вновь покрылись травой. Аулы тронулись в сторону ожившей поймы двуречья. Отей и Тулеген сделали остановку у Замыкающего родника Кусмуруна, раскинули походные юрты, дали отдых уставшему и сильно истощенному скоту.

Чингиз, понятно, знал, что Отей и Тулеген примкнули к его врагам. Их возвращение разозлило султана. Он послал своего приближенного и велел передать слово в слово:

— Съезжайте немедленно с моей земли и останавливайтесь там, где вам угодно.

Измученные тяжелым кочевьем они отказались повиноваться и гневно ответили:

— Земля не принадлежит человеку, бог ею владеет. Этот край — общий для всех казахов. Где наш скот, там и наша степь. Пока не передох скот, будем стоять здесь.

С тем и возвратился гонец к Чингизу. Шепе, исходя злобой, подзадоривал брата. Дескать, давай обратимся к солдатам в крепости и сгоним с лугов этих уаков.

Но Чингиз был достаточно сдержан и рассудителен. Он и прежде не очень слушал Шепе, мало разбиравшегося в нынешних сложных отношениях. Чингиз уже не раз убеждался,

что советы брата не приводят ни к чему хорошему. Теперь они были вдвойне опасны.

Чингиз осведомлен был и о том, что помимо волн казахи, входящие в Кусмурунский округ, собирают совет — ширпыши, и люди, которые прибывают на совет, плетут козни против ханской ставки. Отей и Тулеген тоже будут участвовать в этом ширпыши, а они пользуются уважением в родах Керей и Уак.

Но едва ли не главной причиной сдержанности Чингиза был недавний приезд к нему в аул Александра Николаевича Драгомирова. Этот влиятельный омский офицер, служивший ныне в штабе Отдельного Сибирского корпуса, проезжал казачьей укрепленной линией от Омска до Оренбурга по распоряжению военного министра и заехал в Кусмурун к Чингизу Валиханову, своему ровеснику и однокашнику, которого знал еще по войсковому училищу.

Чингиз верил Драгомирову, а Драгомиров сообщил ему в общем неутешительные вести.

В Омске и в Оренбурге рассчитывали к началу Кусмурунского собрания направить воинские отряды, чтобы оказать давление на казахов. Но военный министр князь Чернышев рассудил иначе. Политика смягчалась, становилась более гибкой. Местным властям запретили применять оружие в степи. «Народам, подчинявшимся нам в недавнем прошлом,— говорил князь во время своего пребывания в Омске,— надо дать покой и вмешиваться в их споры только тогда, когда под угрозу ставятся интересы Российского государства. Внутренние тяжбы пусть решают сами казахи».

Из слов Драгомирова Чингиз понял и другое. Царское правительство дорожит своими людьми в степи. Поэтому Чернышев отменил отправку ревизоров в Кусмурун по жалобам, поступившим в Омск на старшего султана округа. Это было скорее плохим признаком, чем хорошим. По существу, Чингиза отдавали на суд самих жалобщиков.

Александр Николаевич пытался, правда, его успокоить:

— Положение твое, друг мой, аховое. Но выход есть, и падать духом не стоит. Ты бы мог и на суде легко свернуть себе шею. Должен сказать откровенно: ведь многие жалобы подтвердились. А русский военный суд — жестокий суд. Я и князю говорил: «Пожалуй, лучше будет для Валиханова держать ответ перед биями». Он согласился со мной. Жалобы эти будут по-прежнему в Омске, а разбирательство бии проведут на основе устных показаний. Тебе, Чингиз, заранее следует расположить к себе биев, пойти с ними на мировую. Они су-

меют успокоить потерпевших. И выгородят тебя. Что же до омских бумаг, то их в конце концов и уничтожить не трудно. Значит, главное для тебя — заручиться поддержкой биев. Не сумеешь — пеняй на себя. Тогда твое дело — труба! Тут тебе никто не поможет, кроме бога. Но и он, как ты знаешь, не всех берет под свою защиту.

Драгомиров укатил дальше, в Оренбург. Чингиз, провожая однокашника, просил его обязательно заехать на обратном пути. Драгомиров пообещал, но не очень определенно.

Итак, нечего и думать, что помощь придет из Омска. Оставалось одно — следовать доброму совету. Выискивая способы умиротворить разгневанных биев, Чингиз прежде всего освободил из каменного сарая крепости посаженного им самим Андамаса.

Освободил и даже растрогал его своей речью. Обещал не ссориться больше, просил забыть прошлые обиды:

— Правду сказать, зол я был на тебя. Может, ты заслуживал и более строгого наказания, но я пощадил тебя. И теперь предлагаю мир. Знай, своих обидчиков я решил оставить в покое. Заботиться буду о кусмурунских аулах. У многих не достает скота. Своею властью постараюсь восполнить его. Найду способ, можешь не сомневаться. Так и передай Кожыку и Есенею и всем остальным.

Андамас принял слова Чингиза как чистую правду. Он знал — султан не дает пустых обещаний. И, не откладывая на завтра, Андамас уже гонцом Чингиза выехал верхом в окрестные аулы.

Слова о мире и спокойствии дошли уже до многих аульных вожаков, их толковали и так и сяк, многие начинали склоняться к мысли о необходимости пойти на уступки. Может быть, так и произошло бы, но тут случилась новая беда. И не по воле недругов. Новую беду на дом Чингиза накликал его сын.

Мальчуган вот уже много дней наблюдал, что происходит в ауле Отея и Тулегена. Там не любят отца, там раскинули юрты вопреки его воле. Хорошо, я им отомщу! В ясных глазах Чокана искрились недобрые огоньки. Я уж придумаю что-нибудь такое!

Он перенес игры поближе к Замыкающему роднику. Пологая ровная вершина песчаного холмика была так удобна для игры в асыки — бараньи косточки, которыми с утра до вечера забавляются чуть ли не все мальчишки в степи. Рядом тянулся овражек, густо заросший низкими кривыми березками. Листва была свежей, блестящей. Деревца питал проте-

кающий по дну оврага родник. За родником серели юрты ненавистного аула. На лугу паслись освобожденные от привязи ягнята. Ягнят манил овражек, прохладная тень, чистая вода. Они зашли в березнячок и оказались совсем под боком Чокана.

Чокан пристально следил за ними. Ягнята как ягнята. И вдруг нехорошо засосало под ложечкой. Нет, не просто ягнята, а ягнята Отея. Прирезать их здесь в овраге, и дело с концом! Шепе однажды рассказывал: какой-то озорной мальчишка проникся злобой к соседу, выбрал в отаре его овец барана-кошкара, схватил, разрезал живому голень и вытащил асык! Может быть, и мне так сделать, подумал Чокан, и уже не мог расстаться с этой навязчивой мстительной мыслью.

Посвящать всех мальчишек в свою затею ему не хотелось. Он сказал, что проголодался и уходит домой Да советует и им поесть. Ребятня разбежалась. С ним остался один верный Жайнак. Но и ему Чокан ничего не сказал. «Ползи за мною»,— и все...

И друзья ползком стали пробираться ложбинкой вверх по течению Замыкающего родника. Им мешали камни, мешали побеги березок и еще каких-то кустарников. Жайнак недоумевал, но не отставал от своего вожака.

Наконец они вплотную приблизились к ягнятам и затаились, как зверюшки.

Овечки, радостно поблеивая, щипали хрусткую молодую листву. В небольшой отаре Чокан высмотрел довольно крупного горбоносого самца с уже приметным курдюком. Мягкая шерсть отливала на солнце темным блеском

— Лови его!— и Чокан показал Жайнаку горбоносого ягненка.

Жайнак удивился:

— Зачем он тебе понадобился?

— Какое тебе дело, зачем? Я сказал — лови!

Жайнак, ничего не понимая, посмотрел в глаза Чокану. Как они хищно сузились, какими пронзительными и злыми были в это мгновение!

Взрослые люди, наблюдавшие в такие минуты Чокана, думали о жестокости ханского рода, о его мстительных батырах, о неукротимом Аблае, о Касыме, о воинственных, не щадящих чужих жизней Кенесары и Наурызбае, о старшем брате Чингиза. Заносчивые и вспыльчивые, они готовы были по любому поводу затевать драку, а вступая в драку, хватались за ножи. Эти торе не расставались с оружием: или острый нож за поясом, или кинжал. А если уж ты про-

бился к власти, то непременно сабля. Впрочем, и Чингиз не изменял этому обычаю: занимаясь своими служебными делами или отправляясь в поездку верхом, он носил на ременной портупее клинок с позолоченным эфесом в серебряных ножнах.

Шепе пристрастил к оружию и маленького торе. Он заказал одному мастеру небольшой складник для Чокана, с двумя лезвиями в позолоченном футляре. До поры до времени мальчуган не пускал свой складник в дело, а только поигрывал им, только любовался. Да еще, разозленный в час какой-нибудь ссоры, грозился: «Вот я тебя зарежу! А вот...»— и прятал лезвие в футляр.

На этот раз он выхватил ножик неспроста. Сталь просняла на солнце, и Жайнак понял — Чокан не шутит.

— Я же тебе сказал: лови!

...Жайнак подкрался быстро и скрытно; ягненок с удовольствием грыз горьковатую березовую кору. Жайнак крепко схватил его за заднюю ногу. Ягненок отчаянно рванулся вперед.

Чокан взвизгнул:

— Вали его, вали, Рыжий Верблюд!

Вот тут-то мальчугану пригодились его ловкость и сила. Горбоносый ягненок уже лежал на левом боку.

— Надави ногой, не пускай. Вырвется еще.

Чокан очутился рядом. Со страхом и недоумением поглядывал Жайнак то на ягненка, то на друга.

Глаза у Чокана стали совсем нехорошими. Ягненок, чуя несчастье, сопротивлялся как мог.

«Что ты собрался делать?»— хотел спросить Жайнак и не спросил.

Чокан занес ножик над задней ногой ягненка и вонзил его в голень. Ягненок задрыгался еще сильнее.

— Канаш, Канаш!— тихо вскрикнул Жайнак.— Зачем же это?

— А тебе какое дело?— безжалостно начал Чокан и осекся. И не повел дальше нож. Он сам с непонятным чувством боли и страха видел, как темнеет от крови шерсть и вздрагивают ноги ягненка. Действительно — зачем? Ему почудилось — рядом стоит Шепе с перекошенным от злобы лицом и нажимает на его руку. Мол, не бойся, помни, чей ты сын. Чокан выдернул ножик. Он был, кажется, готов заплакать вместе с Жайнаком, цепко обхватившим ягненка.

И в это самое время прозвучал глухой рассерженный голос.

— Что вы тут только делаете?

Это был пастух Отея Журка, одинокий старик, схоронивший и жену и детей. В истрепанном чапане, в стоптанных ичигах он горестно опирался на толстую палку и смотрел на мальчишек укоризненно и строго.

— Что вы только наделали... Где ваше сердце? Разве можно так шутить над живым?

... Мальчишки отпустили ягненка. С жалобным блеянием он поскакал прочь, заметно прихрамывая.

Старик продолжал стыдить ребят, негромко, беззлобно, но твердо, чувствуя свою правоту.

Чокан, минуту назад готовый расплакаться, вдруг оскорбился. В ауле отца так разговаривать с ним никто не осмеливался. И тут он уже не мог себя сдержать. Бранные жестокие слова сорвались с его языка. Он размахивал ножиком, запачканным кровью.

— Хочешь, чтобы я тебя пырнул?

— Уж лучше меня, чем ягненка,— спокойно отвечал старик.

Спокойствие это окончательно взбесило Чокана. Но Рыжий Верблюд крепко взял его в свои длинные руки. Чокан испугался, стих, обмяк. Жайнак повел его из березняка, приговаривая: «Ойбай, ойбай!» Оглянулся. Журка продолжал сокрушаться, опираясь на свою палку. И вот тут Жайнак совершил ошибку:

— Уходи, несчастный старик!— крикнул он пастуху.— Худо тебе будет! Ты разве не видишь, на кого напал.

— Чей же это такой сынок?

— Султана Чингиза, чтоб ты знал.

Но эти-то слова и не произвели на пастуха должного впечатления. Если бы не они, он, должно быть, подлечил бы ягненка и не стал рассказывать о случае в овраге Отею и Тулегену. Еще заругают, недосмотрел, скажут. А теперь он знал имя маленького разбойника. И, слыша краем уха о распрях с ханской ставкой, он запричитал, поймал раненого ягненка и пошел в свой аул жаловаться на сына Чингиза.

В ауле не сразу решили, что же делать, как отнестись к поступку мальчика. Все ждали слов Отея, но и он не торопился их произнести.

В его юрте собралось все взрослое население аула ветвей Отей и Дауш. Гнев не улегся, но разговаривали вполголоса. Иные просто молчали, считая, что не положено им раньше старших и мудрых высказывать свое мнение.

Медленно собирался с мыслями сам бий Отей. Осторожность, как и всегда, сопутствовала ему. Бию надлежало подтвердить верность людской молвы, которая давно прославляла его ум и справедливость.

Правом называть его Отеем пользовались немногие, равные ему по уважению люди. Для молодых он был Бура-ага, для ровесников — Буке. За сильный ум и густую бороду его сравнивали с могучим верблюдом — бурой. Отсюда пошло и прозвище.

Отей был современником отца Чингиза Вали-хана. В годы соперничества Вали и Касыма за власть в ханской ставке Отей поддерживал Вали. Поэтому Чингиз почтительно относился к нему и не раз поступал в свое время по его советам. И хотя теперь добрососедские отношения нарушились и Отей все ближе и ближе склонялся к Есенею, в глубине души почтенного бия все же сохранялись хорошие чувства к сыну его старинного друга.

Отей был раздосадован грубым требованием Чингиза оставить пастбище, съехать с берегов Кусмуруна и отказался его выполнить. Но Чингиз не настаивал и все пока оставалось по-прежнему. А теперь история с ягненком и маленьким торе снова как бы разжигала костер вражды.

Для Отея случай этот был неприятным и неожиданным. Некоторые горячие головы считали необходимым послать к Чингизу уважаемого гонца и заставить его заплатить двойную стоимость ягненка, а сына, чтобы мальчик впредь не забывался, выпороть розгами при всем народе. Другие и это считали недостаточным. Виноват не только сын, но прежде всего отец. Мол, Чингиз обиделся на Отея и нарочно подговорил мальчика. Мол, задумано было покалечить не одного ягненка, а всех ягнят. Слава аллаху, вовремя спохватился Журка. Спорили и о самом ягненке, что с ним делать. Одни советовали прирезать, чтобы избавить его от мучений, а другие предлагали выставить барашка на всеобщее обозрение. Словом, мнения высказывались самые разные. Многие были уверены — Чингиз ни в чем не уступит, и за ягненка платить не станет, и сына не пожелает наказать. И лучше всего подождать окружного собрания биев. Пусть они решают, что делать.

Так негромко пререкались старейшины, искоса посматривая на Бура-ага. Но Отей молчал, предпочитая пока слушать. Когда высказались едва ли не все, поднялся шум:

— Какой ты совет дашь, Буке? Почему молчишь?

Отей не без достоинства погладил свою знаменитую бороду, распрямился.

— С таким ягненком и волку в зубы попасть легко,— произнес он. И было не совсем понятно, то ли он говорит о ягненке, на котором испробовал свой складник Чокан, то ли в этих словах иное, предостерегающее, значение.

Словно раздумывая вслух, Отей продолжал:

— Чингиз, говорите, виноват? Нет, не должен был он так делать. Но неспроста задаем мы вопрос — неужели один мальчишка придумал такое? В этих словах есть зерно. Надо думать, Шепе замешан тут. Он и не такому способен научить. Однако совсем ли в стороне Чингиз? Как бы там ни было, поступок этот надо строго осудить. Уже дети начинают вмешиваться в наши раздоры. Костер не погасим — пожар разгорится.

Снова разгладил бороду, помолчал недолго и уже совсем медленно закончил:

— Будем разумными, не поддадимся злу. Пошлем к Чингизу верного человека, послушаем, что он скажет, а потом посоветуемся еще раз.

По выбору Отея к Чингизу послали самого Тулегена. Он находился в одном возрасте с ага-султаном и пользовался заслуженным уважением среди ветвей рода Отей и Дауш. Посланцу предстояло выяснить ряд обстоятельств и уже в зависимости от этого прийти к взаимному согласию.

— Знал ли отец, что сын решился на недоброе дело? Или мальчик сам задумал покалечить овец? Нужно установить правду в любом случае. Тогда легче будет вести разговор дальше. Один ли сын виноват, замешаны ли тут и взрослые, дурной поступок остается дурным. Дело, понятно, не в ущербе. Кто не терял ягнят в отаре. И волк мог напасть, и в котел для почетного гостя ничего не стоило прирезать. В этой истории самое неприятное — нехорошая молва. В степи известно — я был бескорыстным другом Вали, а потом, после его смерти, и Чингиза. Теперь сплетники вкривь и вкось станут толковать, почему сын Чингиза направил свой ножик в ягненка отцовского врага. Знаете сами, как растут сплетни: к травинке прибавят стог, из одной овцы сделают тысячу. Враги будут посмеиваться, злорадствовать, друзья — огорчаться. В народе вновь подымется тревога. Найдутся желающие подлить масла в огонь. Начнется пожар, многих опалит его пламя, а кто-нибудь и совсем сгорит...

Так наставлял Отей Тулегена. И добавил, когда посланец уже выходил из юрты:

— Растолкуй ему все, как следует. Скажи, я одни бессилен предотвратить пожар. Спроси, что он думает.

Тулеген был не просто гонцом, передающим слово в слово поручение старшего. Опытный бий, он знал толк в красноречии. А когда убедился, что Чингизу вообще ничего еще не известно о проделке Чокана, повел разговор издалека, неторопливо пробираясь к сути. Но как ни осторожничал Тулеген, Чингиз почуял запах гари, угадал недоброе.

— Постой, постой, Тулеген. Ты ходишь вокруг да около, крутишь, крутишь, а раскрутить боишься. Вижу, ты пришел ко мне с плохими вестями. Давай говори прямо, вилять не надо.

И Тулеген рассказал все до конца.

Чингиз разволновался, побагровел, но сдержал себя. Он не хотел, не мог поверить, что его мальчик способен на такие жестокие проделки.

— Апырай! Тут что-то не так. Канашжан, знаю, озорник, большой озорник. Что верно, то верно. Но так он не поступит. Вражду разжигает кто-то другой, хитрый и злобный.

Тулеген покачал головой:

— Пастух Журка своими глазами видел.

Но не так-то легко было переубедить Чингиза.

— Что пастух! И пастуха могли научить. Сам Журка и стал резать ногу ягненка. А свалил на мальчишку...

Чингиз упорствовал, стоял на своем и Тулеген. Согласились на одном: надо послать за Чоканом и вдвоем расспросить его обо всем.

Но мальчика вблизи юрты не было, не было его и в ханском ауле, не нашли его и среди ребят аула Карашы. Странным показалось, что все мальчишки на месте, кроме Жайнака. Жайнак и Чокан были неразлучными. Значит, они и сейчас вместе. Послали в березовую рощу. И там их не обнаружили. И на берегу озера их не было. Чингиз вышел из юрты и тихо наказал верховому, чтобы не слышал Тулеген, съездить в крепость, к солдатам, где любил бывать Чокан. Верховой скоро вернулся и доложил, что его давно там не бывало.

Чингиз мрачнел. Может быть, и в самом деле Чокан виноват, а теперь боится, что его накажут и прячется где-нибудь в угольной яме, или — хуже того, в волчьем логове. Разве мало в степи холмов, оврагов, скрытых от глаза низин. Затаиться легко, искать трудно! Не хватит людей, что-

бы обшарить степь. Но все равно надо было предпринимать поиск.

А что же в это время делали наши беглецы?

Напуганные, измученные, они схоронились в березняке, на дальнем краю оврага. Их не бог весть какой надежный тайник находился сравнительно недалеко от аула. Но и здесь найти их было совсем не легко.

Жайнак помог Чокану понять, что он наделал в припадке ярости и оскорбленного мальчишеского самолюбия.

— Ау, Чокан, торе ты мой,— причитал Жайнак, обрывая листья у припавшей к земле ветви березы,— плохо нам теперь будет. Зачем ты пырнул ножом этого ягненка?

— Ну, пырнул. Ну и что же? Что мне сделают за это?— спрашивал Чокан, учащенно дыша.

— Ойбай-ау, Чокан, торе ты мой,— чуть не плача повторял Жайнак.— Все окрестные аулы против нас. Люди только ищут повода, чтобы продолжить ссору. Старик Журка и тот сумеет наговорить. И ему поверят. Не любят твоего отца, пойдут на Орду, вот посмотришь.

Достаточно было сказать об отце, чтобы Чокан снова разозлился.

— Не посмеют, пальцем не тронут.

— А чего они испугались?

— Крепости, войска,— повторил Чокан слова, не раз слышанные им и от отца и от Шепе.

Но и Рыжему Верблюду случалось бывать при разговоре старших в своем Черном ауле. И он ответил так, как отвечали взрослые:

— Что войско?! Не перестреляет же оно всех.

Чокан задумался. Да, он был кругом виноват. Но так не хотелось сознаваться в этом вслух. Больше он не стал спорить, только спросил Жайнака:

— Что же делать?

И Рыжий Верблюд придумал единственный выход:

— Давай убежим отсюда подальше. Пока старшие будут разбираться, мы с тобой подождем.

— Куда же нам убежать?— сразу ободрился Чокан. Он любил незнакомые места, любил, когда его ищут и не могут найти, любил все непохожее на привычный аульный распорядок.

— В березняке нас с тобой найдут, и в ауле, сам понимаешь, спрятаться негде... Убежим... Ты догадался, куда?

— Говори, не тяни, верблюд!— Чокан торопился удрать. Он беспокоился, как бы ему не попало.

— Под скалу Каскыр-ойнак, где резвятся волки. Нор там видимо-невидимо, видел?

— Слышать слышал, но не бывал там никогда,— неохотно выцедил Чокан, потому что приходилось признать превосходство друга.

— А мне случалось. Когда ваша Орда откочевала на джайляу, наш аул задержался примерно в этих местах. Все мальчишки из Карашы побежали к Каскыр-ойнаку. Столько нор нигде не встретишь. Глубокие, глубокие. До конца и ползти боязно. Взрослые говорили, в таких глубоких норах волчицы волчат выводят. Сунешься к такой волчице, непременно съест.

— Уж так-таки съест? Как же тогда спрячемся?

Жайнак понял, что перехватил.

— Ну, не всегда съедают. А потом, я слышал, там сейчас волков не должно быть. На джайляу больше поживы. Они туда и переселились вместе с волчатами. Ну, пойдем?

И Жайнак взял за руку Чокана. Мальчишки храбро отправились в путь.

Урочище Каскыр-ойнак находилось у подножья того взгорья, где начинался Срединный родник. На вершине взгорья когда-то очень давно был возведен сторожевой курган. Почти рядом с курганом выбивался из камней родник. Он падал по крутосклону небольшими звонкими струями. Вдоль течения родника раскинулся смешанный лес — березы, тополя, таволга, можжевельник. Многие старые деревья, доживающие свой век, считались священными. На них пестрели многоцветные ленточки, кое-где поблескивали серебряные монеты, подвешенные на ветвях, как серьги или монисто. Стволы удивляли своей шириной и сморщенной позеленевшей корою. Разлапистые, искривленные ветрами и возрастом ветки касались земли. Ветви соседних кустов и деревьев тесно сплелись. Мальчикам было трудно и весело пробираться сквозь этот лес, сквозь густые заросли кустарника и травы. И когда они увидели наконец стену взгорья, то ахнули от изумления. Начинаясь почти отвесно, стена где-то с середины выдавалась вперед и становилась пологой. Вот тут, у подножья, и темнели бесчисленные норы, а чуть повыше — небольшие птичьи гнезда. Жайнак говорил правду. Здесь действительно жили волки. Особенное раздолье им было раньше, когда кочевники-казахи совсем не строили домов. Волки тогда успевали выводить в своих норах волчат — до возвращения аулов с джайляу. Рассказывали и другое: волки в этих местах помогли открыть уголь. Во время

одной из волчьих облав охотиики-скотоводы приметили, что шерсть зверей в страииой черной пыли. Люди загляиули в иоры, отыскали там мягкне блестящие камии.

Кто-то их попробовал поджечь — камии разгорелись. С той поры оии использовалнсь для топлива. Уголь лежал недалеко от поверхности, н люди перекопали все урочнще Каскыр-ойиак. Волкн иадолго забросили свои иоры и только теперь стали виовь иаведываться сюда: после образоваиия округов поблизости Срединиого родиика казахи редко пасли скот н совсем ие брали уголь для топлива.

Урочище Каскыр-ойиак по-прежиему пользовалось тумаиной славой, особенио у ребят.

Так приятно и так тревожио было почувствовать себя здесь, вдали от аула. Что там царапииа! Что там порваииая рубаха. Чокаи не обращал на это виимаиия. Пусть досталось босым иогам — трава была жесткой, колючей. Пока ребята достнгли кургаиа, ие раз остаиавлнвалнсь вытаскивать занозы. Но все это было нм ннпочем.

У истоков родиика травы росли еще гуще.

— Смотри!— закрнчал Жайиак.— Здесь волкн были!

Ребята увндели большие вмятины в траве, клочья шерсти, обглоданные кости, помет. Судя по свежему влажному блеску некоторых костей, волки пиршествовали совсем недавно. Но старые норы выглядели разрушеинымн; песок завалил входы, и следов зверей иа песке ие было.

А рядом чериели выемки — здесь вырубали уголь. Всмотришься в очертания иор, темиых угольиых пятен, прнметишь начало какой-то страииой пещеры — и кажется мальчншкам, будто нх подстерегают чудовнща, будто иеведомые зверн скалят свои широкие пасти.

Но н от чудовнщ и от людей можио спрятаться в густом кустарнике. А сквозь заросли можжевельника и таволги можио забраться иа самую вершииу кургана. Они так и сделалн. И сразу увндели свои аулы — белый хаиский аул и черный аул Карашы. И замерлн, стараясь поиять, что там происходит.

Отсюда, с дальнего кургана, невозможио было разглядеть лнц. Но всякое передвижеиие в аулах попадало в поле зреиия ребят.

Вот оии заметили, как из Карашы в Орду проехал всаднинк. Оии ие моглн догадаться, что это Тулеген. Но отчетливо увидели, как он привязал коия почтн вплотиую у гостевой юрты. Кто позволил себе такое? По устаиовленным правилам приезжему надлежало спешнваться подальше, там,

где вбит столб в землю. На то и коновязь, чтобы возле нее оставлять лошадей и тут стреноживать их. А от столба полагалось идти пешком. Если проезжих было несколько, они тянулись гуськом, след в след друг за другом.

А этот смело пренебрег установленным обычаем. Почему он так торопился? Как он мог решиться на это? Мальчишки были поражены, в особенности Чокан.

Жайнак нарушил тревожное молчание:

— Ты опять будешь спорить со мной, но помяни мое слово — всадник приехал по поводу этого ягненка. Не иначе, он рассержен. И показывает свое пренебрежение к хозяину

Чокан не поддержал разговора. Любое напоминание об унижении достоинства отца ему было неприятно. Он застыл, собрался в комок, и, не отрывая глаз от юрты, ждал, что же будет дальше.

Молчал теперь и Жайнак.

Появление всадников в ауле заставило мальчиков напрячь свое зрение и думать, думать.

Картина начала скоро проясняться. В Орде подымалась суматоха. Часто откидывался полог юрты, кто-то входил в нее, кто-то выходил. Потом несколько конных джигитов поскакали к оврагу и довольно быстро скрылись в березняке.

Через некоторое время мальчишки услышали топот и какие-то крики у Среднего родника. Верховые находились неподалеку от них.

— Слышишь, нас ищут,— шепнул Жайнак.

И словно в подтверждение его слов явственно донеслось:

— Чо-о-о-кан!

— Жа-а-ай-нак!

— Может, подадим голос?— Чокан уже терял терпение.

— Погоди, торе-тай, погоди. Посмотрим, что дальше будет...

На некоторое время опять наступила тишина. Джигиты вернулись в аул.

Снова можно было наблюдать волнение и в Карашы и в Орде. Пешие и конные сновали туда и сюда. А когда солнце уже совсем склонилось к горизонту, новая группа всадников из двух аулов выехала в сторону Среднего родника, с каждой минутой приближаясь к мальчишкам. За верховыми торопились и пешие.

Поиск на этот раз шел по всем правилам. Всадники то двигались справа и слева от русла, то скрывались в зарослях, обшаривая их.

— Нас хватнлись.— Жайнак нспуганно ознрался.— У кургана они сразу схватят. Полезем в нору?

— Ну, а если схватят, что нам будет?— Чокан злился от страха н унижения.— Чего нам-то их бояться?

— Не говорн, торе-тай. Султан так повелел, не нначе. Это они по его приказу едут. Добром дело не пахнет. Султан серднт. К нему на глаза сейчас хоть не попадайся. Не только обругает, но и побьет.

Всадннкн были совсем рядом. Уже можно было отличнть знакомые голоса. Мальчишкн окончательно перетрусили. Дрожащей рукой Жайнак схватил Чокана за руку. Маленькнй торе покорно последовал за рыжим своим приятелем.

Несколько шагов вниз по склону кургана, и беглецы юркнули в темный зев пещеры. Их сразу обдал гннлостный сырой запах.

— Тнше, не шевелнсь,— шепнул Жайнак н замер.

Копыта простучали почти над их головамн. Каждое слово доноснлось сюда, в затхлый мрак.

— И здесь нх нет.

— Не спряталнсь лн в нору?

— Нет, не решатся. Там темно, как в могиле.

— Еслн бы полдень, а сейчас дело к вечеру. Смотрите, солнце уже село.

— Давайте обыщем пещеры.

— А толк какой? Там столько ходов — самн заплутаемся.

Голоса постепенно удалялись. Потом совсем стихлн. Вндно, посланцы Чингиза потерялн надежду найти беглецов.

Убеднвшнсь, что опасность мнновала, мальчишки осторожно вылезли из пещеры. Густые сумерки окутывали Каскыр-ойнак.

Тем временем верховые возвратнлнсь в аул. На почтительном расстояннн от юрты Чннгнза спешнлнсь, сталн совещаться. Нелегко было доложнть, что пончскн ни к чему не привели. Разгневается Чннгнз, обрушнтся на того, кто придет с дурною вестью. Жалеет сына, волнуется.

— Кто смельчак, кто пойдет?

Джнгнты понурнлнсь, уставились в землю.

И тут раздался низкнй, снплый голос Абы:

— Ладно уж, я.

Повернулнсь в его сторону, посмотрели удивленно. Ну н бесстрашный человек наш Абы. Напутствовали его:

— Удачи тебе, если решнлся. Только смотри, не напугай

хана с ханшей. Не отбирай надежды, объясни как-нибудь помягче.

Самые настырные допытывались, какие именно слова скажет он Чингизу, допытывались отчасти из любопытства, отчасти, чтобы помочь каким-нибудь советом.

А третьи говорили:

— Ну, что вы лезете к человеку? Раз взялся, значит, доложит. Вместе с ним рос, в одном котле кипел, в делах его участвовал. В первый ли раз ему стоять перед ханом.

И Абы вошел в юрту. Опершись на подушку, усталые и нахохленные, сидели Чингиз, Шепе и Зейнеп. Вскинулись к нему, заговорили в один голос.

— Нашелся?

— Найдется,— уклончиво отвечал Абы, не желая огорчать родителей и дядю. Но разве их можно было провести? И они снова переспросили чуть ли не хором.

Абы вновь ответил так же односложно:

— Найдется.

Шепе вывела из себя эта невозмутимая манера Абы говорить загадками. Он не смог усидеть. Схватив зачем-то лежавшую рядом камчу, он подошел вплотную к Абы и начал кричать:

— Что ты виляешь, как верблюд, измотанный дорогой? Отвечаешь так, что и понять ничего нельзя. Отвечай прямо — нашли его или не нашли?

— Найдется.— Упорство у Абы было завидное.

— Хап! Собачий щенок!— Шепе яростно взмахнул камчой. Камча свистнула и глухо ухнула по ворсистому ковру.

Чингиз только головой качнул. У него не хватило сил на ярость. С той минуты, когда ему рассказал Тулеген о ягненке, он мучительно думал о Чокане, о самом себе, о будущем ханской Орды. Чингиз дышал тяжело. Все происходящее воспринималось с трудом. Ясно было одно — сбежал сын. Он понимал: его не нашли. А где его можно отыскать? Он хотел расспросить подробнее и не мог. Сердце ныло и словно проваливалось, к горлу подступала икота.

А Шепе, дергаясь от злости и жалости,— он был по-своему привязан к мальчишке,— только растравлял горечь своей несдержанной грубой речью:

— Болтовня все это, болтовня. Этот Абы скрывает что-то. Найдется, говорит. А если нет. Если пропал наш мальчик и мы его не увидим?

Зейнеп не смогла перенести последних слов. И так напряженная до предела, натянутая, как струна, она стала

медленно валиться набок и, может, ударилась бы головой, если бы Абы не подставил ей подушку. Чингиз, словно очнувшись от полудремоты, схватил медный кашгарский кумган и взбрызнул водою лицо жены. Зейнеп почувствовала себя лучше и, уставясь на Абы большими печальными глазами, спросила:

— Ты откуда сейчас?

— Айеке,— назвал Абы Зейнеп так, как ее называли самые близкие, но прибавляя к семейному прозвищу Аяпа или Аяпа почтительно окончание «еке»,— соберись с духом, Айеке. Я правду говорю: найдется!

— Вот и говори правду,— перебил его Чингиз,— и не морочь нас загадками.

— Скажу, султан, но только вам с Айеке.

Шепе готов был броситься с камчой:

— Я-то чужим здесь стал вдруг?

— Лишь бы он был с нами, наш озорник,— тихо взмолилась Зейнеп,— мы послушаем тебя, Абы. А ты уж оставь нас, не злись.

И Чингиз почтительно попросил старшего брата:

— Выйди, кши-ага, так будет лучше!

Шепе с оскорбленным видом сделал шаг к выходу, но на пороге оглянулся и погрозил Абы своей камчою:

— Смотри ты у меня! Чтоб нашелся! Не то с тобой посчитаюсь

И, надутый, важный, покинул юрту.

После его ухода Абы почувствовал себя свободнее:

— Канаш в Каскыр-ойнаке, соглашайтесь со мной или не соглашайтесь. В пещере он.

— Откуда тебе известно это?

— А где же ему быть, как не там! Не птица он, чтоб улететь в небо. Не рыба, чтоб уйти в воду.

– Ты все предполагаешь, все загадками говоришь!— недовольно бурчала Зейнеп.— Нет того, чтоб сказать просто и понятно. Душу только томишь.

Чингиз испытывал такие же чувства, только он спросил напрямик:

— Почему же ты пещеры не обыскал, если уверен, что он там?

— И на это есть своя причина: не хотелось мне заставлять Канаша краснеть, самолюбия его решил не задевать.

— А теперь как думаешь искать?

— А вот так и думаю: я не найду, Кутпан найдет. Умная собака!

— Кутпан? И как это мы не подумали раньше. Езжай скорее с Кутпаном.

Так появилась надежда и у Чингиза и у Зейнеп.

Волкодава Кутпана еще щенком подарили Чокану. Кутпан вырос, стал сильным и быстрым. Он научился выслеживать волков и мог расправиться с матерым зверем, хотя бы тот был величиной со стригунка.

Мальчик привязался к собаке, и собака привыкла к мальчику.

Кутпан беспокоился, скулил, когда Чокана не оказывалось дома.

Порою волкодав убегал в степь. Иногда на несколько часов, а бывало и на несколько дней. Случалось, возвращался искусанный волками. И в этот злополучный день Кутпан после очередной своей вылазки вернулся израненным, с кое-где запекшейся кровью на шерсти, вернулся к вечеру, когда джигиты разводили руками после неудачных поисков и направили к родителям невозмутимого Абы.

Кутпан не обращал внимания на раны. Его больше разволновало отсутствие Чокана. Он не распластался по привычке в юрте у входа, а бродил неподалеку от жилья и жалобно подвывал. Собачий вой сулит недоброе. Чингиз вслушался, кликнул волкодава, хотел его покормить. Кутпан не отозвался и продолжал свое Шепе выбежал из юрты, пригрозил собаке: «Цыц, проклятая, чтоб тебе скулы свело!» Волкодав не замолкал, Шепе замахнулся камчой. Кутпан затих, зашел в юрту, разлегся, положил голову на вытянутые лапы. Лежал недвижно, только глазами помаргивал. Чингиз подумал: если Кутпан успокоился, значит, и Чокан найдется.

Поэтому родители и согласились так охотно с предложением Абы.

Абы прикрепил к ошейнику Кутпана длинный поводок, сел на коня и пустил волкодава вперед. Кутпана с трудом удалось удерживать на поводке· сильный, он рвался из стороны в сторону, обнюхивал землю. Поневоле приходилось перекладывать поводок из одной руки в другую.

Нюх у Кутпана был отменным. Еще несколько лет назад, щенком, он безошибочно находил Чокана, где бы мальчик ни скрылся. И по снегу и по черной земле. Но на этот раз ему долго не везло. Дело в том, что Чокан с утра играл в асыки на Кусмурунском такыре. Резкий солончаковый запах ударил в собачьи ноздри и на какое-то время отбил обоняние Кутпана. Волкодав потерял след, забегал взад

и вперед, заскулил. Абы отпустил поводок. Собака заметалась и вдруг нашла то, что нужно. Абы и опомниться не успел, как волкодав понесся стрелой к Срединному роднику. Стегнул коня, помчался за ним. Но разве угонишься. В ночной мгле исчез Кутпан. Но Абы, уверенный в том, что Чокан скрывается в Каскыр-ойнаке, и в том, что Кутпан найдет его, спокойно поехал по кромке оврага.

... Но вернемся к нашим беглецам.

После того как погоня удалилась, они вышли из пещеры, забрались в рощицу и раздумывали, лежа на траве, что же им делать дальше. Ночь, полная непонятных звуков, была на исходе. Легкий и быстрый шорох заставил их, напуганных и без того, вскочить и тесно прижаться друг к другу Собака или волк? Чокан инстинктивно схватился за нож, но в это же самое мгновение Кутпан радостно завизжал и обнаружил своего хозяина.

— Кутпан, Кутпан!— повторял Чокан сквозь слезы.

— Кутпан!— вторил ему не менее обрадованный Жайнак.

Уже начинался ранний рассвет. Прояснялось небо, обозначились кривые стволы, светлел крутой выступ Каскыр-ойнака с темными норами у подножья. Пес успокоился, полудремал. Сонно поникли ребята.

Внезапно Кутпан отпрянул, насторожился, потянул ноздрями. Глухо, тревожно заскулил.

— Чует зверя, здесь волки ходят,— встрепенулся Жайнак.

— Апырай!— Чокан, утирая слезы, влюбленно поглядывал на волкодава — Верно считают собаку другом человека. Смотри, всех моих родичей обогнал, всех друзей. Прибежал мой пес. за мной прибежал.

— А я? Я и не уходил от тебя,— подал голос Жайнак.

— О тебе не говорю, ты у меня особый,— и Чокан, рассмеявшись, обнял Жайнака.

Кутпан продолжал скулить и вдруг стремительно бросился в одну из нор. И скрылся.

Мальчишки переглянулись.

— Как бы там, Чокан, зверя не оказалось...

— А ты откуда взял?

— Сам подумай. С чего бы это собака полезла в нору. Значит, волка учуяла. А еще тебе скажу, когда мы в пещере отсиживались, услышал я сбоку в норе какое-то урчанье. Решил, должно быть, волчица кормит детенышей. Побоялся тебя испугать. Вот ничего и не сказал.

— Знаешь, и мне такое слышалось, Жайнак. Я тоже смолчал. Зачем, думаю, про страшное говорить тебе, и так невесело. Постой, постой! Что там происходит?

Мальчуганы замолкли. Из норы донесся лай, взвизгиванье, рев.

— Чудеса-то какие! Значит, с волком сцепился.— Жайнак даже обрадовался.

— Что же тут чудесного?— Чокан помрачнел.— Еще разорвет Кутпана. Его уже покусали волки.

— Так и разорвет Наш Кутпан сильный. Он в нору сунулся не в первый раз. Помнишь, охотник рассказывал, как он загрызет волка и вытащит его из логова мертвым.

Но Чокан не слушал друга. И зрением и слухом был прикован к норе. Жестокое рычанье и взвизгиванье с каждой секундой становились ближе. Еще мгновенье, и смертельно схватившиеся собака и волк выкатились наружу.

— Страшно, страшно!— шептали мальчишки, но пока не трогались с места. Нельзя было понять, кто побеждает в яростной этой борьбе. Лапами отбрасывали они друг друга, уклоняясь от зубов. И сцеплялись опять, подвывая, злобно урча, взлаивая. Ощетинившиеся. С мордами в крови и пене.

Жайнак упустил то мгновение, когда Чокан сорвался с места и появился там, на месте схватки. Жайнаку даже показалось, что он стал между волком и Кутпаном. Так ли это было, он не мог потом подтвердить. Но он отчетливо видел, как Чокан отпрыгнул назад. И еще он видел, как рухнул на спину волк, а Кутпан навалился на зверя и вонзил свои клыки ему в горло. Зверь забился в судорогах.

Чокан уже сидел рядом с другом, тяжело дышал, молчал.

— Ты что сделал, что?

Чокан ответил не сразу:

— Пырнул.

— Ножом?

— Да, ножом, в брюхо ему.

— Ой, джигит, какой ты смелый...

Жайнак больше ничего не мог сказать от восхищения и страха.

Кутпан с глухим урчанием все глубже и глубже прогрызал волчье горло. Зверь издыхал. Слабее и конвульсивнее становились движения его лап.

Мальчишки молчали. И в этой утренней тишине отчетливо раздался цокот копыт. Кто бы это мог быть? Как бы в ответ на детское недоумение послышался негромкий зов:

— Канаш!

Легко было узнать Абы. Подал голос н Чокаи.

Абы вел лошадь иа поводу по крутосклону с гребня оврага. Когда он подошел к мальчуганам, волк был уже мертв. Но Кутпаи как припал к зверю, так и не разжал пасти.

Мальчишки рассказали Абы, как все произошло. Абы подошел к волкодаву. Еслн бы он был посторонним, Кутпан мог броситься иа него н искусать. Но осторожность все равно не мешала. Хорошо зная привычки пса, Абы, приговаривая «Кушим, Кушнм!», мягко погладил его по бокам, спине, шее. Кутпан поначалу злился, даже ощетинился, а потом успокоился и попробовал разжать челюстн Но ие тут то было! После схваткн у него свело скулы. Абы знал, как поступать н в этом случае. Ритмичными уверенными движениями он продолжал гладить затылок н горло собаки. Кутпан разжал наконец зубы, устало отошел в сторону, лег н стал облизывать языком пасть. Пес просил свою охотничью долю — Абы и это было известно. И тогда он взял у Чокана нож, распорол волку брюхо до паха, содрал часть шкуры, сделал надрез вдоль ребер, сунул руку в теплое еще чрево и одним сильным рывком вытащил неостывшее волчье сердце. Пес понимал, в чем дело, и жадно следил за движениями Абы.

— Держи, Кутпан!

Волкодав поймал на лету свою долю.

— Теперь пора н домой, ребята.

— А я ие пойду.

Такой ответ Чокана не удивил Абы: мальчик строптив, кому это ие известно. Абы задавал ему один вопрос за другим, чтобы найти верное решение и уговорить маленького торе.

— Почему ие пойдешь?

— А я подожду, чем кончится вся эта кутерьма.

— Где же ты будешь ждать?

— Здесь, в той пещере.

— Ойбай!— с притворным испугом воскликнул Абы.— Нельзя, никак иельзя.

— А почему иельзя?

— Враги тебя отыщут.

— Как оии так отыщут?

— Первым тебя Кутпаи выдаст. Без Кутпаиа вас оставить нельзя, а он начнет кружить, лаять... Вот люди н обратят внимание.

И хотя разговор шел полушутливо, к Чокану вернулась его детская сообразительность, и он озабоченно спросил:

— Скажн, что вообще происходит?

— Пока еще мало времени прошло,— отвечал Абы.— Но вокруг засуетились. Сговариваться будут все, кто недоволен Ордой, кто точит зубы на Чингиза. Они еще подымут вой.

Чокан вздохнул. Сколько раз он уже ругал себя за этого несчастного ягненка. Он виноват. Он не подумал, Есеней и Кожык наговорят на него такое, что и во сне не снилось. Мстить начнут. И вслух:

— Только что они могут сделать? Покричат, покричат и перестанут. Оружия испугаются.

— Какого оружия?— не понял Абы.

— А в крепости!

Вот тут Абы и нашел выход, решил перехитрить Чокана.

— Давай в крепость поедем. Будешь там в эти смутные дни. Солдаты тебя защитят.

Но Чокан артачился. Что делать, как заставить его быть послушным? И Абы начал привирать:

— Не хотел пугать тебя, Канаш. Не хотел тебе всего рассказывать. Язык не поворачивался. Но теперь, вижу, придется. Так знай: в степи уже тревога. Отей успел известить Есенея и Кожыка. Он представил дело так, что ханский род с ножами пошел на его скот. Сегодня, говорит, на овец, а завтра и нам конец. Сегодня, говорит, торе замахнулся на меня, а завтра всем кереям и уакам несдобровать. Что, мол, скажете вы, Есеней и Кожык.— Абы передохнул, собираясь с мыслями, придумывая, что бы ему еще такое соврать.— Есеней сообщил кереям, Кожык — уакам. Люди заволновались, рыщут по степи, кричат, грозят.

— Толку-то от их крика,— буркнул Чокан.

— Не знаю, есть ли толк или нет, но...— Абы принял глубокомысленный вид и стал сочинять дальше:— Но, как говорится, утопающий и за соломинку хватается. Что будет, если Есеней и Кожык разозлятся и потребуют выдать им того, кто пустил в ход нож? Потребуют — и все. Что тогда делать будем?

Мальчишески беспечное лицо Чокана осветилось неподдельным интересом. Не очень-то он верил Абы. Быть того не может, чтобы его, сына Чингиза, отдали на расправу черной кости.

— Ну, а если и в самом деле выдадут? Что они тогда сделают?

— Ой, голубчик, прошу тебя, не говори так. Не дай бог такому случиться.— Абы на этот раз говорил искренне, по-

тому что сам испугался своей же выдумки.— А если и случится...

Но тут он отчаянно взмахнул рукой и договорить не смог.

Не проронивший до сих пор ни слова Жайнак не сомневался в правдивости Абы и разволновался больше Чокана.

— Жеребенок мой, торе-тай, соглашайся. Так надо!

— Что надо, верблюд?

— В крепости укрыться. Так спокойнее будет.

— И верно — спокойнее,— поддакнул Абы и опять взялся стращать, но тут, кажется, перехватил.— Врагов много, нас — мало. Подойдет войско Есенея и Кожыка, разве мы с ним справимся? Даже крепость им не преграда.

— А зачем тогда мне прятаться в крепости?— В глазах Чокана промелькнула и погасла лукавая насмешка.

Абы понял, что наговорил лишнего:

— Нет, крепости им не взять. Это я о нашем ауле. Крепость к себе врагов не подпустит. Да и кто посмеет пойти против ружей и пушек?

— А почему бы наш аул не окружить людьми с ружьями?

Не сразу нашелся Абы и все-таки ответил:

— Кто же тогда крепость будет оборонять?

И поставил Чокана в тупик. Мальчик замолчал. Мальчик раздумывал. Но не таким человеком был Абы, чтобы останавливаться на полдороге.

— Я еще не все сказал. Твои отец с матерью велели мне передать...

Чокан встрепенулся, перебил Абы:

— А как они там себя чувствуют, что делают?

— Сам понимаешь, тебя ждут! Мать на себя не похожа. Плачет, дрожит от страха.

— Ты думаешь, Абы, кереи и уаки могут на них напасть, если я не вернусь?

Абы дал волю своей фантазии:

— Так вот, отец велел тебе сказать, что самому царю передана весть о волнениях среди кереев и уаков. Их осадят силой. Придут войска из Оренбурга и Омска. А до прихода войск хан Чингиз уговаривать их будет. Улестит Отея, договорится с Есенеем. Понял? А потом все решит силой.

Не все дошло до Чокана. Может быть, потому, что Абы слишком уж привирал. И все-таки, в смятенной голове мальчика возникала обнадеживающая мысль: выход есть, отец отведет беду и от него и от Орды, у отца есть опора. Не надо будет прятаться от врагов. А сейчас! Сейчас надо соглашаться. В крепость так в крепость.

— Хорошо, Абы, я поступлю, как ты советуешь. Но скажи мне, что будет делать отец?

— Отец твой не растерялся. Его одолеть не так-то просто. Враги не свалят Черного шанырака твоего деда Аблая. Да что там свалить! Они притронуться к нему не посмеют. А ты нигде не показывайся. Сиди себе в крепости. Нажмут на отца,— мол, где же твой сынок, который в чужую отару с ножом ходит? Отец от них отделается. Скажет — верите, искал, не нашел. Давайте искать вместе. Или, еще лучше, обвинит их же самих во всем. Вы, обвинит их, сами увели моего сына, верните мне его. Иначе сотней мальчишек поплатитесь.

Выдумка выдумкой, но слова Абы крепко запали в голову Чокана.

— В крепость поеду, сейчас поеду,— мальчиком уже овладевало нетерпенье,— только не один, а с моим Жайнаком.

— Ладно!— Абы махнул рукой.— Садитесь вдвоем на моего коня и езжайте. Той стороной, что ближе к озеру. Недобрых людей там не встретите. И солдат не бойтесь: они знают тебя. А я пешком доберусь до Орды.

Мальчишки уехали.

Абы с трудом дотащил мертвую волчицу до расщелины в скале, наломал березовых веток, прикрыл ее. Вернусь,— подумал,— завтра сниму шкуру. Найду и волчат в логове, принесу в аул.

Но на следующее утро он обнаружил только клочья шерсти и обглоданные кости, разбросанные в траве. Должно быть, зверя съели другие волки. Пустым оказалось и логово. Трудно было сказать, куда делись волчата, какую участь определил им волк-отец.

Происшествие в урочище Каскыр-ойнак скоро было забыто. Его вытеснили другие, более значительные события.

Удивительнее всего, что вранье Абы — а он и сам не ведал того, что говорил,— оказалось пророческим.

Есеней к началу истории с ягненком действительно был в этих краях. Он гостил у сибанов ветви Кужгена в окрестностях Кара-Обы, в среднем течении реки Обаган. Приехал он не просто попировать, а на собрание, на ширпышн. До него, как и предполагал Абы, случай с ягненком дошел уже в сказочно преувеличенных размерах.

Ему рассказали: Чингиз обиделся на Отея, когда тот откочевал от него, и поручил своему сыну заманить в овраг и вырезать всех ягнят! Мальчик выполнил наказ отца и теперь скрывается в крепости. Отей послал к Чингизу своего

человека с требованием вернуть долг, а Чингиз его и близко к себе не подпустил. Мол, пусть, что хотят, то и делают.

И Кожык по тем же причинам находился неподалеку от Кусмуруна, на берегах речки Карасу, в ауле уаков ветви Караман. И до него докатилась весть о ягненке, ставшем уже целой отарой вырезанных ягнят.

Есеней с Кожыком и не вникли в суть дела. Им в конце концов было все равно. Для них нашелся удобный повод поднять в народе новую волну ненависти против Чингиза. Сделать это не составляло большого труда. За тринадцать лет своего ага-султанства Чингиз нажил достаточно врагов. В окрестных аулах, особенно вдоль побережья Кусмуруна, пожалуй, не найти было кочевья, не испытавшего на себе силу чингизовского характера и цепкой его хватки.

Есеней и Кожык решили действовать без промедления. Они тайно встретились на уединенном берегу речки Кундызды.

Начал Есеней, как более опытный, старший.

— Пожар и так вот-вот разгорелся бы... Ягнята Отея только помогают его раздуть. Теперь нам нельзя терять времени. Если ты подашь клич «Жаубасар!»[1], а я выкрикну «Ушпай!»[2], у кереев и уаков все мужчины сядут на коней и возьмут в руки соилы. Наших людей много. Их не только захватить холмы Кусмуруна хватит, но и озеро обернуть несколько раз. А что Чингиз? Он опирается на солдат в крепости. Много ли их там? Говорят, сотня. Не велика опора. Сотней народ не остановишь!

— Ничего они нам не сделают,— твердо выговорил Кожык, не заикаясь на этот раз. И уже чуть запнувшись добавил.— Но я другого боюсь.

И замолчал. Высказал свои опасения только после настояния Есенея:

— Надо помнить о том, что именно роды Карааул и Атыгай близки к Чингизу. Кто, как не они, первыми подняли на белой кошме Аблая, подарили ему шесть белых юрт, шесть девушек, шестьсот лошадей, шесть тысяч овец. Чингиз знает — они свои люди. Поэтому он теперь, когда над его головой стали собираться тучи, отправил к ним тайного своего гонца с просьбой о помощи. Мол, кереи и уаки собираются разгромить Орду. Неужели вы отдадите ее на разграбление? Или подыметесь на ее защиту? И гонцу ответили — защитим! Так решил совет из восьми старейшин и совет из

[1] Жаубасар — боевой клич рода кереев.
[2] Ушпай — боевой клич рода уаков.

двенадцатн старейшнн. Теперь бнй Канай и бнй Курымсы собирают джигитов.

У Кожыка не хватило духа говорить дальше.

— Чего же ты замолчал? Продолжай.

Кожык глубоко вздохнул, набирая силы:

— И еще одна дурная весть Может, правда, а может, и сплетня. В Токал-Аргыне, вблизи Тургая, собирают джигитов. Во главе бии и батыры Аблая — громоподобный Казыбек, ворчливый Жаннбек, Кабанбай из каракереев, Богембай из рода Канжигалы. Говорят, не дадим в обиду Орду Аблая.

— Что еще ты скажешь, Кожык?— В голосе Есенея звучало раздражение.— Говори, я слушаю.

Но Кожык молчал.

— Молчишь, значит?! Молол всякую чепуху. Даже заикаться перестал.

— П-почему чеп-пуха?— еле смог выговорить Кожык.

— А потому что чепуха! Пусть собираются и атыгайцы, и карааульцы! Пусть и другие против нас. Разве мы будем считаться с этим, разве не сумеем постоять за себя? Ты, сын рода своего Уака, возьми на себя Атыгай и Карааул, а я какнибудь справлюсь с кипчаками и аргынцами. Мои керей не подведут. Защита у Орды слабая, а вокруг нее — сила! Да и какая это теперь Орда. Что в ней осталось от ханских времен? Русский царь ее пока оберегает. Но и русские скоро поймут — оберегать нечего. А кто в степи решится ради бродячего торе вступать в бой. С ума, что ли, спятили кипчаки и ордынцы, чтобы из-за какой-то Орды рисковать собой и скотом.

Кожык попытался сказать еще что-то, пыжился, заикался, но Есеней круто перебил его:

— Не будут рисковать, не посмеют! Но на Чингиза надо навести страх. И всем, кто колеблется, дать понять — не суйте своего носа, плохо будет! Окружим Кусмуруи плотным кольцом наших людей.

— И п-потом?

— И потом скажем: давай нам своего сына. Сами решим, как его наказать. Не захочет, пусть пеняет на себя: дела решают наши плети, наши соилы, наша сила.

— М-м-а-кул!— пробормотал Кожык слово согласия.

На том и расстались.

Прошло несколько дней. Чингиз однажды выехал из Орды, огляделся вокруг и с горечью подумал, что поздно он спохватился,— схватку он проигрывает, прошлого не вернешь.

Куда ни посмотришь — всюду походные юрты кереев и уаков, разъезжают всадники, правда на почтительном расстоянии. А дружеских аулов почти не видать.

Он и не заметил, как в это тревожное время его покинули многие близкие. Даже Шепе, постоянно изводивший его своими требованиями решительно наступать на врагов — «Стреляй, руби!»,— даже жестокий и храбрый на словах Шепе скрылся неизвестно куда, удрал от опасности.

Несколько неожиданно повел себя Отей, ягненок которого наделал столько шума. Этот бывший старший друг, казалось, уже совсем перешел к кереям и уакам, стал одним из сильных врагов. Но из аула Отея к Чингизу приезжал человек, передавший ему тайный привет — салем. Дескать, он, Отей, на стороне Чингиза, но открыто быть с ним заодно не решается, не может.

В трудные дни рядом с Чингизом остались немногие люди, известные ему в течение долгих лет. Из них самыми влиятельными были двое — акын Жаманкул, сын Сатыбалды из рода Курлеут, и бий Шаики, сын Мендеке из рода Канжигалы. Роды эти были самыми малочисленными в Кусмурунском округе — в каждом, примерно, домов по сто.

Курлеуты прежде жили в степях Баянаула. Когда Есеней женился на Улпан, он переселил ее родственников — курлеутов на берега Обагана. Среди них был и акын Жаманкул, потомок знаменитого бая Нияза, владельца табуна в сорок тысяч лошадей.

Канжигалинцы жили у подножия гор Ереймен. В годы борьбы за ханскую власть двух сыновей Аблая — Вали и Касыма — видный канжигалинец Мендеке был вместе с Вали. Победил, как известно, Вали. В знак благодарности к Мендеке, он переселил всех канжигалинцев — потомков славного Тенизбая с предгорий Ереймена на плодородные земли рядом с лесом Отынагач.

Будь бы на то их воля, Жаманкул и Шанки привели бы в Орду своих сородичей. Но они не в силах были это сделать каждый по особой причине.

Главою курлеутских аулов на берегах Обагана был бай Жигит, сын Елтина и старшей сестры Есенея Матай. Понятно, что племянник Есенея держал сторону своего дяди. Властный Жигит подчинил себе все здешние аулы курлеутов. Только Жаманкул был настолько крепко предан Чингизу, что не считался с желаниями сильного и крутого бая. Дело в том, что Жаманкул справедливо слыл не просто хорошим акыном, но акыном Орды. С той поры, как образо-

вался Кусмуруиский округ и Чингиз стал его ага-султаном, поэт постоянно бывал у него в доме. И когда Жаманкул услышал, что над головой султана нависла беда, он не раздумывал. Как его ни предостерегали братья и другие родичи, он отправился в Кусмурун. Волновались и шумели на его пути аулы, всадники не раз останавливали акына и говорили ему — вернись! Но он не обращал внимания, благополучно добрался до Орды и был рядом со своим другом в дни его тревог.

Из видных канжигалинцев верным Чингизу остался только один Шанки, с ним вместе в Орду приехал и его младший брат Шадынкелбатыр. Четверо других братьев не посмели так поступить. Как и большинство канжигалинцев, они покорно шли за вожаком своим Асаубаем, сыном Жадигера. Асаубай и предки его не славились богатством. Скорее, наоборот: степь знала об их бедности. Но зато Асаубай известен был всему Среднему жузу своим красноречием. Однажды Чингизу случилось побывать в ауле Асаубая. Особого почета султану знаменитый оратор не оказал. Чингиз оскорбился и решил ему отомстить. Джигит канжигалинец Бексары, человек обиженный и склонный ко всяческим кляузам, по наущению Чингиза подал заявление в округ. В заявлении Асаубай обвинялся в том, что проживает в урочище Коркылдак, принадлежавшем отцу Бексары Умбету. Жадигер, отец Асаубая, незаконно согнал Умбета с этой земли. Бексары просил вернуть ему урочище Коркылдак. Это заявление Чингиз передал на рассмотрение биев. Искушенный в искусстве красноречия Асаубай победил в споре Бексары. Суд биев порешил не только отказать в праве Бексары на землю, но еще обязал его за ложное обвинение отдать Асаубаю коня и чапан. Чингиз нашел такой откуп слишком щедрым и послал Асаубаю от имени Бексары годовалого бычка. На это оскорбление Асаубай ответил стихами:

Как ты расщедрился, султан, на дары:
Посмел мне бычка за обиду вручить.
С такими дарами таких Бексары
Попробуй от лживых бумаг отучить.

После этого случая дороги Чингиза и Асаубая разошлись. Поэтому из всех канжигалинцев Чингиза поддерживал только Шанки со своим младшим братом.

Немногие примкнули к Орде в трудный час. Свою преданность Чингизу сохранил Турсымбай-батыр из рода

Балта. Столетний крепкий старик, едва прослыша, что на Орду, из ханского потомка готовится нападение, сел на коня, призвал внука и поторопился к берегам Кусмуруна. «Как я могу отсиживаться дома,— думал он,— если враги угрожают Черному шаныраку, служившему сорок лет Хану-ага». Чуть ли не всю жизнь хранил у себя Турсымбай после одного похода полосатое знамя Аблая. И вот теперь он взял в путь и знамя, и оружие. Не доезжая до Орды, он водрузил полосатый стяг на самом крайнем холме Кусмуруна. Здесь будет мой дозор, решил. Отсюда я буду наблюдать за врагами. Турсымбая приглашали в окрестные аулы, но он отказывался. Уважая его старость и причуды, люди Чингиза поставили ему небольшую юрту и приносили еду.

Между тем, число сторонников Есенея росло с каждым днем. Особенно много юрт пестрело на западном берегу Кусмуруна и у оврага Хан-Жаткан. Все продовольственные заботы Есеней принял на себя. Он пригнал на убой десятки яловых кобылиц-трехлеток, пять косяков дойных кобылиц для кумыса с дальних пастбищ, велел привезти и знаменитый котел тай-жузген, чтобы всегда в нем был запас степного напитка.

Повстанцев становилось все больше и больше. Но Есенею и этого было мало. Он вспомнил об именитом Мамыке, одном из вожаков рода Акташы. Его Чингиз насильно оттеснил в степи Тургая. Есеней отправил к нему посланца Садака, сына Кетебая из рода Уак, уединенно жившего в изгнании. Садак от имени Есенея призвал Мамыка и всех акташынцев к мщению, к налету на Орду. Акташынцы, много лет таившие обиду, откликнулись на призыв. Все мужчины сели на коней и присоединились к сборищу у оврага Хан-Жаткан. Поспешил со своими сородичами — тыгышынцами только что вернувшийся из Сибири Жургимбек-батыр. Он владел в свое время угольным промыслом. В год насильственного переселения Жургимбек стал сопротивляться, и Чингиз устроил ему ссылку в край, где на собаках ездят. Мудрено ли, что Жургимбек радовался возможности свести счеты со своим давним ненавистным врагом.

Народа, словом, собралось столько, что нетрудно было сокрушить одинокий ханский аул, возвышавшийся на Кусмурунском плоскогорье. Но повстанцы ели мясо, пили кумыс, много говорили о часе мщения и не предпринимали никаких действий. Эту нерешительность Чингиз истолковывал как страх перед крепостью, перед русским войском.

Чингиз часто навещал Шамрая в крепости, объяснял

ему расстановку повстанческих аулов, сообщал имена гожаков. Шамрай понимал, что положение осложняется, и в обход инструкций Драгомирова предлагал попугать повстанцев из пушек. Они рассеются по степи и во второй раз не сунутся. Но Чингиз не согласился. Он, зная, что народ озлоблен и недоволен им, не хотел ухудшать своего и без того шаткого положения. Правда, меры предосторожности он принял, выставив между аулом и крепостью вооруженную конную охрану. Кроме того, он договорился с Шамраем, что в случае наступления Есенея крепость даст ему отпор.

В лагере Есенея все продолжалось по-прежнему: ели, пили, грозили. Тогда Шамрай предложил Чингизу вести переговоры с повстанцами в крепости. Чингиз и на это не согласился. Только дома. Еще подумают, что я боюсь.

Тем временем Шамрай вел переговоры со штабом казачьих линейных войск и ввиду большого наплыва повстанцев просил выслать ему вооруженную помощь. Вскоре пришла депеша, что в крепость направляются два эскадрона — из штаба и Кокчетава.

Решал бы все один Есеней, кровопролитие уже свершилось бы.

Но в ту пору к нему приехал бий Токсан, выходец из алдайской ветви кереевцев. К советам уже престарелого бия всегда прислушивались не только его прямые сородичи, но и уаки, и аргынцы с кипчаками. Его ценили и за красноречие, и за мудрость, и за то, что отец его Жабай и дед его Кара слыли в прошлые времена справедливейшими биями Среднего жуза.

Сказители передавали из уст в уста: когда самые знатные представители Среднего жуза посвящали Аблая в ханы, один конец белой кошмы держал почтенный бий Кара. Прошли годы, бий совсем состарился, и его навестил благодарный хан. В юрте старика играл его внучонок Токсан. Аблай сам вложил ему в рот кусочек мяса, провел ладонью по лбу и дал свое благословение. Вот поэтому, утверждали ревнители старины и старинных обычаев, бий Токсан умом и ораторскими способностями превзошел своего деда.

Понятно, что и сам Токсан чтил память Аблая и уважал его потомков. Немощный телом, он уже никуда не выезжал из своего дома. Но когда до него дошла весть, что готовится нападение на Орду, он не смог перенести одиночества и впервые за много лет сел на коня.

В глубине души Есеней был недоволен его приездом. Ве-

ря в дух предков, он потерял веру в Черный шанырак. Непримиримый к Чингизу, он обязан был считаться и с советами старика. Глубоко почитая Токсана, он боялся, что старик разрушит все его планы. Токсану не надо было повторять своей просьбы. Есеней дважды в год — зимой и летом — приглашал Токсана в гости — получить его благословение. Токсан состарился — Есеней сам стал ездить к нему. В случае трудной тяжбы Есеней поступал так, как советовал ему Токсан. Слово старого бия было окончательным при определении тяжести преступления и меры наказания. Никогда не забывал Есеней отправлять Токсану скот. Мудрый аксакал, не скупясь на похвалы, называл Есенея и батыром, сокрушающим врага, и грозой, наводящей страх... И если его о чем-нибудь просил Есеней, он сразу же откликался.

Но на берегах Кусмуруна в этот приезд Токсана отношения между ним и Есенеем сложились далеко не так просто.

Токсану не надо было долго присматриваться, чтобы понять, куда идут события. Все рассматривалось как на ладони, хотя не все обстоятельства были ему известны. Вражда накапливалась. В своей непримиримости Есеней зашел слишком далеко и увлек за собой свою сторону. Либо-либо: отдавай нам своего сына или покажи место, которое станет полем боя. Чингиз не обладал твердостью своего противника. Лишенный власти и прежней опоры, он колебался. Убежденный, что сына отдать нельзя, он думал и о примирении, и о возможности бегства из Кусмуруна и еще продолжал надеяться на эскадроны, которые вот-вот должны были подойти к крепости.

Токсан больше всего боялся, что прольется кровь.

Есеней прямо сказал, что он готов к выступлению и попросил Токсана дать согласие. Бий отказался:

— Надо подождать, надо все обдумать.

— Но до каких же пор? Время уходит.

Тогда Токсан предложил держать совет, тем более уместный, что здесь, в Хан-Жаткане, ожидался приезд старейшин родов из степной Арки и Сибири, куда тоже дошли вести о предстоящем разгроме ханской Орды.

Токсан, сочувствуя и Есенею и Чингизу, рассчитывал установить мир с помощью этих старейшин.

Передышка могла помочь Чингизу. Теперь к берегам Кусмуруна стали съезжаться и его сторонники, готовые защищать Орду Аблая. Из пяти волостей багаталинцев, кочующих между Большими и Малыми горами, из шестидесяти волостей

Куандыка и Суюндика, считавшихся цветом Аргына, из сорока волостей Каракесека и Каржаса в Каркаралинских и Баянаульских предгорьях, из Кокчетавских родов Карааула и Даунта, древних родов, ведущих свою родословную от восьмого и двенадцатого колена. Своих посланцев защищать ханскую ставку отправили казахи, чьи аулы располагались по течению рек Уй и Тобол, представлявшие роды Узык, Колденей, Торы и Карабалык. Их верхней границей были Тургай и Тосып и нижней границей западное побережье реки Обаган.

Вести эти, однако, мало смущали Есенея. Некоторые напуганные соратники спрашивали — что-то теперь будет? А он только хвастал:

— Пусть едут. Мы для них — сила. Видали верблюда, который плюет во все стороны. И верблюд прячет свой нрав, когда видит кругом толпу. Знайте, никто из них не посмеет выступить против вооруженных кереев и уаков. Они могут только своих биев отправить, чтобы заключить перемирие.

Как сказал Есеней, так и вышло.

Говорили много. Сторонники Чингиза действительно шли и с юга и с севера. Правда, никто из них и не пытался напасть на сарбазов кереев и уаков. Противники не приближались друг к другу. Но каждый род выслал для переговоров именитых своих представителей.

Есенею ничего не оставалось делать, как приготовить для них юрту. Мастера произносить речи и решать самые запутанные тяжбы, седобородые, полные великолепного достоинства бии, осмотрительно, не спеша приступили к разговору. Поначалу условились так: не шуметь всем вместе, не блеять, подобно баранам или ягнятам. Надо выделить достойного человека, чтобы он поговорил начистоту и с Есенеем и с Чингизом. Тогда можно будет перейти и к совместному обсуждению.

Обычай требовал сперва назвать род, а уж потом его представителя. Когда собираются вместе роды, входящие в Средний жуз, старшим считается Аргын. Он и самый многочисленный. В народе так и говорили: Аргын — как небо, Кипчак — как звезда, Керей — как овца, Уак — как ягненок.

И здесь, в гостевой юрте, мнение было единодушным:

— Пусть говорит Аргын. Он — старший.

Не возникло пререканий и при выборе уважаемого аргынца. Из приехавших биев самым почитаемым по возрасту и уму был Курымсы, сын Утемиса, родовой ветви Аидагул. В каких только многолюдных сборищах он не участвовал, ко-

му не известны были его мудрые и точные, как пословицы, ответы, его уменье найти выход из любого положения.

Встреча с Чингизом, как положено, проходила наедине.

Чингиз, больше чем когда-либо уверенный в том, что казачьи эскадроны заступятся за него, и на этот раз показал свою непримиримость.

— Прогоню сопротивляющиеся мне аулы. Силой оружия прогоню.

Ничего больше, никаких доводов.

Тогда-то и пригодились способности Курымсы:

— Я с тобою первым начинаю беседу. Ты мне ближе Есенея. Роды Атыгай и Караaул провозгласили ханом Аблая, после Аблая был Вали. После Вали твоя мать Айганым. В них прошлом я вижу тебя, в тебе их прошлое...

Нет, эта лесть не подействовала на Чингиза. Сумрачно, непокорно посмотрел он на бия.

И тогда Курымсы заговорил напрямик:

— Ты что упрямишься? На кого надеешься? На русскую власть? Власть не в силах уничтожить народ. Подумай: вот ты сейчас выиграешь. Есенея и Кожыка увезут в Омск, сошлют туда, где на собаках ездят. Но бабы и мужики среди кереевцев и уаковцев не перемрут. Значит, подрастут новые есенеи и кожыки. Всех в Сибирь не загонишь. Если же будут и впредь угонять — народ совсем озлобится, начнет мстить. Народ свое возьмет. Стало быть, надо считаться с народом. Слышал, что о тебе говорят: «Не умом он берет, а силою жмет». Неужто это правда? Неужто ты смерти своей не чуешь? Керен и уаки мне передали сейчас поводья. А если я сейчас ослаблю поводья, что тогда? Ты один, а их много. Тебя не хватит, одним толчком одолеют. Перестань, говорю, упрямиться! И не воображай, что знатные люди Среднего жуза съехались сюда из уважения к тебе. Не тебя они почитают, а память славного Аблая. Следуй за ними. Ослушаешься — все от тебя отвернутся.

Сраженный красноречием Курымсы, Чингиз понял: деться ему некуда, выхода нет. Зная, что дальше разговор продолжать бесполезно, он все-таки спросил:

— Так что же ты мне посоветуешь?

— Одно могу сказать: пока голова цела и скот не растащили, покидай Кусмуруи. А уж куда тебе уходить — думай сам. Каждому джигиту — свое место. Найди то, что тебе по душе.

«Каждому джигиту — свое место»,— с горечью повторил про себя Чингиз. Ему было жаль Кусмуруна. И не только

потому, что он привык жить здесь. В Кусмуруне умножался его скот, росли доходы. Трудно расстаться с этим. И, кроме того, уйти сейчас — значит, признать свою слабость. Позор мне, позор! Кто только не будет болтать: испугался султан Есенея.

Однако Чингиз не боялся смотреть правде в глаза. Он согласился в душе с Курымсы, но вслух сказал, что подумает. Он сообразил, ему срочно надо посоветоваться с Александром Николаевичем Драгомировым. Однокашник с ним будет откровенен, слово свое держит. Вот-вот он должен заехать в Кусмурун. Нельзя торопиться, нельзя подать вид, что твое проиграно.

— Хорошо, Курымсы, я подумаю.

Это было обычное «ни да ни нет».

— Только не слишком долго думай, Чингиз. Если не завтра, то послезавтра мне твой ответ надо передать Есенею.

— Зря ты меня так торопишь. Ты лучше с Есенеем обо всем договорись, выясни, куда он клонит, а уж потом меня испытывай.

— И то верно,— согласился Курымсы. Он воздержался от прямых и жестких слов, так и вертевшихся у него на языке. Хотелось ему сказать — довольно пустых речей, уступай ага-султанство Есенею, а сам убирайся прочь. Но ведь и Есеней еще не произнес своего окончательного решения.

На том пока и расстались.

Курымсы после встречи с Чингизом задумал склонить Есенея к самым решительным действиям. Прежде они договаривались легко. Хотя Курымсы был несколько моложе Есенея, он считал себя шурином, а его — зятем и по праву старшего родственника подшучивал над ним и даже позволял дерзости. До поры до времени своенравный Есеней мирился с этим, но однажды не выдержал и резко оборвал Курымсы: «Не мели, шурин мой, чепухи!». С того дня Курымсы стал куда осторожнее, а теперь, накануне серьезного разговора, решил взять с собою и Токсана, верную свою подмогу.

Токсан и Курымсы относились друг к другу как ровесники, не прочь были и побалагурить, но это отнюдь не мешало глубокому взаимному уважению. Выполняя обязанности биев, многие тяжбы они умели завершать полным примирением противников. И то, что Курымсы стал теперь

верховным бием, было прежде всего делом рук самого Токсана.

Так и теперь Курымсы поспешил к Токсану:

— Курдас[1] мой, прошу тебя оставить все свои другие важные мысли и заботы! Отвечай прямо, чего ты сейчас хочешь добиться от этих воинственных кереев и уаков?

Токсан ухмыльнулся:

— Зачем ты об этом спрашиваешь, мой курдас? Не ты ли сам проложил дорогу в Атыгае и Карааула? По этой дороге и пойдем.

Послушать со стороны — ничего не понять! Но ровесники умели хорошо разгадывать полунамеки. Дорога вела к тем временам, когда ханская Орда Аблая находилась в предгорьях Срымбета и округом управлял Зильгара, происходивший от ветви Андагул рода Атыгай. Зильгара властвовал недолго. Сославшись на старость и на то, что ездить ему из аула в аул тяжело, он передал султанство своему сыну Мусе. Муса числился и теперь султаном, но силы не имел. Токсан, вероятно, подразумевал объединение двух прежних ханских ставок.

— Ты хочешь назвать Есенея?— спросил Курымсы.

Токсан, как подобает искушенному в красноречии бию, ответил иносказательно, улыбаясь только уголками губ:

— Зачем повторять слово, уже произнесенное другим.

Но Курымсы ломился напрямик.

— Я поддержу Есенея, но поддержит ли его народ?

— Ты, мой курдас, думаешь о том, о чем не надо думать. Ты бий, ты волен произнести свое слово. Но не тяни сам руки к поводьям. Кереи и уаки без тебя решат, кому взять власть.

Опять было произнесено слово «макул», слово согласия.

Курымсы и Токсан прошли в юрту Есенея, красного от кумыса, нетерпения и злости.

Курымсы, едва успели обменяться приветствиями, сказал о своей поддержке. Есеней принял ее как должное и сразу обрушился на Чингиза:

— Хочет он уйти отсюда невредимым, пусть немедленно вернет обратно русские войска, что идут к нему на помощь. Я знаю все. Мне сообщают каждый день в час утренней дойки кобылиц об их продвижении. Отряд из Ыстапа сегодня уже в Кара-Оба. Кокчетавский отряд дошел до озера Койбагар. Пока они не отступят, никаких переговоров и быть не мо-

[1] Курдас — ровесник.

жет. А если они станут продвигаться, я начну сраженне. Да, начну сраженне!

Есеней совсем побагровел, его душнла ярость:

— Да! Да! Как только услышу, что онн тронулись сюда, уннчтожу Чннгиза со всем его добром.

Курымсы броснл взгляд на Токсана. Всем своим вндом бнй поддерживал Есенея. Он знал, как знал это и Курымсы, что Есенея не утнхомнришь, пока он своего не добьется.

Курымсы сказал мягко, осторожно:

— Я поговорю с Чннгизом.

Гневно сверкнули большие глаза Есенея:

— О чем говорить с ннм, бий? Никаких разговоров больше. Если он сегодня не отправит своих гонцов в отряды, чтобы онн отступнлн, вы уж на меня не обижайтесь. Посмотрим, поможет ли Чингизу небо, если я начну действовать.

И снова было пронзнесено слово «макул», как будто в нем находился ключ к решению всех вопросов.

Курымсы опять отправился к Чингизу. Султан был еще немногословнее, чем в прошлый раз. «Подумаю», «Посоветуюсь»,— отвечал он бню, подробно изложившему требования Есенея, а сам думал о капкане, в который попал, и о том, поможет ли ему Драгомиров.

Александр Нnколаевич не заставил себя долго ждать, но ннчего утешительного Чингиз от него не добнлся.

Он быстро разобрался во всем, что происходит в степи, н начал действовать по-своему. Прежде всего он выполннл требование Есенея и послал двум русскнм отрядам всадников с приказом возвращаться обратно на свои места.

С Чингизом он разговаривал не то чтобы сухо н официально, но тоном, не допускающим возражений:

— Пойми, с должности я тебя снять не могу, как не в силах и оставить тебя в ней. Это решает Омский генерал-губернатор. Ты хочешь знать мой совет? Освободи себя от должности сам. Напиши об этом заявление. Понял меня?

Чннгиз удивленно глядел на однокашника. Неужели так плохи его дела? Неужели и Драгомиров с Есенеем? А тот продолжал, отчеканивая каждое слово:

— Я от тебя ннчего не скрываю. Я познакомился в Омске с бумагами н должен сказать — в жалобах на тебя много правды. Если эти письма попадут в суд, тебе будет еще хуже. Тебя не только снимут, но и упекут в Сибирь, куда ты сам многих упекал.

Чннгиз растерялся:

— Ну, хорошо, я напишу заявление, меня освободят, но жалобы-то останутся. Смогу ли я от них избавиться?

Драгомиров улыбнулся:

— Понятно, сможешь.

— Но как, скажи мне, как?

— Я просто велю сжечь эти жалобы.

— Да, но почему ты не можешь это сделать сейчас, не снимая меня с должности?

— Вот уж этого никак не могу сделать. Пойми ты простые вещи. В степи настроены против тебя. Если ты останешься, заявлениям не будет конца. Уничтожу одни жалобы, напишут новые. Волей-неволей придется вести расследование. А суд ничего утешительного тебе не принесет. Ты согласен?

Чингиз невесело кивнул головой. Внутренне он был уже сломлен.

— Слушай меня дальше. По-моему, лучший для тебя выход — ехать теперь вместе со мною в Омск. Забирай с собой и мальчишку. Довольно ему отсиживаться в крепости.

— Чокана везти в город? А зачем?

— Насколько я понимаю,— Драгомиров сощурил глаза, показывая свою полную осведомленность в событиях,— народ так озлоблен, что не успокоится, пока сын твой здесь. Но дело не только в этом. Я ведь догадываюсь, Чингиз, что происходит в твоей душе. Ты думаешь о ханских временах. Не правда ли? Так вот, знай: птица вылетела из твоих рук и не вернется обратно. Ты уже не хан, а только чиновник Российского государства.

Султан тяжело вздохнул:

— Верно. Ты прав...

— Посмотри вокруг, Чингиз. Вдумайся. Степь волнуется, но степь уже не прежняя. Когда царское правительство уничтожает бунтовщиков вроде Кенесары, оно находит себе помощников среди местного населения. И одаривает своих помощников чинами, мундирами, саблями. Среди твоих киргиз-кайсаков полно всяких сотников, есаулов, хорунжих. Даже и враг твой Есеней Естемесов и тот хорунжий. А вот понимают ли они, что значат эти чины и награды...

Чингиз, поначалу совсем удрученный, несколько оживился.

— Я вижу, до тебя доходят мои слова. Помни, дорогой. Чиновник Российского государства должен быть грамотным. Надо думать и о будущем. Далеко пойдут те, кто получит русское образование. Смотри, как зашагал Турлыбек

Ксшенов. Правильно? Значит, делай вывод. Хочешь сохранить в своих руках поводья власти, отдавай своих детей в русские школы. И первым — этого озорника.

— По-твоему будет!— отвечал Чингиз. Он-то и раньше думал о судьбе сына, а теперь, в трудные эти дни, дело решалось само собой.

И он пригласил Драгомирова к дастархану.

Как ни тяжело было Чингизу, но в этот же день он собрал биев и прежним твердым голосом объявил им, что оставляет пост ага-султана и намерен поехать в Омск, лично вручить губернатору свое заявление.

Сказал кратко, веско. Наступило молчание. Бии поняли, откуда идет это великодушие. Не находили нужным отговаривать Чингиза те, кто был всей душой с ним. Считали неприличным выражать свою радость его противники.

Молча выслушали, молча разошлись.

Драгомиров ловко составил бумагу, в которой уход Чингиза объяснялся желанием вернуться к родственникам в Кокчетав. В бумаге этой от имени родов округа выражали Чингизу благодарность. Особый пункт касался будущего ага-султана. Народ, как было сказано в бумаге, просит генерал-губернатора на место Чингиза Валиханова утвердить Есенея Естемесова.

На Кусмуруне стало спокойнее.

Вернулись гонцы и известили, что отряды движутся обратно в свои крепости. Начали откочевывать собранные Есенеем аулы. Чингиз стал готовиться к отъезду в Омск.

Позвали и Чокана из его многодневного укрытия. Его никто не ругал, никто не напоминал ему о ягненке. Но он чувствовал — и смотрят на него строже и не балуют, как раньше. Только мама, только Зейнеп еще нежнее стала заботиться о нем, еще чаще ласкать.

Мальчуган, понятно, заметил все эти перемены, но не придавал им никакого значения. Тем более неожиданной оказалась для него весть, что отец собирается его отвезти в Омск на учебу.

Случилось это накануне самого отъезда. Чингиз не хотел пугать сына и осторожно объяснил, почему необходимо. Дескать, будешь учиться, большим человеком станешь. Чокан молча выслушал отца и молча ушел. Чингиза это мало взволновало. Куда он денется? Поедет, конечно. Не стану же я ему потакать.

Чингиз позвал Зейнеп и сразу же сообщил о своем решении. Сообщил так, что, казалось, и возражать ему было

нельзя. Но в первые минуты Зейнеп и слышать об этом не хотела. Как это так, разлучить мать с ее первенцем, увезти мальчика из родной степи, где каждый холмик ему знаком, каждый куст, каждый ручей? Лучше убить ее сразу, а живой она не позволит отправить сына в далекий Омск. Ты чего-нибудь добился, выучившись русской грамоте? А почему ты думаешь, что Чокан добьется большего?

Если бы не Драгомиров, еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Упорства и у Зейнеп хватало.

Но Чингиз призвал на помощь Александра Николаевича, и представительный рослый офицер излил на нее целый поток казахских, татарских и русских слов, из которых очень немногие ей были понятны. «Царь, награды, шайтан,— мелькало в голове Зейнеп,— служба, грамота, хорошо». Она так и не уяснила до конца суть речи, но отлично поняла, что Александр Николаевич не только на стороне Чингиза, но едва ли не он сам настаивает на учебе Чокана.

Между тем, Драгомиров исчерпал свой словарный запас, и за него закончил Чингиз:

— Видишь, Зейнеп, даже русский думает о будущем нашего мальчика, а ты сопротивляешься. Не на смерть его посылаем, а чтобы знал науки.

Где же было устоять Зейнеп! Махнула она рукой и ушла к себе.

Но к вечеру Чокан неожиданно исчез. Его не могли найти ни в Белом, ни в Черном ауле, ни в крепости. Послали верхового с Кутпаном. Собака быстро привела всадника к норам Каскыр-ойнака. Оттуда пес вытащил мальчика. Он сердито бурчал дорогой: «А я тебя считал верным другом, Кутпан. Какой ты мне друг? Враг ты!..»

Дома Чокан плакал, кричал, даже ругался. Вышел из себя и отец. Разозленный капризами и упрямством мальчугана, он отвел его в дом Шепе, к его жене, вздорной рыжей толстухе Шонайне, и наказал ей держать племянника под запором. Кичливая непривлекательная Шонайна никому не позволяла себе перечить. В ауле ее побаивались. Еще там, в Срымбете, даже властная Айганым старалась ее обходить. А если и возникал какой-нибудь спор, Айганым неизменно уступала своей невестке.

До сих пор Шонайна с любовью относилась к племяннику и ласково называла его озорником. Но последняя озорная выходка сказалась и на ней. Она никак не могла простить мальчику неожиданного бегства Шепе, да и на самого Шепе злилась целыми днями. Стиснет зубы, потрясет кула-

ками и шепчет: «Ну, погоди, погоди! Пошлет аллах тебя в мои руки!».

В такую-то пору и поручили ей сторожить Чокана.

Стоило мальчику перешагнуть порог дома Шепе, как он вспомнил...

Был он еще совсем малышом и однажды обругал тетку. Она поймала его, придавила к земле тяжелым коленом и больно побила. Заплаканный, в слезах, он прибежал к матери. Зейнеп долго утешала его:

— Сыночек мой, пора бы тебе знать, какая это вздорная баба. Самая вздорная в ауле. Трогать ее нельзя. Кто, кроме аллаха, может с ней справиться? Ты к ней и близко не подходи, и имени ее не называй, и не спрашивай никого о ней. Подальше, сыночек, будь от беды.

А беда была теперь рядом. Беда вытаращила глаза и сказала голосом тетки Шонайны вкрадчиво и с угрозой:

— Вот твое почетное место. Хочешь — полежи, хочешь — сиди, дело твое. Но убежать не надейся. Не будешь слушаться — тогда не обижайся.

Хмуро и послушно он прошел, куда она ему показала. Отбросил подушку, свернулся калачиком на полу и с головой укрылся большим лоскутным одеялом.

Сколько он так пролежал не шелохнувшись, ему и самому было неизвестно. Должно быть, уже вечером его пришла проведать мать. Она склонилась к сыну, слезы потекли по ее лицу. Погладила его, окликнула. Чокан притворился спящим. Он уткнулся лицом в пол, ни одним движением не выдавая себя, Зейнеп попыталась повернуть его лицом к себе, но это было ей не под силу. Она даже испугалась. Что это такое с ним происходит? Может, мальчику плохо? Зейнеп рванула его к себе. И вдруг услышала сердитые слова:

— Убери руки.

— Жеребеночек мой, я ведь твоя мама,— расплакалась еще сильнее Зейнеп.

— Не трогай меня, говорю тебе!— закричал Чокан.

— Канашжан, неужели ты меня не узнаешь?

Зейнеп хотела обнять сына, но он замотал головой, разжал ее руки и крепко укутался в одеяло.

Откуда-то из темного угла, ближе к дверям, послышался насмешливый голос Шонайны:

— Ах, Укили келин, ах моя невестка с перьями филина! Ты его упрашиваешь, а он дерзит! Дала бы ему раз-другой по щекам. Мигом бы стал послушным.

Зейнеп смолчала. С жестокостью и грубоватостью Шо-

найны она мирилась как с несчастьем, посланным ей судьбою. Понимала она и другое: в капризах и нетерпимом характере Чокана во многом были повинны Шепе и его жена. Но в споры с ними она никогда не вступала. Не утратив своей гордости, она приобрела выдержку и умение скрывать многие свои чувства. Скрывала она и отвращение к Шоайне. Как она ругала нехорошими словами малышей, какой она была жестокосердой! Она, не задумываясь, швыряла в ребят тем, что только под руку попадется: ковш так ковш, лопату так лопату. Ее одинаково боялись и матери и дети.

Зейнеп притихла. Притих и Чокан, полудремлющий под лоскутным одеялом. Переполненная нежностью к сыну и убежденная, что сейчас его все равно ничем не уговорить, мать решила до утра не отходить от его постели.

Не любившая дом Шепе, ради сына она шла и на это.

Дом Шепе был самым неопрятным, самым запущенным в Орде. Зейнеп просто не представляла, как можно так жить. Едва ли Шепе был беднее Чингиза. Не чурался он взяток, имел и наследство. Но если в дом с базара или свадьбы привозили дорогие вещи — чаши или подиос — они очень скоро становились такими грязными и засаленными, что у гостей пропадало желание есть или пить. Скот в этом доме не доили, овечье молоко к чаю выпрашивали в белой юрте. К кумысу это, правда, не относилось. Кобылиц у Шепе был целый косяк, и кумыс доставлялся ему от весны до осени. Но что это был за кумыс! Его никогда не взбалтывали, он был прогорклым и кислым. И турсуки из козлиной кожи, в которых он хранился, покрывались плесенью. Тем более до Орды, до юрты Чингиза было рукой подать. А случайным путникам и Шепе и Шоайна, вопреки обычаям, отказывали в угощении. Толстухе легче было украдкой вылить напиток в земляной очаг, чем поделиться с голодным проезжим.

— Что ты только делаешь?— укоряли ее.

— Пусть лучше собаки пьют,— отвечала толстуха.

— Да разве собака из земляного очага напьется?

— Ну тогда пусть земля пьет.

Шоайна и сама была неряшливой. Таким же стал и Шепе. Они занашивали одежду и редко меняли белье. Стирка в их доме бывала целым событием. Шоайна вызывала из Черного аула женщину. И женщина из уважения к торе приходила в дом, хотя держали ее впроголодь и ничего не платили.

Шоайна всячески избегала работы. Любимым ее занятием было валяться с утра до вечера и похрапывать. Даже

Шепе не доставляло удовольствия такое поведение жены. Однажды он пытался побить ее, но толстуха так отдубасила своего сухонького маленького супруга, что с той поры он боялся произнести неосторожное слово. А когда забывался, она одним взглядом или окриком заставляла его молчать.

Давно не заходила Зейнеп в юрту Шонайны. Ей претило там все: грязь, запахи, дурной нрав хозяйки. И теперь только ради Чокана она оказалась здесь. Она преодолела свою неприязнь, чтобы побыть рядом с сыном. Нежная мать, она была готова провести здесь и ночь напролет. Пусть у нее кружится голова от застоявшегося кислого запаха. Она превозмогла и это, сдержалась. Пригорюнившись, чего-то ждала.

В настороженной тишине ее окликнула Шонайна:

— Заснул наконец Чокан?

— Кажется, заснул.

— А ты что сидишь?

— Да вот сижу.

— Может, приляжешь, дам подушку.

Глухо зашлепали босые ноги Шонайны. Подушка мягко ударила плечо Зейнеп. Еще бросок, и Зейнеп нащупала одеяло. Шонайна снова легла, помолчала, потом спросила:

— Ну что же ты не устраиваешься? Меня что-то в сон клонит. А ты, смотри, не прозевай: сбежит он — как будем в лицо торе смотреть. Да и мальчишке достанется.

Зейнеп не ответила. Зачем ей, матери, были нужны советы Шонайны? Она и так не смогла сомкнуть глаз до рассвета. Толстуха быстро захрапела. Спал и Чокан — его дыхание было ровным, глубоким. Зейнеп подстелила одеяло и облокотилась на подушку. Если бы и можно было уснуть, ей помешал бы это сделать затхлый кисловатый запах.

Она обхватила руками колени и, слушая дыханье своего Канашжана, задумалась о его судьбе. Нет ничего удивительного, что мальчик вырос озорником. Но сколько в нем есть и хорошего. Как он любит сказки, какой он смелый и ловкий в играх. Как он понимает многое из того, что непонятно и взрослым. И все-таки упрямый, грубый, злой. Ты, Чингиз, виноват во всем. Умилили тебя слова Турсымбая-батыра — «Чокан вылитый Аблай-ага», ты поверил в это сходство и совсем избаловал мальчишку, дал ему свободу, каждому капризу потакал, возил за собою куда надо и куда не надо. Мальчик насмотрелся всякого, наслушался. А теперь и отца начал огорчать. А ведь это твои плоды, Чингиз. Сам дал им созреть, сам и пробуешь.

Зейнеп вспомнила горбоносого ягненка. Что и говорить,

плохой поступок. Но разве в нем дело? Разве из-за этого потерял Чингиз свое ага-султанство? Просто это была капля, переполнившая чашу. Много горя натерпелся народ от ага-султана, и терпению пришел конец. Еще в детстве Зейнеп узнала одну народную притчу. Отец сказал сыну: «Бросай воровство, позором кончится это». Сын не внял доброму совету. Тогда отец от туши каждого украденного барана или лошади брал по кусочку мяса и нанизывал это мясо на железный прут. Случилось так, что сына поймали и посадили в тюрьму, когда мясо было уже некуда нанизывать. С той поры, если случается похожее, казахи говорят —«перевалил за кончик прута».

Вот так произошло и с Чингизом. За долгое время пребывания в Кусмуруне и вплоть до вчерашнего дня кто-то вел точный счет его недобрым делам. Чингиз перевалил за кончик прута. Он теперь не султан. Но ему не грозит тюрьма, никто уж не будет покушаться на его жизнь.

Перед ее глазами проходили последние тяжелые дни в Орде.

Как обезлюдел, опустел, стал темнее их дом. Как отгораживался даже от сочувствующих ему Чингиз. Не далее, как вчера, он не пожелал видеть гостей, которым еще недавно радовался бы, как близким родичам. Что будет завтра, какие испытания пошлет им судьба?

Показалось, Чокан застонал во сне. Она провела рукой. Так и есть — сползло одеяло. А может, он его просто отбросил? Ведь затхлый запах шел и от одеяла. Зейнеп осторожно приподняла мальчика, положила голову себе на колени, прижалась к нему грудью. Он дышал по-прежнему ровно, глубоко.

Только последние два-три года Чокан не спал вместе с матерью. Зейнеп, довольно сдержанно относившаяся к остальным детям, особенно нежно любила Чокана. «Первенец, мой крепышонок»,— думала она о нем. Ему одному делала она исключение и укладывала его к себе в постель. Канаш-Чокан просунет руку за пазуху, обоймет материнскую грудь и спокойно засыпает. И мама чувствует сына рядом. Когда он поворачивался во сне и терял грудь, то сразу испуганно просыпался. Апа, апа! Зейнеп его укладывала так, как он лежал раньше, и мальчик снова спокойно спал.

Вот и сейчас во сне он, должно быть, почувствовал близость матери и стал быстро водить рукой по камзолу, стараясь отыскать грудь. Это ему никак не удавалось. Камзол был плотно застегнут на серебряные пуговицы. В приливе нежности Зейнеп начала его расстегивать, но пальцы не

слушались ее в темноте. Не раздумывая она рванула тесемки. Чокан просунул руку и сжал ладонью теплую материнскую грудь. Зейнеп почудилось: сын сейчас совсем маленький, и у нее из сосков вот-вот щедро заструится молоко.

Так и спал Чокан на коленях у матери до самого рассвета.

А Чингиз? Он с вечера обдумывал свой дорожный маршрут. Чтобы было лучше и ему с Чоканом и Драгомирову.

До станицы Звериноголовской, которую казахи называли Багланом, на месте слияния рек Тобола и Обагана, решил он ехать на крепостных конях. Оттуда же вдоль границы по Горькой казачьей линии задумал он промчаться большаком «Жамшик дангыл», иначе сказать — почтовым трактом. Фургонный лист, находившийся в распоряжении Драгомирова, давал право на бесплатный проезд по линии до самого Омска.

В памяти ожили две прежних поездки в Омск после того как он стал султаном.

Первое путешествие было веселым и шумным. Сначала к своим родственникам в Срымбет, потом к родственникам жены в Баянаул. Все время рядом с ним была Зейнеп, его сопровождали бии-острословы, балуаны — борцы, домбристы и исполнители песен, даже охотники с ловчими птицами. Ехали не спеша, по дороге раздавали подарки, да и сами получали богатые дары. Побывали в Атбасаре и Ереймене, в Каркаралинске и Семипалатинске. И повсюду устраивались празднества, состязания джигитов и певцов. Из Семипалатинска в Омск плыли Иртышом. Степи и березовые перелески плавно скользили перед глазами. Солнечный свежий ветер дул в лицо. Чингиз оставил в аулах добрую славу щедрого и душевного человека.

Иначе прошло второе путешествие. Обстановка в степи осложнилась. Чингиз отменил всякие торжества на пути. По дороге в Омск он торопился завязать связи только с власть имущими крупными баями. Поэтому он встречался с Аккошкаром, с Алтынбаем и Казангапом в Каркаралинске. А тех, что победнее, обходил стороной. Озабоченный, надменный. Небрежно здоровался с небогатым баем, отказывался от угощения и спешил, спешил. Мол, повидали меня и хватит с вас.

Тогда он мог себе позволить спесивость и важность. Тогда один вид его нагонял страх. А теперь, в третье путешествие? Теперь у него подрезаны крылья. И путь он выбирал скорый и негромкий, чтобы остаться незамеченным для дру-

гих. Если бы не Драгомиров, он поехал бы верхом, взяв с собою только Чокана и Абы. Но тут приходилось думать и о дорожных удобствах.

Быстрые лошади для повозки были только в крепости у Шамрая. Чингиз знал, что просить. Два саврасых аргамака, известных в Кусмуруне и его окрестностях под кличками Змеиный Цвет и Быстрее Ветра, давно были предметом особой зависти Чингиза. Даже в эти часы, когда ему было так плохо, он с удовольствием представил, как едет на них.

Шамрай держал их в отдельном прохладном сарае вместе с десятком других скакунов. За аргамаками ухаживали с особенным старанием. Если всем сено, то им непременно овес. Если другими конями можно еще было пользоваться, то на любимых своих ездил только сам Шамрай. Он рад был бы запретить и прикасаться к ним. Ах, кони, кони! Триста пятьдесят верст от Кусмуруна до Кзылжара на них можно было пройти за день. Выедешь ранним утром, к вечеру уже на месте. Весь путь они могли проделывать рысью. И останавливались на привал только в том случае, когда их понуждали к этому уставшие седоки. Упитанные и хорошо выезженные, эти кони выделялись отменной красотой и статью. После линьки приятно лосилась их рыжая шерсть. Холки у них были такими высокими, что еле дотянешься рукой. На широких спинах хоть постель раскладывай и спи! Круглые сытые крупы словно гладкие холмы: аргамаки были откормлены на диво, сбиты плотно. Посмотришь на передние ноги — два прямых березовых ствола. Глянешь на задние — вспомнятся округлые ноги верблюда. А как восхитительны в шагу — гибкость, подвижность, легкость! Тигровые лапы, да и только. Это о таких конях-красавцах говорили стихами акыны:

Тростником торчат озерным
Его уши по бокам.
Он и легче, и проворней,
И быстрее сайгака.

Хвост пушистый распуская,
Подставляя ветру грудь,
Он кулана обгоняет,
Он косуле срежет путь.

Особенно привлекательными были их пушистые гривы. Темно-коричневые с отливом, спадающие у одного на правую, а у другого на левую сторону. От этой гривы у каждого вдоль всего спинного хребта до пушистого хвоста тянулся тонкий

черный след. Посмотришь — настоящая черная змейка. Поэтому и прозвали их жылан-сыртами.

Чингиз, чтобы хоть немного скрасить эту поездку после своего поражения, решил ехать до Баглана на любимых аргамаках Шамрая.

Так он задумал ночью, так он решил действовать утром.

Чингиз понимал — Шамрай и ему отказал бы в этой просьбе, когда б не Драгомиров. Драгомирова Шамрай побаивался. И не зря. Во время ревизии обнаружились и некоторые его темные делишки, за которые он мог поплатиться головой. Александр Николаевич ему сказал об этом напрямик, чем привел в полное смятение. Шамрай спрашивал, что же ему делать, чем все это кончится. Драгомиров сухо ответил, об этом в Омске знают, а его служебный долг — правдиво, без прикрас, доложить. Тут Шамрай совсем растерялся. Ревизорам, приезжавшим прежде и подкапывавшимся под него, он уже не раз золотил руку. Те уезжали довольные — и дело с концом. Но Драгомиров, слыхивал он стороной, не был падким на взятки и очень сурово обходился с теми, кто пытался ему их всучивать. Однако Шамрай на своем опыте был убежден, что твердокаменных людей не бывает. И, будучи очень близок с Чингизом, попросил его деликатно обработать своего однокашника. Чингиз пообещал. И теперь, придя в крепость совсем по другому поводу, начал разговор со взятки.

— Говорил я с ним. Правда, только намеками. Предложить открыто при моем теперешнем положении не хватило смелости. Сами понимаете. Но, думаю, он догадался. Он ведь такой же, как и мы. И голова у него круглая. Кажется, не прочь и поживиться. Я поговорю с ним начистоту не здесь, а в дороге. Может быть, судьба не обойдет нас. Как-нибудь все улажу. Уверен, он размягчится. А я ему тут же деньги. Они у меня найдутся, а мы-то рассчитаемся.

Шамрай выглядел уже не таким хмурым. Тут его и заарканил Чингиз. Как ни жалел начальник крепости своих аргамаков, как ни грустно ему было, а просьбу бывшего султана пришлось выполнить.

Он согласился дать не только аргамаков, но и свой великолепный возок, который в окрестных аулах окрестили Жолбарсом — тигром. Именно в него при своих выездах запрягал своих скакунов Шамрай. Тогда в степи уже разносилась весть:

— Тигр едет! Тигр едет!

— Кого-то из наших он сегодня распотрошит.

Шамрай и в самом деле творил в аулах неслыханные бесчинства. Неспроста его называли жестокой бестией. Неспроста он казался в Кусмурунском округе самым сильным человеком мира сего. Жаиралы далеко, кипиралы близко! Начальник крепости, несмотря на свой самый скромный чин, представлялся кочевникам всевластным степным генералом. Они старались от него откупиться, угодить ему. Они боялись его пуще огня. Смело отправляя жалобы на Чингиза в Омск и Петербург, подписывая их своей фамилией или скрепляя отпечатком большого пальца, они не рисковали писать письма о Шамрае. Только самые храбрые дерзали сочинять «круглые бумажки» без подписи, анонимки, как теперь говорят. Но и в этом случае поговаривали, что ворон ворону глаз не выклюет, то есть, и царь, и омское начальство не тронут местных русских чиновников и офицеров.

Впрочем, великолепный возок Шамрая окрестили тигром еще и по другой, совсем безобидной причине.

Широкий, вместительный, с глубокими сиденьями и выгнутыми спинками, он был обтянут и снаружи и внутри кожей, окрашенной в разные цвета: откидной крытый верх — в черный, внутри — в розовый, ремни, колеса и оглобли — в черный и белый цвет. Издали возок казался полосатым. И если прибавить к этому грозного седока, становится понятным и происхождение его названия.

— Тигр едет! Тигр едет!

Возком этим Шамрай особенно дорожил еще и потому, что его подарил генерал Игельстрем, оценив жестокость и решительность крепостного начальника в обращении с пленниками, взятыми в одном из сражений с Кенесары. Кстати сказать, и аргамаков жылаи-сыртов Шамрай еще жеребятами получил в подарок от другого военачальника, графа Столпиера, ставшего к тому времени уже генералом в отставке и содержавшего конный завод в городе Орске. Шамрай однажды гостил у него, и генерал, обнаружив в офицере знатока лошадей, расщедрился на такой ценный дар.

...Главное в дальней степной поездке — правильно выбрать маршрут. И хотя Чингиз уже многое обдумал ночью, а сейчас готовилась и пролетка, ему надо было уточнить путь на Баглан. Дело в том, что и к Баглану вели разные дороги. Одна огибала западный берег озера, пересекая пастбища и стоянки кипчакских аулов. Дойдя до Тобола, она продолжалась вдоль его берегов и неподалеку от устья речки Уй, у казачьей Устьуйской станицы, называемой ка-

захами Сорок Холостяков, поворачивала к Баглану по возвышенности, известной под именем Русской стороны Тобола. Вторая дорога шла восточным берегом Кусмуруна, петляла вдоль Обагана и приводила путников туда же, в Баглан.

Первая дорога считалась веселее второй. Обычно в это время года казахские аулы откочевывали на дальние солнечные джайляу. Но степь и тогда нельзя было назвать безлюдной. На озерных и речных берегах оставались пожилые, не говоря о бедняках. Казахская и русская голь за речкой Уй имела бахчи и огородники. Здесь летом и осенью угощали арбузами, дынями, огурцами, до которых Чингиз был большим охотником. В этот год случилось так, что в Притоболье прошли дожди, земля вновь густо зазеленела, и большинство аулов снова перекочевали сюда, оставив жаркие сухие такыры.

На этих землях, подопечных Оренбургу, в свое время, когда Чингиз процветал как именитый султан своего округа, ему оказывали почет, он повсюду был желанным гостем. Кто только не напрашивался к нему в друзья и даже в родственники. Кто не хотел сватать у потомков ханского рода Аблая дочерей или заполучить в женихи их джигитов?! Родство с торе сулило богатство и власть. Чингиз и был связан родственными узами со многими именитыми баями и влиятельными людьми рода Аргын — такими, как потомки Шегена на верхней границе, Бегена — на нижней границе, с Актасом и Байтурсыном из родовой ветви Токал Аргын, с Кангожой и Балгожой из кипчакской ветви Узген, с Избасты из ветви Колденеп. Но случилась беда, и они словно забыли о родстве. Когда вооруженное сборище родов Керей и Уак вплотную подступило к Орде и грозилось ее разгромить, они побоялись проложить конный след к дому Чингиза, не то что помочь ему сопротивляться. Теперь Чингизу даже смотреть на них не хотелось.

Но, пожалуй, больше всего обижался Чингиз на Ахмета Жантурина, ага-султана этого обширного округа, подчиненного Оренбургу, округа, чьи западные границы упирались в Оренбург и Орск, южные доходили до Сырдарьи, северные обозначались речкой Уй и восточные — Обаганом. Ахмет тоже был ханского рода, он в числе своих предков имел Абулхаира, хана Малого жуза, и Каипа, основателя Хивинского ханства. Зимовки Жантурина находились как раз на слиянии рек Уй и Тобол,— это был плодородный остров в междуречье. Сколько раз один султан приглашал другого

к себе в гости. Сколько раз приезжал Чингиз из Кусмуруна в радушный аул на берегу Тобола. Кажется, совсем недавно он гостил у Ахмета вместе со своим шестилетним Чоканом. И разговор, который он теперь вспоминал с понятной горечью, начал Ахмет:

— И у тебя, Чингиз, и у меня — ханская кровь. Деды наши были связаны родством. Хорошо бы нам теперь его закрепить.

Он ответил тогда согласием на предложение оренбургского султана. Вскоре за одним столом с ними оказался Мукан, младший брат Ахмета. Это его дочь, качавшуюся еще в колыбели, просватали тогда за Чокана. Верные обычаю, чтобы закрепить сговор, поели жаркое из курдюка и печенки. Чокан резвился, весело шутил, играл в любимые свои асыки и не подозревал, что с этого часа стал уже женихом. И Ахмет и Мукан восхищались ловким, сообразительным мальчуганом. Кто-то из братьев, помнится, сам Ахмет, сказал:

— Слушай, Чингиз, наш род слабеет год от года. Пусть твой Чокан будет нашим прочным зятем, кушик-куйеу. Пусть живет у нас как сын. И когда повзрослеет — вдохнет силу в наш род.

Но Чингиз не мог так легко расстаться с любимым сыном. Он не хотел обидеть Жантуриных и отказом. И ответил кратко, не особенно обнадеживая, но и не отбирая надежды. Мол, посмотрим, подождем немного, там видно будет.

Как же было не обижаться Чингизу на Ахмета Жантурина, если после всех этих дружеских и родственных встреч в трудные дни он не поддержал его даже добрым словом, палец о палец не ударил, чтобы ему помочь.

Шаткой оказалась эта опора. Чингиз убедился в правоте бия Шокая из рода Аргын, произнесшего в давние времена:

Когда на людей надеешься —
Находишь много дорог.
Когда на людей надеешься —
Уходит земля из-под ног.

К чему, решил Чингиз, ехать тем путем, где можно встретить мнимых друзей, не поддержавших его во время тяжелой схватки с Есенеем.

И он отказался от первой дороги через станицу Сорока Холостяков и русскую сторону Тобола.

Вторая дорога тоже не сулила ничего приятного.

Здесь можно было встретить аулы кереев, из рода, ополчившегося на Чингиза вместе с уаками. Правда, два бога-

тых керейских бая из этих мест долго поддерживали с Чингизом добрые отношения. Один из них — Осып, сын Уздембая, родич Есенея, принадлежал к ветви сибанов. Другой — Срым, сын Каржау, относился к ветви Матакай.

Своим богатством и влиянием Осып уступал только Есенею. Есеней нанес ему обиду, заставив переселиться с хорошей зимовки Карамырза на Обагаи. Тут Чингиз и решил показать свою щедрость. Встретив оскорбленного Осыпа на пути к Обагану, он наделил его урочищем Куитнмес в густом лесу, таком обширном, что его прозвали Тысячью Овец. Когда появился на свет брат Чокана Якуп, Чингиз предложил Осыпу породниться. Так Якуп стал женихом барахтавшейся в колыбели Акытки, а Чингиз и Осып по воле аллаха — сватами. Каждую осень, когда скот нагуливал жир и мясо, Осып приглашал к себе в гости знатного султана. Чингиз приезжал с многочисленной свитой на угощение, столь щедрое, что о нем даже поговорку сложили:

Дастархан у Осыпа, как в сказке, хорош.
Дастархан у Отея — голодным уйдешь.

Осып никогда не скупился, как Отей, а в дни приезда Чингиза — тем более. Пировать так пировать. Овражек на березовой поляне, где ставил Осып гостевые юрты, и тот лоснился от жира. Он даже получил название Майсай — масляного оврага, а его продолжение — Тойсай — оврага праздников. Говорят, когда сливали оставшийся после пира бульон, на склонах оврага жир выступал белыми пятнами, как соль на поверхности озера. Продолжение оврага стали называть Тойсаем с той поры, когда Чингиз сосватал невесту для Якупа. Осып тогда превзошел самого себя и зарезал в честь гостя сорок жирных яловых кобылиц.

Почему, спрашивается, в то время Чингиз стремился сблизиться с Осыпом, даже породниться с ним? Дело в том, что он считал важным подчинить своему влиянию всю родовую ветвь Сибан и противопоставить ее Есенею. Но случилось иначе. Есеней оказался более предусмотрительным и ловким. Он разгадал замысел Чингиза и взял Осыпа в клещи, поселив рядом с ним своих соглядатаев и друзей, тоже принадлежащих к ветви Сибан — Жакельды и Кунгоне. Они следили за каждым шагом Осыпа, не давали ему покоя и, в конце концов, перетянули на свою сторону.

Расскажем теперь о Срыме, втором вожаке керейских аулов.

Срым представлял матакайскую ветвь рода, самую мало-

численную, но далеко не самую слабую среди кереев. В 1727 году, в черном году великого бедствия, голодных перекочевок, когда все аулы с берегов Сырдарьи уходили в степи Сарыаркн, кереи, как и другие роды, оказались разрозненными, разметанными по всему Прииртышью и Приишимью, только одни матакайцы действовали сообща. Недаром их сравнивали с белой звездочкой на лбу коня. Они обосновались на берегах Обагана и ни на шаг не двинулись дальше. Наступили времена барымты, матакайцам пришлось не раз понести тяжелый урон от набегов враждебных аулов, но они закалились в этих схватках. Вскоре охотники до легкой добычи обломали свои зубы, пробуя их на матакайцах, и в другой раз уже не решались идти на барымту.

Среди пяти родоначальников Матакая самым сильным и известным был Аккошкар. Среди пяти сыновей Аккошкара своей волей и удачливостью выделялся Жузжасар. Он-то и был отцом Каржау.

Случилось как-то, что Есеней пригнал свои несметные табуны на тебеневку в пойму Обагана, которой владел Каржау. Матакаец рассердился.

И в отместку Есенею прирезал несколько его кобылиц. Не остался в долгу и Есеней. Он кликнул клич, и часть аулов из родовых ветвей Балта и Кошебе обосновались на берегах Обагана, потеснив матакайцев на плоскогорье к среднему течению реки. Есеней не тронул только один небогатый аул, принадлежавший казаху, известному под прозвищем рыбака Кушыкая. Этой распрей умело воспользовался Чингиз. Он привлек матакайцев на свою сторону, и Срым, сын Каржау, самый уважаемый человек среднего поколения, стал правой рукой султана. Чингиз рассчитывал породниться с ним.

Но надвинулась опасность, и отношения сразу изменились. Как говорится:

Много камчей ты собрал для пути.
Ехать пора!— Ни одной не найти.

Так произошло и с Чингизом. Готовил он себе подмогу, а когда над Ордою нависла беда, ни Осып, ни Срым не сделали и попыток прорвать кольцо кереев и уаков, спрятали свои головы, забыли и о дружбе, и о родстве. Быстро сообразили они, на чьей стороне сила, поняли, что трогать Есенея нельзя. Раздразнишь его — кусаться начнет, а укусит — кусок тела отхватит. Кому это надо.

Честолюбие и стыд подтачивали Чингиза. Не хотел он встречаться с былыми сторонниками, которые покинули его,

и теперь, спокойные и сытые, не без злорадства будут смотреть на него, испытавшего позор и унижение. Не нужны они ему сейчас. И в будущем не понадобятся.

Но какой же, все-таки, дорогой ехать?

Чингиз спросил совета у Абы, знавшего все дороги наперечет.

— Поедем,— сказал Абы,— восточным берегом Кусмуруна, а потом вдоль речки Кундызды. Переночуем у озера Бес-Чалкар. Там, по-моему, есть рыбаки.

— Но ведь крепость согнала их.

— Согнать-то согнали, но они приезжают, как и прежде. А половину улова отдают солдатам.

— Ты уверен, что эти рыбаки там?

— Да разве можно сейчас быть в чем-нибудь уверенным, мой хан? С тех пор, как подул горячий суховей, нам и думать было некогда. Не то что ездить. Не давали передохнуть эти кереи и уаки. Только сейчас приходим в себя.

— Что верно, то верно,— вздохнул Чингиз.

— А рыбаков мы должны встретить,— продолжал Абы,— дорога покажет. Раз вы не хотите заезжать к Осыпу и Срыму, мы их минуем между Аяк-Чалкаром и Босага-Чалкаром, будем держаться Обагана. Левого берега. Потом напрямик к Бурабаю, переправимся через Тениз и вот он — Баглан.

И еще раз повторил, как будто в этом заключалось главное:

— Встретим рыбаков, непременно встретим.

Больше о дороге Чингиз не заговаривал.

Подошли Шамрай и Драгомиров. Шамрай, заботясь не о Чингизе, а о Драгомирове, предложил дать солдат во главе с унтер-офицером для сопровождения пролетки. В порыве усердия он и сам готов был ехать хоть до самого Омска. Но Драгомиров не жаловал начальника крепости, его услужливость только раздражала. Александр Николаевич сделал резкое движение и заговорил подчеркнуто холодно:

— Что вы, в самом деле, поднимаете тревогу, будоражите и себя и народ? Все видите вокруг каких-то несуществующих врагов. Это ложь, что степь зла на русских. Я часто здесь езжу и убежден в этом. Между прочим, я тоже русский и не последний человек в администрации. Почему меня никто никогда не трогал? Я в степи не слышал даже резкого слова. Меня встречают тепло, сажают на почетное место, стремятся угостить как можно вкусней. Кто не трогает киргиза, того и киргиз не трогает. Кто заденет, того тоже заденут. И камча у них побольше, чем ваша. Знайте, Кенесары не русские войска

разгромили, а свои же соотечественники, натерпевшиеся от него бед. Вот и с Чингизом случилось так. Ударял не к месту палкой, а теперь его самого палкой по голове стукнули. Да так крепко, что он тут же опомнился. И вот едет в Омск. А что с ним будет в Омске — один бог знает. Кстати, и с вами тоже.

Шамрая передернуло от обиды и страха.

— Вам виднее,— глухо буркнул он.

— Повторяю, никакой охраны нам не нужно,— с тем же высокомерным спокойствием отчеканил Драгомиров,— был бы кучер, знающий дорогу.

Шамрай напоследок предложил ехать на его конях до Омска:

— Они у меня крепкие, ухоженные, быстрые. Сутки — и дома.

— Излишне, совершенно излишне. Мы доедем, как уговорено, до Звериноголовской, а там на перекладных.

Больше разговаривать было не о чем.

Шамрай вернулся в крепость, и вскоре Абы подкатил к Орде на знаменитом пестром возке с жылан-сыртами в упряжке. Остановился у коновязи, важно спустился с козел. Навстречу ему из гостевой юрты, стоявшей за белой юртой Чингиза, вышло несколько человек. Он сразу узнал Шанки и Сандыбая из канжигалинской ветви и посланцев уаков Огея и Тулегена.

— Значит, султан решил ехать?

— Не знаю,— с нарочитым равнодушием ответил Абы.

— Скажи султану, мы хотим отдать ему приветствие.

Абы удивился их робости, малоуместной теперь, после поражения Чингиза. Впрочем, он догадался, что они уже пытались пройти в его юрту, но кто-то их не пустил. Он подумал: и зачем Чингизу нужна дружба кереев и уаков, не выдержавшая испытаний в дни схватки.

Так оно и было. Едва Абы упомянул о них, как Чингиз нетерпеливо его оборвал:

— Стоят, говоришь. И пусть. Ты собрал мою дорожную одежду?

— А в какой вы поедете — в казахской или русской?

— Да разве я на той еду? Какой ты непонятливый. Зачем мне казахский наряд? Неси армейскую.

Абы, исполнявший обязанности и слуги, и возницы, и адъютанта, покорно принялся собирать Чингиза в дорогу. Он знал, где и что у него хранится. Под армейской одеждой в быту султана подразумевался стянутый в талии китель из

зеленого сукна, окантованный золотыми галунами, с золотыми пуговицами, с широкими офицерскими эполетами и аксельбантами. Китель этот шил армейский портной, а вот брюки, не в цвет ему, синие, были сшиты широко, по-казахски, и тоже оторочены внизу позолоченным позументом. Под мундиром Чингиз носил вязаную безрукавку, а под ней яркую шелковую сорочку с оборкой по краям рукавов.

В армейскую одежду Чингиза входил и широкий плащ, защищавший и от дождя и от дорожной пыли. Офицерам в летнее время полагался легкий картуз. Но Чингиз посчитал, что в картузе он выглядит для подполковника слишком легкомысленно, и сшил себе из выдры подобие островерхой папахи с позолоченным позументом. Папаху эту он носил и в зимнее время и в жаркие дни.

С той поры, как он стал султаном и был фактически освобожден от военной службы, его единственным личным оружием оставалась сабля. Ее острый стальной клинок вкладывался в серебряные ножны, а рукоять и темляки были позолочены. Золотые буквы свидетельствовали, что она была пожалована Чингизу Валиханову Омским генерал-губернатором за геройство, проявленное в деле изгнания Кенесары.

И одежду и саблю хранили в чехле, подвешенном к железному адалбакану — шесту, поддерживающему кошму и верхнюю часть остова юрты.

Абы не только складывал и доставал одежду, но и помогал Чингизу одеваться. Султан обычно стоял прямо и неподвижно, и только слабо, словно нехотя, пошевеливал руками, когда ему подавали китель или брюки. Он не позволял себе сделать лишнего движения. Даже пуговицы ему застегивал Абы, даже портянки обматывал и натягивал сапоги.

И теперь все происходило по раз навсегда заведенному порядку.

В это же самое время гости в досадном нетерпении поглядывали на белую юрту, ожидая — либо их пригласят, либо им решительно откажут.

Наконец Абы завершил облачение.

— Послушай,— спросил его Чингиз,— а где же наша баба?

— Была в юрте Шепе-ага. Должно быть, и сейчас там.

— Поди, позови. Да смотри за Чоканом в оба, чтоб не убежал.

Не успел Абы покинуть юрту, как Чингиз остановил его:

— Этим... канжгалинцам и уакам, если они еще там топчутся, скажи, чтобы заходили.

Когда Абы вышел, он увидел удаляющихся гостей. Значит, обиделись. Он мог бы им передать неожиданный салем Чингиза, но раздумал.

В юрте Шепе было тихо. Шонайна куда-то ушла. Дремала Зейнеп, крепко прижимая к груди спящего Чокана. Абы попробовал их разбудить. Зейнеп не шелохнулась.

— Пора идти. Хан вызывает.

Зейнеп встрепенулась:

— Сейчас, сейчас, свет мой.

Высвободила руки, привстала. Проснулся и Чокан. Метнул на Абы злой, затравленный взгляд.

— В ханском роду заведено так,— огорченно протянула Зейнеп,— если что задумал, так не отступится. Сказал — «увезу!»— и увезет. Я знаю, кони уже в Орде. Пойду соберу одежду моему Канашу.

И всхлипнула:

— Надолго расстаемся, жеребеночек мой!

Зейнеп заторопилась. Чокан пристально и недобро посмотрел на Абы, но, похоже, не собирался капризничать. Должно быть, он уже смирился со своей участью. Порою он закрывал глаза, стараясь представить себе Омск и жизнь без Рыжего Верблюда, волчьих нор, качелей, без вечерних аульных сказок, без аула Карашы, без Айжан.

Абы то выходил смотреть на лошадей, то возвращался в юрту. Казалось, Чокан не обращает на него внимания.

Так продолжалось долго, пока снова не появилась Зейнеп.

— Пора, Канаш. Уже отец и русский торе стоят у возка. Пора, мой мальчик.

Если бы мать упрашивала не так печально, Чокан спокойно отправился бы к пролетке. Но тут ему стало снова жаль себя, слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз, и, преодолевая их, он сказал, как можно суше и злее:

— Ну и пусть едут сами!

— Солнышко мое,— голос у Зейнеп дрожал и срывался,— солнышко мое, нельзя так, не будь упрямым. Тебя же все равно не послушают.

Чокан молчал. В юрту вошел Абы:

— Отец велит. Выходи!

Чокан молчал. Абы, выполняя ханский приказ, сгреб своими ручищами Чокана и, не обращая никакого внимания на царапины и даже плевки, невозмутимо вынес его из юрты.

Зейнеп метнулась вслед и вдруг почувствовала, что силы ее покидают. Она дала волю слезам и, обессиленная, рухнула на лоскутное одеяло, еще хранившее тепло ее Канаша.

Тем временем Абы спокойно донес Чокана до возка.

Чокан барахтался, кричал, ругался. Абы был невозмутим.

Жылан-сырты нетерпеливо перебирали копытами. Застоявшиеся, они чуяли дорогу, и два джигита не без опаски держали их за поводья.

Чингиз увидел сына, вознегодовал:

— Тащи его в арбу, свяжем его там.

Один из джигитов услужливо предложил волосяной аркан. И тогда Чокан умоляюще крикнул отцу:

— Не позволяй этого делать! И без меня потомков Аблая связывали и отправляли в изгнание.

— Хорошо! Лезь тогда сам!— По-прежнему сердитый Чингиз показал сыну на пролетку.

Чокан взглянул на Абы:

— Отпусти, слышишь!

— Отпусти его!— негромко повторил Чингиз.

Абы разжал свои ручищи, и Чокан молниеносно юркнул в возок и забился в самый его угол.

— Трогай!— велел Чингиз.

Застоявшиеся сытые кони только и ждали этой минуты. Легко и сильно рванули они с места, и через несколько мгновений Орда с ее юртами, с ее дымящимися очагами уже осталась позади.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В ПУТИ

Прощание с Карашы

Чуя степные дали, кони лихо рвались вперед и, казалось, им легко было мчать тяжелый возок с ошеломленными удалой скоростью путниками. Думалось, вот-вот перевернется, вот-вот внезапный удар о камень разнесет в щепы накренившийся возок. Но Абы сильными руками уверенно натягивал вожжи и правил к дороге, пролегавшей вдоль оврага.

— Алла!— шептал Чингиз.

— О боже мой!— вздрагивал на поворотах Драгомиров.

Чокан молчал, забившись в глубь возка, и Абы хранил свое постоянное спокойствие.

Когда наконец выбрались на ровную пыльную дорогу, Чокан вынырнул из своего укрытия и, обхватив Абы руками, стал приставать к нему с вопросами, куда едем и почему этой дорогой, а не другой — большаком.

Абы односложно отвечал, что выбрали самый прямой путь, что так ему приказали.

— А кто тебе приказал?— допытывался Чокан. И, не получив ответа, крикнул:

— Сворачивай к холму, на большак!

Абы и тут не послушал маленького торе. Тогда Чокан вспрыгнул к нему на облучок и дернул правую вожжу, чтобы поворотить коней к холму. Возница не знал, что тут и делать, и, не сопротивляясь мальчику, лишь взглянул с опаской на Чингиза.

— А пусть его,— махнул рукою Чингиз.

Чокан, почувствовав отцовскую поддержку, забрал обе вожжи в свои руки. Он тут же своевольно изменил маршрут

и направил коней через низину к дороге на холмы, где располагалась крепость.

Чокан правил уверенно, легко. Он принадлежал к тем мальчуганам, про которых обыкновенно говорят, что они только и резвятся на коне. В четыре года он уже сидел на годовалом жеребенке, а лет в семь научился объезжать капризных стригунков. Как ни бесновался стригунок, как ни пытался сбросить непрошеного наездника, Чокан держался крепко, словно слитый с конем. Через год привык он обуздывать неуков и постарше. Его мальчишеские руки рано обрели твердость. Каким норовистым ни был конь, маленький джигит быстро превращал его в смирного и послушного. Он испытывал удовольствие и когда ехал на иноходце с его плавной рысью и когда мчался на скакуне, разом пускавшемся в карьер. Чокана не пугала отчаянная скорость, он чувствовал ее, ритмично и естественно подчинялся такту аллюра, непринужденно и быстро вздрагивал всем телом.

Только на призовых коней, участвовавших в байге, не приходилось ему садиться. Будь бы его воля, он бы поездил и на них. Чокана манили конные игры и на поминальных асах и на праздниках — тоях. Но этого ему не позволял Шепе. Мальчик ханской крови, и вдруг будет развлекать простолюдинов! Нет, такого допускать нельзя! Не настолько мы слабы, чтобы над нами подсмеивались.

И как ни хотелось Чокану попробовать свои силы в байге, запрет Шепе вставал неодолимым препятствием.

Иногда Чокан верхом сопровождал отца. А если случалось, как и в этот раз, отправляться в путь в повозке, мальчик отстранял кучера и сам брал в свои руки вожжи. Лошади были выхоленными, послушными, и Чингиз с легкой душой доверял их сыну.

... Он чувствовал: жылан-сырты, несмотря на свою своенравность, покоряются ему. Сперва они резво помчали низиной, не снижая скорости, и словно вырывали из его рук вожжи. Но у мальчика была сноровка, он знал, как осаживать коней. Забирая вожжи вправо, он направил жылан-сыртов на подъем, в гору, к шамраевской крепости. Под тяжестью возка, тянувшего назад, кони перешли на мелкую спокойную иноходь.

Вскоре они оказались на взгорье. Здесь надо было бы повернуть влево и выехать на большак. Но Чокан неожиданно и решительно взял почему-то вправо.

Абы, не спускавший глаз с мальчика, с криком — куда

ты?— попытался выхватить у него вожжи. Не тут-то было! Чокан и бровью не повел, только отмахнулся от Абы.

— Но ведь мы не туда едем,— уже не так настойчиво и громко продолжал спор Абы.

— Зачем тебе это знать,— оборвал его Чокан.

— В самом деле, куда он повернул?— недоумевал Драгомиров.

— Скажи, сынок, куда ты правишь?— мягко, помня недавние события в доме, спросил Чингиз.

— В аул Карашы.

— В аул Карашы?— удивился Чингиз.— Но почему туда?

— Это я уже сам знаю!— бросил Чокан, не поворачиваясь к отцу.

Откуда он может что-нибудь знать, подумал про себя Чингиз. И к чему, действительно, заезжать в этот аул? Он, Чингиз, редко туда заглядывал. Ханский потомок, белая кость, он считал себя бесконечно выше простых казахов, черной кости. Если и бывал в юртах простолюдинов, то только тех, кто сумел нажить состояние или получить чины. Немногих он удостаивал своим посещением. А в ауле Карашы, ауле его слуг, слуг отца и деда, Чингизу, ага-султану округа, приходилось бывать только тогда, когда этого неотложно требовали обстоятельства.

Да и Чокан там почти не бывал, пока не столкнулся в детских играх с ребятишками бедняков, с Жайнаком, с этой девчонкой Айжан, дочерью Кунтай. Об этом рассказывали Чингизу, однако теперь он представил желание сына в другом свете. И многое становилось ему понятным.

На страже ханской чести своего племянника зорко стоял Шепе. Когда мальчику было около шести лет, он со своими сверстниками случайно забежал в Карашы. Шепе жестоко избил его, да еще и приговаривал: стыдно туда ходить, стыдно! И внушил Чокану, кто он такой и что за люди живут в том, Черном, ауле.

С той поры довольно долго не заглядывал в Карашы Чокан.

Теперь, когда возок вздрагивал на ухабах, Чингиз начинал догадываться, что сын совсем не зря хочет побывать там. Но султану, да еще облаченному сейчас в мундир подполковника, султану, которого сопровождает омский офицер, казалось нарушением всех правил въехать в Черный аул.

Он стал отговаривать сына, но наткнулся на недетское сопротивление.

Чокан стоял на своем. Чокан огрызался так, словно к нему обращался с просьбой не отец, а Абы:

— Не пустишь,— я так погоню коней, что никто из нас не останется в живых...

И тут глаза отца встретились с глазами сына. Чингиз еще никогда не видел таким Чокана. Его глаза покраснели, сверкали, как угольки, разгоревшиеся на ветру.

Нет, совсем не зря он стремится туда, подумал отец. И вспомнил рассказы о том, как наливались кровью и вспыхивали недобрым блеском глаза его деда Аблая. И у Мамке-батыра, родного брата Вали, ушедшего в стан Кенесары, глаза становились такими же в часы спора или битвы. Значит, правду говорили о Чокане. Как это ни удивительно, сам Чингиз впервые сталкивался с такой вспышкой, отраженной в сыновних глазах. Вспышкой гнева и отчаяния.

Не мальчика, понятно, он испугался. Справиться с сыном было проще простого. Он представил вдруг его будущую судьбу, и поэтому ему стало страшно. Приходило на память все, что он слышал и об Аблае и о Мамке. Когда у тех глаза наливались кровью, они становились способными на все, на любую жестокость.

Чингиз еще и потому не перечил сыну, что ему было близко его душевное состояние. Суровый султан еще не забыл своего детства, своей поездки в Омск.

Он любил своего первенца-крепыша. Любил и гордился им. Слова батыра Турсымбая — «Да он вылитый Аблай-ага!»— прочно врезались в его память. Чингиз, показывая сына гостям, с тех пор частенько приговаривал:

— Посмотрите, на деда моего похож!...

Баловал его, прощал ему детские шалости.

Припомнил Чингиз и похвалу Жамаикула, когда Чокан слушал жыр «Едиге» и сумел его записать со слов акына, как этого не удалось бы и татарскому мулле. Выйдет из него толк, непременно выйдет.

...Чокан правил лошадьми, а отец, задумавшись, восстанавливал одну картину за другой.

У Чингиза гостил однажды Кожа, сын известного бия Балгожи. Собрались, как водится, за праздничным столом. И во время пиршества акын Оске, желая сделать приятное почетному гостю, произнес в стихах хвалебное слово:

Беген и Шеген от аргынцев пошли,
Ерден и Жузен от найманов пошли.
Их слава прибилась волной к берегам,
Их славу узнала река Обаган.

Гремел Аккошкар на алтайской реке,
Известны Тока с Байдалы от Алке.
Но, соколом гордым над степью кружа,
Оставил их всех позади Балгожа.

Чокан вместе со всеми слушал акына и, когда он кончил, тихо спросил отца:

— Это кто такой Балгожа?

— Бий Балгожа.

— А-а!— во всеуслышанье протянул Чокан.— Тот самый Балгожа, который бежал от Кенесары и утонул в половодье, когда переправлялся на коне через Тобол.

Балгожа, действительно, спасаясь от Кенесары, решившего разгромить его за переход на сторону русских властей, бросился верхом в бурлящий Тобол и погиб. Но сторонники Балгожи, и в особенности его родичи кипчаки, считали оскорбительным и верить в это и вслух об этом говорить. Они придумали другую версию гибели известного бия. И Чингиз, чтобы смягчить впечатление от слов Чокана и польстить Коже, упрекнул сына:

— Неразумный ты, Чокан! Болтаешь неизвестно что.

Но слова уже были произнесены, и многим пришлись по душе:

— До чего умный ребенок! Большим человеком будет!

... Мчались кони, кренилась на ухабах повозка, Чингиз вспоминал.

Не переводились гости в его доме. К доброй половине гостей принадлежали красноречивые бии, те самые, которых с усмешкой называют людьми с железными глотками. Стоит им собраться вместе, как без устали, без перерыва они будут соперничать друг с другом в искусстве спора, в остроумии, в знании народных шуток и присловий.

Чокан с детских лет любил слушать эти состязания биев. Он слушал, затаив дыхание, старался все понять, запомнить, и чаще всего это нравилось гостям.

В дом Чингиза решать аульные тяжбы собирались бии Кусмурунского округа. Дважды собирались бии двух округов — Тобольского, находящегося на оренбургской территории, и здешнего, Кусмурунского, относящегося к сибирским казахам. Первый раз они собирались в ауле Ахмета Жантурина, второй — в Орде Чингиза.

Чокану было уже девять лет, когда он присутствовал при разборе тяжеб оренбургских и сибирских казахов.

Тяжбы — тяжбами, а состязание в красноречии шло своим чередом.

Первым на совете выступнл бий Токсан нз рода Керей. Он, по своему обыкновенню, так затянул речь, перегружая ее отступленнямн к месту н не к месту, что другне даже разволновалнсь: мол, успеют ли высказаться н оин.

Тогда кнпчакскнй бнй Избасар, лишнвшнсь всякого терпенья, оборвал Токсана:

— Тебя все велнчают «Токсан, Токсан», а ты всего-навсего Томаша.

Высокнй, крупного телосложения Избасар этнмн словамн хотел уннзнть тщедушного малеиького Токсана, сравннв его с крохотной птнчкой.

Оскорбленный Токсан не остался в долгу:

— Ты счнтаешь, Избасты, что пронзнес достойные слова? Томаша хоть н птнчка-невелнчка, но, откладывая девять яиц, нз одного выводнт соловья. Пускай большая коза прнноснт двойню, собака — восьмерых щенят, свинья — десять поросят. Но онн и остаются козами, собаками, свнньямн. Не гордись, мой друг, своей толщнной и ростом.

Избасар побагровел, готовый нзлнть всю свою злобу на Токсана, но его вовремя одернул Наурызбай, его сороднч, одип нз уважаемых кнпчакских биев.

— Прекратн, Избасты! Шайтан тебя путает...

Это былн днн, когда разгоралась вражда между кереями и Чнпгнзом. Чокан уже кое в чем разбнрался н отлнчал недругов отца от его друзей. Известно ему было, что керен прнслушнваются к каждому слову Токсана. Вндя, что в этом споре Токсан побеждает, мальчик решнл, что надо ему нанестн удар.

И в юрте неожнданно раздался иегромкнй, но звонкнй голос Чокана:

— Бнй Токсан, вы сразу сталн н соловьем н тарантулом. Но скажнте, почему вашн пращуры носнлн нмя Тарышы?

На многнх лнцах заигралн улыбкн. Мальчнк бнл в самую точку. Все зналн, что однн нз основоположннков рода Керей родился вне брака за день до сбора урожая проса. Поэтому он н получнл нмя Тарышы — Просяной. Токсан вел свою родословную как раз от этого Тарышы. Чокан тронул самое больное место в его происхожденнн. Бий вспылнл:

— Зачем ты это вспомннл, сынок. Должно быть, предок мой рожден от слугн. Слуга — тоже человек. А ты от кого произошел? От архара, от жнвотного?

Токсан намекал на боевой клнч ханского рода — Архар! Уж еслн у нпх клич такой, значнт, н родословную ведут онн от архара.

Чокан не смутился и молниеносно ответил.

— Нас этим не попрекнешь. Архар — благородный зверь. А кто станет отрицать, что пращур рода Керей — мухортая собака?

Неизвестно, чем бы закончился этот спор, какой новый взрыв негодования вызвал бы он у кереев, если бы Чингиз, и обрадованный сообразительностью сына и напуганный его резкостью, не сказал:

— Не обижай старого человека, уходи отсюда. Здесь тебе не место.

Чокан вышел, но друзья отца заговорили наперебой с изумлением и гордостью:

— Веские слова мальчугана! Ничего не скажешь!

— Его деда по матери, Чормана, в тринадцать лет стали называть мальчиком-бием.

— А этот уже сейчас готовый бий... Чормана перегнал.

Одни цокали языками от удовольствия, другие злились. Но в уме и находчивости Чокану никто не отказывал.

... Все это до каждой мелочи припоминал в пути Чингиз. Султан рано начал надеяться, что придет время, и сын займет его место. А теперь он сам отбился от своего стада, как айгыр — вожак от куланов. Будущее Чокана перестало быть ясным. На свой лад судьба сына повторяла его судьбу. Когда Айганым потеряла ханство, когда пошатнулись ее дела, она отправила его, Чингиза, в Омск учиться у русских. Годы ученья помогли Чингизу. На лодке, построенной в войсковом училище, он пустился в плаванье в степное море, достиг власти, вел за собой Кусмурунский округ. И вдруг все изменилось. Лодка перевернулась. Он держался за ее днище, качался на волнах и не ведал, скоро ли пойдет ко дну. Чингиз уже перестал надеяться, что сын займет его место. Его тревожило будущее Чокана, и он протягивал сыну ту соломинку, которую в свое время протянула ему самому Айганым. Что ж, пускай поучится у русских уму-разуму, наберется знаний. А что будет дальше — известно одному аллаху.

Во власти своих грустных мыслей Чингиз с болью сознавал, что он везет Чокана в Омск против его воли. Мальчик не хотел расставаться со степью.

Чингиз горевал.

Над ним и, значит, над сыном нависли тучи. Оставаясь наедине с самим собою, он мог даже прослезиться. Но в кругу людей выглядел прежним — строгим и собранным. Он никому не показал, как волновался в этот последний день отъезда из Орды. Он не выдал своей жалости к сыну, когда при-

казал Абы силой доставить Чокана из юрты Шепе. А когда увидел сына, беспомощно и зло барахтающегося в руках слуги, то почувствовал такую слабость, так расстроился, что отошел в сторонку и осторожно, чтобы, не дай бог, не заметил Драгомиров, смахнул внезапно набежавшие слезы. И, приняв суровую правду, что иного выхода нет, подтянулся, спрятал свои чувства, и деловой, как всегда, отправился в путь. Но глубокая грусть и нежная жалость к сыну продолжали бередить его душу. Поэтому он позволил Чокану взять вожжи и не стал ему прекословить, когда сын внезапно изменил маршрут.

Но почему же Чокан так решительно направился к аулу Карашы?

Чтобы объяснить это читателю, нам предстоит сделать некоторое отступление.

Понятие о хане и ханской власти у казахов в те времена связывалось и с представлением о карашы.

Кто такой хан — ясно каждому. Есть хан — значит, есть и карашы — люди, обслуживающие хана. На их плечах — каждодневные хозяйственные хлопоты, вся черная работа. Своего хозяйства они не имеют, их содержит, как аллах на душу пошлет, хан. Карашы не принадлежат обычно одному какому-нибудь роду, они набираются из разных мест. Либо это неимущие батраки, либо пленные или потомки пленных, захваченных во время набега. Подавленные собственной нищетой и ханской властью, иного существования они и не мыслят.

Работников-карашы содержали и некоторые казахские баи и беки. Но там их было немного, а у богатых ханов — целые аулы.

Не следует отождествлять понятия о хане и карашы с понятием о торе и туленгутах. Торе — это не только представители ханского рода, позднее так называли всех власть имущих. А туленгуты — люди, охраняющие покой торе, неизменно сопровождающие своих господ в поездках. Чаще всего ими бывали представители других народов, усвоившие впоследствии казахские обычаи и язык. Так, к примеру, среди туленгутов хана Аблая преобладали киргизы, каракалпаки и монголы.

Карашы и туленгуты выполняли разные обязанности, отличались друг от друга и своим положением в быту. Карашы — батраки. Их удел — черная работа. Им не дано и помышлять о вольной жизни. Туленгут — правая рука своего господина. Он и соилом вооружен на всякий случай. Туленгут

считал для себя оскорбительным общение с карашы. Карашы не смели противоречить тулеигутам и вынуждены были терпеть от них всяческие притеснения.

Во времена хана Аблая, в пору самой жестокой междоусобной вражды и постоянных набегов с массовым захватом скота, аулы карашы распространились особенно широко. Кормить их было нетрудно. В годы правления Вали-хана и особенно Айганым сократились набеги и сократилось число аулов карашы. Постепенно карашы составили один аул. И вопреки установленным обычаям начали обзаводиться своим скудным хозяйством. Они по-прежнему исправно работали на хозяев Орды и, как встарь, ничего от них не получали.

Когда Чингиз уже входил в отрочество, от недавно многочисленного карашы оставалось восемнадцать-двадцать домов. Хозяйство ханской Орды вели уже не все обитатели Черного аула, а те, кто были наследственными батраками, как их деды и отцы. Погонщики, табунщики, чабаны, мясники, повара по-прежнему истово делали свое дело. Понукай их, ругай, бей по голове — они будут продолжать работу с тупым упорством. По наследству к ним перешли и трудолюбие и вековая покорность.

Чингиз стал султаном, и всем хозяйством Орды ведал Шепе. Хозяйство не было большим, не было и малым. Сведущие люди утверждали, что насчитывалось в нем около пятисот лошадей, пятьдесят верблюдов, тысяча овец, сотня коз. Коров не было совсем. Скот Орды и летом и зимой находился на пастбищах. В ауле держали только больных животных и необходимых на убой. Ухаживали за скотом батраки-карашы. Среди них были свои старшие в табунах и отарах. Все они подчинялись Шепе, хозяину властному и привередливому.

Вздорный Шепе обладал не только крутой хваткой, но и сметкой. Несмотря на то, что скот долгие годы держали на подножном корму, Шепе заставлял скашивать сено и складывать его в стога на запас. Для этого в пору сенокоса своих работников не хватало. Шепе находил. Он бросал клич соседним аулам и звал их на помощь и на праздник. Он прирезал жирного верблюда, из аулов привозили кумыс, а некоторые баи и люди позажиточнее пригоняли и яловых овец. Кончался праздник, начинался сенокос. После весеннего разлива и спада воды побережье зарастало густой сочной травой. Так на озерной пойме сено скашивали за день. На другой день сено перетаскивали на более возвы-

шенные места, а потом складывали н вершнли стога. Зарезанный верблюд окупался сторицей.

Однако жестокость и властолюбне Шепе превышали его хозяйствеииые способностн. Любое заболеванне овец — раика, иачииавшаяся гнонться от пореза ножннцамн во время стрижкн, хромота после ушиба, чесотка — вызывало его гнев. Забрался лн волк в отару, прнрезал овцу илн уиес ягиенка, продроглн лн стриженые овцы после дождя, появились лн клещн и животиые начииали худеть, иатер лн пастух холку верховой лошадн — Шепе выходил из себя. А уж если скот вовремя ие иапоилн или запоздали с выходом на пастбище — он просто бесиовался. Добро бы он только оскорблял работииков бранными словами. Нет, он избивал их, а нередко н калечнл. Маленькнй, щуплый, злой, ои н слушать ие хотел инкаких объясиеинй. Вспыхивая по поводу и без повода, иабрасывался с кулаками. Что попадало под руку, тем ои и швырялся: будь это курук, бревио или топор. А когда провинннвшийся обращался в бегство, догонял его н нзбивал иасколько хватало сил. С коротышкой легко моглн бы справиться, утнхомирить его. Но из страха молча, без сопротивлеиня прннимали побон. Боялнсь ие его, нет, боялнсь Айганым, а потом Чннгиза. И вндели в Шепе нх недобрую власть и снлу.

Частенько бывало так, что старшне работннкн скрывалн от Шепе провиииостн нли оплошности младшнх и расправлялнсь с инмн самн по его же способу. Но уж если коротышка узиавал, тогда доставалось и правым н вниоватым.

Шепе держал всех в чериом теле н всюду совал свой нос. Он был убежден, что это его право и вмешнвался в жнзнь каждой семьи нз аула Карашы. Всех сколько-нибудь смазливых девушек и молодух он считал своей собственностью. Еслн кто-нибудь нз батраков женился на хорошенькой девушке, Шепе уже предвкушал пожнву. Вторая иочь после свадьбы должиа была прннадлежать ему. Какне только способы он ие иаходнл, чтобы разделнть постель с иовобрачной. Не удавалось по согласню, отсылал молодого мужа в отъезд. И обычио тот, прнвыкший к повииовенню, безропотно уезжал. А если и осмеливался сопротивляться, то в ход пускались кулаки хозяина, или придумывалось тут же другое жестокое иаказаиие. Словом, Шепе любыми неправдами добивался своего.

Как нн старались в ауле Карашы прятать от Шепе миловидных дочерей н жен, ои умело выискивал к иим тропннкн. И, что удивнтельиее всего, самой иадежной пособницей в иочиых похождениях похотлнвого карлнка была его жеиа Шоиайна. Стоило только ей услышать, что муж мечтательио

вздохнул,— хорошо бы найти такую молоденькую!— как Шонайна, начисто лишенная чувства ревности или по другим тайным причинам, понимающе улыбалась ему в ответ: а почему бы и в самом деле не найти? И посылала своих служанок, своих приближенных женщин на разведку в аул и получала подробные сведения, которые тут же передавались Шепе. Дальше он уже сам приступал к действиям, этакий маленький, крепко сбитый, упрямый ястребок. Его многие так и называли за глаза. Потом свершалось то, что должно было свершиться. И вместо того, чтобы скрыть очередную проделку мужа, Шонайна бесстыдно хвасталась:

— А мой ястреб и эту уже отведал.

Поговаривали, впрочем, что и Шонайна не отставала от мужа, но Шепе на ее измены смотрел сквозь пальцы. Словом, здесь было обоюдное согласие.

Ему никто не препятствовал, он вошел во вкус и все больше и больше распалял свою похоть. Он так неутомимо стал преследовать всех молодых женщин, что уже не ястребком его называли, а малопочтенным прозвищем — ишак.

На почве этих грубых любовных похождений он столкнулся с человеком, которого до сих пор считал своим другом, если только могут быть друзья у людей, подобных Шепе.

Столкновение это закончилось очень печально, даже трагически.

Речь сейчас о нем и пойдет.

Аул Карашы был преимущественно аулом скотоводов и черных работников. Но вырастали в нем и опытные ремесленники — шорники и сапожники. Выходили из него и певцы, и домбристы, и балуаны — борцы. Одним из таких приметных джигитов был Нуртай, сын Каукара. Его дед Кулболды во времена войн Аблая был пленен калмыками. Ходил слух, что он и сам был сыном видного калмыцкого бека. Может, это было и неправдой, но так или иначе после того, как статный джигит побывал во вражеском плену, Аблай стал относиться к нему по-другому. Хан в наказание рассек ему правое ухо, сделал слугой и послал пасти верблюдов. Кулболды до конца жизни остался верблюжатником. У него было два сына — Каукар, отец Нуртая, и Кантар. Кантар ничем не выделялся, кроме могучей физической силы. А Каукар, похожий на отца, рано проявил среди батраков свои таланты: он и пел, и хорошо играл на домбре, и скромностью отличался, и остроумием. Он нередко сопровождал Айганым в путешествиях певцом в ее свите. И без обычного злословия тут, понятно, не обошлось.

Каукару приглянулась одна девушка, он похитил ее, женился, и она вскоре подарила ему сына, получившего имя Нурмухаммеда. Матери легче и проще было называть его Нуртаем. Нуртаем он вырос и для всех остальных.

Нуртай чертами своего лица, характером и способностями повторил отца. К тому времени, когда Айганым отошла от правления Ордою и власть взял в свои руки младший родственник по мужу Сартай, Нуртай уже был при нем джигитом. Оставался он джигитом и при Тани, который занял место Сартая, угодившего в сибирскую ссылку.

Тогда-то Нуртай и сошелся с Шепе, одним из самых близких нукеров Тани. Шепе и Нуртай были одногодками, а у молодого коротышки не проявлялись еще и вздорный нрав, и драчливость, и сластолюбие.

Нуртай шел по стопам отца и тоже похитил себе в жены красивую девушку Кунсулу. Похищение сошло ему с рук — заступился Тани. А Нуртай нежно полюбил свою жену. Он для того только переиначил имя Кунсулу, чтобы оно звучало в рифму с его собственным. И люди повторяли с восхищением Нуртай и Кунтай — хорошая пара. Не только красивой и стройной была Кунтай. У нее оказались золотые руки мастерицы, стремление к порядку и аккуратности в одежде, в юрте и в хозяйстве. Ее приметила и больная Айганым. Ханша взяла ее в Орду, приблизила к себе. И в годы болезни Кунтай особенно заботливо ухаживала за ней.

Между тем, в Шепе все чаще и чаще давали знать о себе уже знакомые нам качества. Он стал засматриваться на Кунтай, засматриваться жадно и подолгу. Но не смел переступить дозволенной грани. Он был трусоват, коротышка Шепе, и боялся не молодой женщины, а Нуртая. Хотя Нуртай и происходил от деда-верблюжатника и от слуги-отца, он вырос независимым джигитом и держался свободно, с большим достоинством. Он легко и смело выслушивал намеки на свое незнатное происхождение и отвечал напрямик, не испытывая никакого чувства стыда:

— Да, я сын слуги, и мой отец похитил мою мать, и мулла не благословил их. Но вот я стою перед вами, и попробуйте наступить мне на грудь!

Нуртаю надо было обладать незаурядной волей, чтобы сохранять самостоятельность и независимость там, в ханской Орде, где все людские отношения строились на подчиненности и зависимости.

Он сумел с молодых лет повести себя так, что его считали джигитом, а не слугой. Даже Шепе не мог с ним по-

ступать как поступал с остальными. И по крайней мере, внешне держался с ним, как равный с равным. У него для этого были свои основания, коренящиеся в старинном обычае. Шепе и Нуртай были ровесниками — курдасами. А курдасы — по давней традиции — должны жить в мире между собой, не считаясь с разницей в положении. Курдасы обязаны помогать друг другу. Взаимные козни — по обычаю — исключены в их среде. Но зато им разрешается сколько угодно подшучивать друг над другом, какими бы обидными эти шутки ни казались со стороны. Один курдас должен стойко переносить шутки другого. В аулах это взаимное подшучивание было беззлобным. Купается ровесник в озере, а другой припрячет его одежду. Или во время такого же купанья свяжет жену и мужа. Кругом смех, супруги никак не могут выпутаться, а курдасу и горя мало! Можно забросить в постель спящему мышь или безвредную змею. Он проснется, побледнеет с перепуга, а потом поймет — курдас подшутил! Жизнь была грубой, и шутки тоже. Назовут курдасы собак своими именами и заливаются смехом. Или объявят громко — мой курдас умер! — и начинают читать отходную, глумясь над живым. А о ругани нечего и говорить. Курдасам разрешается обзывать друг друга самыми бранными словами и даже пускать в ход кулаки, но так, чтобы не было больно...

Жены мужей-одногодков тоже считались ровесницами, несмотря на разницу в возрасте. Это означало, что курдас имел право подшучивать и над женой другого, пусть она будет даже старше его. Словом, не только наедине, но и в семье курдас считался своим человеком, которому позволено свободно себя вести, не переходя, однако, границ.

Этим обычаем и воспользовался хитрый Шепе. Он всячески заигрывал со своей ровесницей Куитай, похваливал ее, наделял ее ласковыми прозвищами, давал волю и рукам. Куитай сперва терпеливо переносила шутки Шепе, думая, что они не выходят за пределы старинного обычая в отношениях ровесников.

Но однажды она поняла, что приставания Шепе носят отнюдь не безобидный характер, и тогда стала избегать его. Сообразил и Шепе — Куитай разгадала его намерения... Шло время, страсть коротышки не утихала. Тогда он обратился к способу, который его нередко выручал: попросил Шонайну устроить ему свидание. Но и тут ничего не вышло. Куитай была оскорблена до глубины души.

Как-то Шепе неожиданно встретил Куитай. Людей по-

близости ие было. Коротышка попробовал взять ее силой. Ловкая и крепкая Куитай подмяла иасильиика и острыми колеиками так избила его, что Шепе осатаиел от боли, стал просить прощеньв и пообещал больше не приставать. Ои едва уиес иоги, ио, придя в себя, поклялся ей отомстить. До поры до времеии ои решил ие подходить к ией и выждать, пока ие подвериется удобный случай.

... События в Орде развивались своим чередом.

Тяжело больиая Айгаиым призвала к себе Куитай. Хаиише иравилась оиа своей услужливостью, мягкостью, обличьем.

— Хочу тебе, Куитай, передать свою просьбу... Ведь я ухожу из жизии.— Айгаиым говорила тихо, медлеино. Чтобы лучше слышать ее слабый голос, Куитай придвииулась ближе.— Я ухожу из жизии и, может, ие успею повидать своей иевестки. Передай ей от меия салем, пожелай ей счастья. Будь рядом с ией. Пусть ты еще молодая, ио замеии ей свекровь...

Это было завещаиие Айгаиым. Куитай слово в слово передала его Зейиеп.

Приехавшая с Чиигизом в Орду в скорбиые дии смерти его матери, разряжеииая Зейиеп сорвала с головы пышиый в драгоцеииых камеиьях, с пучком перьев филиия иа макушке высокий саукеле и иакииула иа себя чериое покрывало из Мекки. Под этим широким шелковым покрывалом не видио было и ее свадебиого платья. Оиа впервые встретилась с Куитай во время помииальиого плача — жоктау. Голоса жеицин слились, и сердца их почувствовали друг друга...

А когда наступило время сбросить чериое покрывало и сиова иадеть нарядиый убор — саукеле, ие кто-иибудь, а Куитай прозвала молодую жеиу Чиигиза Укили келии, иевесткой с перьями филиия иа голове. В свою очередь Зейиеп дала заботливой и виимательиой Куитай имя Ак-апа, светлой сестры...

После переезда Чиигиза в Кусмуруи вскоре там поселился и Нуртай. Ои перешел в свиту джигитов султаиа, сопровождал его в поездках, выполиял его поручения.

Так Нуртай приблизился к Чиигизу, а Куитай почти иеразлучио пребывала у Зейиеп.

Ак-апа, светлая сестра, во всем помогала жеие султана. Дочь бая Чормана еще в девушках привыкла раио ложиться и поздио вставать. Не измеияла оиа своим привычкам и в Кусмуруие. Просиется — Куитай уже тут как тут. Проводит под руку ее до большого латуииого таза и поможет омыться теплой водою с мылом, оботрет ее белым шелковым полотеицем, подаст ей платья, какие та пожелает. Потом прииесет из юрты-отау завтрак. Позднее эта юрта, где жили Нур-

тай и Кунтай, стала называться столовой юртой. Кунтай приносила оттуда к завтраку Зейнеп свежий сыр — белый иримчик, приготовленный из козьего молока и разбавленный пенками, снятыми с молока овечьего, белый хлеб и тушпары — пельмени. Если хозяюшке хотелось острой пищи, Кунтай примешивала в иримчик соленое сливочное масло.

Еще в отцовском ауле Зейнеп пристрастилась к крепкому чаю, а теперь просто не могла без него обходиться. Фамильный чай и водился в округе, должно быть, только в доме Чингиза. Его закупали ящиками впрок у торговцев, связанных с купцами Троицка, Орска, Петропавловска — Кзылжара, Кургана, Ирбита. Чай ценили не только за вкус, но и за целебные его свойства. Если кто-нибудь заболевал, то приходили к Чингизу или Зейнеп выпрашивать чай для лечения. Близким и уважаемым людям они дарили его осьмушками; тем, кого не хотелось обижать, подносили щепотку на заварку; тому же, кого недолюбливали, и понюхать не давали. В их хозяйстве было два больших самовара: один — ак-полыскей, белый польский, другой — сарытоле, желтый тульский. Для чаепития ставили и первый и второй, чтобы напиться вволю. Чай заваривала сама Зейнеп, согревая чайник на костерке из сухого верблюжьего помета. Чай считался готовым, когда густая коричневая пена приподнимала крышку и растекалась по белым бокам чайника. Зейнеп нравилось пить чай из золотистой пиалы, входящей в многочисленный набор посуды, части ее приданого. Густой чай оседал на фарфоре пиалы несмываемым налетом. К чаю подавалось молоко, только что надоенное от молодой верблюдицы. По вкусу оно не уступало свежим сливкам. Курен-каска — так называли казахи этот целительный и ароматный чай, божественный напиток избранных. А те, кому не доводилось его попробовать, мечтали хотя бы прикоснуться к нему губами. К чаю курен-каска привыкла и Кунтай.

К обеду для Зейнеп приготовляли мясо молодой жирной козочки. Привередливая Зейнеп отказывалась от мяса козленка-самца. Ей казалось, что от него попахивает старым козлом, а мясо самочки отдает ароматом меда. Изделий из теста к мясу не подавали — муки и в доме Чингиза часто не хватало. Нарезанное мясо подавалось в продолговатом фаянсовом блюде, а в качестве приправы подсыпался тот же белый иримчик. Только один Чингиз мог брать мясо с блюда собственной рукою. Никто другой не смел и подумать об этом. Столько же мяса приготовляли и в отсутствие мужа. Из этих же продуктов приготавливался и ужин. Но сама Зейнеп ела

не много. Зато после нее с аппетитом принималась за еду Кунтай и другие женщины из столовой юрты. Зейнеп не скупилась. Если выведутся козочки в Орде — их сколько угодно в соседних аулах. Некоторые семьи, прежде не имевшие коз, теперь разводили их в угоду Чингизу и его жене.

Легкая и стройная в невестах, Зейнеп мало-помалу начинала входить в тело, полнеть. А в год, когда Чокана отправили на учебу в Омск, про нее уже начинали говорить: «Смотрите, наша келин скоро будет вылитой свекровью». Некоторые утверждали, что у нее и сердце стало заплывать жиром. Мол, поэтому и есть она стала меньше, чем прежде.

Ей, не потерявшей вкуса к нарядной одежде, труднее стало красиво одеваться. Благо, нашелся в недалеком Баглане татарин-портной, кроивший так ловко платья для Зейнеп, что они приходились ей по фигуре, не подчеркивая ее полноту.

Охотница до нарядов и дорогих вещей, она приучила Чингиза постоянно заботиться о ней. Самым близким городом для сибирских казахов был в те времена Ирбит, находившийся верстах в двухсотпятидесяти от Кусмуруна. Основанный в уральских предгорьях еще в шестнадцатом веке, он был шумным торговым центром. Кто не слыхал о знаменитых ирбитских ярмарках? А в северных степях Казахстана многих зажиточных баев и торговцев, ездивших туда за товарами, называли не иначе, как «скакунами Ирбита». Эти «скакуны» обычно меняли в бездорожных аулах товары на скот, шерсть и кожу, а порою ссужали товарами и в долг не без выгоды для себя.

Самым лихим «скакуном» Ирбита в окрестностях Кусмуруна слыл Дюйсеке, сын Естаса из токымбетского ответвления кереев. Он был пожалован русскими властями званием купца первой гильдии. Чингиз от Дюсеке и получал из Ирбита все необходимые товары.

Однажды Дюйсеке привез Чингизу только малую часть его заказов и далеко не то, что хотела Зейнеп. Она раскапризничалась, разозлилась и сказала мужу, который тогда не смел ей и прекословить:

— Что он только нам навез? Разве это мне надо?— и расшвыряла товары по юрте.

Чингиз сгорбился, промолчал. Гостивший в его доме видный острослов Шокай из аргынцев шутливо съязвил:

— Эх ты, Чингиз! Про тебя говорят, ты рыка льва не боишься, а тут коза заблеяла — ты и струсил.

Чингиз промолчал, только еще ниже опустил голову.

Еще больше разобиделась Зейнеп. Привести ее в доброе

состояние духа могла только одна Кунтай, безропотно выполнявшая все просьбы своей хозяйки, но умевшая гасить и ее капризы.

Кунтай была связана с Зейнеп не только судьбой обычной служанки.

В день, когда Зейнеп родила Чокана, и у Кунтай родился сын, нареченный Жайнаком. У Зейнеп вскоре после рождения первенца заболели груди и почти пропало молоко. Кунтай стала кормилицей Чокана и полюбила его нежно, как мать. И после того как прошла болезнь, у Зейнеп молока не хватало, а у Кунтай его было вдоволь. Кунтай даже называли женщиной с сосками киика — дикой козы. Чокан пил и ее обильное молоко и скудное молоко родной матери. Продолжал пить и когда уже научился топать ножками. Привязавшись к Кунтай, припадал к ее груди, как к материнской. И она нежно называла его «мой тельгожа», мой выкормыш, мой ягненок.

Каждый год или полтора года у Зейнеп появлялись новые дети, и Кунтай выхаживала и их, только, вероятно, с меньшей любовью, чем Чокана.

С собственными детьми ей не повезло. Первого ее мальчугана Малгельды задавил верблюд. Недолго прожила и дочка Нарша, рано умершая от оспы. Третьим был ее сын Жайнак, ровесник и друг Чокана.

Так жили Нуртай и Кунтай в юрте, прозванной столовой.

Нуртай часто выезжал в степь, выполняя приказы Чингиза. Кунтай суетилась по хозяйству в Орде.

Празднества — тои и даже асы — многолюдные торжественные поминки по усопшим в кочевых аулах проводились обычно уже после выезда на джайляу Ага-султан Чингиз, продолжавший в душе считать себя ханом, удостаивал своим посещением только особо значительные сборища. Обыкновенно в тоях он не участвовал, выполнял наказ матери, не раз говорившей ему:

— Не веселись часто на людях, сынок. Не думай, что тебе все простят по молодости. Ты не просто джигит, ты ага-султан целого округа. Если и легкой шкуркой размахивать, можно поднять ветер. Серьезным будь, сынок. Один легкомысленный поступок может пылью развеять уважение к тебе. Не смейся зря, не улыбайся каждому. Помни присловье своих предков:

Улыбкой рабыню одаришь украдкой,—
Рабыня на платье попросит заплатку.

Стремись всегда выглядеть строго, а для иных будь неприступным. Недаром говорили деды:

До подножья гор нам подать рукой,
Но вершины гор не возьмет любой.

Реже показывайся на людях: они вмиг тебя оседлают. Властвуй на расстоянии. Избегай всяких многолюдных сборищ: тоев, асов, айтов. Так будет для тебя лучше.

И Чингиз следовал советам матери. Но ему необходимо было знать, что происходит на таких сборищах, о чем толкуют люди, что они говорят о нем. Поэтому на праздники он посылал своих надежных соглядатаев, и они подробно передавали султану суть всех разговоров. В числе таких соглядатаев частенько приходилось бывать Шепе и Нуртаю.

На первых порах Чингиз прочно утвердился в Кусмуруне. Еще не пошатнулось к нему уважение, еще впереди были раздоры, хотя родовые распри нет-нет да и вспыхивали в округе. В эти-то дни и дошло до Чингиза, что небезызвестный бай Жарылгамыс из уакской ветви Жансары выдает свою дочь замуж. В среде уаков уже зрело недовольство султаном, и нередко уаки пренебрегали его требованиями. На предстоящем свадебном тое влиятельные люди рода собирались, как это было принято, не только пировать, но и держать большой совет, сговориться о том, как защитить интересы и честь уаков.

Чингиз поэтому послал на празднество в аул Жарылгамыса Шепе и Нуртая. Он дал им наказ — попасть на той как бы случайно· будто они направились к родственникам в сторону Бурабая и здесь, в пойме Есиля, очутились по пути из Кусмуруна.

Поездка принесла несчастье. Шепе вернулся в Орду с трупом своего курдаса.

Нуртай умер у озера Койбагар между Есилем и Кусмуруном. Летом на заросших камышом берегах этого широкого озера не бывало аульных стоянок. Только русские рыбаки из казачьих укреплений приезжали сюда рыбачить.

Шепе и Нуртай на обратном пути самих рыбаков здесь не застали. Но по разбросанной свежей рыбе и снастям, оставленным на берегу, было ясно, что рыбаки отлучились ненадолго. Это подтверждала и сеть, видневшаяся на середине озера.

Путники стреножили коней и зашли передохнуть в балаган, чтобы утром, дождавшись рыбаков, полакомиться свежей ухой.

Обо всем, что произошло дальше, Шепе рассказывал так:

— Я проснулся утром в балагане и удивился тишине. Ни храпа Нуртая не слышно, ни дыхания. Толкнул его, он даже не вздрогнул. Дотронулся до руки — холодная. Перепугался, начал его тормошить, приподымать — и вдруг из-под его тела выскользнула большая пестрая змея. Она-то его, видно, и ужалила. Дождался я возвращения рыбаков, рассказал им все, как было. Они поохали, посочувствовали, но не удивились и подтвердили, что в этих местах действительно водятся змеи и, случается, заползают в балаганы.

Но Шепе лгал от начала до конца. На самом деле все было иначе.

Возненавидя Нуртая и тщательно скрывая свою ненависть, он давно задумал расправиться с ним и заранее припас ядовитое зелье. Ничтожное количество этой сильной отравы, закапанное в ухо, почти мгновенно убивало человека. Шепе искал только удобного случая и понял, что долгожданный час наступил, когда они оказались вдвоем в рыбацком шалаше.

Нуртай едва лег, как заснул богатырским сном, сильно похрапывая. Шепе подкрался к своему курдасу и начал закапывать яд ему в ухо. Рука дрогнула, яд пролился, но несколько капель достигло цели. Нуртая всегда было трудно будить. Так и теперь. Он пошевелился, не просыпаясь, шлепнул ладонью по уху и перевернулся на другой бок.

Шепе охватил страх. Он не хотел быть рядом с Нуртаем в его предсмертные минуты и вышел из балагана. Уже начинался рассвет.

Было слышно, как Нуртай ворочался и беспокойно стонал. Потом стоны перешли в крики. Испытывая острую боль, в полубессознательном состоянии Нуртай, выбиваясь из последних сил, приподнялся, сделал несколько шагов к выходу и с отчаянным стоном упал ничком. Шепе видел, как его тело вздрагивало в предсмертных конвульсиях. Постепенно судороги стихли. В свете наступающего утра лицо Нуртая казалось синим. Шепе все еще боялся приблизиться вплотную. Но, когда увидел вдали подводы рыбаков, преодолел страх, подошел, пнул Нуртая ногой и, убедившись, что он мертв, втащил тело на прежнее место.

Рыбаки поверили рассказу Шепе о змее.

Поверили этой выдумке и в Кусмуруне.

Горе пришло в столовую юрту. Вдовой стала Кунтай, сиротой — Жайнак.

...Через несколько дней после похорон, еще находясь во

власти горя, но уже отдавая отчет в происшедшем, Кунтай раздумывала над своей судьбой. Как ей быть дальше? Пожалуй, лучше всего остаться в Орде, воспитывать единственного сына, продолжать привычные хлопоты в доме Зейнеп.

Ей было тогда тридцать пять лет — возраст, далекий до старости. Она была очень привлекательной, даже красивой. С круглыми карими глазами, блиставшими из-под черных ресниц. С бровями вразлет, как у японки. С некрупными чертами лица. С небольшими мягко очерченными губами. Когда Кунтай распускала волосы, они закрывали колени. У нее было ладное тело, не отягощенное полнотой, крепкие руки и мускулистые ноги. Еще Айганым стремилась ее одевать получше, не скупилась на наряды своей любимой служанке и Зейнеп.

Но эта красота, привлекательность, опрятность Кунтай и помешали ей остаться в столовой юрте возле Зейнеп. Надо ли говорить, что главным виновником явился тот же Шепе.

Шепе вернулся к прежним своим домогательствам. У свежей могилы Нуртая, им же убранного с пути. Плениться женщинами он не мог. Он был просто похотливым женолюбом. Маленький человечишка, оскорбленный, что его оттолкнули, не посчитались, что он белая кость, торе, пошел на преступление не ради постоянной близости с Кунтай. В общем-то он презирал женщин, считал их всех самками. Его не волновали красота и статность Кунтай. Он просто хотел утолить животную свою страстишку и неуемное честолюбие. По его понятиям, он должен был смыть с себя позор. А потом? Потом можно с нею и не встречаться.

Еще не наступил день поминок, сороковой день со дня смерти Нуртая, как Шепе твердо решил пробраться ночью к спящей Кунтай.

На этот раз он скрыл свое намерение и от Шонайны. Он понимал, что даже она, бесстыдно занимавшаяся сводничеством в обычное время, не простит ему греха с женщиной, только что потерявшей мужа. Поэтому он наврал и жене, Дескать, надо ему съездить в один далекий аул, он может запоздниться и тогда останется на ночлег.

Гостей в Кусмуруне не было. Детей Чингиза, обыкновенно спавших в отдельной юрте, Шепе перевел к отцу в Орду под тем предлогом, что не следует оставлять их одних, пока не исполнилось сорок дней со дня смерти Нуртая, не просохла еще его кровь, и Азраил не взял его душу, которая блуждает в ауле по ночам.

Сам Шепе в это нисколько не верил. Он просто подумал,

что для него будет лучше и удобнее, чтобы пустовала детская юрта, находившаяся рядом со столовой юртой Кунтай.

До полуночи он кружил верхом по случайным дорогам, а когда везде погасли огни, отправился обратно к Орде, спешился, не доезжая до белого аула, привязал в овраге коня к дереву и по обычаю всех ночных воров тонким сыромятным ремнем перетянул ему язык, чтобы конь в одиночестве случайно не заржал и не выдал своего хозяина.

Он по-воровски прокрался в аул. Собаки тявкнули, но, узнав Шепе, разом замолчали.

Шепе, крадучись, добрался до столовой юрты, тихо приоткрыл ее полог и, не подымая лишнего шума, очутился у постели Кунтай. Он хотел разбудить женщину осторожно, не напугав ее; хотел приманить утешением, лаской. Но едва он коснулся рукой жаркого тела, как уже не мог сдержать себя и немедленно попытался овладеть ею.

Кунтай сопротивлялась как могла. Стыдила, отталкивала его. Бог знает, чем бы это кончилось, но проснулся Жайнак. Не понимая всего, он догадался — происходит что-то страшное. С криком вылетел он из юрты, и этот крик мальчика придал силу Кунтай и ошеломил, ослабил Шепе.

Отчаянный крик разбудил Зейнеп. Она выскочила навстречу Жайнаку, привела его к себе и, наскоро выслушав бессвязный рассказ, разбудила Чингиза.

— Это твой старший братец безобразничает, лезет ко всем женщинам, покоя не дает. До Ак-апы добрался.

Жайнак захлебывался в плаче.

— Беги скорее, Чингиз!— торопила Зейнеп.— Проснется аул, опозоримся. Только ты обуздаешь этого коротышку.

Чингиз накинул на плечи верблюжий чекпен и босиком поспешил в столовую юрту. Оттуда доносились голоса: гневный и звонкий — Кунтай, визгливый и злобный — Шепе.

Поднял голову проснувшийся Чокан:

— Что там такое делается?

— Да ничего особенного, спи, Канаш!

Но Чокан услышал все: и плач Жайнака и надрывные голоса в стороне столовой юрты.

Аульные мальчуганы не живут в неведении. Им сызмальства известно все об отношениях между мужчинами и женщинами. Не был исключением и Чокан. И если растерявшийся Жайнак не сразу уразумел в чем дело, то Чокан сообразил и ринулся к выходу.

— Куда ты, мой Канашжан?— обняла его Зейнеп.

— Пусти, апа!— вырвался Чокан.— Это все недоросток дядя мучает иесчастную. Пустн меия, апа.

Но Зейиеп сдержнвала сына, а в это время с улнцы донесся суровый голос Чиигиза:

— Хватит тебе, кши-ага.— Так Чннгиз в мниуту раздражения называл «малеиькнм старшим» своего брата.

— Чертова баба сама вниовата. Не тащи меия. Я вериусь н убью ее.

— Хватит тебе!— повторнл Чингиз н втолкнул Шепе в юрту. И через иесколько мииут вслед за иими вошла Шоиайиа, на ходу облнвая браиью своего мужа. В Белую юрту, в Орду ннкто из жеищнн ие осмеливался входить, ио вздориая Шоиайна н прежде не счнталась с условиостямн родовых обычаев, а в этот час ей на все было наплевать.

Не крик Жайиака ее разбуднл, а визгливый, как у хорька, голос мужа, пререкавшегося с Чиигизом. Ей не надо было ничего объяснять. Зиачнт, он уехал не в аул по делу, а опять что-нибудь натворнл. Она выскочнла иа звукн голосов. Прохладиый воздух развеял ее соиливость. Прислушавшись к обрывкам фраз, оиа уловила часто повторяемое нмя Куитай. Так вот в чем дело! Шонайиа киiнулась к столовой юрте, но оиа уже была плотио закрыта изиутрн. Шонайиа постучала, окликиула. Куитай ие отозвалась. Все-таки найдя в себе снлы вышвыриуть Шепе, попавшего прямо в рукн Чиигиза, она плакала, прнжнмая к себе успевшего вернуться в юрту сыиа.

Шоиайна постучала еще раз. «Несчастная распутнница, лежит как нн в чем ие бывало»,— выругала она вслух Куитай и решительио двниулась в Белую юрту. Там оиа и настигла своего мужеиька.

В Белой юрте слабо мерцала только что зажжеиная едииственными в ауле спичками кероснновая лампа. Оиа освещала съежившегося на подушках почетного места Шепе. Перед Шепе стоял Чнигиз, так н ие сиявшнй верблюжьего чекпена. Лица его ие было видно, но по наклоиу головы, по изгнбу плеч можио было догадаться, что он с гиевным осуждением смотрнт на старшего брата. Самого разговора Шонайиа ие слышала. Да и состоялся лн он всерьез, этот разговор? Отношения между братьями сложнлнсь так, что Чиигиз открыто ие упрекал Шепе, не ругал его напрямик, какой бы тяжелый проступок ни совершнл кшн-ага. Это н давало осиоваине людям говорить, что Чйигнз толкает брата на преступлеиия, а сам притворяется незнающнм. В действнтельности это было совсем ие так.

— Что это ты разлегся?— на высоком тоне бросила Шонайна Шепе н, уже обращаясь к двум братьям, добавнла:— О чем тут разговор? Что произошло?

Нндто ей не ответнл.

— А Зейнеп где?

Братья снова промолчалн, как промолчала н Зейнеп. Она прнходила в себя за пологом, где спали детн. Размышляя о пронсшествнн, не мог сомкнуть глаз й Чокан. Он слышал, как вошли отец и дядя. Слышал единственную фразу, произнесенную Шепе: «Еслн эта проклятая баба останется здесь, я уйду нз аула». Чокану стало больно. Он ждал, что скажет отец, но отец не произнес ни слова.

Теперь в юрте шумела Шонайна.

— Что, герой, отдышаться не можешь?— зло выкрнкнула она н подошла к почетному месту.— Вставай! Ах, не хочешь?

И Шонайна за ногн потащила Шепе сначала к очагу, а потом н к выходу. Он почти не сопротивлялся, только поглядывал на Чингиза не то с тревогой, не то с надеждой на его поддержку.

Но Чннгнз н головы не поднял, не взглянул на них. «Так тебе н надо»,— думал он про себя.

Шонайна заграбастала Шепе и за порогом юрты поставнла его на иоги. Левой рукой цепко схватила за загривок, а правую руку, сжав в кулак, поднесла к самому носу:

— Говорн, герой! Говорн, гора, что наделал. Говорн, пока жив!— угрожала оиа, и Шепе, зная по многолетнему опыту силу ее кулака, замямлил, придумывая второпях подробности:

— Ойбай-ау, не знал я, что она такая сумасшедшая сука!

— Почему же это она стала вдруг сумасшедшей? Что она тебе сделала?— не унималась Шонайна.

... В Белой юрте уже погасилн лампу, но Чингнз не спал. Чокан все время порывался выйтн, но мать удерживала его и не смогла удержать до конца, н вместе с ним, взяв с него обещание, что он не выйдет из юрты, подошла к порогу. Они хорошо слышали весь этот разговор.

— Отвечай же, герой...

— Да, понимаешь,— мямлнл Шепе,— съездил я в этот аул, договорился по делу, наелся мяса ягненка, а здесь, в Орде, одолела жажда. Время, сама знаешь, за полночь. Думаю, в столовой юрте кумыс свежий, сладкнй. Пойду-ка напьюсь. Слез с коня. Юрта открыта. Баба эта, Кунтай, спнт. Я ее разбудил, осторожно разбудил. Тихонько спрашнваю: «Кумыс у тебя есть?» Она также тнхонько отвечает: «А кто ты?» Вндно,

ждала кого-то. Но мне-то зачем об этом знать? Я и ответил: «Шепе». Тут эта сучка вскочила с постели и давай орать на меня. Я ее успокаиваю, а она расшумелась еще сильней. Что, говорю, с тобой? Тебе что, кумыса жалко? Не перестала кричать, хоть убей! Мальчишку разбудила, чуть не весь аул на ноги подняла. Что мне оставалось делать? Взял и выбежал из юрты.

— Но сам ты почему раскричался, так ее проклинал?

— Разозлился на эту бабу, вот и кричал.

Шонайна засомневалась: правду он говорит или врет? И вдруг вспомнила:

— А где твоя лошадь, Шепе?

— На привязи,— брякнул он, не подумав.

— Где на привязи?— переспросила Шонайна, сообразившая, что Шепе начинает что-то путать.

И Шепе замолчал. Почувствовал, она вот-вот его поймает.

— Спрашиваю тебя, где на привязи?

— Там, на аркане, возле той юрты.

— Пойдем ее вместе приведем,— и Шонайна, вцепившись в загривок мужа, попробовала его потащить к столовой юрте.

Коротышка упирался как только мог, даже отбрыкивался, но унять Шонайну было уже невозможно:

— Идем, пока душа держится в теле, а то света белого не увидишь!

«Плохи мои дела»,— подумал Шепе и вдруг воскликнул, хлопая себя по бокам и делая вид, что вспомнил:

— Что я тебе сгоряча наговорил? Да не у юрты моя лошадь, а в овраге. Я ее там стреноженной оставил. Решил, зачем по аулу скакать и возле юрты привязывать? Еще ржать начнет, народ разбудит.

— А седло твое где?— не к месту спросила она.

Он ничего не ответил, решив про себя, что может окончательно завраться.

— Путаешься ты, коротышка. Ничего от тебя не добьешься.

Теперь уже окончательно убежденная, что Шепе врет от начала до конца, Шонайна напряглась и поволокла мужа в свою юрту.

— Уж дома мы с тобою поговорим, герой.

Шепе ничего не ответил. Он, кажется, признал, что сопротивляться бесполезно.

... Выглянув из юрты и всматриваясь в ночную темень, Зейнеп и Чокан смутно видели, как удаляется притихший Шепе на поводу своей решительной Шонайны.

— Так ему и надо!— с облегчением вздохнула Зейиеп.

Они говорилн вполголоса.

— А что может сделать этот дядька моей Ак-апе?— спроснл Чокан, в чьей душе еще не улеглась тревога.

— Ты лучше представь, как достанется сейчас коротышке!— ие совсем впопад отвечала Зейиеп, думая о своем и больше всего неиавидя в эту минуту Шепе.

— Достается, значит — поделом! Убили бы его, я не пожалел!— Чокаи не мог скрыть своей мальчишеской злости.— Лишь бы Кунтай оставил в покое.

— Да ничего он теперь ие сделает,— успокаивала мать сына.

— Не сделает, не сделает,— недоверчиво, в раздумье повторил Чокан,— он же сказал: «Если эта баба остается здесь, я уйду из аула».

— Не знаю, сынок, ие знаю, пойдем лучше спать...

Вдруг со стороны аула Карашы они увидели в уже рассеивающейся ночиой мгле чей-то силуэт.

«Кто бы это еще бродил здесь?»— разом подумали и сын и мать.

Напрягая зоркое свое зрение, Чокан первый узнал Акпана.

— Акпан, говоришь?— и Зейнеп нежно погладила голову сына.— От Акпана нельзя ждать ничего худого. Он сумеет защитить нашу светлую сестру. Он ей поможет в горе. Пойдем, Канаш, спать...

И они ушли.

Нам теперь подробнее следует рассказать об Акпаие, которому предстоит сыграть важную роль в дальнейшем нашем повествовании.

Как помнит читатель, у отца Нуртая Каукара был брат Кантар. Каукар и Кантар мало походили друг на друга. Каукар унаследовал от Кулболды множество разнообразных способностей, а Кантар только силу и доброту. Могучее телосложение Кантара повторилось и в его сыне Акпаие. Уже подростком Акпан прослыл в ауле Карашы гигантом-джигитом. Злым человеком его никак нельзя было считать, но характер у него вырабатывался нелегкий.

Кантар рано приучил сына к труду. Долгие годы отец и сын вместе доили кобылиц Орды.

Во времена Вали-хана, Айганым и при Чингизе умелой дойке кобылиц придавалось большое значение. Тут применялся способ, известный под названием «жебей». Жеребята во время дойки привязывались к веревкам — жели, натянутым на колья. Кобылицы находились против своих жеребят.

Доилн два, а то н три раза в день. Пока выданвали весь ряд кобылиц до конца,— а нх насчнтывалась добрая сотня,— можно было вновь прнступать к дойке сначала. Вымя к этому сроку снова наполнялось молоком. После дойки Каитар и Акпан заставлялн кобылнц пробежаться по кругу. Молоко не сразу слнвалн в сабы н отправлялн в аул. Его надо было сперва остуднть — иначе кумыс получался таким кислым, что скулы сводило. Холодное молоко слнвалн в сабы только к вечеру, потом доставлялн на верблюде в столовую юрту, а уж там взбалтывали всю ночь напролет, н напнток приобретал сладковатый вкус н крепость

В уменье выданвать кобылнц н приготовлять молоко Кантар, а потом и Акпан не имелн сопернников в ауле.

Но Кантар был смнренным работягой, безропотно переносившим н оскорбления и даже побои. Акпан, в трудолюбии не уступая отцу, вырос обидчивым н мог постоять за себя. Сам он никого не трогал, в споры, и тем более драки, не лез. Но если его задевали, не скупился на сдачу. Второй раз обидчнк уже не решался к нему подходить. Акпана уважали в Орде за многолетнюю и не каждому сподручную работу. Он нмел всегда свою сыбага — долю жирных кусков мяса, остававшихся на дастархане после неизменных гостей. Он предпочитал курдючное сало ягненка, а до мяса не был большим охотнником. Четыре-пять горстей в ладонн, н он уже насыщался. Зато кумыс он пил по-богатырскн. Рассказывали, шесть специально для себя припасенных чаш он легко опрокндывал одну за другой.

Обид он не прощал не только равным себе, но н своим хозяевам. Как-то в Орде забыли оставить долю мяса, прнчнтающуюся ему по заведенному порядку. И Акпан перестал появляться в Орде. Даже заносчнвый Чннгнз обратнл на это внимание н вызвал его к себе:

— Ты почему не заходншь?

Акпан невнятно ответил, что, мол, было некогда. Чннгнз сообразил — дояр что-то скрывает. Сказал еще настойчивее:

— Не таись, говорн правду. Вижу, что ты обнжен.

Пришлось Акпану быть откровеиным:

— Не таюсь, обнжен. Недостойным внимания Орды оказался...

Чннгиз подумал и поиял. Значит, не оставилн ему его сыбаги, его долн. Несправедлнво поступнли. Где еще найдешь такого работника — умелого, трудолюбивого, опрятного. Ободрил добрым словом Акпана, поругал вниовных. После этого случая доля Акпана всегда оставалась неприкосновенной.

У Акпана были свои малые причуды. В свободное от дойки и ухода за кобылицами время он любил принаряжаться, насколько позволяли ему его скудные средства.

«Должно быть, он и взаправду потомок калмыцких беков»,— втихомолку подшучивали над ним охочие до всяких пересудов аулчане. «Верно, по этой причине он и жениться не хочет. Чтобы взять в жены достойную, у него нет скота на калым. А случайную бабу ввести в дом калмыцкая гордость не позволяет».

В чем-то аулчане, возможно, были и правы.

Ему было уже за тридцать, когда погиб Нуртай. Дырявая черная юрта, пяток коз да одногорбый верблюд — вот и все, что досталось Акпану после смерти отца. С ним была его старая мать, с трудом присматривавшая и за этим малым хозяйством.

Теперь, когда Кунтай осталась вдовой, в ауле чаще и чаще стали поговаривать, что дорога к ней может принадлежать только Акпану. И по обычаю и как хороший человек — но самый подходящий муж для нее, еще молодой, полный сил. Возьмет он Кунтай, бог благословит их.

И только один человек не хотел об этом и слышать: это был Шепе.

... Теперь вернемся к событиям той тревожной ночи, которые оставили в смятении оскорбленную Кунтай, так напугали Жайнака, взволновали Чокана и Зейнеп.

Отчаянные крики мальчугана и шум в Орде достигли и аула Карашы. Проснулся Акпан. Сон его всегда был чутким: он по очереди с другим пастухом уходил в ночное, привык быть настороже, а в эти дни, после смерти Нуртая, его не покидали постоянные беспокойные предчувствия.

Крик в ночи... Может, почудилось? А может!.. Что-то очень близкое, знакомое было в этом отдаленном жалобном вопле, так похожем на зов жеребенка, задираемого волком. Жайнак! Неужели Жайнак? Акпан считал, что его никто не смеет тронуть. Он привязался к мальчику и как к родственнику и потому, что сам не имел детей. В свои редкие свободные часы он так любил возиться с Жайнаком, играть с ним в незатейливые ребячьи игры. Когда, случалось, Акпан приходил ранним утром в столовую юрту, он склонялся над спящим племянником и вдыхал его запах. А стоило мальчугану проснуться, как горячо его обнимал. Жайнак и при жизни отца считал Акпана одним из самых дорогих людей. А теперь он видел в нем свою опору. Жайнак не давал себя в обиду сверстникам, мог сам постоять за себя. Но от взрослых

обидчиков его ревностно оберегал дядя. Как-то Акпан узнал, что Жайнака побили. Не за серьезную провинность, а за маленькую мальчишескую шалость. Акпан вскипел и решил наказать обидчнка. Дело не обошлось без оплеух. С той поры Жайнак был в безопасности.

И вот отзвук этого жалобного крика в ночи...

Акпаи вскочил, быстро подпоясался сыромятным ремнем с прикрепленным к нему ножом и в нижнем белье, с непокрытой головой выбежал из юрты. Напрасно мать, Батикей, удерживала его, взывала: «Куда ты, голубок мой?»

В ауле Карашы, ближе к Орде, уже собралось несколько человек. Неведомыми путями жители чериого аула догадывались, что там пронзошло. Уже было известио о скандале между Шепе и Шонайиой.

— Куда ты, Акпан?— крикнули ему. Он не остановился. Его схватили за руку.

— Пустите! Если что случилось, н нх зарежу и себя!

Его успокаивали, как моглн, а один зоркий джигнт сказал:

— По-моему, баба потащила своего Шепе домой.

Засмеялись:

— Плохи его дела, зиачит...

А стоявший чуть поодаль старик, сгорбленный годами, ио ясный умом, нашел слова, отрезвившие Акпана:

— Не горячись, мой свет! Что правда, то правда — Шепе решил надругаться иад твоей женгей. А эта вздорная крикуиья Шонайна настнгла его и утащила домой. Ты знаешь, что это за баба. Оиа ему покажет. Он и завтра не придет в себя. А ты иаберись терпеиия, сейчас уже ничего не поправишь. Ты думаешь, у иас душа не болнт. Но сейчас, ночью, идти в Орду с иожом нлн соиламн, зиачит — накликать иа себя иовую беду. Мы люди простые, но тоже ходим по земле. Настаиет божье утро, вот н поразмыслим, как быть. Пошлем к султаиу своего человека. Может, он укротит своего старшего брата. А потом посмотрнм, как иам, как тебе поступать дальше.

Рассудительиость и теплота старнка смягчнли Акпана.

... Все же ои пошел в сторону Орды, постоял в раздумье и вернулся обратно в Карашы. Дождался рассвета. С утра, как обычно, привязывали кобылнц. Мыслн о Кунтай н Жайнаке ие оставляли его. Старнк во многом прав, думал ои. Но зачем посылать человека к Чингизу? Не лучше ли мие самому распутать этот узел?

Невеселый, сосредоточенный, иаправился он опять в Орду и, миную вопреки обычаю белую юрту султана, чтобы не

отдавать ему приветствия и не заговорить о случившемся, пришел прямо к Кунтай. На этот раз она не хлопотала у очага, не приготовляла позднего завтрака. Она сидела на корточках у большой кумысницы — сабы, обхватив руками колени. Сидела с горестно опущенной головой, ничего не замечая вокруг. Свернувшись калачиком, дремал на неприбранной постели матери Жайнак. Прежде застать его в этот час дома было почти невозможно, он уже носился где-нибудь в степи с ребятишками. В юрте было сумрачно — тундик, распахивавшийся с рассветом, забыли открыть.

Акпан переступил порог столовой юрты, остановился, помолчал. Трудно было найти нужные слова. Шли минуты. Наконец он позвал:

— Жайнак!

Мальчик в полудреме слышал, как кто-то вошел в юрту. Но не открывал глаз. Ему никого не хотелось видеть. Но, узнав голос дяди, он с плачем бросился ему на шею.

— Ага, ага мой,— всхлипывал он, и в этих слезах прорвались наружу и боль за оскорбленную мать, и свое, еще не осознанное мальчишеское горе, все тревоги, накопившиеся за дни после смерти отца и, в особенности, за эту ночь.

Акпан в жизни не плакал. Не проронил он слезы и в день смерти своего отца Кантара. Некоторые люди с осуждением его назвали тогда кафиром — неверным. Его глаза были сухими и когда умер Нуртай. Так бывало не потому, что он не умел чувствовать горя. Просто у него был такой характер. Он мог не выдавать своих самых горестных переживаний. Но не всегда. И сейчас он сам не заметил, прижимая к груди племянника, что крупные капли впервые покатились по его щекам. Только он понял, что плачет, как сразу унял слезы и, не выпуская из рук Жайнака, обратился к Кунтай:

— Женеше!

Кунтай — ее лицо тоже было мокрым от слез — посмотрела на деверя грустно и вопрошающе.

— Идем со мной, женеше!— неумолимо твердо произнес Акпан.

Она продолжала глядеть с печальным недоумением.

— Идем ко мне, тебе некуда больше идти. Вставай, собирайся.

И хотя люди уже поговаривали об этом, Кунтай была так далека от мысли, что Акпан может ей предложить такое. Все это казалось неожиданным. Что ответить, что предпринять? Она еще крепче охватила руками колени.

— Ты поняла, что я тебе сказал, женеше?— в голосе Ак-

наиа звучала мужская строгость.— Ты кого боишься, ты почему не встаешь? Может, Шепе боишься.— Он зло и грубо выругался.— Пусть только попробует стать на пути. Я его об землю...

— Вставай, апа!— Жайнак бросил на мать умоляющий взгляд.— Пойдем, апа, если просит ага.

Жайнак уговаривал мать, но сам не подходил к ней, прижимаясь к Акпану.

— Пойдем, апа. Он верно говорит.

Кунтай поднялась; она пошатывалась, едва держась на ногах...

В эту минуту в юрте появился Шепе с дубинкой — соилом. Акпан опустил Жайнака на землю и, ожидая нападения, приготовился к жестокому отпору. Его взгляд не предвещал ничего хорошего.

Коротышка ощетинился, смачно выругался и с перекошенным от злости лицом замахнулся соилом.

Руганью ему ответил и Акпан. С ловкостью он выхватил соил из руки Шепе и отшвырнул его прочь. Коротышка, не успокоившись, стал наскакивать, как петушок, но Акпан сгреб его своими ручищами и вышвырнул из юрты. Вышвырнул так удачно, что драчун угодил прямо в большой казан с овечьим молоком, заквашенным накануне. Больно ударившись о край казана, Шепе потерял равновесие и упал, залив землю молоком. В какое-то мгновение он оказался на четвереньках, но сразу поднялся, отфыркиваясь и отряхивая айран. Даже это падение не остановило его.

Поминая руганью родителей Акпана, он опять с поднятыми кулаками сунулся в драку.

— Ты не перестанешь лаять, собака?— и пастух, цепко схватив старшего брата султана за его загривок так, что тот завопил от боли, раскачал его и отбросил еще дальше.

На этот раз Шепе поднялся не сразу. У него кружилась голова; он лежал, не понимая, как все это случилось, и беспомощно водил руками по ушибленным бедрам.

... А Чокан был уже тут как тут. Не без злорадства он наблюдал за дракой и приговаривал:

— Так! Так! Так тебе и надо!

Вышла из своей юрты и Зейнеп, а вслед за нею показался и Чингиз. Султан даже потускнел, но старался сохранять достойный вид. Он болел душой за старшего брата, однако сейчас не счел возможным вступиться за него.

— Так тебе и надо!— еще раз негромко проговорил Чокан.

— Тайт! Довольно!— оборвал сына Чингиз.— Тебе интересно смотреть, как слуга избивает торе.

— А разве так ведут себя торе?— не по-детски серьезно спросил Чокан.— Пусть не накидывается, как собака. Пусть не норовит укусить. Теперь он получил свое. Будет осторожнее!

Шепе еще не пришел в себя и продолжал барахтаться на земле, как из столовой юрты вышли трое: Акпан за руку с Жайнаком и покорно следующая за ними Кунтай. Они направлялись в сторону Черного аула.

— Значит, уходят!— воскликнул Чингиз и раздраженно и с сожалением.— И нет никого, чтобы задержать беглецов.

— Ну, задержат их. А что им можно сделать, отец?— рассуждал как взрослый маленький Чокан.— Ведь твой ага сказал: или он или Ак-апа. Если тебе жаль Ак-апу, выгони своего братца-коротышку. Наскакивает на всех как козел, не дает покоя бабам.

Чингиз промолчал. Зейнеп махнула рукой. Мол, пусть уходят.

Наконец сообразил, что происходит, и Шепе. Собрав наконец свои силенки, он вскочил, проводил недобрым взглядом удаляющихся Акпана и Кунтай и, потрясая кулачками, закричал:

— Архар, архар!..

Когда-то это был боевой клич ханского рода. Стоило прозвучать слову «архар», и на помощь каждому ханскому потомку шла тысяча степняков черной кости. И немудрено, что малое ханское созвездие брало верх над всем звездным небом простолюдья.

Так бывало в прошлом. Ныне все изменилось.

Хоть Шепе и воинственно воскликнул «Архар!»— не было уже тех полновластных ханских потомков и их сторонников, которые пришли бы на помощь. Да будь немногие из них, уцелевшие, рядом, вряд ли бы они откликнулись на зов предков. С тех пор, как ханства были упразднены и возникли округа с ага-султанами во главе, случалось нередко, что простые степняки избивали упавших в цене ханов, и клич «Архар!» давно потерял свой устрашающий грозный смысл. Никто не пришел на помощь Шепе.

Кунтай покинула Орду. Она стала жить со своим сынишкой у Акпана. Он не напоминал о ее вдовьей судьбе и не высказывал намерений жениться.

Жили бедно, но еды хватало.

Черная верблюдица Акпана оправдывала обе свои клички: Ебелек — суетливая и Карабулак — Черный родник.

Суетлнвой ее прозвали за готовность быстро откликаться на зов, Черным роднником — нз-за обилия молока. Подведешь к ней верблюжонка — н можно надоить два большнх деревянных ведра. Да н в разлуке с ним она хорошо доилась в течение всего года — и в молоке для чая и в кумране не было недостатка. Молоко у Черного родинка было густым, как сливки. А выпьешь чашку кумрана, кислого молока — целый день будешь сытым. Излншек кумрана старая Батикей делила между соседямн. Коз в доме Акпана не принято было доить. Да и к чему козье молоко, еслн есть верблюжье. Зато Батикей радовалась, что козлята вырастали упитаииыми и жирными, а значит, в доме воднлось и мясо. К быту в черной дырявой юрте и к новой, не такой вкусной, как прежде, пище Кунтай привыкла довольно быстро. И она и Жайнак нисколько не сстовали, что молочное преобладало иад мясным. Им это даже нравилось.

Кунтай, не помышляя о иовом замужестве, и жила бы себе спокойно у Акпана в Черном ауле. Но спокойствию мешали наговоры и слухи. Шепе продолжал сеять сплетни о ее выдуманных любовных связях. Чего только не сочинили. Вдове стаиовилось совсем невмочь.

И под бедной крышей бывают люди. К Акпаиу тоже заходили гости, н всех мужчин, посещавших юрты, аульные сплетиики связывали с Кунтай.

Среди нних нашелся однн, который действительно ее преследовал. Это был Итаяк, одиогодок Нуртая, бобыль, никак не желавший жениться. Он приставал без стеснеиия ко всем женщинам, а как только Куитай переселилась в Карашы, иачал грубо заигрывать и с ней, считая ее своей ровесиицей и давая волю рукам.

Итаяк н прн жнзни Нуртая заглядывал в столовую юрту и не обходился без соленой шутки: «И Нуртай — калмык, и я — калмык, значнт, ты — одна иа двоих». Тогда Кунтай эта шутка не трогала. Но теперь, когда он стал упорно виушать жеищине, что она вдова и принадлежит ему и будет с ним жить после годовых поминок по Нуртаю, она негодовала и расстранвалась.

Вскоре она приметила, что Итаяк старается появляться в отсутствие Акпана, доставляя ей новые иеприятиости. Дело в том, что к сплетне начал уже прислушиваться и сам Акпан.

А этого и хотел Шепе. Итаяку, в сущиости, было все равио, к кому приставать. В душе он не имел инкакого желаиия жениться на Кунтай, но усердствовал, послушный своему хозяиину-коротышке.

Куитай все чаще и чаще одергивала Итаяка, награждала его презрительиыми взглядами, выгоияла из юрты. И одиажды ои пожаловался Шепе:

— Как бы эта громадиия, чертов Акпаи, ие пришиб меия.

Шепе желчио рассмеялся:

— Уа, иечистая сила! Нашел, кого пугаться! Акпан, видишь, иа его дороге стоит. Пугливая ворона и куста боится. Батрак ои такой же, как и ты. Только ои один, а вас миого, и я за тобой. Налетите — от него одна пыль останется. Чтоб я от тебя больше жалоб ие слышал! Ты действуй хитро.

И напоследок пригрозил:

— Ты у меия смотри, ииаче выпорю!

Итаяк, пресмыкавшийся перед Шепе, и слова ие промолвил в ответ, но про себя подумал: «Упаси, аллах, попасть в ручищи Акпаиа, живым — ие выберешься».

Выполияя волю хозяина, ои продолжал бывать в юрте Куитай.

А сплетия росла, как огонь сухого костра под порывами степиого ветра. Поддавался иаговорам и Акпаи, все более неприязиенио посматривая иа Итаяка и теряя доверие к Куитай. Слухи дошли и до ушей Зейнеп, скучавшей по своей любимой служанке.

И хотя жене султана ие полагалось посещать Черный аул, Зейиеп нарушила обычай и навестила Ак-апу.

Куитай поделилась с ней своими иовыми горестями, выплакала свою беду.

— С этими ложными иаговорами трудио бороться,— посочувствовала Зейиеп.— Мие и самой иаговаривали иа тебя. Я-то ие верю, а что поделаешь с другими.

Под коиец Зейиеп иеожиданио сказала:

— У тебя есть один выход. Надо идти замуж за Акпаиа.

Куитай, ие помышлявшая ни о каком замужестве, снова всплакиула:

— Укили келин, что ты только говоришь?

Но мысль эта, должио быть, ие сейчас возиикла в уме Зейнеп. Она пристально взгляиула иа Куитай:

— Не иадо пугаться, ие иадо плакать. Другого выхода у тебя иет. Так ты избавишься от всех сплетеи, и жизнь будет легче. Дорога женщины, Ак-апа, узкая. Не то, что у мужчии. Мужчина спит со миогими женщииами — и только хвастает этим. А для нас — и разговоры об этом один позор. Особеино худо вдовам. Жеищину в зрелом возрасте, какой бы чистой она ни была, люди все равно черият и будут лепить к ией каждого встречиого. Сама ты слышала, что плели вокруг

моей хаи-енем.— Так называла Зейнеп Айганым.— Не смогла она перенести сплетен, мнр ее праху! Ты беззащитная рядом с ней. От сплетен иужио бежать, как от пожара. Будешь смелой, пойдешь навстречу — сгоришь сама. Знаю, как ты ухаживала за свекровью. Как мать для меня была. Детей моих выхажнвала. Сколько труда ты отдала нам! Моя душа за тебя болнт, Кун-апа! Ты покннула нас, а я тебе желаю счастья, покоя. Будет твонм мужем Акпан, сплетнн развеются. Пройдет время, и вы к нам в Орду вериетесь. Займешься привычным делом. Я от души говорю, поверь мне, Акпан — судьба твоя.

Зейнеп говорнла так искрение, что Кунтай почувствовала правду в ее словах. Надо было соглашаться с хозяйкой Белого аула. Что касается Акпана, то ои долго не раздумывал. Ему давно надоела жнзнь холостяка. Да и старый обычай не препятствовал стать мужем жены умершего брата.

Скоро была скромно отпразднована свадьба.

Акпан зарезал жирную годовалую козу, прнгласил аульных стариков, и недоучка-мулла, по бедности своей проживавший в Карашы, благословил брак Акпана и Кунтай.

Меньше года спустя у иих появилась дочка. Кунтай дала ей имя Айсулу, созвучное своему полному имени — Кунсулу. Девочка вырастала прехорошеиькой, похожей на мать. В семье нежно няичнлись с ней и ласково называли Айжан. Росла она не по дням, а по часам. Видно, и молоко матери пошло ей впрок, и прнрода наделила ее здоровьем.. Волосы у нее при рожденни былн чернымн до снневы н чуть курчавились. Такие волосы в детстве былн н у Кунтай. Но, когда Айжан исполнилось сорок дней, отец обрил наголо ее головку, потому что считается грехом оставлять утробные волосы. Прошло немного времени, н головка девочкн снова закурчавилась густыми и мелкими завнтками. Айжан рано научилась улыбаться, рано научилась сидеть. Ей не было еще и года, а она уже ползала, а вскоре после года затопала ножками.

Как спайкой скрепляют железные звенья,
Так дети — семьи молодой единенье.

Истнннны слова акына.

Несмотря на то, что об этом браке не мечтали и Акпан и Кунтай, жилн они дружио, а после появления на свет Айжан не чаялн души н друг в друге и в своей дочке. Жизнь есть жизнь. Порою бывали н мелкне ссоры, но о них сразу же забывали, когда раздавался звоикнй смех ребеика нлн хо-

тя бы появлялась улыбка на ее личике. Акпан полюбил Кунтай не просто как жену, а мать милой Айсулу. И Кунтай видела в Акпане прежде всего отца своей курчавенькой дочки.

И чем дальше росла Айжан, тем крепче становилась эта семья.

Смерть старой Батикей сделала Кунтай единственной хозяйкой в доме, заботы о семье поглощали все ее время.

Черную дырявую юрту Акпана нельзя было узнать — так преобразила ее Кунтай. Зейнеп в подарок новобрачным прислала войлок столовой юрты. Для Орды кошма казалась несколько изношенной, но для юрты Акпана пришлась как нельзя более кстати. Когда этот войлок натянули на деревянный остов, жилище Акпана и Кунтай даже выделялось в ауле Карашы своей привлекательностью и новизной.

Кунтай навела порядок и внутри юрты. Привыкшая еще в Орде к аккуратности, стала она держать в чистоте и посуду и белье. Кое-что починила, подремонтировала, а некоторые обветшавшие грязные вещи выбросила совсем.

Словом, теперь и гостей принимать было не стыдно.

Кунтай ухаживала и за Акпаном, не позволяла ему даже на работу ходить в рваной, грязной одежде. Что можно — подлатала, что совсем износилось — пошло в тряпье. А по праздникам он, любивший франтить и раньше, показывался на людях джигитом хоть куда.

Прежде Акпан, бывало, ополоснется в озере или речушке и считает, что все в порядке. Теперь каждую пятницу он мылся теплой водой с мылом под присмотром Кунтай, и шершавая заскорузлая его кожа стала гладкой, лоснящейся.

Появились в юрте и новые блюда, особенно после смерти Батикей. Кунтай научилась готовить по-татарски еще в Орде. Мясо и теперь было не всегда вдоволь, редко появлялся кумыс. Но зато постоянно приготовлялся шубат — острый напиток из верблюжьего молока. Верблюдица по-прежнему была неиссякаемым источником. И шубат из ее молока отличался особенным свежим вкусом. К нему пристрастился Акпан, изменив прежней многолетней привязанности к кумысу. Впрочем, хорошего кумыса в Орде после ухода Кунтай уже нельзя было отпробовать. Он был таким жидким и кислым, что скулы сводило. Даже поговорку сложили:

Что кумыс, что татымал[1]
У султана нынче стал.

[1] Татымал — домашний самодельный напиток.

Однажды Кунтай отправила Чингизу чашу со своим шубатом. Он до того ему понравился, что такие дары для него стали привычкой, а для Кунтай — обязанностью.

В столовой юрте вообще стали хуже готовить. Зейнеп даже попыталась вернуть Кунтай в Орду, но Ак-апа ответила известной казахской пословицей.

Плохо вышедшей замуж
Дорогу назад искать.
И над врагом смеются,
Когда он несется вспять!

Кунтай дала слово своей хозяюшке помогать ей на расстоянии.

Конечно, и в столовой юрте продолжали приготовлять пищу, но обед для султана варила Кунтай, и он доставлялся на лошадях из Черного аула в Орду.

... А Чокан, наш Чокан?

Он разве что спал дома, а все остальное время проводил в степи с Жайнаком, играл с мальчишками, пропадал в юрте Акпана.

Шепе постоянно ставил ему преграды: злился, кляузничал, читал нравоучения. Однако с некоторых пор бить уже не решался. Острый на язык племянник после скучных назиданий Шепе как-то сказал как отрезал:

— Ты, ага, лучше свои дела поправь, а в мои не суйся!

Шепе изумился смелости Чокана, и еще более убедился, что именно этот мальчик, своенравным своим характером не похожий на других детей, и есть наследник Аблая и, значит, его обижать нельзя.

А Чокан быстро смекнул, что ему совсем не обязательно подчиняться Шепе.

Чокан еще чаще стал бывать в Черном ауле, когда сдружился с маленькой Айжан.

Зейнеп решительно запретила девочке показываться в Орде. Не очень ей хотелось, чтобы и Чокан постоянно пропадал в Карашы. Но тут она была снисходительной: ей нравилась светлая сестра Кунтай, ей нравился теперь дом Акпана.

Был бы долгий мир да лад в этом небогатом доме, в этой обновленной юрте, если бы не козни Шепе, если бы не бессовестный Итаяк, принесший в конце концов непоправимое несчастье.

Уже складывалась добрая семья, а он продолжал бывать в юрте, такой же наглый и самоуверенный, и по-прежнему не давал прохода Кунтай.

— Ты прекратишь или иет свои шуточки?— зло спросил его исчерпавший все свое терпеиие Акпаи.

— Шуточки? А с кем я шучу?— Итаяк, поиятио, нспугался, ио говорил мягко, с притвориым иедоумеиием.

— С Куитай!— отрезал Акпаи.

— Да оиа ведь моя ровесиица.

— Ты был курдасом Нуртаю. Но мие ты ие курдас. А теперь Куитай моя жеиа, и ты ей иикакой ие ровесннк. Запомни это.

Итаяк, поиимая, что разговор прииимает серьезиый оборот, попытался смирить гиев Акпаиа:

— Привычка у меия к шуткам... И рад бы их бросить, да вот так получается...

Акпаи не сбавил тоиа:

— Зиать не хочу иикаких твоих привычек. Не говори потом, что ие предупреждал. Прощальиое жоктау заставлю петь по тебе.

На том пока и коичили. Итаяк не год и ие два обходил юрту Акпаиа, как его ии иауськивал Шепе, как ии прииуждал его продолжать свое.

Родилась Айжаи, стала подрастать, спокойствие и тепло вселились в дом Акпаиа.

Но Шепе ие дремал, издали продолжая следить за всеми событиями в этой иеиавистиой ему семье.

Поэтому, получив известие, что Чингиз отправил Акпана с поручением далеко в степь, Шепе сиова решил натравить Итаяка иа Куитай. Зиая, что уговорить его теперь нелегко, что в здравом уме ои ие иаберется храбрости переступить запретный порог юрты, изобретательный коротышка воспользовался новой в ауле возможностью — иапоить блудливого холостяка допьяна.

Рассказывают, что в те времеиа в округе только три казаха хорошо зиали, что такое водка: торговец Шортамбай из уаков, Байдалы из кереев, получивший чии хорунжего, и Шепе, первый пьющий из рода торе. Водку Шепе закупал в городе, старательио прятал ее от всех посторониих глаз и тихонько попивал, разбавляя кумысом.

Прослышав, что Акпаиа иет в ауле, Шепе тут же пригласил к себе Итаяка и предложил ему особеииого кумыса. После трех больших чаш Итаяк заметио охмелел: для такого дела обычио скупой коротышка водки не пожалел.

— Эх ты,— иачал ои поддразнивать пьяиого Итаяка.— Никакого достониства в тебе иет. Погорячился, расплавился как железо и сиова остыл. Ты что, Акпаиа боишься? Ои же

такой, как ты сам. Слуга, черная кость. А еще говорили про твою храбрость.

Итаяку показалось — задета его гордость.

— Что прикажешь делать, Шепе? — спросил он, готовый на все.

— Акпана нет дома, ночь тебя прикроет. Ступай к нему в юрту, а там сам знаешь, что тебе надо делать.

— Ойбай, она хитрая. Ночью, когда нет мужа, накрепко запирается изнутри.

— Тогда заходи днем. Кто тебя заметит? Люди по хозяйству заняты, дети в степи.

Итаяк опрокинул еще одну чашу особенного кумыса, и наглое его лицо расплылось в пьяной улыбке.

— Можно и днем. Отчего нельзя днем?

— Иди и обними покрепче. Баба сопротивляется, пока ее не потискаешь как следует. Остальное от тебя не уйдет.

Итаяк пробурчал что-то себе под нос. На минуту его взяло сомнение: так ли легко все это? Но сомнение было кратким, а опьянение длительным.

Он расхрабрился и отправился в Черный аул. Шепе, чтобы никто не подумал ничего худого, сел на коня и поскакал в противоположную сторону.

... Кунтай хлопотала в юрте одна.

Красный от особенного кумыса, взбудораженный напутствиями коротышки-торе, Итаяк тихо, крадучись вошел в юрту. Даже скрип его шагов не был слышен.

— Наконец-то ты одна, моя курдас, — произнес он хрипло и негромко. Крепко обхватив ее за талию, прижал к себе. Она попыталась вырваться и не смогла. Он не размыкал рук, обдавал ее непонятным кумысным духом. Кунтай сопротивлялась, но силы ее слабели. И тут раздались решительные шаги. Оба оглянулись разом: Акпан...

Акпан так опешил, что окаменел на пороге.

Итаяк не выпускал Кунтай. В пьяном разгоряченном мозгу мелькнула догадка: «Если я ее отпущу, Акпан сообразит — дело серьезное. А так может подумать, что я по старой привычке».

И, насильно улыбаясь, сказал:

— Пошутил я тут, поиграл с ровесницей!

— Когда же наконец я от этой напасти избавлюсь! — вскрикнула Кунтай сквозь слезы.

Акпан молчал в оцепенении.

— Ты что, не на шутку расплакалась? — встревожился Итаяк.

Акпан молчал.

— И это ты называешь шутками!— причитала Кунтай.— Заноза тела моего, погибель моя. Лицемерный бог, почему ты не оградил меня от этого аралши, злого духа беременных женщин.

Итаяк хотел вымолвить еще что-то. Хотел бежать. Но было уже поздно. Распаленный ненавистью и ревностью, не помня себя, Акпан ринулся на него, как беркут. Вцепился в затылок, помотал, покачал его, обмякшего от страха, и в ярости швырнул на землю. Сел на него, вдавливая колени в живот и руками сжимая горло.

— Сам меня заставил, проклятый! Доканал меня! А за что?

Акпан так сдавил коленями живот Итаяку, что у него на губах появилась пена.

Итаяк хрипел. Только одно слово глухим шепотом-стоном смог произнести он. Скорее можно было догадаться, чем разобрать, что он пытался сказать: «Умираю».

Кунтай взмолилась в смятенье и ужасе:

— Момыным, мой кроткий.

Бледная, жалкая, она уже не могла плакать. Метнулась к Акпану, ухватилась за него, чтобы оттащить от Итаяка. Но он словно врос в землю, и пальцы его судорожно и крепко сжимали горло насильника, вторгшегося в юрту.

Итаяк слабо хрипел.

Бессильная, беспомощная, чувствуя, как у нее из-под ног уходит земля, Кунтай вспомнила дочь. Она играла неподалеку от юрты с куколкой и лоскутками, подарком Чокана.

— Айжан!— неестественно звонко позвала мать.

Увлеченная своими забавами, Айжан не слышала до сих пор, что происходит в юрте, но необычно громкий голос матери заставил ее вздрогнуть.

Зов повторился. Зов, похожий на рыдание.

Ничего не соображая, но предчувствуя сердцем ребенка, что произошло что-то недоброе, что-то небывало страшное, Айжан с плачем вбежала в юрту.

Кунтай подняла на руки дочь и поднесла ее к самому лицу Акпана. Он еще не отпускал горло Итаяка. Он ничего не видел вокруг. Айжан истошно закричала.

— Твоя Айжан, Момыным! Смотри, как ей страшно.

Акпан медленно поднял голову и взглянул на дочь. Кажется, сознание возвращалось к нему. Свет в юрте, блестящие от слез глаза дочери, невыразимо бледное лицо Кунтай. Отвернувшись, он увидел мутные стекленеющие глаза Ита-

яка, в уголках его рта пузырилась кровавая пена. Акпан поднялся, взял его за ворот, потащил к выходу и вышвырнул из юрты.

Гнев не покинул Акпана:

— За чем пришел, то н получил!

Куитай, не отдавая еще себе отчета, невольным жестом протянула ему всхлипывающую дочь. Он взял ее правой рукой, прижал к плечу и вдруг в новом порыве злобы левым кулаком с размаху ударил жену в грудь:

— И ты меня доконала!

Акпан опустил Айжан к ногам упавшей матери. Куитай лежала, не приходя в сознание.

Акпан постоял, постоял над ними в угрюмом молчании. Молча вышел из юрты, отвязал заарканенного коня и поскакал в степь. Должно быть, к своему табуну.

Между тем у юрты уже собирался народ. Черный аул заволновался.

— Ойбай, да ведь это Итаяк!

На этот полный тревоги вскрик мужчины откликнулись сразу многочисленные голоса.

— Нет, уже умер.

— Погодите так говорить. Видите — жилка бьется.

— Живой?

— Что случилось? Ойбай, ойбай!— запричитала женщина. Это была Улбосын, сестра Итаяка, недавно вышедшая замуж.

— Не голоси! Кажется, он еще дышит...

— Тогда давайте подымем и отнесем домой, в юрту.

— Как бы не так. В юрту Акпана и понесем,— возразил кто-то с угрозой.— Он его избил, пусть он его и оживит. А нет,— отвечать будет.

— Смотрите, жилка уже не бьется. Да он мертвый. Понимаете, мертвый!..

Потрогали лоб, руки. Сомнений не было: умер.

Улбосын пронзительно закричала. По обычаю она ногтями расцарапала до крови свое лицо и вырвала клок волос из-под платка. К протяжному плачу родственников, к скорбным причитаниям — Ой-бауырым!— присоединились и другие.

В Орду послали конного гонца известить Чингиза.

Куитай очнулась. Шум в ауле постепенно возвращал ей память. Что с ней произошло? Попыталась поднять голову, не смогла. Притронулась к больному месту, но даже слабое прикосновение отдавалось невыносимой болью. Недвижная, подавленная, вслушивалась она в голоса, звучавшие почти

рядом. Поняла: Итаяка уже нет в живых. Что будет с ней, с Акпаном? Напряглась, подняла голову, посмотрела на плачущую Айжан. Хотела обнять ее — не повиновались руки. Отчетливо услышала выкрик:

— Хан едет!

В Карашы Чингиза почти не называли иначе.

... Как только гонец привез ага-султану весть об убийстве Итаяка, он не стал медлить ни минуты. В степи со времени образования округа и прекращения набегов таких случаев давно не бывало.

И как нехорошо, что несчастье нагрянуло в его собственный аул, аул работников и слуг, потомков тех, кто трудился на его отца и на его деда. И как печально, что убийца — его лучший табунщик, непревзойденный дояр кобылиц. Чингизу представилось — сойл, дубинка этой беды, может коснуться и его головы. Обычные тяжбы в округе разбирали бии, самые сложные из них решал сам Чингиз. Но убийство, убийство! Замолчать бы, зарыть в землю труп, но сколько врагов вокруг. Еще обвинят в укрывательстве. Нет, так дело не пойдет.

Чингиз велел подвести к юрте иноходца Сурсулик, прозванного Серой Пиявкой за необыкновенную гибкость и тонкую стать. Он и в безветренный день, летя стрелою, мог подымать за собой вихрь, грива у него вставала дыбом. Но Чингиз обычно предпочитал мелкую иноходь; конь меньше уставал, и выигрывалось время.

Сейчас он изменил своему обыкновению и вовсю гнал своего Сурсулика, оставив далеко позади всадников, сопровождавших его. Но и на полном скаку он обдумывал свое решение и, кажется, нашел его.

— Хан едет! Хан едет!

Его узнали и по резвому бегу коня, опередившего остальных, и по эполетам, сверкающим в лучах зенитного солнца.

— Поскорее расходитесь, нечего показывать хану свои лохмотья и наготу,— сказал один из пожилых людей, знавших порядки в Орде,— без вас разберемся. По домам, да живо!

В Черном ауле боялись Чингиза и все еще продолжали раболепно его почитать, как потомка Аблая, хана, безмерно далекого от простых людей. Многие считали, что им не положено и рядом стоять, и в лицо смотреть, иные просто убегали при его приближении и прятались по своим юртам. В Карашы можно было сыскать людей, так и не повидавших ни разу своего властителя. И понятной становилась гордость одного старца, хваставшего при случае: «Я не то, что у тебя, а в доме самого Чингиза был».

Толпа разом поредела. Как вспугнутые хищником зайцы, аулчане разбежались врассыпную и носа боялись высунуть из своих юрт.

У жилья Акпана, у трупа Итаяка Чингиза ожидали лишь те достойные, которые имели право разговаривать с ага-султаном. Но даже из их числа некоторые думали про себя — будь бы их воля, и они бы ушли. Но тот, настойчивый, пожилой, продолжал распоряжаться:

— Всем расходиться нельзя, нет. Вы хотите, чтобы хан один труп увидел. Вам-то чего бояться, все знают, кто убийца.

— А может, занесем тело в юрту?

— Нет, так нельзя. По новым законам труп должен оставаться на месте преступления, пока сведущие люди, назначенные властью, не разберутся. Подождите, не торопитесь. Хан сейчас будет здесь. Он знает, что надо делать.

— Раньше и стремян его не видели, а теперь заспешил. Не просто теперь убить человека. Слыханное ли это дело?

— Добром не кончится, нечего и говорить.

— А что нам рассуждать? Ответ с того, кто убил.

Заговорил аулчанин, во всем обвинивший Кунтай:

— Одна игривая кобылица двух жеребцов заставит перегрызться. Ах, эта сучья баба. Она натравила друг на друга Итаяка и Акпана. Уничтожить надо эту тварь.

Страсти разгорались:

— И то правда!

— Надо так и сделать, пока не поздно.

— Кровь за кровь. И ей споем жоктау.

— Айда к ней в юрту.

— Да что вы, с ума сошли?— остановил тот пожилой, рассудительный.— Скот пасете, а туда же. Человека решили убить. Женщину, мать. Кто из ваших дедов этому учил? Забыли, что теперь другие законы.

Пожилой так и не получил ответа. Споры стихли. Никто не проронил ни слова.

— Молчите? Значит, дошло до вас. Нельзя теперь человека убить безнаказанно. Чует мое сердце — недоброе началось.

— Брось ты!— пробурчал кто-то.— Назвали тебя однажды знатоком, ты и заделался знахарем. Ты не говори — аул всполошился не зря.

— А зачем тогда хан едет?

— Да он вот уже.

И все замолчали.

До ушей Кунтай доходило почти каждое слово. Слышала она, как пробовали устремиться и к ней в юрту учинить расправу. Резкая боль в груди не притупляла тревоги. Что она ответит хану, если он войдет в ее юрту? Что будет с ней, с детьми? Куда уехал Акпан? Неужели она и впрямь причина гибели человека? Боль в груди и боль в душе сливались воедино. И под тяжестью этой двойной боли она вновь впала в забытье. Заплаканная Айжан прильнула к ней.

Кунтай уже не слышала, как подъехал Чингиз, осадил разгоряченного коня и, не слезая с седла, спросил почтительно склонившихся перед ним пожилых работников:

— Еще жив или...

— Нет его уже, хан-нем!— с трудом выговорил, заглатывая слезы, один из родственников Итаяка.

— Тогда несите его домой,— приказал Чингиз.— Разберите очаг, налейте туда воды и покойника положите сверху. У юрты поставьте охрану. И чтобы ни одна живая душа туда не заходила.

Не задерживаясь, Чингиз повернул обратно в Орду. Пыль взвихрилась на дороге и скоро рассеялась.

Приказ есть приказ. Султану в Черном ауле никто не мог перечить. Но многие остались недовольными:

— Не сказал он толком ничего. До каких пор он, Итаяк, будет так лежать?

... Чингиз действовал по-своему разумно. Больше всего опасаясь, что его постигнет какая-нибудь новая неприятность, он поспешил написать и отправить с конным письмо о происшествии начальнику местного гарнизона майору, известному в казахских аулах под именем Кара-майыра. В ведении этого Кара-майыра находились многие дела округа, в том числе и разбирательство дел, связанных с крайне редкими в последнее время убийствами. От Орды до Баглана было сто пятьдесят верст. Майор, получив известие от Чингиза, не стал откладывать сборы. О подобных случаях ему давно не приходилось слышать. Он прихватил с собой военного врача и на четвертый день после смерти Итаяка прибыл в Орду.

Стояло знойное лето, и труп даже в тени над прохладной водой начал разлагаться. Военный врач по закону произвел вскрытие в присутствии майора, Чингиза и понятых из аула. Обнаружилось, что Акпан сломал Итаяку ребра, разорвал печень и раздавил желчный пузырь. От этого и произошла смерть.

Акпан на допросе говорил правду. Майор хотел вызвать на допрос и Кунтай, но она сама прийти не могла. Чингиз от-

говорил майора брать показания у постели больной, в ее юрте.

— Поймите,— говорил Чингиз.— Она ничего путного не скажет, все время теряет сознание, почти при смерти. Не стоит ее тревожить.

На самом деле Чингиз опасался, что Кунтай может наболтать лишнего, назовет имя Шепе, н тогда на него, султаиа, немннуемо ляжет тень этого дела.

Акпана арестовали и под конвоем четырех солдат н урядиика пешком по этапу отправили в Баглан. Майор, уезжая, сказал, что судить его будут, очевидно, в Омске, и в деле должен принять участие областной прокурор.

Когда военные отбыли, Чингиз, естествеино, сам попытался подробнее разобраться в истинных обстоятельствах убийства. Он послал к Кунтай своего верного человека. Кроме иескольких незначащих фраз Куитай ему ничего не сказала:

— Сколько мне пришлось перенести в эти днн. Вот и заболело сердце от печалей, вот н сознание теряю...

Об Акпане, о том, что это именно он ударил ее в грудь, она промолчала. Об этом не узнал никто, в том чнсле и доверенный Чннгиза.

Не было основанні сомневаться в ее словах. Отчасти поверил ей и Чингиз. Но только отчастн. Порою в его душе вспыхивало жестокое желание: лучше Кунтай умерла бы до начала суда над Акпаном. Мало ли что может иначе случнться. Всплывет имя Шепе, и тогда начнут развязывать узел.

...Кунтай лежала в постели, слабея с каждым днем. Да н кто ей мог помочь в ауле? Удар обезумевшего от ярости Акпана сделал непоправимое. Сильно поврежденное левое легкое начало загнивать. Пострадало и сердце, так нарушившее свой обычный рнтм, что она порой теряла сознанпе.

О себе Кунтай не думала. Ей больше всего было жаль детей. Не пнтала она злобы н к Акпану. Когда она узнала, что его увелн под конвоем в тюрьму, слабенькая надежда снова сладнть семью исчезла окончательно.

А сам Акпан? О чем он размышлял в это время? С той минуты, как он ускакал в степь, в свой табун, он, восстанавливая в памятн все случившееся, понял, что того хорошего, что пришло к нему в юрту вместе с Кунтай, уже не вернуть.

Ударив жену в порыве яростн, он видел, как сквозь дурной сон, что она упала. Позднее, во время допроса, он узнал, что она так и не встала с постели. Акпан не сомневался — она нн в чем не виновата. Кунтай была верной подругой п брату Нуртаю и ему самому. Он мстил Итаяку, он был готов

отомстить и Шепе. Но в тот час чувства мести и гнева лишили его рассудка и заставили его поднять руку на беззащитную, добрую Кунтай. Так он сам, против своей воли и разума, свою опору превратил в копье. Жизнь сломалась, ее больше не склеить. Прощай, милое время, прощайте заботы, которыми окружила его Кунтай, ненадолго внесшая свет, тепло и ласку в Черную юрту, никогда не знавшую счастья.

Много ли хорошего видел Акпан в своей жизни? Что он знал до брака с Кунтай, день и ночь работая на Орду? Угостят жирными объедками с гостевого дастархана — он и доволен. Выпьет свои чаши кумыса — чего можно желать еще? Дни с Кунтай — это как волнистая пена на озере в ветреный день. Стихнет ветер — нет ни волн, ни пены. Так нет теперь и его счастья. Случайно оно ему досталось, случайно и ушло. Судьба всегда была немилостива к нему. Хватит для вечного слуги недолгих лет, проведенных с ласковой Кунтай. Прошедшего не вернешь. И Акпаном овладело равнодушие. Пусть арест, суд, ссылка туда, на север, где на собаках ездят.

Но Кунтай думала по-другому. Все ее помыслы сосредоточились на Жайнаке и Айжан. Ради них мечтала она подняться, выздороветь. Особенно ради Айжан.

Жайнаку тоже трудно придется без нее. Но не он первый, не он последний. Много сирот вырастает в аулах. Часто заливаются они слезами, однако не пропадают, и жизнь у них, бедная и нелегкая, все-таки налаживается.

А у девочки-сироты судьба — хуже и не придумать. Даже в байской семье девочка, оставшись без родителей, испытывает такие унижения, так достается ей от мачехи, что она и света божьего не видит. И от замужества ей не ждать ничего хорошего. Редко, очень редко тут бывают удачи. Так и будет она мыкаться до конца дней своих. Айжан — не байская дочь, а дочь бедняка. И не просто бедняка, а бедняка-слуги, раба Орды. Пусть дала ей природа красоту. Будь бы благополучно в семье, стала бы она невестой, нашли бы ей достойного джигита. Но если отец в ссылке, а мать вот-вот умрет — ничего радостного будущее ей не сулит.

Грустные эти мысли заставили Кунтай с трудом встать на ноги, несмотря на продолжающуюся болезнь. Надо же както вести хозяйство, что-то делать по дому. Сперва приходила соседка, доила верблюдицу, готовила горячую еду, немного ухаживала за детьми. Но у соседки и самой было полнымполно забот, и кроме того она была на редкость неряшливой, и это особенно раздражало привыкшую к чистоте Кунтай.

Она медленно передвигалась по юрте, выходила доить

Черный родник, с грустью понимала, что в ее руках и пальцах не осталось и десятой доли прежней снлы. Наступил день, когда она слегла снова и на этот раз окончательно.

Опять пришла на помощь неряшливая соседка. Спасибо ей! Что бы делала без нее Кунтай! Приходилось мириться с ее неумением следить за чистотой, с ее неаккуратностью и от всей души благодарить за искреннюю добрую заботу.

Многие людн в ауле поверили словам Кунтай, что она заболела от печалн. Но когда пошли рассказы, как она задыхается, как появнлась кровь в мокроте при кашле, поползлн слухи о «червивой болезни», как называли в степи чахотку. Ее боялись как огня. Горький опыт говорил: червивая болезнь, как сажа. Прикоснешься — обмажешься. И кроме душевной соседки, больше никто не заходил в ее юрту.

В ауле не было конца толкам и пересудам. Одни злопыхательствовали, другие сочувствовали.

Те, кто прежде завидовали Кунтай, ее близости к Орде н Зейнеп, ее миловидности, счастью, пришедшему к Акпану, даже новому войлоку его старой юрты, теперь развязали ядовитые языки:

— Аллах знает, кого наказывать! Двух мужчин нашего аула извела. Одного в гроб загнала, другого — в тюрьму. Будет маяться на чужой стороне. Велик ее грех, потому бог и послал распутнице лютую болезнь. Сдохнет — так ей н надо!

Но сердобольных, отзывчивых было все-такн больше:

— Это коротышка Шепе убрал сразу и Акпана и Итаяка. Но почему его не карает бог? Правду говорят, шокпар всегда ударяет по несчастному. Вот бедная Кунтай и слегла. Один ушел из мира сего. Акпан и в чужой стороне не пропадет, без куска хлеба не останется. Все горе — на плечах больной вдовы. С каждым днем ей хуже. Не дай бог, умрет, что будет с ее цыплятами без матери, без крова. Как жить-то им, маленьким?..

Словом, говорили разное.

И не зря, совсем не зря, добрые аулчане были озабочены судьбой друзей Чокана — Жайнака и его маленькой сестренкн Айжан.

В памятный день гибели Итаяка Чокан и Жайнак вместе с другими мальчншками играли на кусмурунском такыре.

С такыра хорошо была видна Орда, возвышавшаяся на холмах, а поодаль торчали верхушки юрт Черного аула, спрятанного в низине.

Жайнак первый приметил, как стремительно поскакал Чин-

гиз нз Орды в сторону его аула. Приметил и разволновался, мгиовенно подумав, что не нначе, как случилась беда.

— Смотри, смотрн! Что это? Зачем султану понадобилось так торопиться к нам?

Но испуганные возгласы Жайнака не произвели никакого впечатления на Чокана. Увлеченный состязанием в альчики, он только что промазал, и ему непременно хотелось отыграться. Вот-вот ему повезет! И действительно, повезло. Он, как опытный стрелок, прищурившись, тщательно вымернл расстояние и битой с влитым в нее свинцом стал подряд сбнвать альчики, выстроенные в ряд.

Жайнак не успокаивался:

— Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Хан-ием в наш аул поскакал.

Чокан продолжал игру. Жайнак толкнул его под руку, и он вскипел:

— Перестань мне мешать. Не вндишь, что ли, я выигрываю.

И, тяжело дыша от негодоваиия, поведал своему другу притчу об охотнике.

— Ему сказали: «В ауле верблюд подыхает, а в твоей юрте дед умер». Охотник и отвечает: «Верблюда прирежут, а деда похоронят. Меня же не отвлекайте! Когда еще встретится такая добыча». Вот н ты пристал ко мне, когда удача пришла. Второй раз ее не дождешься!

— Без причины султан не поскачет!— продолжал волноваться Жайнак.

Чокаи повторил еще раз слова охотиика и добавнл:

— Не приставай ко мне! Дай доиграть.

Жайнак повиновался Чокану, не стал больше докучать, но тревога неотвязно будоражила его. В самом деле, зачем поехал хан в нх аул?

Игра закончилась под вечер, Чокан оказался победителем. Он не только быстро сравнял счет, но и остался еще н в большом выигрыше. Обрадованный победой, он прямиком отправился в Орду. Жайнак, обычно провожавший его до Белой юрты, присоединился к ребятам-карашынцам. Предчувствуя недоброе, он поскорее стремился узнать, что же стряслось в ауле.

Чокан, возвратившись домой, сразу вспомнил и внезапиую поездку отца и волнеиие Жайиака. В юрте тихо и вяло занималась по хозяйству Зейнеп.

— Апа,— спросил он мать,— зачем он туда ездил?

— Да просто так,— неохотно и кратко ответила Зейнеп.

— А где сейчас отец?

— Уехал на охоту с беркутом.

Ответы матери были спокойными, Чокан наскоро поужинал и, утомленный игрой на такыре, завалился спать раньше времени. Ему и в мысли не приходило, что случилась беда.

Спал он крепко и долго, проснулся позднее обычного. Все уже встали. Должно быть, приближался обеденный час. Но тундик в юрте до сих пор не был открыт, и отец в полумраке читал молитву.

Чингиз не отличался аккуратностью в исполнении положенных мусульманам религиозных обрядов. В свободное от дел время или в часы угнетенного настроения он отдавал дань нафилю — молитве, не прочитанной в срок. И тогда долго не сходил с коврика — жайнамаза и усердно клал земные поклоны. Чингиз не терпел шума и малейших разговоров, когда исполнял молитвенный обряд. Одно неосторожное слово выводило его из себя; он обрывал молитву на полуслове и резко одергивал виновного. Как только Чингиз становился на жайнамаз, Зейнеп выводила детей из юрты. Если в Орде бывали гости, и они не смели войти в эти часы к султану.

Чокан посмотрел на молящегося отца и смекнул: скоро он свой нафиль не закончит. Мальчик осторожно поднялся с постели и на цыпочках выскользнул из юрты. Уже хотелось есть. В столовой юрте он застал мать. Зейнеп сидела пригорюнившись, низко опустив голову.

— Что случилось, апа? — Его одолевали тревога и недоумение.

Мать растерянно посмотрела на своего Канаша и ничего не сказала. В ее глазах он уловил нечто большее, нежели грусть. Чокан понял: от него скрывают что-то серьезное.

— А Жайнак приходил, апа? — Он с умыслом задал этот вопрос. Ему и вправду надо было знать, появлялся ли его друг, еще вчера обещавший зайти за ним утром. И не было еще случая, чтобы Жайнак нарушал свое слово, даже если Чокан спал, он предупреждал мать или слуг, где он будет его ждать. Но Чокану кроме того хотелось развязать язык матери.

Уж не поссорились ли они с отцом? Чингиз даже в приступах гнева и пальцем не притрагивался к Зейнеп. При размолвке мать просто уходила из Белой юрты, пережидая где-нибудь в сторонке, пока Чингиз придет в себя и остынет.

Должно быть, они в самом деле поссорились, решил Чокан, представив отца на жайнамазе и опечаленную мать, не

ответившую и на второй его вопрос. Наспех закусив, он вышел из юрты.

Перед самой юртой находился жер-ошак, яма для котла, в котором приготавливался обед. Возле крутилась Шуйке, сменившая Кунтай после ее ухода в Черный аул.

— Шуйке, ты не видела Жайнака?— окликиул Чокан служанку.

— Нет!— помотала она головой.

— Апырау, он же обещал прнйти! Может, ты что-нибудь знаешь?

— Ничего я не знаю,— как-то странно ответила Шуйке, продолжая хлопотать у очага. И тут Чокан заметил, что и Шуйке тоже не такая как всегда. Мрачная, прншнбленная. Разговаривать ие хочет.

— И что это сегодня со всеми вами?— повыснл голос Чокан.

В ответ Шуйке разрыдалась. Словно она ждала этого вопроса, чтобы горе, переполнявшее ее, выхлестнулось наружу.

Чокан, гордый мальчишка, не стал расспрашнвать служаику. Да ему н не хотелось расстраивать ее дальше. Поплачет и отойдет. Он вернулся в столовую, чтобы добиться накоиец ответа от матери. Теперь он был уверен, что никакой размолвкн между роднтелями ие произошло, а случилось что-то серьезное.

Мать сидела по-прежнему с низко опущениой головой.

— Апа!— громче, чем в первый раз, обратился к ней Чокан.— Объясни мне, что делается в ауле. Почему вы все такие печальные? Почему ты молчишь? Что с тобою? С отцом? Почему плачет Шуйке?

— Нагашн у нее скончался, вот что!

— Нагаши?— Чокан не знал, что Итаяк прнходился ей нагаши, родственннком по матери.— Какой нагаши?

— Итаяк, ты его знаешь. Он ходил сюда.

— Тот, что в юрте дяди Шепе пропадал?

— Он самый.

— Отчего он умер, апа?

— Его Акпан убил.

— Наш Акпан? Что стал отцом Жайнаку? Отец Айжан?

Чокан растерянно смотрел на мать. Его созианне не могло усвонть все сразу. И первое чувство, возникшее в его душе, было испугом.

— Как же так? Как же так?— повторял он в надежде, что мама объяснит ему без недомолвок, почему все это случнлось.

Но Зейнеп молчала.

— Ты почему так печалишься, апа? Ты чего-то боишься еще? Да?

— Да, боюсь. Ты угадал, Канаш. За отца твоего боюсь, за твоего ага...

У Зейнеп задрожали губы.

— Я ничего не понимаю, апа... Ты правду сказала, что его убил наш Акпан?

— Правду, сынок!— И Зейнеп расплакалась, как только что плакала Шуйке.

Чокан вышел и, увидев на привязи коня пастуха, освободил его от аркана и помчался в Черный аул.

Мысли его разбегались. Должно быть, Шепе натравил на Кунтай Итаяка. Итаяк своими приставаниями надоедал ей, Акпан и убил его поэтому. Но зачем? Ведь Акпан и Кунтай доверяли друг другу, и разве могла Кунтай ответить на призывное ржание этого жеребца — Итаяка?

Мальчуган, он уже рассуждал как взрослый.

Кунтай лежала на постели и даже не шелохнулась при появлении Чокана. Уткнув лицо в грудь матери, плакала Айжан: это было видно по ее вздрагивающим плечам. Жайнак, свернувшись в колечко, застыл на полу.

Чокан замер в растерянности. Но тут поднял голову Жайнак. По лицу его были размазаны слезы: видно, ни вчера, ни сегодня он не умывался.

— Чокан!— Он подбежал к своему другу, обнял его и разрыдался.

Чокан, выросший в степи, слышал не раз, как отчаянно кричит козленок, как пронзительно ржет жеребенок, настигнутые волками.

Так звал на помощь и Жайнак.

Жалость и боль охватили Чокана. И, еще не зная всего, он тоже не смог сдержать слез. Впервые в своей жизни он так сочувствовал чужому горю, словно оно было его собственным.

Мальчики плакали обнявшись. Никакие слова не шли им на ум.

— Светики мои!— тихо простонала Кунтай.— Светики мои, не надо так...

Они подошли к постели. Печальные глаза Кунтай будто говорили: «Мне ведь еще тяжелее, чем вам. Но вы успокойтесь». Айжан по-прежнему прижималась к матери, только ее плечики больше не вздрагивали.

— Что с моей Ак-апой?— спросил Чокан одновременно и Кунтай и Жайнака.

Мать и сын промолчали. Кунтай не хотела, чтобы знали, как ее ударил Акпан.

— Что случилось, Ак-апа?— Чокан склонился к ней, ожидая ответа.

— Ты разве не слышал, Канашжан? Всем уже известно,— с трудом проговорила Кунтай. Ее дыхание было тяжелым, учащенным.

— Значит, это правда, что Итаяк скончался, и его убил Акпан?

— Правда,— только и смог сказать Жайнак. Мать молчала.

— Но за что же, за что?

Никто не ответил Чокану. Впрочем, он и сам смутно понимал это. А что произошло с Кунтай, он так и не узнал.

Говорили, она заболела от горя. Но разве может от горя так заболеть человек?

...Кунтай становилось все хуже и хуже. Болезнь развивалась. И опрятная прежде юрта выглядела все запущенней.

Похудели и Жайнак с Айжан.

Жайнак порой еще убегал с Чоканом в степь, еще участвовал в играх. На Айжан горе сказалось сильнее, приметнее. Она почти не отходила от матери. Ее одежонка как-то сразу обтрепалась, пообветшала. В ней и узнать было нельзя прежней хорошенькой веселой девчушки. У Чокана душа болела при одном взгляде на нее. Но чем он мог ей помочь?

Как-то, оставшись наедине с матерью, он попросил ее взять Айжан в Орду, в Белую юрту. Зейнеп не поняла сына, даже возмутилась:

— Ничего ты не понимаешь в жизни, сынок! Да разве можно такое сделать? От живой матери дочку взять! И разве я должна воспитывать дочь служанки? Удивил ты меня, Канаш!

Месяц проходил за месяцем. Кунтай не поправлялась.

Наступили дни, когда кереи и уаки окружили Орду Чингиза и вновь вспыхнули родовые распри. Произошел случай с ягненком, когда злая шалость Чокана разгневала Отея и бросила на Чингиза новую тень. В это время, когда Чокан скрывался в крепости Шамрая, Жайнак сумел скрытно пробраться к своему другу:

— Плохо у нас. Не выживет мама, нет.

Той же ночью Чокан вместе с Жайнаком побывал в Черном ауле.

Кунтай растрогалась. Не забыл мальчик свою Ак-апу! Она

привлекла его к себе, приласкала слабеющими руками, крепко поцеловала.

— Спасибо, Канашым-ай,— выбирала она самые нежные слова,— что еще сказать тебе?

Могла ли она предугадать, что вместе с поцелуем передает своему любимцу яд «червивой болезни» легких, как называли тогда туберкулез. Могла ли она хоть на минуту представить, что спустя много лет заболеет чахоткой и Чокан. Если бы она знала все это, разве она позволила бы себе приблизить мальчика, поцеловать его.

Чокан понял — и по хрипам в груди, и по тому, что Кунтай кашляла кровью, и по бледности ее — она вот-вот умрет.

Но накануне отъезда в Омск ему сказали, что Кунтай стало чуточку легче.

...И, забившись в дальний угол возка, он вспомнил свою Ак-апу, вскормившую его, как мать, мысленно увидел ее, больную, в запущенной юрте Акпана и посчитал недостойным для себя уехать в Омск, не попрощавшись с ней.

Поэтому он и рванулся к поводьям жылан-сыртов, поэтому так круто и повернул коней в сторону Черного аула. И Чингиз, попытавшись вначале отговорить сына, смирился с его желанием и, пусть не до конца, но разгадал смысл посещения Карашы. Он еще раз убедился в настойчивом до упрямства характере Чокана. Такой своего непременно добьется, а по строптивости своей и возок перевернуть может.

Так, сделав несколько неожиданных поворотов, они оказались опять не столь уж далеко от Орды. Приближался аул Карашы...

...Едва пришедшая в себя после разлуки с сыном Зейнеп напряженно всматривалась вдаль. Может быть, еще увидит возок, уносящий милого Канаша в далекий город. И вдруг она заметила жылан-сыртов совсем недалеко от Черного аула. На облучке сидел ее Чокан.

Тотчас она кликнула джигита, велела быстро оседлать Сурсулика и подвести к ней. Она перестала ездить верхом с тех пор, как начала полнеть. Но тут с легкостью молодости вскочила в седло и помчалась к аулу Карашы. Сурсулика не надо было погонять. Он несся птицей. Значит, она еще раз увидит Канаша и снова поцелует его на прощание.

Когда Зейнеп прискакала в аул, то поразилась увиденным. У юрты Акпана собрались чуть ли не все жители Карашы. Точно само горе, сама бедность столпились здесь. В тесноте этой коню не проехать, пешему не пробиться. Многие собравшиеся были изможждены, как скот после зимнего джута ранней

весной. И лохмотья, лохмотья, дыра на дыре. А сколько было калек — и хромых и слепых. Зейнеп только однажды была в Черном ауле. Она впервые увидела почти всех его жителей во всем их убожестве.

Она соскочила с коня и прежде всего поискала глазами Чокана и Чингиза. Возок с Чингизом и Драгомировым стоял в сторонке от юрты, и Зейнеп его не заметила. Вдруг ей пришла мысль, что аульные жители, узнав об уходе Чингиза с должности султана, решили теперь открыто показать ему свое пренебрежение. Одна эта догадка оскорбила ее, привела в ярость. Устроить бы вам взбучку, подумала Зейнеп. Быстро прошла в юрту, не глядя ни на кого, увидела Чокана. И минутный этот взрыв сменился приступом материнской тоски.

Чокан и Жайнак стояли у очага. Тихие, окаменевшие, непохожие на себя. Кунтай с побелевшим лицом неестественно вытянулась на постели. У ее ног навзрыд плакала Айжан.

Зейнеп подошла ближе. Неужто скончалась? Скончалась... В тусклых, широко открытых глазах не было жизни. Зейнеп отшатнулась от покойницы и взглянула на Чокана.

— Апа!— Мальчик был бледен, он впервые столкнулся лицом к лицу со смертью.— Апа, нет теперь больше твоей Светлой сестры!

Чокан, пересилив страх, шагнул к умершей, протянул руки к Айжан, плакавшей на ее постели, приподнял девочку и привлек к себе.

Зейнеп смотрела на сына и на Айжан. Давно она ее не видела. Как она переменилась, боже! Увяли, пожелтели еще недавно пунцовые щеки. Уменьшилось и стало костлявым плотно сбитое тельце. Тоненькие ножки торчали из-под ситцевого, потерявшего цвет, заношенного рваного платьишка. Бедность, бедность... Раньше она как-то не замечалась. Курчавые густые волосы спутались, свалялись в клочья, как шерсть у истощенного верблюда. Особенно неузнаваемым стало лицо. Айжан забыла, что надо умываться. Бледными полосками застыли следы от струек слез.

У Зейнеп заболела душа. Она тоже расплакалась, глядючи на девочку.

— Что с ней, бедненькой, стало?

И такое участие звучало в словах Зейнеп, что Чокан мягко подтолкнул Айжан к своей матери. Девочка сопротивлялась, по-прежнему испуганно поблескивали ее глаза затравленного, беззащитного зверька.

— Апа, ее судьба теперь в твоих руках.— Чокан вкладывал

в каждое слово и мольбу, и нежность, и твердость.— Апа, случится что-нибудь с ней, грех будет на твоей душе.

— Слушаю тебя, Канашжан! Как ты хочешь, так и сделаю. Скажи только, как мне поступить?

— В наш дом возьми ее, апа. И пусть она растет вместе с нашей Ракией.

— Будет по-твоему, Канаш!

Чувства сына передались матери. С печальной добротой глядела она на девочку.

Чокан отпустил Айжаи, прикрыл глаза рукавом и выбежал из юрты. Не видя ничего вокруг, он добрался до возка, сел на свое место.

— Тронулись, Абы!

Чингиз и Драгомиров молчали, понимая теперь, что произошло.

От жителей Черного аула ничего не укрылось. Разговор Чокана с Зейнеп передавался из уст в уста.

Пролетка медленно отъезжала, а вслед звучали благодарные слова напутствия:

— Счастливого тебе пути, Чоканжан!

Рыбаки

— Значит, прежней дорогой поедем, хан-ием?— спросил Абы, снова взявший в руки вожжи.

Чингиз посмотрел на Чокана. Мальчик снова забрался в дальний угол возка, отвернулся от всех. После пережитого ему говорить не хотелось, и отец понимал сына. Понимал, что теперь, после такого неожиданно горького расставания с Черным аулом Чокану безразлично, каким путем ехать дальше. И Чингиз ответил Абы:

— Мы же договорились, что поедем напрямик. Вот и езжай, как сказали раньше.

— Хорошо, хан-ием. Я ведь только так, на всякий случай, спросил.

Лошади набирали скорость. Они резво катили возок вниз по склону оврага. Но, перевалив через ложбинку, почувствовали власть сильных многоопытных рук Абы и осторожно стали подниматься на противоположный склон.

Чокан не давал знать о себе. Возок укачивал путников, то подпрыгивая на ухабах, то кренясь из стороны в сторону. На ровной дороге Чингиз не обращал внимания на Чокана, но как только возок начал раскачиваться, отец обеспокоенно по-

глядывал на мальчика. Он наклонял к нему свое крупное тело и руками поддерживал его. Ему хотелось поговорить с Чоканом, чтобы как-то вывести его из состояния оцепенения. Потом Чингизу показалось, что сын вздремнул. Он достал мягкую кожаную подушку и подложил ее Чокану под голову. Чокан сделал вид, что не заметил, но ему стало уютнее и спокойней.

Нет, он вовсе не спал, хотя его глаза были плотно закрыты. Он и не думал притворяться. Просто ему так было лучше. Откроешь глаза — только и видишь борт возка. Закроешь глаза, и в воображении одна за другой проносятся картины, которые хочется представить. Он сейчас старался не думать о смерти Кунтай. Он переносился мыслями в те времена детства, когда отец брал его с собой в свои поездки — показать свет, людей, приучая его к убеждению, что и он в будущем должен стать одним из самых уважаемых людей в степи.

В ту пору судьба была милостива к Чингизу. Где он только не побывал! И под Оренбургом и в Сибири. Ему были знакомы большие и малые горы к югу от Кусмуруна, Каракойын и Кашырлы — на юго-востоке, Чингизтау и Семейтау — на востоке, Баянтау и Кереку — на северо-востоке, Тюмень и Ирбит — на северо-западе, Тургай и Тосын — на Западе. Со многими батырами и знатными людьми тех краев вел он дружбу, сиживал за одним дастарханом. И часто вместе с отцом был и Чокан.

Крепко зажмурившись, Чокан видел себя прежде всего на высотах Кусмуруна. Оттуда ему открылась впервые степь — чуть всхолмленная, с редкими островками лесов. Но, представив эту степь, он заглядывал мысленно и дальше, за пределы горизонта. Он вспоминал места, где случалось бывать с отцом, любуясь с выступа Кусмурунского мыса знакомой зеленью, выискивал глазами овраги и овражки, он стремился вообразить и неведомые земли под вечно голубым куполом неба, где он еще никогда не бывал, но непременно будет. Снова возникали перед ним удивительные горы, которыми он любовался вместе с отцом. И ему не терпелось сказать про себя: «А вот и я!» Но ведь существуют на свете места еще прекраснее. И когда-нибудь они появятся перед ним не в дымке марева или воображения, а так же зримо и доступно, как борт возка,— стоит ему только открыть глаза.

Одна картина сменяла другую: сопки, леса, озера, аулы на берегах заросших кустарником речушек, аулы в березовом лесу, аулы в открытой степи, где нет ни одного деревца.

Аулы и степь! Он был привязан к ним с младенческих лет. Ему приходилось бывать в больших русских поселках и в не-

больших городах — их тогда называли шахары. Но у него не хватало терпения останавливаться подолгу. На второй день его тянуло уже сниматься с места и продолжать путешествие...

В детском представлении Чокана вся земля казалась степью без конца и без края, и аул был лучшим селением на этой земле.

Аул...

Из всех виденных им многочисленных аулов Чокан хорошо знал пока только два: это Ханская Орда и аул Карашы. Остальные мелькали, словно в тумане. Запоминалась только байская юрта, где обычно останавливался отец. Иногда это была белая юрта, правда, не такая светлая, как в Орде у самого Чингиза.* Часто встречались юрты потемнее, их кошмы сплетались из шерсти разных цветов — белых, сероватых, черных. Черные юрты — признак бедного жилья — Чингиз обычно объезжал стороной.

Черные юрты знакомы Чокану только по Карашы.

Аул Карашы казался мальчику адом по сравнению с их аулом — Ордой. Они стояли неподалеку друг от друга, а в сущности — далеко. И ничего похожего не было ни во внешнем их облике, ни в жизни людей. В Орде не думали, что завтра надеть, что поесть, на каком коне поехать. Здесь было вдоволь одежды, пищи, скакунов. В Черном ауле ничего не хватало. Нужда была в каждой юрте. Люди сгибались под тяжестью труда, старели прежде времени. В Орде все, кроме слуг, умеют повелевать, все важные, исполненные достоинства. В Черном ауле — все работники, все рабы. Они обязаны работать на Орду, кормить ее. Работать даром, почти ничего не получая взамен, даже благодарности. Сколько ни трудись — спасибо не скажут. Есть торе и есть, к примеру, Акпан. Входил, как говорится, в дом — с дровами, выходил — с золой. Днем доил кобылиц, ночью пас. Был незлобивым, честным. А что он получал в награду и почему он человек черной кости? Почему были нищими и его дед и его отец? Какая за ними вина?

Не вдруг стал мучиться Чокан такими вопросами. Как-то он спросил об этом у отца, потом у матери: «Отчего так?» И оба ответили одинаково:

— Таково веление аллаха. Так записано в лаухол-махфузе.

— А это что такое? — Чокан не понимал значения слов «лаухол-махфуз». И Чингиз и Зейнеп, как смогли, объяснили. Чокан мало что уразумел и неожиданно сказал тогда:

— Значит, так велит жить сам бог?

И Зейнеп, не зная что ответить, даже рассердилась и резко оборвала сына:

— Не смей, сынок, так говорить, грех на себя возьмешь.

И сейчас Чокан, прижавшись к подушке, думал под покачивание возка о велениях аллаха, о смутных ответах родителей и неизбежно возвращался в мыслях к осиротевшей юрте Акпана. И снова испытывал боль и жалость. Слова старших: «прошлому — отходную, оставшимся — жизнь» он слышал не раз. Но на какую жизнь обречены Жайнак и Айжан? Мать дала ему обещание взять девочку в семью. Он верил — ей помогут. А Жайнак? Он его любил от души и всегда мечтал быть вместе с Жайнаком всю жизнь. И вот пути их разошлись. Как-то, когда они играли в степи, Жайнак спросил:

— Я слышал, Чокан, ты едешь учиться. Это правда?

Чокан даже удивился неожиданному вопросу. Он сам еще ничего не знал.

— В Омск, говорят, едешь,— не унимался Жайнак.

— И зачем мне только ехать в Омск?

— А мне откуда знать? В ауле, слышал, старики рассуждали: «Ханскому роду, мол, идет русское учение».

— Ну и пусть рассуждают.

— Значит, ты не поедешь? Не хочешь дорогой отца идти?

— Моя дорога — не дорога отца,— ответил тогда Чокан.— Никуда я не поеду.

На этом тогда и кончилась их беседа. Но скоро снова поползли слухи: «Султан решил везти Чокана в Омск учиться». И тогда разговор друзей возобновился. Похоже, Чокан уже дал согласие ехать?

В этом была большая доля правды.

Еще до встречи с Драгомировым и своего окончательного решения Чингиз однажды приласкал Чокана и сказал ему:

— Повезу тебя, айналайын, в Омск, в русскую военную школу.

— Тогда вези меня с Жайнаком!— огорошил отца Чокан. Чингиз ничего не пообещал сыну, хранила молчание и Зейнеп, присутствовавшая при этом разговоре. Позже, когда все уже было решено окончательно, Зейнеп, предчувствуя и переживая разлуку с сыном и стремясь как-то облегчить его участь, наедине с мужем обратилась к нему с просьбой.

— Раз уж ты сказал, значит, увезешь нашего Канашжана,— всплакнула она.— Куда уж мне разубедить тебя! Ты от предков своих унаследовал упрямство. Но он у нас избалованный, грустно ему будет там одному...

— Что же ты хочешь, чтобы я сделал?

— Одного я прошу: они с Жайнаком росли, как ягнята-близнецы, повези их, Чингиз, вместе, ладно?

Чингиз немного помолчал, точно призадумался, а потом коротко отрезал:

— Не быть тому!

— Почему, мой султан?

— Волка и лису не растят вместе.

— При чем тут волк, при чем тут лиса?

— Ну как тебе втолковать? Пойми, если раб будет учиться вместе с торе, то завтра они станут врагами.

— Да они же друзья, не может этого быть! И разве мы слышали о таком когда-нибудь?

— Ты не слышала, а я слышал. Потомка хана Айшуака Баймагамбета-торе отец повез учиться в Оренбург, к русским, и захватил с ним вместе Махамбета, сына своего «карашы» Утемиса. Махамбет и Баймагамбет тоже, как наши Чокан и Жайнак, были одногодками и росли вместе. Прошло время, и они стали непримиримыми врагами. Махамбет присоединился к Исатаю, сыну Таймана, и выступил против хана Букеевской орды Жангира и даже против царя устроил великий разбой...

— Астапыралла!— ужаснулась Зейнеп.

— Вот тебе и «астапыралла!» До убийства дело дошло, чтоб ты знала. Зачем же я буду готовить себе врага из нашего Черного аула?

Зейнеп замолкла. Чингиза нельзя было переубедить.

Настало время, и Чокан, отчаянно сопротивлявшийся поездке, принял ее, как неизбежное. И снова подумывал, как бы ему захватить с собою Жайнака. Правда, втайне он решил: не понравится ему в Омске, сбежит в степь, в аул. Ну, а если все будет хорошо, почему бы и не остаться. Конечно, с Жайнаком было бы лучше. Но когда у самого нет уверенности, стоит ли подвергать испытаниям друга? А тут на Жайнака свалились несчастья одно за другим. И вот он, Чокан, едет, а Жайнак, круглый сирота, плачет в юрте Акпана. Что с ним будет дальше? Уйдет в пастухи? Начнет бродяжничать из аула в аул? Чокану приходилось встречать в степи таких мальчиков-бродяг. Как же ему помочь? Это же в конце концов его долг. Мысль об оставшемся Жайнаке все настойчивее, все острее бередила ему душу. Исчез возок, исчезла степь, одни Жайнак маячил перед глазами. А что если обратиться к отцу? Пусть он пообещает так же заботиться о Жайнаке, как мать пообещала ему заботиться об Айжан. У матери отзывчивое сердце. Но как отнесется к его просьбе отец?

Постукивали копытами кони, покачивался возок, и Чокан задремал. И то, о чем он думал наяву, перевоплотилось в беспорядочные сны. То они скрываются с Жайнаком в темной

волчьей пещере, то плачет в рваном платьице Айжан, то скалит зубы дядюшка Шепе, и у него волчьи глаза.

Время от времени оборачиваясь к сыну, молча думал о своем и Чингиз. Судьба вначале сулила ему удачи. Его с уважением называли торе, считали последним в роду и первым в степи. И что же оказывается? Последний в роду, он давно перестал быть первым в степи. Нет ханской ставки. Он уже не ага-султан. Сына он везет в Омск, а что будет с ним самим? Поднимется ли он снова? Или...

Молчал Драгомиров, перебирая в памяти свою жизнь. В глухой степи бок о бок с опальным султаном в этом пестром размалеванном возке с горькой улыбкой он восстанавливал свою родословную. Его предки были древними новгородскими князьями. Его пращур Гавриил Терентьевич Драгомиров пошел против Ивана Грозного и положил за это голову на плаху. Род Драгомировых и позднее был не в чести у царского двора. Отцу Александра Николаевича, тогда совсем молодому офицеру, досталось от курносого безумца императора Павла, и он вынужден был уехать далеко на восток страны. Служил Николай Августович исправно, нес царскую службу и мог бы вернуться в Петербург, да уже как-то не тянуло. И своего сына, первенца Александра, отправил не в столицу, а в лучшую по тем временам и едва ли не единственную в Сибири офицерскую школу в Омске. Там, в Омске, подготовлялись военные не только для Сибири, но и для утверждения России в Средней Азии. На азиатском отделении изучался татарский язык, считавшийся тогда необходимым для познания языков всех тюркоязычных народов, изучались история и география Востока. Наставником на отделении был Гайса Мухамед-оглы Бихмеев, окончивший филологический факультет Казанского университета. До этого он учился в медресе и в русской гимназии. В университете он усовершенствовал свои познания в русском языке и в языках тюркских и даже выучил английский.

Александр Драгомиров поступил именно на азиатское отделение. В тот же год сюда определили и Чингиза Валиханова. Оба учились в одном классе и вместе закончили школу. Поэтому Драгомирову сейчас была не безразлична судьба товарища.

Чингиз и Александр Николаевич встречались и в годы походов против Кенесары. Потом Драгомиров находился на службе в Омском сибирском корпусе, а в последнее время был при генерал-губернаторе инспектором по делам казахских округов в Сибири. Кажется, не было султанской ставки в сте-

пи, где бы он не побывал. Иногда в составе русских экспедиций приходилось ему выезжать и к границам Кокандского ханства. Тогда ему удалось познакомиться с казахами Юга и Оренбургских округов. Отлично зная татарский язык, он мог разговаривать с ними и без переводчика, но прикидывался непонятливым, предпочитая слушать, а не вести прямую беседу. Выдавать себя простаком было в крови у Драгомирова. Он и в своей, русской, среде не отличался особенной разговорчивостью, мало и редко говорил о делах и касающихся его и, особенно, о делах посторонних. И в учении и в службе он был усидчивым и аккуратным. Еще в школьные годы товарищи частенько подтрунивали над ним, называя его Молчалиным. Позже он и сам так свыкся с этим достаточно язвительным прозвищем, что даже некоторые материалы, появлявшиеся в печати, подписывал им. Казахи обычно не спрашивали — знает ли он казахский язык. Они между собой задавали другой вопрос: а есть ли у него просвет в голове? И ошибались. Драгомиров владел собой и ни единым мускулом лица не выдавал себя, прекрасно понимая, что говорилось на его счет. Наивные степняки, убежденные в том, что Драгомиров не понимает их, болтали при нем обо всем, что только заблагорассудится.

Объезжая так казахские аулы, Драгомиров познал быт, нравы и думы степняков, как не познал бы любым другим способом. К тому же он не выбирал самых богатых аулов и лучших белых юрт, а останавливался там, где настигал его вечер. Так проще было наблюдать за жизнью и обычаями степных казахов.

В итоге этих непосредственных наблюдений у Драгомирова вырабатывался свой взгляд на казахскую степь. Личные впечатления были подкреплены и книжными знаниями. Он внимательно изучил книгу Левшина в трех частях «Описание киргиз-кайсацких орд и степей» и другие печатные материалы.

Раздумывая о судьбе казахского народа, он неизменно задавал себе вопрос: как сумели казахи, ведя кочевой образ жизни и находясь в окружении сильных государств, сохранить за собой такую огромную территорию, на которой свободно могло бы разместиться несколько больших европейских стран?

Две трети казахов, кочующих по бескрайней степи, добровольно перешли под власть России в течение последнего столетия. Да и нельзя было поступить иначе: с юга угрожало Кокандское ханство, с востока — китайские богдыханы. Нужна была сильная защита, и этой защитой являлась Россия. Ведь только с той поры, как казахский край перешел к ней в подчинение, в степи наступило относительное спокойствие. Наблюдая

за оренбургскими и сибирскими казахами, и оставшаяся часть народа, входившая в Улы жуз — Большой жуз, уже начинала вести осторожные переговоры с представителями русских властей. Нападения с Востока и Юга постоянно тревожили аулы Улы жуза. У Драгомирова, как и многих других, росла уверенность, что скоро и Большой жуз примет российское подданство.

Драгомиров, как более или менее передовой человек, сознавал и другое. Хотя с присоединением к России казахская степь зажила мирной жизнью, но царское правительство не думало о том, чтобы подымать хозяйство этого края и его культуру. Степняки, что и говорить, отстали. Кроме устных поэм, сказаний, пословиц, кроме песен и музыки, складывавшейся веками, что было у них? Войлочные юрты и необходимые предметы домашнего обихода в их кочевой жизни; мазары — могильники для знатных покойников, разбросанные в степи... Сможет ли казахский народ сохранить себя как нацию в условиях девятнадцатого века при таком невысоком уровне хозяйства, быта, культуры? Драгомиров сомневался в этом. По его мнению, единственный путь для казахов был в приобщении к европейской культуре. А чтобы войти в число образованных европейских народов, необходимо учение на русском языке. Но как направить казахов на эту дорогу? И кто их направит? На эти вопросы Драгомиров не мог найти ответа. Он приходил к выводу, что следует отдавать постепенно, пока единицами и десятками, казахских детей в русские школы; в конце концов они сами в будущем, возможно, и положат начало массовому русскому обучению. Но и эта задача далеко не из легких. Живой пример — рядом. Если даже Чингиз, один из немногих образованных казахов, сам учившийся в Омске, имевший власть султана, везет своего сына на русскую учебу без особенной охоты, в силу невыгодно сложившихся для него обстоятельств, то что можно сказать о других?

Драгомиров думал о широте степи и узком мире казахов.

В самом деле. Поели, попили кумыса, есть что накинуть на плечи,— и уже не жалуются на жизнь. Казахи добродушны и беспечны. Мир — это то, что находится в их поле зрения. Видит на десять верст вперед, любуется степью, и дальше такая же степь, тот же простор, и нет ему конца-края. И аулы похожи один на другой. Самый близкий базар от Кусмуруна — в Баглане. Сто пятьдесят верст. Казалось бы, для степи не ахти какое расстояние, но и на базар попадают лишь немногие.

Драгомиров улыбнулся своим мыслям: ему пришел на память забавный пример. Один из богатых степняков совершил

паломничество в Мекку, чтобы получить звание хаджи. Вернулся, стал рассказывать землякам о своем путешествии. И тогда один из слушателей,— он если и кочевал с аулом, то только на другие пастбища,— спросил: «А эта Мекка дальше или ближе нашего Баглана?» Словом, понял...

Люди, как их бескрайняя земля. Невспаханная, первозданная. Перепахать бы ее, обработать, бросить добрые семена, какие бы свежие ростки просвещения появились на этой почве!

Да... Смотришь со стороны — все аулы на один лад. Одно у всех занятие — пасти скот. Люди неграмотны, интересы их ограничены, ни к чему не стремятся, каждый занят своим маленьким делом. Если и обеспокоены чем-нибудь, то делами в своем роду и у своих ближайших соседей.

Но это, если смотреть со стороны... А вглядись попристальнее, загляни в глубину: тогда твоим глазам откроется и другое. Есть бай, есть и его работник. Есть неравенство, которое проявляется несколько иначе, чем в России, в европейских странах. Оно прячется под родовым покрывалом. Бедняк и не задумывался над тем, как избавиться от власти своего богатого родича. Он знает — так было и есть. Должно быть, так и будет. Вековая борьба русских крестьян с помещиками во многом чужда ему, непонятна. Но ведь и в степи может вспыхнуть борьба, как вспыхивает сухой камыш. Правда, неизвестно, кто будет его поджигать. Да и остановить можно пожар. Разве чего-нибудь ощутимого добились русские крестьяне? И Драгомирову подумалось — никто ему не ответит на эти вопросы.

...Так все четверо в возке заняты своими мыслями. Разве что Абы внимательно следит за дорогой. Но и он не заметил, как позади осталось больше семидесяти верст и на горизонте обозначилась зеленая кайма берега озера Боровое. Говорили, здесь находятся стоянки многих аулов. Но никакого жилья поблизости не было. Только кое-где сиротливо торчали останки откочевавших куда-то юрт. Чингиз сообразил, в чем дело: в пору, когда ему стоило ногой коснуться камня, и камень послушно катился вверх по склону горы, аулы во время своих перекочевок ждали его на дороге,— а вдруг султан заглянет погостить! Но теперь удача ему изменила, он лишен власти, и те же аулы убрались отсюда подальше от беды, которую он мог бы принести.

— Таков мир!— бормотал про себя Чингиз.— Таков мир, и ничего с ним нельзя поделать!

Дышалось ему тяжело, но он хоть несколько утешал себя неизбежностью происходящего.

Сквозь редкие просветы густого сосиового леса зеркальио поблескивало широкое озеро Боровое, известное своей чистой пресной водой. Чиигиз слышал перед отъездом, что иа восточиом, ие таком леснстом берегу стояли аргыиские аулы ветви Шака. Шакинец Толеп, отчасти бий, отчасти бай, но человек достаточно богатый, прежде подобострастио выслужнвался перед Чингизом: в качестве сыбаги — доли ои приводил ему в Кунтнмес жириого стригуика, а в Кусмуруи — уже жириую кобылнцу. Не раз ои добивался высокой чести — приглашал Чингнза к себе в гости.

«Если шакиицы иа месте,— думал Чиигиз,— стало быть, и Толеп там. У иего и переиочуем». Но оказалось, что иет и шакиицев, иет и Толепа. Неужели и ои сбежал, избегая встречи с бывшим султаиом? Вот собака!

Чиигиз выругался вслух, громко.

И как бы в подтверждеиие его слов иевдалеке, иа месте иедавией стояики аула, мелькиуло что-то белое. Это действительио была собака. Над ией кружили два стервятиика. Кружили, падали, едва ие касаясь земли, и сиова взмывали вверх.

Собака вела себя беспокойио, шарилась вокруг, ио ие убегала от своего места.

— Ощеиилась недавно, поэтому ее и оставили,— сообразил Чнгиз.— А стервятиики метят иа щенят. Оиа и обороияется.

— Щеията? Щенята, отец!— заиитересовался Чокаи. Это были его первые слова с тех пор, как оии отъехали из Черного аула.

Они остаиовили возок ие так близко, чтобы спугнуть хищиых птнц, и не так далеко, чтобы иаблюдать за схваткой.

Одни стервятиик подлетел к собаке и, касаясь крылом земли, словно дразиил ее, вызывая иа драку. Собака бросилась, а птица подалась чуть дальше. Собака, забыв осторожиость, за ией. В это время второй стервятник резко спикировал вниз и тут же взмыл вверх.

— Зацапал!— воскликиул Чиигиз.

— Неужели щеика?— взволиовался Чокаи.

— Разве ты ие видишь? В когтях у иего темиеет. Подлая птица! Ей и летать трудио с опущеииыми лапами, а кроме того, стервятиики предпочитают мертвечииу. Швыриут с высоты и уже прииимаются за убитую.

Падеиие щеика увидели не только Чиигиз и Чокаи. К месту падеиья стремглав помчалась собака и опереднла стервятиика. А он сиова полетел туда, к яме для котла.

— Давайте и мы подъедем.

— Подъедем!— подхватнл слова отца Чокан.— Поедем и защитим щенят.

— Гонн, Абы, коней!

Соревновались кони, собаки, птицы. Первым у жер-ошака оказался все-таки стервятник. Он уже наметил жертву и, сложив крылья, рниулся вниз.

Но Чокан снова перехватил вожжи и, хлеща вовсю по конским бокам, правил напрямнк с иемыслимой скоростью по ухабам. Возок так подпрыгивал, что Чингнз с Драгомировым крепко ухватились друг за друга. Коней попробовал удержать Абы, но это было уже бесполезно.

Едва они успели достнчь цели, н Чокан резко осаднл коней, как возок странно загрохотал, внезапно накреннлся н перевернулся. Свалились и жылан-сырты. Но сразу же поднялнсь, и бог ведает, куда бы они понеслнсь, если бы ие железная рука Абы, предотвратившая несчастье.

Сильно ушиб ногу Чингиз, побаливали бока у Драгомирова, а Чокан, несмотря на кровь, выступившую на лице, несмотря на то, что его дальше всех отбросило в сторону, побежал к щенкам. Жив нли нет щенок, побывавший на высоте в когтях стервятника, уже черневшего в небе едва заметным пятнышком?

Чокан подбежал к яме, где белая собака с черным ухом встретнла его глухнм злобным урчаиием. Собака была крупной с набрякшими отвислыми сосками. Беспомощно барахтались упитанные полуслепые щенята. Онн снлнлись выбраться из ямы, но у них ннчего не получалось. И только один, окровавленный, лежал без движения. Собака его уже не пыталась вылизывать — он был мертв.

Чокану стало так жаль маленьких собачонок в заброшенной этой яме, на покинутой людьми стоянке. Стервятники еще вернутся сюда,— подумал он с огорчением. Ему захотелось взять щенка н погладнть. Но собака не подпускала его, злобная, настороженная. Мяса под рукой не было — задобрнть ее.

— Кушик, кушик!— обратнлся ои к ней с лаской, посматривая то на суку, то на щенят. Но урчанье уже перешло в рык. Чокан оглянулся на своих взрослых спутников,— им было не до него. «Волков не боялся, а тут — собака. Не тронет, я ведь не желаю ей зла». И ои протянул руку в яму. Собака взлаяла и в то же мгновенье ои почувствовал острую боль в предплечье н отдернул руку назад. Собака рычала. Мол, попробуй, потянись еще раз к моему щенку.

Мальчик попятился. Отец, до сих пор занятый своей ушибленной ногой, увидел, как собака укусила сына и поспешил

к нему на помощь. Он был готов зарубить ее саблей. Но прежде всего решил осмотреть рану сына. Закатал рукав,— укус оказался глубоким.

— Лишь бы здоровая была!— угрюмо процедил подошедший к ним Драгомиров.

— А почему ж ей не быть здоровой?— встревожился Чингиз.

— Как знать, осталась одна в степи, люди ее бросили. Случаи бешенства здесь не так редки...

Чингиз обеспокоился не на шутку. Драгомиров сказал, что надо перевязать немедленно рану. Из медикаментов у него водился только спирт. Он держал его в большом флаконе, почему-то называвшемся французским и, когда оставался в одиночестве, понемногу потягивал его, слегка разбавляя водой. Он теперь извлек из саквояжа заветный флакон, протер спиртом рану Чокану и перевязал. Спирт разжигал боль. Чокан переносил ее терпеливо. Он знал, что такое бешенство. Когда-то у них в ауле взбесилась одна собака, потом другая. Бешенством заразился и покусанный скот. Целое лето аул не знал покоя. К счастью, из людей никто не пострадал. Из Баглана тогда приезжал доктор. Велел солдатам из крепости перестрелять всех собак и скот, оказавшийся на подозрении. Все это происходило на глазах Чокана, и неудивительно, что мальчику стало не по себе от одного слова «бешенство».

Когда Драгомиров закончил перевязку, Чингиз спросил у Абы:

— А ружье где?

— Там, в возке.

— Неси его сюда скорее!

— А зачем?— встрепенулся Чокан.

— Надо убить собаку и щенят.

— А к чему это, отец?— с грустью возразил Чокан.— Бешеная собака — я все равно заболею, а нет — пускай живут.

— Астапыралла, не смей и произносить таких слов, Канашжан!

Чингиз волновался больше сына. В нем, неуравновешенном, разом вспыхивали и страх, и гнев, и досада. И зачем только попалась им на дороге эта сучка? Пристрелить ее, пристрелить.

Но Чокан, упрямый и исполненный жалости к щенкам, выхватил из рук Абы ружье и не позволил отцу стрелять. Торопясь, захлебываясь от волнения, он заговорил на удивление разумно:

— Да разве мы не видели бешеных собак. Да и других

бешеных животных. Ничего они не соображают. Мечутся в ярости. А у этой собаки есть сознание. Она ведь щенят своих защищала. Поэтому и меня укусила.

— Мальчик правильно говорит,— поддержал Чокана Драгомиров, сам же посеявший страх.

Отходчивый Чингиз не настаивал на своем. Спокойствие сына и Драгомирова передалось и ему.

— Тогда поехали!— Чокан побежал к возку.— Видно, ничем мы им не поможем. Выживут, и слава богу!

И они продолжали путь на Баглан. Оставалось проехать верст шестьдесят-семьдесят. По дороге находилось еще одно большое — верст в двадцать длиной — озеро Тениз с чуть солоноватой водой; его берега заросли густым камышом, но в середине чистое озеро сверкало, как зеркало. Вода в нем не спадала даже в самые засушливые годы. Другие озера, бывало, совсем мелели, а Тениз по-прежнему лениво перекатывал свои волны. Рассказывали, в этом озере видимо-невидимо рыбы: и чебаки, и щуки, и сомы. Сколько ее ни вылавливай, запасы неистощимы. Чокан помнил, когда с отцом они гостили у Ахмета Жантурина на берегу Тобола, щедрый хозяин султан оказал им особый почет, угостив свежей рыбой из Тениза. Какой она была вкусной и в ухе и поджаренной! После этого Чокан пристрастился к рыбе и понемногу сам стал рыбачить дома в небольших окрестных озерах. Он приносил свой небогатый улов в столовую юрту, но рыба получалась невкусной: или ее не умели приготовлять, или в Тенизе она была совсем другой. Не раз Чокану хотелось еще досыта поесть той настоящей тенизской рыбы. И стоило ему только прослышать, что озеро у них на пути, как, забыв про больную руку и оставленных щенят, он принимался уговаривать отца заехать к рыбакам. Чингиз усомнился, застанут ли они их. Тут на выручку Чокану пришел Абы:

— Дорога пойдет как раз мимо рыбацких шалашей.

— Тогда отчего не заехать,— согласился Чингиз. Про себя он решил остановиться ненадолго, без ночлега, поесть ухи и сразу двинуться на Баглан.

... Утро их отъезда было ясным и тихим. Потом подул легкий освежающий ветерок. После озера Борового, когда солнце уже клонилось к западу, ветер усилился и на горизонте показалась черная туча. Она быстро надвигалась, разрастаясь все шире и шире, и скоро закрыла полнеба.

Абы нахмурился и сказал Чокану, сидевшему рядом на облучке:

— Не нравится мне эта туча. Как бы гроза не ударила.

И стороной она не пройдет. Уж если разразится ливень...— Абы безнадежно махнул рукой.

— Ты что, дождя испугался? Пускай себе льет!

— Не говори так, Канаш. Земля здесь плохая — такое месиво будет, что колеса с места не сдвинутся. Завязнут — не вытащишь. По здешней земле не то что возку, а и одному коню в распутицу трудно. Да что там коню! И пеший не пройдет — грязь так и налипает на подошвы. Я уж знаю, что говорю. Случится ливень, мы не только до Баглана, но и до наших рыбаков, до Тениза, не доберемся сегодня.

— Не болтай, а гони лошадей!— оборвал Абы Чингиз. Он и сам хорошо знал, что́ здесь бывает во время сильных дождей.— Гони, говорю, лошадей. Гроза захватывает узкую полосу, и мы успеем ее проскочить.

Абы старался что есть мочи. Кони неслись.

Вначале их встретила пыльная буря. Черный стремительный вихрь взметнулся столбом и закружил все попадавшееся ему на пути. Верхний пыльный слой дороги, клочья травы, обломки ветвей прошлогоднего сухого кустарника. Разом вокруг потемнело. Каждый порыв свистящего пыльного шквала затруднял дыхание. Острая колючая пыль застилала глаза, набивалась в ноздри и уши. Не то что дорогу, друг друга разглядеть было трудно. Чокану казалось — не ветер гудит, а воют волки, стая серых волков. И только когда стихал очередной порыв, слышалось пофыркиванье коней и сильный спокойный перестук копыт.

Пыль и ветер проникали в возок, несмотря на то, что все щели были законопачены. Новый порыв ветра ударил так яростно, что путники вновь едва не опрокинулись. Чокан все это время вел себя беспокойно. То забирался в глубь возка, прижимаясь к отцу, то выскальзывал и устраивался на облучке рядом с Абы, крепко обхватывая его рукою.

— Откройте окна!— неожиданно предложил Чингиз. Он вспомнил, что в ауле во время сильной бури откидывали край тундика. Тогда смирялась ярость ветра и меньше заносило песком.

И в самом деле, когда возок стал продуваться насквозь, его трясло и качало уже не так сильно. Но пыльная буря продолжала неистовствовать. У путников иссякало терпение. Чингиз позвал Чокана обратно в возок, там все-таки удобнее, чем на облучке. Сын не расслышал или сделал вид, что не слышит. Чингиз по привычке повысил голос:

— Кому я сказал, иди сюда!

— А мне и здесь удобно. Смотреть интереснее.

Чокан говорил правду: наблюдать за порывами пыльной бури, то слабеющими, то нарастающими, было страшновато, но любопытно. Молчал один Драгомиров, не склонный к разговорам. Плотно запахнувшись в плащ, подвязав тесемки под подбородком, он вслушивался в ритм бури и мысленно складывал стихи. Он стеснялся показывать товарищам свои лирические опыты и пописывал только для себя, полюбив степную природу. Пыльные вихри пробудили в нем вдохновение. «В степи озер, в степи ковыльной», думал он и подыскивал слова дальше, чтобы они рифмовались: «...бури пыльной». Но как лягут строчки одна за другой, ему еще не было известно.

Казахи говорят: «Без бури не бывает дождя».

Обычное в быту изречение оправдалось и теперь. Неистовый пыльный натиск становился слабее и слабее, а вскоре затих совсем. Далеко откатился черный вихрящийся столб. Первые капли ударили по возку, темными крапинками возникли на пыльной дороге.

— Какие бури, алла, бывают,— Чингиз вздохнул глубоко и сильно, повернулся к Драгомирову,— родился в степи, вырос в степи, а такой бури еще не видал.

— Потрясающая буря!— воскликнул Драгомиров, и стихи, начавшие было складываться, забылись на какой-то срок.

Беседа прервалась так же быстро, как началась. Ей помешал дождь. Первые робкие капли были только предвестниками буйного ливня. Он разразился, повторяя стремительность пыльной бури. Снова плотно закрыли возок.

Гулко грохотал гром, сотрясая все вокруг. Стрелы и зигзаги молний ослепляли глаза. На возок опрокидывались гигантские ковши воды.

Чокан с облучка сразу юркнул в давно облюбованный им уголок возка, хотя на этот раз отец его не позвал. Для Абы дождь был нипочем. Перед отъездом он, невзирая на ясную погоду, заранее облачился в чекпен из овечьей шерсти, такой широкий, что в него можно было завернуться, как в одеяло. До бури и дождя он сидел на прихваченном на случай меховом малахае, а теперь натянул его на голову. Пусть теперь хлынет целый океан: Абы хранил свою обычную невозмутимость, и ему было тепло.

Гроза длилась долго, словно не желая ослабевать. Натиск ливня житель гор мог бы сравнить с могучим селевым потоком. Шумели ручьи, смешанные с грязью. Абы верно предвидел: глинистая почва, размякшая от влаги, стала липнуть и к колесам возка и к копытам коней. Кони скользили и вязли. Погонять их было бессмысленно. Свернуть с дороги казалось

еще опаснее. Мокрая трава будет обвивать ноги лошадей и забиваться в колеса. Что касается грязи, то ее и там хватит в избытке. Дорогой не проехать, без дороги — все равно далеко не уедешь. Колеса вот-вот завязнут, а тащить возок по грязи, как сани по снегу, коням не под силу.

Абы подумал, подумал и пришел к единственному решению: во что бы то ни стало переждать. Он натянул вожжи и пронзительным окриком остановил коней. Послушные кони словно только и хотели передышки. А ливень продолжался с прежней силой.

— Что случилось?— Чингиз сердито откинул полог возка и увидел, как Абы слезает с облучка.

— Ни лошади, ни возок дальше не пойдут, хан-ием.

— Это еще почему?

— Застряли в глине. Ничего не поделаешь...

Чингиз вышел в дождь, в потемневшую степь и убедился в правоте Абы. Колеса совсем ушли в жидкое месиво, и ноги коней облепила грязь.

Следом выбрались из возка Драгомиров и Чокан. Всем было ясно: застряли. Только надолго ли? Этого никто не знал. Взглянули назад: за возком по дороге тянулись две глубокие борозды, их на глазах заволакивала жидкая грязь. Чингиз хмуро пробурчал:

— Эх, судьба! В одном не повезло — удачи больше не жди!

— Значит, застопорило,— довольно безразлично произнес Драгомиров.

Все мысли Чокана были на берегах Тениза:

— Неужели так и не доберемся до рыбаков, отец?

— Тайири!— прикрикнул Чингиз, выражая этим старинным словом досаду и раздражение.— Спросил бы лучше — сдвинемся ли мы сегодня отсюда!

— Не сдвинемся, так заночуем,— в тон отцу ответил Чокан.

Дождь утихал, молнии вспыхивали где-то впереди, все дальше и дальше уходили раскаты грома, и тучу относило в сторону ветром.

— Так и будем стоять?— спросил Чингиз.— Надо что-то делать!

— Пока очищу колеса от грязи, да и копыта у коней.— Абы в любой обстановке готов был к работе.— Иначе наших жылаи-сыртов не сдвинуть. Но сейчас и думать нельзя, чтобы ехать. Дождь, правда, перестает, но смотрите, какая грязь.

Чингиз повторил свой вопрос.

— Потерпите, хан-ием. Впереди низина Обагана. В ней и от росы бывает вязко, не только от дождя. Тяжело нам будет там. Я подумываю, не свернуть ли нам на северо-запад к возвышенности Притоболья. Это совсем недалеко. Какой бы ливень ни прошел, здешней грязи там не бывает. Местность травянистая, ковыльная и притом ровная. Нам только добраться туда, проедем и бездорожьем.

— А к рыбакам тогда попадем?

— Неймется тебе, Чокан! Заладил про свою рыбу!— в сердцах оборвал сына Чингиз.

— Хочу рыбы поесть, значит, поедем к рыбакам!— упрямился Чокан.— Ты скажи, Абы, наша дорога к Тенизу приведет?

— Нет, к рыбакам надо ехать другим путем.

— Не надо мне тогда новой дороги. Поедем прежней!— злился маленький упрямец.

— Тайири! Ненасытная твоя утроба!— Чингиз отвернулся от сына.

— Не проклинай меня по-бабьи, отец. Выругай по-мужски или лучше побей!

Чингиза бесила непочтительность сына, но он сумел, скрывая гнев, промолчать.

Абы заговорил, будто никакого спора и не было:

— Эти степные ливни обычно захватывают узкую полосу. По-моему, гроза обошла Тениз. А Тениз рядом. Подождем еще немного и тронемся старой дорогой. Да избавит нас аллах от новых бед. Как, хан-ием, согласны?

— Как хочешь так и езжай!— Чингизу уже поперек горла стали эти споры.

Постояли недолго, расселись по местам, и Абы принялся нахлестывать лошадей. Туго сошел с места возок. Кони еле тащили его по грязи. Влага еще глубже впиталась в почву. А тут как назло стало тихо и безветренно. Ветер подсушил бы дорогу, помог бы ей затвердеть. Но он бушевал уже далеко, там, где погромыхивал гром и сверкали молнии. Измученные лошади выбивались из сил. И хотя Абы то и дело пускал в ход камчу, они двигались все медленнее и медленнее и наконец стали. Абы снова подхлестнул их и застыл на облучке.

— Измаялись, бедняги!— Чингиз пожалел лошадей. Все понимали, что долгая остановка в безлюдной степи, в непролазной грязи не сулила ничего хорошего. Надо было набраться терпения, немного подождать и помаленьку, не торопясь продолжать путь.

... В степи наступал чудесный предзакатный час. Совсем недавно было темным-темно. А теперь и там и сям сквозь уходящие тучи сняла густая первозданная голубизна. Багряное солнце уже касалось земли. Его лучи окрашивали и степь и края уходящих туч в яркие оранжевые тона, пробивали стрелами гряды облаков, переливались радугой в дождевых каплях на траве. И сама трава молодо зеленела.

А как легко дышалось после грозы! Во время зноя растения словно замыкаются в себе, запахи прячутся вглубь, исчезают. А теперь ливень досыта утолил жажду трав и цветов, и они благодарно источали еще недавно скрытый аромат. Этот аромат сливался с влажным запахом освеженной земли, сливался с благодатным воздухом, очищенным грозой. И казалось — слишком мала человеческая грудь, чтобы полностью впитать в легкие все эти чудо-запахи, весь этот живительный терпкий настой степного простора. Впитать с наслаждением и радостью.

Дышалось легко, а думалось все о том же: как бы скорее выбраться из этой грязи, чтобы быстро и весело помчаться закатной степью!

Абы долго сидел на облучке, не пытаясь больше прибегать к испытанной камче. Потом приподнялся и стал пристально разглядывать степь.

— Цвет земли неодинаковый. Похоже, мы приблизились к границе, где прошел дождь. Пускай отдохнут кони, посидите спокойно и вы, а я пройдусь, разведаю дорогу.

Чингиз промолчал. Абы закинул вожжи за облучок, убежденный, что кони не тронутся с места, а сам спрыгнул с повозки и зашагал. Поначалу идти ему было трудновато, а потом походка становилась все увереннее и легче.

И земля, видимо, уже подсыхала, и почва была не такой глинистой. Абы продвигался довольно быстро. У него был широкий шаг и крепкие ноги. Вскоре он почувствовал, что идти совсем легко. Значит, глина кончилась. Абы обрадовался и побежал. Под ногами был песок. Остановился, нагнулся к траве — трава оказалась совсем сухой. Оглянулся назад — он отдалился от возка на такое расстояние, что если крикнуть во весь голос — его хорошо расслышат.

Счастливый Абы сорвал с головы малахай и, широко размахивая им, зычно заорал во всю силу:

— Здесь сухо! Сухо!

Из возка, как суслик из норки, высунулась фигурка. Конечно, это был Чокан. Он встал на подножку и дал понять, что сигнал услышан и понят.

Обрадованные известием, Чингиз и Драгомиров не тронулись с места. Чингиз посчитал неудобным для себя проявлять оживление по такому незначительному поводу, Драгомиров опять охотился за рифмами.

А Чокан постоял-постоял на подножке, соскочил, почавкал сапогами по грязи, а потом понесся во всю прыть к Абы. Грязь, пристававщая к сапогам, сдерживала его бег. Не раздумывая, он их сбросил и босиком побежал дальше. Вязкая глина сменилась влажной землею, а потом песком с колкой сухой травой.

Добежал до Абы, обнял его. Запыхавшись, проговорил:

— Значит, сухая земля. Можно ехать?

— А ты потрогай для верности,— усмехнулся Абы.

Чокан даже в ладони похлопал от удовольствия:

— Теперь-то мы уж доберемся до рыбаков.

— Вот только бы в грязи не застряли.

— Выберемся! И близко совсем. Да и кони наши теперь отдохнули.

— Хорошо бы!— спокойно подтвердил Абы. Его и ночлег в степи не пугал.— Смотри, Канаш, уже вечереет...

Значительная часть огромного багряного солнца погрузилась за линию горизонта. Облачко на краю стало совсем золотистым.

— Поторопимся, Абы, пойдем быстрее к нашим.

И Чокан уже не бегом, а быстрым шагом направился к возку. За ним размеренно поспешил Абы. Пока добрались до своих, то и дело очищая ноги от липких комьев, солнце успело зайти. Только последние его лучи распустились по небу веером павлиньего хвоста, который с каждой секундой становился бледнее и бледнее...

Расселись. Абы натянул вожжи и раз, другой прошелся камчой по крупам коней. Возок качнулся и тронулся с места. Кони вяло, трудно шли и останавливались, но Абы правил умело, сочетая мягкое понукание с лихими ударами камчи. Мытарства кончились, когда под колесами зашуршал сухой песок. Уже наступили ранние сумерки. Но о быстрой езде нечего было и думать. Жылан-сыртам трудно было взять прежнюю скорость. Недаром говорится: «Когда устал аргамак, он с клячей равняет шаг». Взлетевшие на подъем с легкостью архара, они теперь не могли набрать и настоящей рыси, и прибавляли ход лишь под угрозой камчи Абы, повиливая из стороны в сторону и уклоняясь от ее ударов. Дай им Абы волю,— они бы перешли с мелкой рыси на шаг, а при случае стали бы как вкопанные.

Так потихоньку в плотные сумерки добрались они до становища рыбаков. Их шалаши были разбросаны вдоль берега верст на пять, на шесть. Чокан ликовал. Пусть с трудностями и приключениями, но его желание сбылось. Мы еще подробно вернемся к этой встрече, но хочется немного рассказать читателям об истории казахского рыбацкого промысла.

У нас, казахов, бытует такая пословица: «Озерным берегом бредешь — и пищу запросто найдешь».

Есть и другое, близкое к этому присловие: «Кто живет на реке, на воле,— тот имеет двойную долю».

Издавна известна казахам и ловля рыбы сетями. В центре невода ставится куржун с широким дном и узким горлышком. Когда рыбаки тянут оба крыла невода, рыба, попавшая в сеть, ищет выхода и в конце концов проскальзывает в куржун, откуда ей уже трудно выбраться. Этот куржун называется абаком. Примечательно, что такое же прозвище «абак» носили дальние предки Улы жуза, самой многочисленной части казахского народа. Этим же прозвищем были наделены предки большого рода Керей Первоначальное значение слова абак — окружить или загнать, отсюда произошло и слово абакты, в русском переводе — тюрьма. То, что в старину казахи занимались рыболовством, подтверждает существование в языке слова ау — невод.

Судя по одним этим словам, можно предположить, что рыбный промысел издревле укоренился в Казахстане. Но более веских свидетельств и весомых фактов в нашей истории, не скрою, маловато, и не всегда они к тому же достаточно убедительны. Все же приведу несколько примеров.

Когда несколько человек подымают шум по не очень значительному поводу, их обычно останавливают словами: «Что вы расшумелись, точно рыбу делите!». Дескать, горячитесь по пустякам. Однако один знаток убеждал меня, что это выражение сохранилось со времени народного бедствия — джута 1723 года, имеющего еще одно горькое название — Год бродячих ног и распластанных тел. В этом году голода и скорби в степных озерах и реках ловили рыбу и шумно спорили при дележе улова. Следовательно, смысл пословицы был вначале горьким и только через два с лишним столетия приобрел ироническое звучание.

Употребляется у нас и выражение «рыба гниет с головы» в том же смысле, что и в русской речи. Есть еще одна пословица: «Ждать бекре возвращенья не надо, пока не уткнутся носом в преграду».

Рыбу-бекре, иначе белугу, хорошо знают лишь казахи, жи-

вущие на берегу Каспия — Атрау. Белуги достигают фантастически огромного веса и считаются одними из самых вкусных рыб. Обитает белуга в море, в соленой воде, а весною заходит в реки и там, в пресной воде, мечет икру. Но когда она натыкается на камни или иную преграду, то возвращается в море. Пословица эта о возвращении бекре употребляется обычно применительно к людям крутого характера, упрямо поступающим по-своему, но лишь до тех пор, пока на их пути не встречаются препятствия.

Вот, пожалуй, и все немногие пословицы, связанные с рыбным промыслом в казахском быту.

Но есть еще другая категория слов — это, в основном, имена, которые дают новорожденным. Эти имена обычно по душе народу, по душе самим родителям. Среди казахских имен встречаются Жайын — сом, Жайынбай, Шортан — щука, Шортанбай, Сазан, Сазанбай и многие другие, аналогичные. Значит, далеко не чужд был рыбный промысел нашему народу.

Если же говорить не о давних временах, а о сравнительно более близких ко времени нашего повествования, то следует сказать, что рыбному промыслу казахи учились у русских. И прежде всего у выходцев с Дона, яицких казаков, поселившихся на берегах Яика (Жаика) и Каспия. Яицкие казаки основали Яицкий городок, переименованный по указу Екатерины II после восстания Пугачева вместе с рекой Яиком в Уральск. Уральскими или яицкими казаками построен был и Гурьев-городок, бывший поначалу небольшим рыбацким поселком.

Казахи — исконные животноводы — не проявляли большого тяготения к рыболовству и в глубине своих степей. Но в некоторых аулах любители занимались этим промыслом, несмотря на малоблагоприятные условия его развития. Озер и рек в степи было сколько угодно. На их берегах казахи ловили рыбу и самостоятельно и в содружестве с русскими казаками. Порою они объединялись в артели. Одна из таких совместных артелей и вела лов на берегах Тениза.

Нам уже приходилось рассказывать, что на слиянии рек Уй и Тобол располагалась станица Усть-Уйская, прозванная в аулах Кырыкбойдак, Сорок Холостяков. А там, где Тобол сливается с Обаганом, жили казаки станицы Звериноголовской, которую в степи чаще называли Багланом. В этих краях рыбным промыслом первыми начали заниматься станичники. Сперва они нанимали себе в помощь, в работники бедняков казахов, а потом и сами казахи стали понемногу увлекаться рыболовством.

В те времена царскими властями разжигалась национальная рознь и вражда. Русские казаки считали себя выше казахов и не подпускали их близко ни к станичной земле, ни к водоемам. Случалось, забредал аульный скот на казачьи пастбища, его захватывали и не возвращали, пока не получали плату за потраву, а бывало и вовсе не возвращали. Атаман Яицкого войска Андрей Бородин, на которого жаловался хан Малого жуза Нуралы императрице Екатерине, угнал к калмыкам за Едиль, за Волгу, восемь тысяч казахских лошадей. И хотя из Петербурга пришел приказ возвратить табуны, возместить ущерб, атаман Бородин ему не подчинился. Позднее ему все-таки пришлось держать ответ за грабеж и даже расстаться с атаманской властью, но скот он так и не вернул.

Русские казаки станиц Сорок Холостяков и Баглаи, в общем, поступали так же, как и другие переселенцы. Они запрещали аульным казахам самостоятельно ловить рыбу в своих водоемах и также оберегали свои земли. Поэтому аульные жители подальше от запретной полосы рыбачили на своем далеком Тенизе.

Рассказывают, и на Тенизе аулчане и станичники вместе вели лов рыбы. Объединялась преимущественно беднота — и русская и казахская. Лодки были только у станичников, а лошади и подводы — у казахов.

Никому неизвестно, что сталось с этими артелями позднее. Ходила молва, что к ним присоединялись люди самых разных национальностей — башкиры, татары, остяки, чуваши и даже представители самых окраинных северных народностей. Но большинство их принадлежало к бежавшим из сибирской ссылки. Были среди них так называемые «поселыцики», были и «варнаки», в прошлом действительно преступники — убийцы, разбойники, воры. Их побаивались местные жители, пробовали на первых порах бороться с ними и власти. Но потом увидели — они мирно рыбачат, да к тому же их не так уж и много. На них махнули рукой и перестали вмешиваться в их жизнь.

Эти рыбацкие поселки получили название Кангыргаи — Бродяжные. Никому и никогда не было в точности известно, сколько народа живет там. Одни прибывали, другие отбывали, в один год их собиралось много, в другой — мало. Жилища строились главным образом из камыша — шалаши, балаганы; реже встречались деревянные бараки. Строили в Кангырганах и домики из дерна, проделывали крохотные подслеповатые оконца, крышу застилали жердями. Такого жилья

не бывало и в русских поселках и на казахских зимовках. Впечатление эти домики производили самое грустное.

В Кангырганах избирался свой атаман, никакой другой власти здесь не было. Бродяги, да и все остальные, входившие в эту необычную артель, беспрекословно подчинялись ему. Он доставал необходимые ловецкие снасти, руководил отловом, он же сбывал рыбу торговцам.

Кто только ни ходил в атаманах таких артелей! В годы нашего повествования в артели на берегу озера Тениз атаманом был некий Кирилл Курагин, избранный своей вольницей еще лет десять назад. Он тоже бежал из сибирской ссылки, но неведомыми путями вошел в доверие местных властей. Он умел выпрашивать что надо для артели и умел благодарить, чем только мог. По сравнению с прежними атаманами он прослыл самым сильным и властным, держал артельщиков, как говорится, в кулаке. Русские называли его в глаза просто Кириллом, а за глаза, не однажды испытав на себе его вспыльчивый нрав, именовали Курком, имея в виду и его фамилию Курагин. Казахи, а их было в артели немало,— переименовали Кирилла в Керала или величали его Куроктын баласы. Человек он был по-своему честный, немного знал грамоту. Какой-то беглый русский, сведущий в истории славянства, обращался к нему не иначе как Мефодий, вспоминая, очевидно, монахов Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки.

Жизнь в этом ауле полубродяг шла по пословице: «Вор не разбогатеет, обжора не разжиреет». Сошлись люди в артель, многие из них уже работали по многу лет, но никто не завел своего хозяйства, не стал зажиточным. Озеро их кормило, других источников существования у них не было. В годы, обильные рыбой, ели они досыта, а когда удача их покидала — жили впроголодь, но с голода не умирали — выручал запас соленой рыбы. Жила артель замкнуто и редко прибегала к помощи окрестных аулов и поселков. Самое необходимое приобретал атаман через торговцев, но и он и его подопечные дорожили своей независимостью и предпочитали не обращать на себя внимания, довольствуясь самым малым.

Когда наши путники вечером на загнанных, измученных лошадях добрались наконец до Кангыргана, все артельщики были заняты делом. Им на этот раз повезло. Непроточное озеро Тениз обладало своими особенностями. Бывало — рыба шла, а бывало — уходила в глубину, и тогда в сети попадались только случайные гуляки. Тогда не оставалось никакой

надежды на добрый улов. Сетей для глубинного лова в Кангыргане не было.

Перед грозой рыбакам обычно выпадало счастье. Рыба косяками выходила из глубины на мелководье и в камышовые заросли береговых заливов. В такие дни рыба переполняла сети и забивалась в так называемые хазы. Хаза — это своеобразная камышовая загородь, напоминающая своей формой бараний рог. Рыбы заходят в отверстие хазы, стянутое сетью и погруженное в озеро. Заходят легко, а выбираются обратно с превеликим трудом,— это удается только самым проворным. Чтобы рыбы чувствовали себя в ловушке спокойнее, для них набирали как можно больше кузнечиков — бывало целый мешок — и высыпали в хазу. Это была верная приманка. Хаза порой так заполнялась рыбой, что только успевай вычерпывать ее ведрами. Между прочим, слово «хаза» употребляется в казахском языке и в значении «смерть». Должно быть, потому, что в рыбацком промысле умело сооруженная хаза считается гибельной для рыб.

В этот, уже поздний, вечер приезда в Кангырган и в сетях и в хазе был на редкость обильный улов. Взошла яркая, полная луна. При ее сильном свете удобно было выбирать рыбу. Все виделось ясно. Только мошкара тучей летала над озером. Но рыбаки почти не обращали внимания на ее укусы. Они продолжали работать, сбросив рубашки. Продубленной ветром, водой и солнцем коже комары были нипочем. Рыбаки трудились без устали, лишь изредка отмахиваясь от мошкары.

... У Кангыргана дорога обрывалась. Где-то за лачугами рыбаков она возникала снова. Можно было обогнуть рыбацкий поселок или выбираться напрямик. Абы остановил лошадей и по привычке своей стал советоваться с Чингизом. Чингиз, не выслушав до конца, прервал его обстоятельные рассуждения неожиданным вопросом:

— А до Баглана еще много осталось?

— Верст двадцать, а то и двадцать пять.

— Лошади сегодня дотянут?

— Навряд ли, уж очень вяло идут. Устали.

— А ночлег мы здесь найдем?

— Найти-то найдем, но мошкара может замучить... Ее здесь целые тучи.

— Тогда давайте сейчас поедим рыбы, а остановимся на том, высоком, берегу. Там мошкары не должно быть.

Впервые после грозы, словно отдохнув за вечер, подул лег-

кий ветер и принес рыбный запах. Чокан его учуял раньше других.

— Где рыба, Абы?— Он проголодался и желание отведать тенизской рыбы стало еще сильнее.

— На берегу озера, думаю. Пахнет свежим уловом. Наверное, из сетей сейчас выбирают.

— А далеко это отсюда? Ты знаешь?

— Бывал однажды.

— Тогда гони лошадей.

Чингиз промолчал. Абы понял: он не возражает. Привыкший за годы своего султанства к почтительным встречам с щедрым дастарханом, Чингиз никогда не брал с собой дорожных припасов, как бы далеко ни ехал. Так поступил он и теперь, надеясь, что за день доберутся до Баглана. Но дорога оказалась трудной и неудачной. Он рассчитывал быть в Баглане засветло, а вышло так, что и ночью до намеченной остановки было далековато. Не только Чокан, но и он сам проголодался изрядно, и ему не меньше, чем сыну, захотелось вдоволь поесть рыбы: он тоже хорошо помнил ее вкус.

Абы направил возок в поселок. Нелегко было пробираться между беспорядочно разбросанными шалашами и хижинами. Усталые кони ступали вялым шагом. Даже при ярком лунном свете они натыкались на какие-то бревна, камни, остатки разрушенных временем жилищ, попадали в ямы для котлов. Абы несколько раз сходил с облучка, чтобы выбрать поворот поудобнее. Но где его было тут найти?

Везде были одни трущобы. Когда путники находились уже в центре Кангыргана, на них бог весть откуда налетела мошкара. Мелкое комарье беспощадно кусалось, проникая и под одежду, некуда было от него деться.

— Закрывайте плотнее возок! — оторопело крикнул Чингиз.

Закрылись, как только могли. Однако уже было поздно. Мошкара успела проникнуть в возок, и теперь ее атака стала еще неистовей. Бежать некуда, защищаться бесполезно. Оставалось одно — расчесывать укусы. Но от этого было еще больнее.

Чокан не вытерпел, выскользнул из возка и опрометью помчался навстречу ветру, доносившему с берега людские голоса.

... Рыбаки взяли Чокана в кольцо. Расшумелись, разволновались. С неба, что ли, свалился этот степной мальчик и вдобавок так нарядно одетый. Наперебой забросали его вопросами: не слушая друг друга, каждый на своем языке. И хо-

тя многие говорили по-казахски и Чокан понимал их, он так растерялся, что слова не мог сказать и только испуганно поглядывал на странных, в лохмотьях, а то и вовсе без рубах людей. У многих были такие недобрые лица, что он чувствовал себя ягненком, окруженным волками. Что за люди? Некоторые из них выглядели изможденными, болезненными. А у иных был просто разбойничий вид. Чокан уже хотел бежать обратно, но кольцо смыкалось все плотней и плотней, незнакомцы горланили так, что хоть затыкай уши. Нет, из этого кольца просто не вырваться. И Чокан пронзительно закричал.

...В это время из подъехавшего возка вышли Чингиз с Драгомировым и Абы.

Чингиз сразу услышал крик сына:

— Ойбай, да ведь это Канашжан, мой Канаш.

Он быстрыми шагами приблизился к сборищу и, расталкивая локтями рыбаков, пробрался к своему Чокану.

— Это еще кто тут!— Новый возглас немедленно подхватили остальные. Мундир Чингиза и его сабля бросились всем в глаза. Чокан немедленно воспользовался тем, что внимание переключилось на отца, мгновенно юркнул под полу его плаща, наброшенного на плечи. Так телок спасается от волков под брюхом матери.

— Это кто еще тут?

— Посмотрите, да он офицер.

— Подполковник! Я умею разбираться в чинах.

— Из казахов, значит.

— Чиновник, должно быть. Чишка!

Другие окружили Драгомирова, и тоже со всех сторон сыпались возгласы и вопросы.

Рыбацкое сборище гудело встревоженным пчелиным роем.

Чингиз на какое-то мгновенье поддался чувству страха, но тут же взял себя в руки, как подобает мужчине, и коротко, мешая казахские и русские фразы, объяснил им, кто он и откуда.

— Э-э! Так вот он какой Чингиз!

— И, значит, попался к нам! Хо-ро-шо!

Это были уже голоса казахов, и ничего доброго они не предвещали. Кругом нахмуренные лица, злые взгляды исподлобья. Самообладание стало ему изменять, холодные капли пота выступили на лбу. Он крепко прижимал к себе своего сына, ожидая всего чего угодно, даже нападения. Чокан вздрагивал, но все же верил — отец его защитит!

Кто знает, может, и в самом деле им худо бы пришлось, но

тут раздался зычный густой голос, заставивший стихнуть всех сразу.

Со стороны озера шагал высокий, грузный человек с непокрытой курчавой седеющей головой. Он ступал босыми ногами, и полы его длинной серой рубахи слегка развевались на ветерке. Рыбаки расступились. Чингиз увидел седеющие, свисающие чуть ли не на грудь усы и аккуратно подстриженную щетину бороды. И брови у него были лохматыми, казавшимися совсем белыми в свете луны.

Легко было догадаться, что этому — грозному с виду — человеку здесь все безоговорочно подчинялись.

Чингиз молниеносно вспомнил стихи — киссу акына, воспевавшего Азрета-Али:

Из камня могучего вытесан он,—
Высок, неприступностью скал наделен.
Усы у Али и пушисты и строги.
Забрось их за уши — длинны, как дороги.

Таким был и этот непонятный человек. Краем уха Чингиз слышал, что в подобных поселках бывают свои атаманы. В казачьих станицах атаманы бывают людьми военными и носят при себе оружие. Этот на казачьего атамана никак не походил.

— А ну расходитесь!— рявкнул бородач и небрежно махнул рукой направо и налево.

Рыбаки послушно стали разбредаться.

— Здравия желаю, ваше благородие!— приветствовал Чингиза могучий детина, и представился ему: — Атаман Курагин.

Еще в Омске Чингиз на подобные приветствия штатских людей отвечал заученно и сдержанно: «Очень приятно». Он и сейчас произнес именно эти слова, но произнес через силу, и голос его, как ему по крайней мере показалось, предательски дрогнул, выдав волнение. А тут к нему подбежал Абы, потерявший всю свою обычную невозмутимость.

— Хан-нем, бог нас спас!— И по лицу Абы вдруг покатились слезы.

— Ты прав, бог нас спас от рыжеголовых!— в тон Абы подтвердил Чингиз, переводя дух.

А дело было вот в чем.

Курагин действительно подоспел вовремя и спас бывшего султана. За спиной Чингиза уже появились люди, готовые на него обрушиться. Это были бедняки родовой ветви Тагышин, согнанные с отцовских земель во время строительства кæуму-

рунского укрепления. Они нашли убежище в Кангыргане. Туралы, сын бия, прозванного Атаннын Шон, кошебинец из кереев, успел известить их о поездке Чингиза. Шон, двоюродный брат Есенея, сын Естемеса, пользовался неограниченным влиянием в кереевских родовых ветвях Балта и Кошебе. Он держал сторону Есенея и получил от него все необходимые наставления: не следует, мол, оставлять в живых бывшего ага-султана, который везет сына в Омск. Шон собрал своих надежных людей держать совет, и тогда кошебинец Мырзабек, сын Бекентая, высказал предположение, что Чингиз остановится у рыбаков на Тенизе. Там-то и найдутся люди, чтобы покончить с ним. В Кангырган на Тенизе сын Шона Туралы выехал в сопровождении сына Мырзабека — Нуркана. Туралы и Нуркан не дремали. Им быстро удалось найти в этом полурыбацком, полубродяжьем, полуразбойничьем поселке человека глуповатого, но надежного, у которого были основания ненавидеть Чингиза. Тагышинец Букпан не мог простить, что его семью, семьи его сородичей согнали с родной Кусмурунской земли. Но у Букпана был еще и особый счет с Чингизом. Его отца Кутпана, бывшего связным у Кенесары, порубили русские солдаты того отряда, в котором был и Чингиз. Поэтому он и пошел легко на уговоры. «Если аллах с нами,— сказал Туралы,— то Чингиз остановится в Кангыргане. И тогда Букпан найдет час, чтобы с ним покончить».

И час, как нельзя более подходящий, наступил. Стоило Букпану услышать, что этот пришелец, зажатый в тесное кольцо рыбаков, и есть ненавистный Чингиз, он взял железный обломок и, окруженный своими тагышинцами, стал подступать к бывшему султану с тыла. Он уже благодарил судьбу — возмездие пришло. Но Курагин нарушил все планы. Народ стал расходиться, и Букпана сразу бы опознали. А в плотном кольце, да еще в группе сородичей,— попробуй, докажи, что убил именно он. Хоть и считался Букпан полоумным, а жить ему хотелось, как и каждому...

Какими путями узнал обо всем этом Абы, а потом и сам Чингиз — неведомо никому.

... Теперь Чингиз был в полной безопасности. Курагину в самом деле успели доложить, что рыбаки окружили какого-то офицера и хотят с ним разделаться. Курагин, хоть и не терпел царских правителей, но мундир русской армии уважал, да и не хотел лишних неприятностей. Он бросил сеть и поспешил к берегу. А когда увидел казаха подполковника, сразу сообразил, что это и есть тот офицер, султан округа, который знает русский язык.

И поэтому со всей учтивостью, на которую был только способен, сказал:

— Пожалуйте ко мне домой, будьте гостем.

После пережитого и еще почесываясь от одолевавшей его мошкары, Чингиз готов был немедленно покинуть Кангырган. Но приглашение есть приглашение. К тому же он понимал, что Курагин отвел от него беду. Нет, обижать такого атамана никак нельзя было.

— Пойдемте!— сказал он.

— Может, на лошадях доедем, хан-ием?— предложил Абы.

Понимавший казахский язык Курагин ответил:

— Нет, тут совсем близко. Проще дойти.

— Тогда ты езжай за нами следом,— приказал Чингиз Абы, а сам зашагал рядом с рыбацким атаманом. За ними поспешили Драгомиров и Чокан.

Абы подошел к возку. Но ему показалось, что он поступит неуважительно, если поедет, когда остальные идут пешком. Поэтому он повел своих жылан-сыртов в поводу. Но едва он сделал несколько шагов, как возок резко осел назад. Лошади стали. Абы осмотрел возок и, к своему удивлению, обнаружил, что задние колеса лежат на земле. Взял их, осмотрел. Гаек как не бывало...

Обладавший чутким слухом, он услышал злорадные восклицания и смешки. Посмотрел по сторонам — поблизости никого не было. Воры спрятались.

— Бог покарал, значит!— вырвалось в сердцах у Абы.

И без того чуткий слух Чингиза стал еще острее после всей этой передряги. Он шел прислушиваясь и хорошо услышал восклицание Абы.

— Что еще у тебя там случилось?

— Нет, хан-ием, гаек на двух задних колесах телеги!

— Что ты говоришь?!— пробормотал Чингиз.— Кому они тут нужны?

— Когда начали кричать, вам грозить, кто-то и украл, видать.

— А колеса?

— А колеса свалились. Вон, на дороге валяются.

Чингиз остановился, объяснил Курагину, что случилось.

— Да, я понял,— сказал тот довольно равнодушно.— Найдутся ваши гайки, если их только не забросили в воду.

И сменил тон на зычный, грозный:

— А ну, давайте сюда!

Из хижин и шалашей к своему вожаку спешили люди, словно муравьи из растревоженного муравейника...

— Ближе, говорю, ближе... Ко мне!— и он повелительио взмахиул рукой.

Удивительное дело. Жители этого рыбацкого поселка, признавая его власть, его волю, тянулись к Курагину, как железиые опилки к магниту. Он повел всех за собой назад, к осевшему возку Чингиза, и показал на валявшиеся колеса:

— Чтобы до утра все было на месте, все собраио. Ищите гайки, где хотите.

Рыбаки молчали, и Чингизу было невдомек, выполият ли они приказ атамана или также разойдутся по своим лачугам.

— Ну, теперь пошли,— сказал Курагин, будто ничего не произошло.

— Все будет так, как вы приказали?— не без тревоги спросил Чингиз Курагина.

— О чем говорить!— обиженно протянул атаман.— Вот вы, ваше благородие, исполняете волю царя, то бишь Николая Павловича?

— Бог с вами!— воскликнул Чингиз.— Да разве можно нарушать царскую волю?

— То-то и оно!— самодовольно пошутил Курагин.— Кто царь в этой рыбацкой столице? Я! И здесь иет человека, которому мие надо было бы повторять свой приказ. Вы поняли меня? Ну, пошли. Нечего нам тут задерживаться.

— Погодите минутку. Я скажу два слова слуге. Абы, ты оставайся здесь. Распряги лошадей, привяжи их к возку. А чтобы они отдохнули, разожги костер. Дым разгонит мошкару. Она им не даст покоя.

— Так не пойдет,— возразил Курагин.— Плохо будет, пожар начнется.

— Но Абы остается же у костра.

Курагин не терпел возражений даже со стороны гостей.

— Огонь разводить все равно запрещаю.

Чингиз пожал плечами:

— Где же ему укрыться? И коням?

— Это уж его дело. Найдет!..

И Курагин на ходу пригрозил Абы:

— Смотри, не разжигай! Сам сгоришь!

Шли молча. Настроение путников не стало веселее. Чингиз подумал, нет ли здесь какого-нибудь подвоха. И с гайками и с этим костром?

Шалаш возвышался в глубине широкой камышовой ограды небольшим курганом. Идти до него было, действительио, недолго. Курагин остановился и с шутейно-церемонным жестом произнес:

— Вот и мой дворец. Я ведь сказал вам,— он повернулся к Чингизу,— что я — царь в этой рыбацкой столице. Царь-то я царь, но нет в моих владеньях роскоши, как при дворе Романовых. Не похож мой дворец на Зимний. Но зато тишина какая! Правда, в моем дворце только комары больно кусаются, а у Романовых...

И Курагин сделал многозначительную паузу.

— Ну, об этом после поговорим, а сейчас прошу в мой шалаш.

В шалаш, построенный из дерна и выстланный внутри камышом, вела дверь, сделанная тоже из плотно спрессованного камыша. В жилище это слабо проникал лунный свет. Бедность и теснота сразу бросались в глаза. На какой-то подстилке дремал человек. Видимо, старик.

— Уважаемый Проша!— разбудил его Курагин.

— Ась?— Голос у старика был заспанный и тонкий, похожий на женский.

— Принимай почетных гостей, Проша.

Старик вскочил. В полутьме с трудом можно было разглядеть щупленького сгорбленного человечка с седыми космами и такой же белой всклокоченной бородой. Чокану он напомнил старика Канбака — перекати-поле из аульной старой сказки.

— Мой камердинер, старец Проша,— прежним шутейным тоном представил гостям Курагин заспанного старичка. И обратился к нему несколько по-другому, но тоже с оттенком шутливости.

— Принимай, говорю, гостей, Прохор. Да не простых гостей, а господ. Его благородие подполковник.

Прохор низко поклонился Чингизу, удостоил кивка Драгомирова и Чокана. Не разглядел он, должно быть, что под плащом Драгомирова скрывается тоже офицерский мундир.

— Керосин-то у нас, Прохор, есть?

— Никак нет-с, ваше сиятельство!— тоненько бормотнул Прохор, и его высокий бабий голосок развеселил Чокана.

— Ну, а лучина?

— Лучинка-с есть, ваше сиятельство!

— На ночь нам хватит?

— На ночь, может, и не хватит, но луна какая, ваше сиятельство! Когда она поднимется — совсем светло будет. И лучин никаких не надо!

Старик долго копался, пока искал кремень; еще дольше высекал огонь.

— Давай, Проша, помогу тебе, стар ты стал что-то. Вот, господа, с кремнем живем... А камердинер мой сдавать начал.

Курагин ловко высек огонь и зажег лучину. Она потрескивала, дымилась, но в ее свете яснее можно было разглядеть и печурку в углу, и сети, в беспорядке сваленные у порога, и крохотное оконце. Пахло рыбой и копотью.

Расселись в тесноте и тут снова почувствовали, как досаждает проклятое комарье. Чокан нырнул под долгополый плащ отца, Драгомиров прикрыл лицо ладонями, но и это не помогало. Он завернулся с головой в плащ. Комары проникали всюду — ни сукно, ни шелк не были для них препятствием. Бесчисленные тонкие жальца терзали путников. Они ерзали, мучаясь от непрекращающегося зуда. И только Курагина с его старцем-камердинером комары словно и не трогали. Атаман приметил, что его гостей совсем измучила мошкара:

— Давай окурим шалаш, Проша Принеси-ка камышу.

Прохор вышел на улицу.

Пока Курагин зажег еще пару лучин, старик принес камыш и затолкал его в печку.

— Трубу закрыл?

— Закрыл,— отозвался старик.

— Разожгу-ка я сам,— Курагин поднес к печи горящую лучину, и камыш вспыхнул ярким сухим пламенем. Вскоре из печурки повалил густой дым.

Сначала комарье, потом этот едкий дымный чад. Час от часу становилось хуже. Дышать было трудно, глаза слезились. Первым не выдержал Чокан

— Я просто задыхаюсь, отец. . Так и умереть можно.

Чингиз и сам не знал, куда деться. Он крепко обнял Чокана и, выдыхая горький дым, сказал с трудом

— Ой, плохо! Совсем плохо, господин Курагин.

— Уважаемый Проша, довольно. Мы, кажется, не только мошкару, но и гостей выкурим

Прохор загасил печь, открыл дверь, дым начал рассеиваться, дышалось легче

Сидели молча, каждый думал о своем.

— Проша!— забасил Курагин.

— Асы! — совсем женским голоском отозвался старик.

— Прикрой теперь дверь. А то снова комары пожалуют.

Теперь в шалаше пахло и горьким камышовым дымом, и вяленой рыбой, и заношенной одеждой, но мошкара улетучилась и гарь не резала глаза. Потухла одна лучина, засветилась другая. Чингиз тяжело дышал, пристроившись на куче

сетей. В углу полудремал Драгомиров, ие произнесший ни слова за это время. Стихи ему ие шли иа ум. На мгновеиье ои представил себе, как будет рассказывать об этом путешествии своим омским приятелям и иикто не поверит ему.

Чокаи поднялся, отошел от отца н стоял, усталый н задумчивый, держась за подпорку, на которой мерцала лучииа.

— Канашжаи, что ж ты ушел от меня?— спросил Чингиз.

— Я, пожалуй, пойду подышу свежим воздухом... Пусть лучше комары кусают!— и выскочил в открытую дверь.

— Не беспокойтесь, ваше благородие,— утешил Чнгиза Курагин.— Долго ои там ие пробудет.

Чингиз тоже думал так.

— Не задерживайся только!— крикнул ои вслед сыну.

— Вот так и живем, дорогне гостн!— развлекал рыбацкий атаман наших путников.— Царство наше ие особенио-то богатое. Удобств никаких. Смею доложить, когда налетает мошкара, собаки и те не выдерживают. Ни одной у иас сейчас ие иайдешь. Придет время, вернутся. Они от нас ие отстаиут... А мы терпим. Но что это я разболтался... Словами сыт ие будешь... Слушай, Проша уважаемый, хватит тебе дремать. Ты уже выспался. Прииеси ведро свежих окуией, да пожирнее. Но до этого дай-ка нам позабавиться вялеиой рыбкой. Той, отборной.

Уважаемый Проша поохал малость и вышел.

Дым в шалаше будто совсем рассеялся, но сиова начали тоико звенеть и кусаться комары.

— Дверь бы иадо закрыть — посоветовал Чиигиз.

— Вы думаете, ваше благородие, что оии сиова прилетели. Ничего подобного. Это те, что попрятались во всяких щелях, когда мы их начали окуривать. Всех все одио ие уничтожишь.

— Кусаются, господии Курагии,— вздохиул Чингиз, почесывая шею.

— Бог терпел и нам повелел. Или опять захотелось дыма иаглотаться?

Появился Прохор с какой-то посудииой.

— Все догадался принести, уважаемый?

— Не сумлевайтесь, ваше сиятельство. Все.

Прохор поставил перед Курагииым железный таз. В шалаше и прежде пропитаином рыбным духом, запахло остро и вкусио. Уважаемый достал из-за пазухи какую-то посудииу и быстро передал ее атаманy.

— А теперь, Проша, выставь окошко, чтобы продувало хорошо.

— Но комары налетят!— запротестовал Чингиз.

— Пусть их. Да сразу они и не налетят. Я одно средство знаю. Нам сейчас больше всего нужен воздух. Да и светлее будет. Луна прямо в наше оконце светить будет. Правду я говорю, уважаемый Проша? Да и лучина на исходе.

— Так точно-с, ваше сиятельство. Луна на высоте-с.

— Выполняй, уважаемый.

Прохор пошел выставлять окно, а словоохотливый Курагин объяснил гостям, что стекла в их поселке нет, не затягивают они окон и бараньими пузырями, как это делают бедняки-казахи. Не затягивают потому, что овец не держат. Обходятся тряпками, мешковиной.

В шалаш потянуло свежим ветерком. Значит, Прохор «выставил» окно, а проще сказать — снял мешковину. В стене теперь светлело большое круглое отверстие, и свет полнолунья лился в убогое жилище атамана.

— Сквозняк. Не люблю сквозняков.— Это были первые слова, сказанные в шалаше Драгомировым. Он поежился, попросил закрыть дверь.

Курагин, проникнувшись некоторой симпатией к опальному султану, до сих пор еще ни разу не обращался к Драгомирову. Прознав, что он губернский чиновник, «один из этих», рыбацкий атаман старался просто не замечать его. И в ответ на эту маленькую просьбу грубо проворчал:

— Дверь не надо закрывать. Не нравится — идите на улицу. Не хотите — зарывайтесь с головой в свой плащ и лежите. Ничего, не заболеете...

И тут в шалаше появился Абы. Вид у него был страдальческий, жалкий.

— Что с тобою случилось?— спросил Чингиз.

— Погибаю совсем, хан-ием,— запричитал Абы.— Не знаю, куда от комаров спрятаться. Всего облепили. И кони места себе не находят. Просто извелись. Как мы только завтра поедем?

— А возок наш как?

— Как был, так и есть.

— Без колес, значит.

— Без колес.

В разговор вмешался Курагин. Мешая казахские слова с русскими, он стремился успокоить и Чингиза и Абы.

— Найдутся! Мен сказал. Я сказал. Приказ.

Чингиз про себя подумал: «К чему твои приказы и обе-

щанья, если гайки отвинчены и колеса валяются. Будь бы все в порядке, немедленно отправились отсюда. Обошлись бы без рыбы. И свежей и вяленой. Но теперь мы связаны по рукам и ногам». А вслух устало спросил Абы: — Ну, чего ты от меня хочешь?

— Хочу отойти с лошадьми подальше в степь и развести огонь. Иначе кони не отдохнут и я свалюсь с облучка.

— Ну, пусть будет по-твоему,— согласился Чингиз, ему уже было все равно.

— Никак нельзя!— всполошился Курагин.— Урт начнется. Пожар. Поселок загорится, плохо будет. Жаман...

— Абы у нас осторожный, не беспокойтесь,— вступился за слугу Чингиз.

— Нет, жок!— мотал головой Курагин, отчаянно жестикулируя.— Урт будет, пожар.

— Ступай, Абы!— Чингизу уже надоел весь этот спор.— Делай как знаешь!

— Ты, киргиз, смотри!— пригрозил Курагин.— Здесь мой закон. Обманывать меня плохо. Жаман. Урт начнется, мен тебя ножом резать будет, в огонь бросим...

Абы вышел. «Упрямый он, по-своему поступит, не дай боже случиться новой напасти»,— теснились в голове Чингиза невеселые раздумья.

— Теперь кушать будем,— и Курагин протянул Чингизу крупную вяленую рыбу, предварительно понюхав ее.— А пахнет как! Замечательно. Тамаша!

Рыба выглядела аппетитно. Потрогал бока, брюхо, нащупал икру. Сквозь чешую так и выступал жирок. Давненько не приходилось Чингизу пробовать что-либо подобное. Он еще раз втянул ее запах и принялся очищать.

— Хорошо, жаксы?— спросил Курагин.

— Тамаша! Чудесно!— отвечал Чингиз.

— Арак будем пить?

Чингиз вообще был непьющий, но, бывая в городах, особенно в Омске, за русским застольем, не отказывался от рюмки и даже ел свинину, если рядом не оказывалось казахов.

— Ну, что ж. Арак так арак. Водка. Почему бы в уединении, вдали от своего аула, немного не выпить под такую закуску,— и Чингиз не отказался от курагинского предложения.

— Только водка не из пшеницы,— предупредил атаман.— Мы ее называем карагай-арак. Гоним ее из соснового сока. Из живицы. Это вроде смолы.

— Карагай-арак, говоришь? Никогда ие слышал, чтобы иа свете была сосиовая водка,— засомиевался Чингиз.

Сои Драгомирова как рукой сняло. Ои уставился иа Курагииа:

— И вы это предлагаете пить? Да ведь это яд, древесный спирт! От иего иа тот свет отправиться можно.

Курагии усмехнулся:

— А мы пьем и ие умираем. У нас все рыбакн пьют. Конечно, очищаем как умеем.

— Нет, я решительио против. Не вздумай пить, Чиигиз, если тебе жизиь ие иадоела.

Ох, как не поиравились Курагину этн слова Драгомирова. Подумаешь, омский чистоплюй! Он разозлился:

— Неси тогда настоящую водку.

Атаман издевался иад Драгомировым, полагая, что задает ему непосильную задачу. Но Александр Николаевич вспомнил о своем французском флаконе в саквояже и прикииул, что там ие меньше двух стакаиов чистого спирта. Малость развести, получится по стакаиу иа брата. Доза добрая.

— Может, старнчок проводит меия к иашему возку?

Курагнн оживился:

— Уважаемый меия слушает, как бога. Сходи, Проша, с господином иачальнником.

Курагин, оставшись иаедиие с Чингизом, спросил его с грубоватой откровенностью:

— Ои друг тебе или враг, этот твой чиновник? Не нравится он что-то мие. Хочешь, мы его того...

И сделал выразительиый жест.

— Нет, иет, что ты!— Чингнзу стало страшно от одиой такой мыслн.— Мы с иим дружим давио. Человек он не вредиый...

Пока Чиигиз коротко рассказывал Курагииу историю их знакомства, вериулся Драгомиров с уважаемым Прошей.

— Чуть водой разбавили, всем хватит.

— Мие и карагай-арак хорош,— самодовольно прогудел Курагин,— а чистенький вы уж сами пейте.

— И я!— тонеиько пропел Прохор, уже успевший отхлебнуть из господской посудины.— Может, рыбу прикажете варить, ваше сиятельство?

— Рановато еще. Мы виачале вяленой закусим. Подсаживайтесь, гости!

В шалаше иашлось что-то похожее иа стаканы. Один из них Курагин иаполнил драгомировским спиртом, другой — своим.

— Вот она, наша пивница!

— Живица?— переспросил Драгомиров.

— Она и живица, она и пивица. Ну, давай!— Атаман чокнулся с Чингизом.— Сначала вы, ваше благородие, потом я.

«Опьянею так опьянею»,— подумал Чингиз и выпил все до дна.

— Джигит!— восхитился Курагин, опрокинул свой стакан и протянул его Драгомирову:

— Понюхай!

Дурманный горький запах ударил Александру Николаевичу в ноздри, защекотал горло.

— Ну как?— Глаза Курагина хищно поблескивали даже в полусвете.

— Мм-да-а!— протянул Драгомиров.— Мне все-таки моего спиртику налейте.

— Ладно! И тебе — до края и я себе налью полную. Своей.

И уже к Чингизу·

— Ваше благородие, рыбка ждет! Она вкусная.

Чингиз приналег на вяленую, полную икры рыбину.

— Может, и вы моего спирту попробуете?— спросил Драгомиров.

— Это для белой кости. Нашему брату арак-карагай в самый раз.— Курагин поднял свой стакан.— А твой-то полный?

— Полный.

Драгомиров схитрил, опасаясь опьянеть в непривычной этой обстановке, в продымленном шалаше. Но провести Курагина ему не удалось. И в мелочах хитер был атаман и в темноте зорок. Волей-неволей пришлось наполнить стакан до краев.

— Теперь правильно. Ты меня не дурачь.— Курагин скверно выругался.— Пей до дна!

Драгомиров любил выпивать, но выпивал понемногу, со вкусом и уж во всяком случае не стаканами и не на голодный желудок. И сейчас, обжигаясь, едва одолел до конца под пристальным взглядом Курагина «кубок большого орла». За ним легко опрокинул свой стакан хозяин, разорвал рыбу пополам и начал с жадностью похрустывать косточками.

— Дай-ка сюда!

Драгомиров понял, что атаману понадобился его французский флакон.

— Бери!— Больше он и сказать ничего не мог. Жгло горло, все горело внутри. Неприятно кружилась голова.

Нн с того ии с сего Курагин заорал на Прохора:

— А ты чего здесь? С глаз моих сгинь!

Уважаемый Проша покорно вышел.

— Пить еще будешь?— спросил атаман Драгомирова.

Утомленный дорогой и спиртом, выпитым натощак, Алексаидр Николаевич отрнцательио помотал головой.

— А к рыбке чего ие притрагиваешься? Эх ты, аристократ! Дрыхни тогда!

Драгомиров подложил под голову сети и тут же захрапел.

Чингиза мутило, жгло, ему казалось, что и воздух пропах спиртом. На лбу выступил пот. Ои ел рыбу, одну за другой, нетерпеливо и жадно, ел целиком, оставляя лишь хвост, жабры и позвоиочную кость.

Но хмель не проходил, а сильиее и сильнее кружил голову. Чиигиза покачивало. В опьяиеиии он стал плохо поиимать происходящее, хуже слышать. Не замечал храпа Драгомирова. Не сразу разобрал, что к иему прнстает Курагин, настойчиво требуя выпить еще. Новый стакаи спнрта стоял перед Чиигнзом. Атаман бранился, атаман разошелся вовсю. Чиигнз слышал и не слышал его ругань. Клонило в сон. Он стал валиться набок, плохо владея своим телом.

Путая «вы» и «ты», ругаясь, распоясавшийся Курагин схватил Чингиза за ворот короткими пальцами широкой ладони. Силой он обладал поистине богатырской. Он легко подымал шестипудовую бочку засолеииой рыбы.

— Не хнтри, ваше благородие! Не притворяйся! Выпей со мной. А потом спи, сколько хочешь...

И видя, что гость не поддается уговорам, встряхнул его за ворот: раз, два...

Чингиз начал трезветь. Все становнлось на свое место. Он был готов объяснить Курагину, что не может пить больше, готов был сказать: «Ты, что трясешь меня? Не надо!»

Жалко выглядел после спирта султан, но не в характере атамана, да еще изрядно подвыпившего, было отступаться от своего: будь то каприз, вздорная ярость или желание показать свою власть.

— Пей, говорю тебе. А то по переносице хрясну. Пей, больше заставлять не буду.

У Чиигиза ломило голову. Но и, что скрывать, страшновато было наедине с разбушевавшимся атаманом. А, будь что будет! Он вдохнул воздух и опрокинул стакан. На дне ие осталось нн капли.

— Вот это по-нашему!— хохотнул Курагин.— Теперь ваша воля. Упрашивать не стану.

Чингизу неожиданно стало легче, быстро прояснилось сознание. Даже бодрость он почувствовал. Не пьяную бодрость, а бодрость выздоравливающего человека.

— Нет, больше я пить не буду!— прежняя уверенность и твердость вернулись к нему.

Утихомирился и Курагин:

— Как хотите, ваше благородие. Поспите или поговорим...

— А ты?

— Мне все одно, ваше благородие...

И тут Чингиз со всей остротой почувствовал, что Чокана нет рядом. Давно нет. С той поры, как они вошли в этот шалаш и Прохор камышовым дымом начал разгонять комаров. Куда же он запропастился? Должен быть где-нибудь вблизи. Чингиз решил поискать его один, без Курагина,— атаман ему порядочно надоел. И под благовидным предлогом он покинул шалаш. Выпала обильная роса. Легкий ветер, доносивший влажное дыхание озера, не нарушал тишины. Короткая летняя ночь была на исходе. Край неба на востоке и севере уже светлел, отчетливо проступала желтоватая каемка зари. И хотя еще ярко сияла Венера, еще перемигивались в просветах облаков бледнеющие звезды и склонялась к западу луна, наступал тот час пробуждения, когда начинают перекликаться птицы и прохладная предутренняя свежесть вливается тебе в грудь.

Чингиз любил рассветы, любил природу. Отдыхая душой после беспокойной шумной ночи, он одновременно беспокоился и о Чокане. Он брал его с собой на охоту совсем мальчонкой. И на память пришли счастливые часы, которые испытывали и он и сын, отправляясь далеко в степь с ловчей птицей.

Из всех ловчих птиц, побывавших в его руках, особой привязанностью долгие годы был сокол Ак-улпа, Белый пух. Его подарил ему Биримжан, сын Шегена, именитый бай из рода Аргын. Чингиз терпеливо тренировал Ак-улпа. Вот в такую же предутреннюю пору он выезжал с ним на охоту; находил удобное место с подветренной стороны какого-нибудь озерка или реки. Помощник его уходил в камыши, подымал тревогу, и птицы — чаще всего это были гуси и утки — взлетали шумной стаей. Чингиз шепча повторял по обычаю казахских охотников заклинание:

«Ближе ко мне, ко мне быстрей! Голову кровью окрасишь своей».

Птицы летели, но, казалось, летели медленно. «Ближе ко мне, ко мне быстрей». Чингиз застывал в нетерпении, но тут

сидящий на руке сокол вздрагивал, начинал беспокойно биться, взвихривал крыльями воздух. И когда первая, самая стремительная, утка проносилась над головой, сдерживать сокола было уже нельзя. Чингиз срывал путы и легко подкидывал его вверх.

Ак-улпа не взлетал напрямик, перерезая путь утке, а несся вначале ннзко над землей, потом взмывал вверх и оказывался сразу над летящей птицей.Он делал круги, как бы прицеливаясь, падал вниз н схватывал на лету свою жертву. И Чингиз, зная своего сокола, скакал, не за ним, а вдогонку за уткой. И не ошибался. Он торопил коня и вскоре сближался с Ак-улпа. Сокол чаще всего не терзал утку, не вонзал в нее глубоко свои когти. Выкатив черные глаза и выпятив белую грудку, он сидел на еще живой птице, не трогая ее даже клювом. Когда Чингиз спешивался, Ак-улпа пронзительно клекотал, словно оказывая почет хозяину и гордясь своей победой, и отлетал недалеко в сторону. Чингиз доставал нож и, приговаривая традиционное «бисмилла», прирезал утку, вспарывал ей грудь и еще горячее сердце отдавал своему соколу.

Чингиз считал охоту, особенно с Ак-улпа, одним из своих самых больших увлечений в жизни н передал Чокану охотничью страсть.

... И вот он стоял один в рассветный час, такой же прекрасный, как во время лучших охотничьих забав. Но нет у него на руке Ак-улпа, нет верхового коня н, главное, нет Чокана. А в нескольких шагах от него — мрачная хижина, угрюмый рыбацкий атаман, этот бедный и враждебный ему мир.

Где же все-таки Чокан? Может быть, он в одном из соседних шалашей или хижин?

Чингиз осторожными шагами обошел поселок. Безлюдье. Тишина. Из шалашей доносилось мирное похрапывание. Все спали. Он негромко окликнул сына. Никто ие отзывался. Громче стала перекличка птиц на берегу озера. Наступило утро, Прожужжал первый комар, за ним — второй, третий. Они так и норовили ужалить Чингиза. Снова начинало зудеть тело, н он раздражался все больше и больше. Чингиз пошел быстрее. Его тянуло к озеру. Вдруг он увидел свой возок. Коней кудато увел Абы. Когда Чингиз поравнялся с возком, он облегченно вздохнул. Курагин не соврал: все было в порядке. Колеса находились на месте, гайки прикручены. Когда они только успели все это сделать? Да, атамана здесь, действительно, слушаются беспрекословно.

Эх, был бы здесь Канашжан, былн бы конн, и уехать,

умчаться бы сразу в открытую степь из этих владений шайтана.

Чингиз заглянул в возок, не заснул ли в своем уголке Чокан? Нет, его здесь не было. Куда же он убежал?

Послышались чьи-то шаги. Оглянулся — Курагин. Сказал ему первое, что взбрело в голову:

— Возок привели в прежний вид. Спасибо.

— Вы думали, ваше благородие, я говорил зря. Нет, я приказал, значит, так и будет. Они, черти, меня слушают.

Курагин держался так, будто ничего не случилось. И ступал твердо и говорил здраво. Прежней наглости как не бывало. А сколько он выпил этой горькой и крепкой дряни! Видать, привык к ней. Опьянел и сразу же протрезвился. И сам он, Чингиз, почувствовал себя куда легче, походив на свежем воздухе. Только голова немного побаливала да звенело в ушах. Может быть, от дум, от беспокойства...

Чингиз сказал Курагину, что взволнован исчезновением сына.

— Да вы не сомневайтесь, ваше благородие. Не пропадет он. Никто его не тронет. Я думаю, ваш сынишка с рыбаками уехал на озеро. Они к утру вернутся на берег. Вот-вот подойдут лодки. Пойдемте в шалаш. Я велел старику окуньков сварить. А не хотите — воля ваша. Побудем на берегу.

Есть Чингизу не хотелось. Вместе с Курагиным они подошли к озеру. Вода отливала свинцом, ветерок поднял на ней мелкую рябь. Другой берег едва виднелся. У самой воды лежало несколько опрокинутых лодок. Порой набегала тихая волна, омывая их темные борта. Устойчиво пахло рыбой. Комары здесь не докучали.

— Ваше благородие, вы присядьте на лодку, а я пойду по своим делам похлопотать ненадолго.

Чингиз снова остался один. Он не сел на влажное днище, а прохаживался взад и вперед по мягкому песку и поглядывал на отпечатки своих сапог. Где ты, Канашжан? Где ты, мой Чокан? Может, с тобой и впрямь что-нибудь случилось?

...Чокан был жив и здоров. Но он провел ночь еще беспокойнее и необычней, чем его отец.

Когда он выбежал из курагинского шалаша, ему просто не терпелось скорее добежать до возка и схорониться там от комариных укусов, и уснуть, уснуть!..

Но все вышло иначе. Его так одолели комары, так беспощадно искусали, что он понял — от них не скрыться и в возке. Чокан метался. Комары залезли в ноздри, в рот, не давали ему дышать. Казалось, он вдыхал не воздух, а одну

мошкару, сделавшую бедиягу в свете полной луны своей единственной мишенью.

Бежать обратно в шалаш? Нет, там горько и дымио. У него до сих пор першило в горле. И потом там неприятные люди. Нет, в шалаше ои иочевать не будет.

Отбиваясь от комаров, он растерянно думал: в Орде, в родном ауле было совсем не так. И вдруг он услышал звучавшую издалека казахскую песию, шум мужских и женских голосов, приглушавших трели сыбызги — пастушеской дудки из суходольного тростника. Там веселятся... Может, это той? А может, и шилдехаиа — праздник в честь рождения ребеика? Такие сборища всегда привлекали Чокаиа, и он побежал на песню, на голоса. Он побежал, огибая шалаши и лачуги, продолжая безуспешно воевать с комарами. Ои слышал кроме приближавшейся песни неумолчный треск кузиечиков. Их было здесь столько же, сколько мошкары.

Наблюдательный мальчик, он видел домики и лачуги, сооруженные преимущественно из камышовых связок. Были здесь и небольшие остроконечные шалаши, были четырехстенные домики с плоскими крышами — они напоминали сараи. Но весь поселок ие производил впечатления обжитого, ие залаяла ни одна собака, не перебежала дорогу ни одна кошка. Не мычали коровы, не слышалось ржанья коней. Чокан представлял себе так: где люди, там обязательно должны быть и животные. А тут — одио комарье, одни кузнечики.

Песня и шум голосов приближались, но они были дальше, чем предполагал вначале Чокан. Он запыхался, устал, пока наконец поравнялся с жильем, больше похожим на стог сена, чем на дом. Впрочем, «стог» был тоже сложен из камыша. Чокан замедлил шаг, обошел вокруг, приметил вход. Он бы еще постоял, прислушался, что происходит внутри, но комары по-прежнему не давали покоя.

И Чокан шагнул в лачугу.

На улице было светло от луны, а здесь только тлели угольки в очаге. Темнота не мешала веселью. На сыбызге кто-то наигрывал уже не казахскую песию, а татарскую мелодию. Музыканту подпевали чуть хмельные мужские и женские голоса.

«Не надо мне было сюда заходить»,— подумал Чокан. Но любопытство взяло верх, и ои остался. Его приход сперва остался незамеченным.

— Надоела темь, дайте свет!— раздался чей-то нетерпеливый голос.

На тлеющие угли бросили солому или камыш. Разом

вспыхнувшее неровное пламя осветило множество людей, собравшихся на это скромное торжество. Они полулежали у стен, но большинство окружало очаг.

Огонь так же быстро погас, как и вспыхнул. Чокан не успел разглядеть лиц.

— Подбросьте еще!— потребовал тот же голос. Его не поддержали:

— И зачем нам только этот свет? Глаза от него болят и дымно. Как будто не привыкли жить в темноте.

В очаге дотлевали угольки. Но при той вспышке огня Чокан приметил сваленные в кучу, как в курагинском шалаше, сети. Он присел на них,— послушать, понаблюдать, если сон не свалит.

Только он пристроился, как замолкла и сыбызга.

— Пить до смерти хочется,— это, должно быть, говорил музыкант.— Не все же время песни, горло промочить надо. А?

— Да и поесть не мешает,— отозвался другой.— Отложим пока сыбызгу и песни, перекусим! Надо.

— Верно, верно!— зашумели остальные.

— Не будем же есть в темноте. Тут уж без огня не обойдешься.

Опять вспыхнуло пламя камыша. Но теперь за очагом следили, и огонь полыхал непрерывно.

Чокан видел, как что-то разливали в чашки и пили по очереди, потому что чашек не хватало. Чокан догадался, что это была водка или другой напиток. Иные морщились, выпивали с трудом, даже отплевывались. Потом стали есть рыбу, приготовленную в одной большой посуде. Чокан теперь видел всех, увлеченных питьем и едой, но его по-прежнему не замечали.

Когда насытились, когда отвели, как говорится, душу, кто-то молодой предложил.

— Ау, я уже по песне скучаю!

— Ребенок не просыпается, давно его уже не слышно.— Голос на этот раз принадлежал женщине.— Мы еще отдохнем малость. Утром к сетям идти надо.

— Давно что-то он молчит, посмотрите, что с ним.

Вспомнили, как в другом рыбацком поселке одна уставшая от работы мать принялась кормить грудью сына, заснула и придавила его во сне.

— Чего вы мешкаете, посмотрите!

— Сейчас!— ответила женщина.— Только сделайте поярче огонь.

Освещенная камышовым пламенем женщина поднялась и

пошла прямо иа Чокана. Он тут же растяиулся на полу и уткнул голову в сетн. Женщина остановилась около него. Чокан раньше и ие заметнл, что рядом лежала мать с ребенком. Теперь Чокан хорошо слышал ее дыхание.

— Баршын! А, Баршын!— тронула жеищина за плечо уснувшую мать. Она отозвалась ие сразу, тихо и устало:

— Кто это меня будит? Что тебе надо?

— Это я, Акмантай. Беспокоиться мы, Баршын, стали. Притихли вы оба: и ты и твой малыш.

— Да комары закусали... И шум. Покормила его, запеленала, он и заснул. И я вместе с ним.

— Ну и пусть спит. Я уже всех накормила, сейчас помою посуду и тоже подремлю.

Женщнна отошла. Мать повернулась на бок и снова иегромко захрапела. Чокан уже ие сомневался, что попал на шилдехану, бедиую шнлдехану в рыбацком поселке.

После еды и выпнвкн веселье угасло. Разговаривали вяло, вполголоса. Сказывалось утомление н самим праздником и дневной работой. Музыкаит, что нграл иа сыбызге, был скорее всего татарином, долгое время жившнм средн казахов. Издалека Чокан слышал казахскую песню, потом — татарские мелодии.

Чокан часто ездил с отцом и в станицы Сорок Холостяков и в Баглан, где было довольно много татар. Татарские баи в знак почета приглашали Чингиза в гости. Там пели песни под излюбленный свой инструмент — гармонь. Чокану нравились н татарская музыка и татарские песни. Пытаясь запомннть мелодии и слова, он часто тихо напевал их. А некоторые татарскне песни ои перенначивал иа казахскнй лад. Чокаи особенно пристрастился к одиому четверостишию:

Не умею я нграть, но научусь.
Запоет в моих руках гармонь.
Неудача нынче с намн, с нами грусть,
Но удача прилетнт, как быстрый конь.

Чокаи про себя пропел эти строки н на рыбацкой шнлдехане в такт сыбызге музыканта.

А сейчас, когда праздник шел на убыль, ему захотелось услышать казахскую песню. И, словно угадывая желание мальчика, дудочник сказал:

— Теперь слушайте казахскую музыку и подпевайте мне.

— Давай, давай казахскую, Танатар!— подхватнли рыбаки.

Чокан так и не понял: Танатар — это имя или же рыбаки намекали на танатар — наступающий рассвет.

И снова зашумела шилдехана, зашумела перед затишьем, перед концом праздника.

Протяжная казахская мелодия заполонила всех. Чокан обратился в слух. Он так напрягся, что даже холодок пробегал по спине. Мальчик давно испытывал восторг от музыки. Ему доводилось слышать мелодии, исполнявшиеся на домбре, кобызе, даже свирели. Но сыбызгу он встретил впервые. Обыкновенный суходольный тростник, обтянутый с конца для прочности и верности звука тонкой оболочкой бычьего пищевода. Но у опытного вдохновенного музыканта тростник становился чудом. Домбра или кобыз — это соловей, слышный лишь в той роще, где он поет. Сыбызга — призывный клик лебедя. Он разносится по всей степи. Воображение подсказывало Чокану, что эта мелодия может долететь и до родного далекого Кусмуруна.

Музыкант после запева ускорил темп и, почти не отрываясь от сыбызги, кратко бросил:

— Ну что же вы, подпевайте!

Переглядывались. Тихонько подталкивали один другого. Робели, покоренные мелодией. Кто-то назвал имя Кудамана, слывшего, вероятно, хорошим певцом.

— Пой, Кудаман!

— Просим тебя, просим!

Названный Кудаманом прокашлялся:

— Охрип я сегодня. Попробую, но вдруг не получится.

И не получилось. Он взял громко и сипло, по-верблюжьи. И слушатели вместо того, чтобы поддержать певца, дружно рассмеялись, стали вслух потешаться над ним.

Кудаман обиделся, смолк. Оборвалась и мелодия.

— Неужели среди нас никого нет?

Вопрос был встречен молчанием.

— Что ж, если мы уж такие безголосые, давайте ложиться спать, расходиться...

Тут было произнесено еще одно имя:

— А не послушать ли нам Уки-апай?

— А согласится ли она?

— Потребует народ — хан верблюда прирежет!

Смирнехонько слушавший эти возгласы Чокан сообразил, что Уки-апай сидит где-то у очага. Именно туда было направлено общее внимание. И когда она заговорила, Чокану почудилось, что этот низкий голос принадлежит мужчине.

— Светики мои, я и волос давно не заплетала и много лет не открывала рта для песни...

Ее стали упрашивать наперебой, воздавая похвалу. И жен-

щииа — судя по всему, она была старухой — скромно прогудела:

— Что же мне спеть?

— Что вы сами пожелаете, женеше. За мной дело ие станет.— Это, понятно, был обладатель волшебной сыбызги.

— «Даллат», «Даллат»!— отвечали за певицу со всех сторон.

— Она же расплачется, если только ее запоет!— пробормотала жеищина рядом с Чоканом.

— «Даллат», «Даллат»!

Всем так хотелось эту песню и никакую другую.

Музыкант спросил участливо и негромко:

— Что же будем делать, милая женеше?

— Ну, если все хотят «Даллат», начинай, мой баловень.— В грудном, низком голосе Уки-апай былн и ласка и покорность, и, судя по обращению, Чокан подумал, что сыбызгист непременно приходится ей близким родственником по мужу.

... Мелодия песнн сразу взлетела высокой нотой. Домбрист обычию поступает не так. Он долго держит палец на одной струне, яростно перебнрая струны пальцами другой руки в ожнданни тншины. Наш музыкант не ждал ин минуты, да и сама сыбызга, вндно, не давала возможности так прнготовнться. И еще музыканту хотелось показать свое мастерство. Мелодия набирала высоту, долго звучала в подоблачной выси, перелнвалась, стихала, снова взлетала птицей. Этой песни Чокан не слышал прежде и дивился ее красоте И нетерпеливо ждал слов этой песни. Как она будет петь, эта неведомая Уки-апай.

Музыкант пронграл до конца первый куплет.

— Я жду тебя, женеше!

Уки-апай промолчала.

Но когда снова призывно взвнлась первая высокая нота, она запела. Ее голос был звучный, необыкновенно снльный. Он не заглушал сыбызгу, но сыбызга оказалась как бы в его тени.

Чокан разбирался в пеини, с удовольствием слушал на тоях исполнительниц песен. У ннх обычно бывали высокне голоса. И теперь, когда запела Уки-апай, он мгновенно определил ее голос, как женский, но приближающийся к мужскому.

— Апырау!— удивился он.— И есть же на свете такне голоса.

Густой, сочный, он был еще иа редкость гибким и ие пре-

рывался ни на секунду, сливаясь с переменчивым ритмом мелодии. Казалось, Уки-апай не знала устали. Ее голос разливался так сильно и широко, что песне становилось тесно в этом нищем камышовом доме, и она вырывалась на степные просторы.

Не только мелодия, но и слова песни входили в душу Чокана. Памятливый и понятливый с самого раннего детства, он готов был повторить наизусть:

Нар — верблюд одногорбый,
Состарясь, груз не возьмет.
Пустеет простор джайляу,
Аул на зимовку идет.
Мы вместе с тобой играли,
Мы выросли вместе с тобой,
Но где ты, мое веселье?
Далекий, ты стал не тот.
Аха-хау, Даллат-ай!

Вторая строфа песни начиналась так:

Луже не стать колодцем,
Колодца исток — глубина,
Конь не промчит стрелою
В грязище по стремена.

Тут голос Уки-апай изменился. Так меняется молоко, в которое бросили закваску. Голос потерял чистоту, то срываясь на шепот, то на крик. И вдруг стало ясно: Уки-апай плакала. Женщина, что полулежала рядом с притаившимся Чоканом, взволнованно остановила певицу:

— Не надо больше, не надо!

И она подбежала к очагу, чтобы утешить Уки-апай и поблагодарить ее.

Смолкла песня, но проснулись дети, поднялся плач и шум. Матери успокаивали своих детей, каждая по-своему: шлепками, руганью, лаской. Застонал больной. Кто-то спорил, кто-то говорил о вчерашнем улове.

Чокан надумал выскользнуть так же незаметно, как и вошел. Ночь его утомила. Но рядом тоненько заплакал новорожденный. Должно быть, комары закусали бедняжку. И, жалея ребенка, Чокан взял его на руки, еще не соображая как следует, что он делает. Младенец продолжал плакать.

— Проснулся наш малыш!

— Вот теперь и дадим ему имя.

— Правильно, дадим!

— Зажигайте огонь, идите с ним к малышу!

Свернули жгутом камыш, поднесли к уголькам в очаге. Раздули яркое пламя. И с факелом направились к тому уголку, где Чокан держал на руках новорожденного. Некоторые шли с жгутами камыша, чтобы поддержать при случае огонь. Был среди подошедших и усатый, пожилой мужчина, не расстававшийся со своей сыбызгой.

Чокан с плачущим ребенком на руках вновь столкнулся лицом к лицу с рыбаками-казахами.

— Кто это, кто?— удивлялись они.

— Да ведь это сын самого Чингиза!...

— И верно — он!

— Как ты сюда попал? Почему взял на руки ребенка?

Все, кто здесь был, ринулись в сторону Чокана. Жмурясь от света полыхающих камышовых жгутов, он видел изможденные лица, чувствовал на себе суровые, пронизывающие насквозь взгляды. Сама бедность, которую он не встречал даже в ауле Карашы, смотрела на него. Почему они так живут? Почему так враждебно, так зло глядят на него?

Чокан оробел, испугался, как лисенок пугается гончих. Он озирался в поиске сочувствия, поддержки, но рядом, среди людей с камышовыми жгутами, не нашел ни одного доброжелателя.

— Ты отдай-ка лучше младенца!— бледная еще женщина протянула к нему руки.

Чокан из боязни, что он будет совсем беззащитен, еще крепче прижал к себе ребенка и слегка покачивал его, чтобы он не плакал.

— Отдай, говорю тебе, сына!

— Не отдам!— В Чокане проснулся строптивый дух.— Что я ему плохого сделаю! Вы же будете сейчас давать имя младенцу!

— Что тебе за дело до этого, до нас? Ты зачем взял на руки моего ребенка? Ты слышишь меня или нет?— И женщина теснила Чокана в угол, готовая силой отобрать у него младенца.

— Подожди, невестка,— остановил ее угрюмый старик. И начал допытываться — действительно ли он сын Чингиза, хана Чингиза, тот ли он мальчик, которого он видел на берегу, и почему он пришел сюда, на шилдехану, и как он узнал, что праздник происходит именно здесь, и давно ли он тут?

Чокан отвечал нехотя, односложно, но старик не унимался, пока другой рыбак, совсем седобородый, в несвежей нижней

рубахе и таких же штанах, властно ие остаиовил окружающих:

— Ты что допрос мальчику устроил? Разве он помешал тебе? Разве ты не знаешь — шнлдехана для всех открыта?

И вдруг Чокаи услышал доброе слово, обращеиное к нему:

— Повеселиться, зиачит, прншел, сыиок? Песии любншь.

— Да, ата. Песня меня сюда и привела.

— Ты скажи мне, как зовут тебя?

— Чокаи.

— Людн!— Старнк говорнл теперь уже громко, для всех.— Сам аллах привел к иам в дом этого мальчика. Я думаю, он хороший. Пусть происходит из хаиского рода. Надо дать его имя нашему младенцу.

— Краснвое имя! Почему бы н у нас не быть Чокану?

— А у роднтелей мы спросили?

Седобородый старнк посмотрел на усатого музыкаита. «Ои и есть отец»,— мелькиуло в мыслях Чокана.

— Как, мать, тебе нравится?

— Старшие одобряют, я согласна...

— Нет, не бывать этому!— Чокаи узнал иизкий голос певнцы. Теперь ои увидел и ее. Из-под стареиького платка выбивались косматые седеющне волосы. Иссечениое морщииамн лнцо показалось мальчнку неприветливым и грустным.— Да не сблизит аллах н дом мой и могилу мою с потомками хаиа!

— Не говори так, Уки-келни.— Аксакал выделял каждое слово, не торопился.— Дела хаиские иесправедлнвы, но и в ханской родословиой есть предкн-батыры. Имя мальчнка — чнстое. Слыхал я, ои учнться едет. Не так ли, сынок? Может, большая дорога открывается перед иим. У иас будет свой, рыбацкий, Чокаи. Даст бог, и он пойдет по доброму пути.

С аксакалом согласились старшие, со старшнмн — роднтели.

— Теперь, свет мой, громко скажн младенцу в ухо три раза: «Чокаи, Чокаи, Чокаи»— и отдай его матерн.

Чокаи исполнил волю старика, н мать прнжала к груди своего малыша.

Возгласом одобреиня — барекельде!— закоичилн рыбакн свой праздник в честь иоворождениого.

Чокан собрался уйти, ио его окликиул музыкаит Таиатар:

— Как же мие теперь поступить, дорогой мой? Известен ли тебе обычай, что человеку, чьим именем назван иоворожденный, дарят коня? А у меня коня нет. Хочешь покататься

на лодке? Пойдем на озеро. Оно и будет считаться твоим. Настала пора сети ставить. Ты мне поможешь. Ладно? Устал ты, я вижу, но все мы устали. Зато на всю жизнь запомнишь, как рыбачил иа Тенизе. Сазанов с собой прихватим. Я на берегу уху сварю. Хочешь?

И попросил жеиу принести ведро с рыбой.

— Это вчерашний улов. Я уж чуть подсолила.

— И это дело!

Когда жена поставила ведро, Танатар заглянул н улыбнулся:

— И нам двоим и всем, кому только захочется, хватит. На, попробуй!

Чокан приподнял ведро. Танатар говорил правду. Рыбы там было вдоволь.

— Вот и понесешь. А я возьму сети. И вы собирайтесь,— позвал он мужчин, полудремавших у потухшего очага.

— Рыбка, Чокан, будет вкусная. Мы еще самой свежей подбросим.

До рассвета оставалось недолго. По дороге к озеру Танатар успел шепнуть кому-то из своих, но шепнуть так, что Чокан разобрал каждое слово:

— Гайки от возка Чингиза отнесите на место и сделайте все, как было. Атаман приказал.

Шли не торопясь. Но Чокану н этот шаг казался быстрым. Он утомился, проголодался н от одного запаха рыбы у него текли слюнки.

— Ты что горбишься?— спросил его Танатар.

Гордость не позволяла Чокану признаться, что нести ведро было ему, действительно, нелегко. Даже плечо побаливало с непрнвычки.

Присматриваясь в рассветной мгле к Танатару, Чокан удивлялся, как сочетаются в нем худоба и снла, черные с проседью усы, лихо отпущенные на русскнй манер, с грустными глубоко запавшими глазамн, маленькими для такого широкого лица. Танатар устал за иочь, а между тем шел так легко и быстро, твердо ступая по кочкам, что Чокану то и дело приходилось подбегать, иначе он давио бы отстал. Залатанная рубашка н штаны из мешковины не делали Танатара жалким или смешным. Он был горд, как борец — балуан, да и вся его внешность, его мускулы на худых, крупной кости руках напоминали чем-то внешность балуана.

... Озеро немного волновалось, и легкая пена вскипала белой узкой каймой вдоль побережья. У рыбацких лодок сразу стало миоголюдно. Очевидио, из всех лачуг и шалашей стя-

гивались сюда и мужчины и женщины, и молодые и старые. И все в латаной-перелатанной одежде из мешковины. Ни шуток, ни лишних слов, принимались за работу сурово и напряженно.

Лодки тихо покачивались на воде, привязанные к столбикам, другие — лежали опрокинутыми на прибрежном песке. Танатар подтянул к берегу одну из самых маленьких плоскодонок, похожую на корытце.

— И когда только она успела воды набрать!

Чокан заглянул в лодку вслед за Танатаром.

— Ого, в ней воды по щиколотку будет,— прикинул мальчик.

Танатар обошел рыбаков, готовивших сети:

— Вы тут пока управляйтесь, а я на качалке с мырзой по озеру прогуляюсь.

И показал на Чокана, который так и не понял, подсмеивается над ним Танатар, называя мырзой, или действительно говорит с уважением.

Чокану многое было неясным. Если Танатар был одним из рыбацких начальников, а он тут отдавал распоряжения, вел себя решительно, как и там, во время шилдеханы, то почему же тогда он выбрал себе самую что ни есть жалкую лодочку, даже называемую с насмешкой качалкой?

Танатар вычерпывал воду из лодки ковшом, а другого рыбака послал почему-то за охапкой сухого камыша. Потом велел Чокану снять сапоги, брюки и оставить их на берегу, закатать кальсоны до колен и заходить в лодку. Но сколько ни вычерпывал Танатар воду, она все равно плескалась на дне качалки.

Принесли и камыш, перевязанный травой. Танатар уложил камыш так, что концы охапки свисали с бортов лодки, не касаясь воды. Взяли с собой и ведро с рыбой.

Танатар устроил Чокана на корме, отвязал лодку и, вооружившись веслом, больше похожим на лопату, стал отчаливать от берега.

Он вел свою качалку уверенно, стоя посередине и ловко загребая то справа, то слева.

Берег быстро удалялся. Тот рыбак, что принес камыш, крикнул вслед:

— Говорю тебе, Танатар, окуни его разок.

Чокан вздрогнул. Неужели это его собираются окунуть? И спросил с тревогой:

— А здесь глубоко?

— С головою можно уйти в воду.

— Но ведь берег близко.

— Ну и что с того? Здесь глубже, там мельче. У нас уж такое озеро.

Чокан было подумал, а не лучше ли выскочить,— но остался на корме, и сидел, как нахохленный воробушек, с грустью рассуждая об этой ненужной затее. Плавал он совсем плохо, глубины боялся. Оставалось одно: поручить себя воле Танатара, которому он и верил и не верил. Будь что будет!

Озеро рисовалось Чокану безбрежным морем. Это с берега представлялось, что оно густо заросло камышом, а теперь — на отдалении — камыш темнел узкой полоской.

В рассветный час усилились ветер и волны. Волны были и не такими большими, но безмерно уставшему и впечатлительному мальчику они казались и горбами разъяренных верблюдов и черными сказочными чудищами с пестрыми гривами.

Туча затянула луну и восточный край неба. Снова потемнело, будто восход переносил свои сроки. Волны били в борта лодки, вселяя страх в душу Чокана. Вдруг качалка опрокинется! Вдруг победят эти чудища! Но Танатар продолжал грести, изредка нарушая молчание.

— Ну как, мырза? Как, мальчик? Ты воду выливай, воду!..

Но Чокан и без его напоминания, видя, как порой волна перехлестывает через борт, непрестанно работал ковшом.

— Ты не устал еще, нет? Боишься? Заскучал? Если б знал, что подымется такой ветер... Мне хотелось показать тебе озеро, угостить рыбой. А теперь молю аллаха выбраться благополучно. Но ты не бойся. Даже если опрокинемся — спасу тебя.

— А с вами такое случалось?

— И не раз! Сейчас лето, тепло, а нас и осенью, когда уже ледяная корка у берега, перевертывало. И ничего — выбирались. Я могу плыть сколько угодно. И сила в руках есть.

Чокан несколько успокоился. Недаром Танатар напомнил ему балуана. С таким не пропадешь!

— А куда мы плывем, ага?— почтительно обратился Чокан к рыбаку.

— Куда плывем, спрашиваешь? Болезнь у меня есть одна — упрямством называется. Хочу добраться до берега наперерез ветру. Подчинишься ему — куда угодно унесет лодку. Я уже приметил цель.

— Желаю вам удачи, ага.

Они надолго замолчали. Поглядывая на рыбака, Чокан убеждался, что он все увереннеи и увереиией ведет лодку. И лодка рассекала волны, н волны, смиряясь, уже не перехлестывалн через борта.

К тому же н ветер начал утихать. До слуха донесся знакомый шелест верхушек камыша.

— Берег!— Радость Танатара передалась Чокану.

Скоро лодка уже входила в густые н высокие заросли, и рыбак с трудом выискивал заводи-просветы, чтобы подвести лодку вплотную к берегу.

Зашумелн вспугнутые птнцы. Гусиный гогот, кликн лебедей, кряканье уток, стоны чаек. Птнцы взлеталн, и свист крыльев смешнвался с беспокойными голосами. Чокану было приятнее вслушиваться в это разноголосье, чем в утомительные всплески воды под веслом.

Ему нравился нетронутый высокий камыш. Если у него такие шнрокие стебли, думал мальчик, нзрядно проголодавшись, то и корни должны быть толстыми н сладкимн.

Потом камыш начал перемежаться с осокой. Запахло луговой травой. Дно лодки шаркнуло о землю. Танатар сошел в воду и потянул лодку за веревку на берег.

— Ты, мальчик, снди. Я сам управлюсь.

Но Чокан не послушал рыбака н спрыгнул с кормы. Ноги сразу погрузились в глинистое дно. Завязну еще, подумал он, однако тут же почувствовал под слоем нла н глины твердый грунт. Ступать было вязко, вода сразу помутнела. Подталкивая лодку сзадн, Чокан в меру своих сил помогал Танатару.

Так они дотащилнсь до берега, до кустарников тала. Танатар с сожалением посмотрел на захваченную в поселке связку камыша н выбросил ее. Отсырела!

— Но ты, мырза, не беспокойся. Наше топливо — вот!— И он показал на тальник.

Снова вошел в воду с ведром, наполненным рыбой, прополоскал и зачерпнул свежей воды.

— Пойдем теперь в тальникн, собирать шопшек. Разведем костер для ухи.

Они зашли в тихую кустарниковую рощу, где только верхушки ветвей чуть-чуть покачнвались иа легком ветерке.

Чокаи не знал, что такое шопшек, хотя помннл грубоватую песенку, которой его научил Шепе:

Девушка уходит собирать шопшек.
За шопшеком тоже мой веселый путь.
Зорко она смотрит — где же взять шопшек?
Я смотрю на девушку, на шопшек,— иа груды!

Шепе учил его песенкам и погрубее, но так и не удосужился объяснить значение слова «шопшек». Только теперь, глядя на Танатара, собиравшего сушняк для костра, Чокан догадался, что это такое.

Мальчик присоединился к рыбаку и усердно таскал к будущему костру сухие ветви. В траве зрели ягоды. Чокан чуял их аромат, но в предутренний час трудновато отыскивать неяркую луговую землянику, поздно созревающую и сейчас еще терпкую и кислую до оскомины. Да и Танатару надо было помогать.

Рыбак из кармана закатанных штанин вытащил кремень, умело высек искры, и сушняк вспыхнул быстрым и ярким пламенем. Костер разгорался сильнее и сильнее. Танатар вытащил нож из кожаного мешочка, прикрепленного к сыромятному поясу, выстругал две толстых тальниковых ветки с раздвоенными концами, вкопал их в землю с двух сторон костра, положил перекладину и подвесил на ней ведро с рыбой.

— А рыба-то очищенная?— осведомился Чокан.

— А то как же. Ее приготовили для шилдеханы — угощать гостей, но не стали варить из-за тебя.

— Из-за меня? Не понимаю, чем я вам помешал?

— Долго рассказывать, мырза. Да и стоит ли? Рыба сварится скорее, чем я кончу.

— Поедим, тогда и продолжите, ага,— не мог отстать Чокан, как и всегда, когда им овладевало любопытство.

— Если уж ты так хочешь, я все расскажу. Правда, нам скоро возвращаться. Твой отец наверняка тебя ищет.

— А мы пешком пойдем или на лодке? Я бы, ага, и пешком не против.

— На лодке еще быстрее, чем сюда, доплывем. Ветерок попутный! Сварится рыба, поедим — и в дорогу.

Чокан почувствовал себя спокойнее. Но ему пришлось поволноваться снова, когда Танатар начал свой рассказ. Начал глухо, не глядя мальчику в глаза:

— Слушай, маленький мырза, я с тобой, как видишь, радушен, забавляю тебя. А мог бы сделать так, чтобы по тебе жоктау спели. И готов ответ бы нести. Понимаешь?

Мальчик съежился. С ним еще никто так не говорил.

— Ойбай, почему, ага? Объясните мне все, прошу!

— Месть! Я должен был отомстить твоему ханскому роду. Ты что-нибудь слышал о своем родственнике Сартае?

Танатар ждал ответа. Чокан собрался с духом, припомнил все, что слышал от старших, и, открыто смотря рыбаку в лицо, сказал:

— Был еще один Чингиз, не мой отец, а брат нашего деда Вали-хана. И, говорят, у него был сын Сартай. Пошел он наперекор нашей большой матери Айганым, там что-то случилось, и Сартая сослали на север. Говорят, он и скончался там, на чужой земле.

— Знaчит, знаешь. Знаешь, да не все.— Сумрачным холодом веяло от слов Танатара.— А приходилось ли тебе слышать, что Сартай был любовником твоей бабушки.

— Не-ет!— неуверенно протянул Чокан. До него доходила эта сплетня, но ему было стыдно перед Танатаром.

— Вся степь говорила, а ты не слышал...

— Я многого не знаю, ага, о чем взрослые толкуют между собой.

— Так вот, знай! Ты большим становишься, учиться едешь. Я тебе открою всю правду.

И Танатар рассказал, как все произошло. Айганым и Сартай стали любовниками еще до того, как она получила звание ханши. Тогда, чтобы избавиться от сплетен, она решила женить Сартая. Сам Сартай избрал себе невесту Уки, статную и красивую девушку-певунью из не богатой, но и не бедной семьи. Она уже была просватана за старшего брата Танатара — Тунгатара, смелого и доброго джигита. Молодые люди пришлись по душе друг другу, часто встречались наедине. Сартай стал преградой для влюбленных. Уки ответила Сартаю решительным отказом, и тогда он силой со своими джигитами увез ее из аула. Айганым пока поддерживала Сартая. Что делает, отчаявшись, Тунгатар? Когда против Айганым выступил Кенесары, он присоединился к нему и во время одного из набегов похитил свою Уки. Вместе с Уки он находился при Кенесары и погиб, когда Кенесары был разгромлен киргизами.

Уки бежала. Ей выпала трудная судьба. Она годы скиталась по степным дорогам, исхудала, обессилела, потеряла былую свою красоту и такой возвратилась на свою родину, в кокчетавские степи. Здесь она узнала новую горькую весть. Сторонники Айганым, чтобы отомстить уже погибшему Тунгатару, обрушили свой гнев на Танатара. А он пас табуны у баев. Обвинили его в угоне косяка и добились ссылки в край, где на собаках ездят. Опасаясь новой мести ханского рода, родственники Уки отказали ей в приюте. И снова ей пришлось бродить по степным дорогам и просить милостыню. Так набрела она на рыбацкий поселок Кангырган, вышла замуж за одного старика и через несколько лет овдовела во второй

раз. Идти было некуда. Она, как и все в Кангыргане, стала рыбачкой.

Танатар рассказал и о себе.

Безвинно попавший на север, чего только он не испытал! Это там появилась седина в его усах и бороде. А когда наступил срок возвращенья, он узнал, что его аул находится под властью ханских потомков.

Вместе с одним татарином, делившим с ним невзгоды и скудный хлеб ссылки, он очутился в Кангыргане и неожиданно встретился с Уки. Здесь же он женился на молодой вдове-рыбачке, и вот нынче справил шилдехану по случаю рождения своего первенца.

— Вот, маленький мырза, ты теперь должен понять, что к чему. А пока примемся за рыбу, она уже готова.

Они поели, и Танатар продолжил:

— Я давно мечтал, что аллах сведет меня с ханскими потомками, давно хотел пролить ханскую кровь. И ты, мальчик, первым попался на моем пути. Ты и отец твой Чингиз. Я уже держал подвернувшийся под руку кусок железа. И жалость бередила мне душу. «Ну, в чем виноват мальчик, что с него возьмешь?» И злость: «Не все ли равно, волк или волчонок. Все они твои враги». Злость уже побеждала во мне жалость и разум. Но тут подоспел Каралы, самый уважаемый старик среди рыбаков. Мудрый старик. Он и отвел мою руку. Благодари его, нашего Каралы. Никто бы из рыбаков не заступился за вас. Слишком много горя принесли всем нам ханские потомки и даже твой отец... Ты спрашиваешь, почему не мстили мы раньше? Руки у нас не доходили. А твой отец теперь легкая добыча. Султанства его лишили, опору он потерял, куда податься — еще не знает.

— Откуда вы знаете все это?

— Земля слухом полнится, мальчик. И не сбивай меня своими расспросами. Слушай терпеливо. Возвращался я к себе в шалаш вместе с Уки-апай. Злился я, и она досадовала. Мудрый старик Каралы, но зачем он нам помешал? Я бы сама, говорила Уки, рыбацким ножом в живот пырнула. Хоть и не до веселья потом нам было, но шилдехану надо было начинать, всех предупредили... И вдруг я вижу тебя опять в своем доме да еще с моим ребенком на руках. Снова взыграла злость, снова проснулась жалость. Подросток, думаю, мальчик. К чему его трогать? Кровь у тебя дурная, ханская, но были же и добрые люди в твоем роду. Смотрю, так нежно укачиваешь ты моего сына. А тут опять наш мудрый старик заговорил. И рассуждаю я про себя: ты должен быть счастли-

вым. Тебе предназначена удача. Почему ж моему единственному сыну не стать удачливым как ты? Вот почему ему и досталось твое имя.

Мальчик растрогался. Не все дошло до него, и не все он понял до конца, но доброта переполнила его сердце:

— Долгой жизни твоему Чокану и счастья!

— Аминь! Да сбудутся твои слова.

В глазах Танатара появились слезы.

— Не буду я больше думать о мести. Это твой ханский род меня озлобил. Я был добрым человеком. И брат мой Тунгатар. Ничего мы плохого не замышляли. Любили веселье, работу, степь. И вот что с нами сделали, сам видишь. Если бы не рыба, давно бы ноги протянул. И живем и не живем, мальчик! Я думаю только об одном: пусть мой ребенок увидит то, чего мне не удалось повидать. Пусть моему Чокану бог поможет.

... Было уже совсем светло. Тучи разошлись. Первые лучи коснулись тальника, сквозь камыш засеребрились в озере, осветили усталое лицо Танатара с глубоко запавшими глазами, с густой проседью в усах.

— Пора возвращаться, мальчик.

— Макул!— произнес, как взрослый, слово согласия Чокан.

— Не жди больше от меня вреда, мальчик. Я как друг тебе. И рад бы тебе в чем помочь, но нет у меня сил для этого.

И Чокан иными глазами смотрел на Танатара-ага.

Обратный путь сквозь заросли камыша по озеру был куда более легким.

... В это же самое время на другом берегу, сидя на опрокинутой лодке, Чингиз с Курагиным тоже уплетали рыбу.

Чингиз ел нехотя, медленно, через силу. Все его мысли были заняты исчезнувшим Чоканом, хотя Курагин и сказал ему, что он тревожится понапрасну. Да и утомила его эта несуразная ночь.

Сам рыбацкий атаман, видимо, чувствовал себя отлично. Ни ядовитый спирт, ни бессонные сутки не сказались на нем. Ел он с удивительным аппетитом, хватал одну рыбу за другой, быстро и ловко обгладывая кости.

Чингиз присмотрелся к нему и неожиданно обнаружил в Курагине сходство со львом, которого он видел еще в дни учения в Омске в бродячем зверинце. Сходство усиливали и загривок, и усы, и бородка. Да и сила у него была львиная. Рассказывали, лев, настигнув кулана, одним ударом своей ла-

пы переламывает ему спинной хребет. И Курагин, если размахнется как следует, спину может перешибить. Ну и ручищи у него — широкие, грубые, крепкие.

— Сколько пудов ты можешь поднять?

— Двадцать пять — тридцать — свободно?— улыбнулся Курагин.— Это нам сподручно, ваше благородие.

«Силен же ты, шайтан»,— подумал Чингиз. И опять мысль о Чокане бросила его в жар.

А Курагин вдосталь наелся, и ему не терпелось поговорить с человеком, которого он считал хоть инородцем, но образованным да к тому же подполковником русской армии.

— Знаете, ваше благородие, я ведь из донских казаков.

И стал задавать Чингизу вопросы по истории казачества, в которых султан, как и вообще в русской истории, отнюдь не был знатоком. Известно ему было, что казаки несли службу в кавалерии, были верными подданными царя, а в происхождение их ему не приходилось вдаваться. Но он меньше всего стремился обнаруживать перед Курагиным свою неосведомленность и только поддакивал ему, когда тот пустился в рассуждения о казаках и русской истории.

Ведомо ли Чингизу, что казаки на протяжении многих столетий защищали южную границу России, участвовали в разгроме Золотой Орды, Астраханского и Казанского ханств, что запорожские казаки сокрушили Крымское ханство, что казаки сражались с турками и доходили до южных берегов Черного моря?

— А известно ли вашему благородию, что казаки и в его родную степь пришли?

Уж это отлично знал Чингиз и снова поддакнул.

А знает ли Чингиз, что казачья конница была всегда в первых рядах русских войск и ей принадлежат первые победы в войнах?

— Да, да, знаю,— отвечал довольно равнодушно Чингиз, продолжая думать о Чокане.

— Может, вы, ваше благородие, слышали и о том, что казаки не терпят никакого принижения?

— Принижения?— Не совсем понял вопрос Курагина Чингиз.— Ты яснее скажи.

— Не терпят, к примеру, когда их притесняют Романовы.

— Романовы?

— Да, Романовы. Я про царей говорю.

— Что-то я не представляю этого.

— А Степана Разина, ваше благородие, знаешь?

— Разина?— И тут Чингиз должен был признаться, что не знает, о каком Разине спрашивает рыбацкий атаман.

Курагин даже выругался с огорчением. Ведь каждый, по его убеждению, должен знать Разина.

И Чингиз, чтобы не выдать своего неведения, осторожно переспросил, о каком именно Разине идет речь.

— Да о том конечно, что против царя пошел и царский трон пошатал.

— А-а... этот... Ну, о нем-то прослышан,— не моргнул глазом Чингиз.

— А Пугачева?

О Пугачеве мудрено было не знать. На берегах Яика и дальше, на восток, в казахских степях еще живы были воспоминания о нем, поднявшем против царя восстание, одержавшем много побед, а потом схваченном и обезглавленном. Но Чингиза стало одолевать подозрение. И что он только выкапывает? Почему спрашивает о таких людях? И он ответил коротким:

— Не знаю!

— Как же вы это не знаете, а еще в офицерах ходите.

Чингиз промолчал, насупился. Разговор ему был явно не по душе. Но Курагина уже нельзя было остановить.

— Мы, казаки,— он сжимал свои большие кулаки и потрясал ими,— и саблей, и пикой, и камчой многих били. И царям Романовым от нас доставалось. И среди тех, храбрых, были и мои предки.

— Твои предки? Ну расскажи, атаман, кто были твои предки?— Это его несколько заинтересовало.

Курагин, прихвастывая, путая слышанное когда-то от родителей со своим досужим вымыслом, поведал Чингизу свою родословную.

Оказывается, происходил он от Рамазановых, влиятельных татар Золотой орды. При Грозном Рамазановы приняли христианство и, по словам атамана, чуть ли не в князья вышли. Дед Курагина Евдоким в войне со шведами показал себя героем и был замечен Петром Первым. Петр сделал его своим адъютантом. В рослого, мужественного, красивого Евдокима влюбилась молоденькая дочка императора рыжеволосая легкомысленная Елизавета. Евдоким пренебрег ее вниманием. Елизавета, ставшая впоследствии императрицей, сумела сделать так, что Евдокиму по ложному жестокому наговору отрубили голову, а детей его выслали на Дон. Позднее потомок Рамазанова, казачий сотник Алексей Курагин, храбро

сражался в русско-турецкой войне, вернулся на Дон уже атаманом.

— А его внук и мой отец Андрей Павлович Курагин, был атаманом уже на Янке, на Урале, в одной из небольших станиц,— продолжал рыбак.— Рос я озорником, рвения к наукам не проявлял. Служил, как все казаки, и дослужился до есаула. Вот тут меня взял в помощники атаман Лопатин, человек крутой и несправедливый. Довел он меня придирками до преступления. Разозлился я однажды и поджег его дом. И очутился на каторге, золото копал. Жил — никто не позавидует. Работа — не приведи господь. Вволюшку хлебнул горя. И бежал оттуда. Ясно?

— Ясно-то ясно. А сюда ты как попал?

— Рассказывать слишком долго.

— А власти о тебе знают? Не трогают тебя?

— Знают. Таких беглецов, как я, в этом краю хватает. По всей Сибири они бродят, селятся, где поудобней и незаметней. И в нашей степи так. Власти нас не трогают. Рукой махнули. Всех обратно на каторгу не вернешь. Разве уж самых опасных!

Чингизу не очень хотелось продолжать эту беседу и он стал расспрашивать Курагина о рыбацком поселке, о рыбаках.

В годы большого улова, рассказывал Курагин, и рыбаков прибавлялось. В годы, когда рыба ловилась плохо, уходили и рыбаки. Порою их оставался какой-нибудь десяток. А в прибыльное лето съезжались сотни. Приходили и уходили. И не принято было спрашивать — откуда пришел, куда уходишь? Рыбаки из окрестных сел и аулов скот не приводили. У беглецов его вообще не было.

Всем заправлял Курагин. Его никто не назначал, никто не выбирал. Рыбацким атаманом стал он не только потому, что был властным человеком. Он много труда и упорства вложил в промысел.

— А как же иначе! До меня здесь не было ни лодок, ни сетей, ни другой снасти. Только и загоняли рыбу в хазы. Теперь у нас этого добра хватает. Прежде рыбу ловили, а сбывать не умели. Подводы редко появлялись, базар далеко. И в добрый год рыба пропадала зря. Я торговцев приманил. Платят, правда, гроши, но рыба не залеживается и кое-что выручаем. Жизнь трудная, что и говорить, а где ее, легкую, взять? Не голодают люди — и рады. И меня уважают и слушаются. Всяких задир, строптивых — силою укрощаю. Нет у нас в поселке ни обмана, ни воровства.

Чингизу все это было не очень интересно. Но деться некуда: сиди, слушай и жди Чокана.

Уже было совсем светло.

— Где же все-таки мальчик? Я, пожалуй, отправлюсь его искать.

— Не спеши, ваше благородие. Еще немного — и он вернется с рыбаками.

... Погода на озере никогда не бывает постоянной. То налетает ветер, то стихает. То набегают тучи, то проясняется. Так и в это утро. Вдруг наполз туман и заволок берег, Тениз, поселок. И откуда он только взялся!

— Посиди здесь один, ваше благородие. Дело у меня одно не ждет. Я долго не задержусь.

И Курагин растворился в тумане. Чингизу стало совсем тоскливо, он поднялся с отсыревшего днища лодки и стал беспокойно прохаживаться взад и вперед, заложив руки за спину. Он не переставал сокрушаться: «Где же мой Канашжан! А вдруг не найдется...» Дальше он не смел и подумать, дрогнуло сердце.

Опять отмеривал шаги взад и вперед вдоль берега.

И тут до его ушей донесся знакомый голос:

— Отец, аке!

Еще мгновенье — и Чокан повис у него на шее. Наконец-то нашелся! Чингиз был готов заплакать от радости.

Долго бы они простояли так молча, ни о чем не расспрашивая друг друга, если бы не зацокали копыта, не зашуршали по песку колеса возка.

Абы подъехал на полном ходу и резко остановил жылаисыртов у самого берега. Из возка выглядывал Драгомиров. Он посерел и даже слегка опух после почти бессонной ночи. Взгляд его был озабоченным и немного растерянным.

— Беда, хан-ием,— покарал меня бог!— Абы даже не сошел с облучка, как поступал обычно в подобных случаях.— Усаживайтесь скорее и поедем.

— Что случилось?— Чингиз в этом поселке мог ожидать чего угодно.— Только говори короче и яснее. А то «Беда! Бог покарал!»

— Запретил же мне атаман зажигать огонь. А я вижу — коней заедает мошкара. Дай, думаю, дым пущу. Это здесь рядом, в сухом логу. Разжег костер, комары не кусают. Тепло, спокойно. Жылаи-сырты пасутся. И попутал меня шайтан вздремнуть. Проснулся я от ржанья коней. Вижу — трава и кустарник уже пылают. Пробовал сам потушить — куда мне справиться? Да вы садитесь скорей. Дорогой расскажу.

Чиигнз сгреб сына — Чокаи и на этот раз сопротивлялся. Абы хлестиул камчой, а жылан-сырты, казалось, только и ждалн этого.

— Вот я и запряг лошадей побыстрее,— уже на ходу досказывал Абы.— Пожар-то оии потушат, но иам если остаться — от иеприятностей не уйти.

— Что верио, то верио. Заколдоваииое место,— проворчал Драгомиров.

И только одни Чокан, которого крепко сжал отец, иоровил выскользнуть из возка, чтобы бежать туда, к сухому логу.

— Грех большой ложнтся на нас. Удираем, словно виноватые.

Чингнз ничего ие ответнл сыиу.

Коин уже вывезли путнннков в открытую степь. И сквозь оторвавшийся от земли тумаи, огляиувшись назад, можно было увндеть, как из поселка в сторону сухого лога бежалн рыбаки, размахнвая лопатами, навстречу клубящемуся темиому дыму с вспыхивающими проблесками огия.

Ямщицкой дорогой

На путн в Баглаи Чокаи почувствовал себя совсем плохо. Его то знобило, то бросало в жар. Сказалось все: и иасквозь промокшие иоги в дождливый вечер перед приездом в Тениз, и бессоиная иочь, и холод озериой воды, когда вдвоем с Таиатаром волокли лодку на берег. А к этому прибавилось и волнеиие. Пожар в сухом логу не давал ему покоя. А вдруг пламя дойдет до шалашей Каигыргана? Почему так струсил Абы? Почему таким равиодушным оказался Драгомиров? Почему отец поспешнл уехать в те самые минуты, когда поселку грозило иесчастье?

«Грех мы взяли иа себя,— думал Чокаи.— Мы удрали, даже не зиаем, что там сейчас делается».

Мальчик видел бедные аулы и раньше. Но с таким нищим селеньем, с такими обездоленными людьми встретился впервые.

А что скажет Таиатар? Как там маленький Чокаи?

Ему казалось, что огоиь уже подступил к похожему на стог дому, где справляли шилдехану. Жаркое пламя охватывает камыш. Жар... Жар в груди. Напиться бы холодной воды.

Чокаи застоиал от боли.

— Что с тобой, мой Канашжан?

Чингиз потрогал лоб мальчика, положил ладонь на виски и почувствовал, как учащеиио н снльио бьется жилка.

— Почему ты, Канаш, не отвечаешь? Скажн мие?

Чокан сжал губы н тяжело дышал. Вопросы доходнли до сознания мальчнка сквозь туман, сквозь шум в ушах. Ему казалось, что спрашнвают совсем другого человека.

— Может, взять тебя иа колени? Это я тебя спрашиваю. Твой ата, твой отец.

Чокан понял, ио воспротнвнлся:

— Мие так лучше, я же не маленькнй. Пожар, ата. Он уже к нам прнближается.

Забеспоконлся и Драгомнров. Взял руку Чокана, иащупал пульс. Как н отец, дотронулся до лба:

— Температура высокая. Пылает. Заболел.

Обернулся со своего облучка Абы. Понял сразу, что маленькому торе плохо. Проклял в душе эту иевеселую поездку.

Драгомнров посоветовал положнть на голову мокрое полотеице. Так н сделалн. Останавливались около ручья или речкн, снова смачивалн полотеице. Чокану не становилось лучше. Он начннал бреднть, говорнл иевнятно, но два слова можно было услышать ясно: грех н пожар.

Так добралнсь до Баглаиа. Чингиз ие раз бывал в этой станице. Едннственным его зиакомым был здесь торговец-татарнн Гилаж. Каждой весной в подарок ханще Зейиеп он прнвознл в Орду по ящнку сахару и чаю, а сам получал шкуры прирезанного знмой скота, шерсть, сострнженный волос конского молодняка. Нынешней весной он не заглядывал в Кусмурун, прослышав, что над Чингизом иависла беда н в степи неспокойно. Торговец, вндать, был предусмотрительиым и осторожным. Но Чннгнз понадеялся, что Гилаж отнесется к нему с прежннм уваженнем и велел Абы ехать к торговцу.

Когда возок остановнлся у дома, нз ворот иа одио мгиовеиье появнлся Гилаж — Чннгнз мог поручиться, что это был нменно он — н тут же скрылся! Абы постучал — иикакого ответа. «Что ои, нарочно, что лн, не открывает»,— и Абы в сердцах стал так снльно стучать свонми кулачнщамн, что собака во дворе зашлась лаем.

На крыльцо дома вышла женщииа:

— Не стучн, хозяниа все равио иет дома.

— Лысый черт,— выругался Абы.

Чингнз поиял, что Гнлаж не хочет его вндеть.

— Не желает открывать, и не надо. Саднсь, Абы, поедем дальше.

Посоветовалнсь с Драгомнровым, решилн остановиться в

ямщицком доме. Его содержал казак Терентьев, занимавшийся ямщиной, как его отец и дед. Чингиз знавал этого рослого, рыхлого казака с усами, свисающими на грудь. К нему приходилось обращаться не раз в годы армейской службы.

В год нашего повествования Терентьеву перевалило за семьдесят. Больше полувека занимался он ямщицким делом. Отец сызмальства приучал его и за конями доглядывать и путников различать: кто достоин внимания, а кого можно заставить и поклониться лишний раз.

— За жизнь мою,— не без гордой похвальбы и прнвирая, бил себя в грудь Терентьев,— видимо-невидимо я перевез. И господ чиновников, и офицеров, и даже царской фамилии лиц.

Знай, мол, наших! Впрочем, он был не так уж далек от истины. Между Оренбургом и Омском была постоянная связь. Ездили чиновники, ездили военные — от урядника и, случалось, до генерала. И путь действительно проходил через Звериноголовскую — Баглаи.

У хитроватого и сообразительного Терентьева глаз был наметанный. Заводя разговоры с чиновниками, останавливающимися в его доме, он сразу определял, кто перед ним: мелкая сошка или власть имущий. Мелкой сошкой пренебрегал, а того, кто позначительней, стремился уважить, завязать с ним связи. Авось да пригодятся! К казахам, которых тогда именовали киргизами, относился свысока. За долгие годы житья в степной станице он объезжал аулы стороной, и не было у него в степи ни одного приятеля — тамыра. А если и находился казах, желавший с ним сблизиться по тем или иным причинам, он брезгливо отворачивался. Тех же, кто, случалось, заходил к нему во двор, безбожно ругал и даже плетью замахивался. На старости лет он вконец зазнался. Даже казахов, пробившихся в чиновники или офицеры, даже именитых баев — и тех не жаловал. Холодно он обошелся и с Чингизом, когда тот однажды вынужден был воспользоваться его услугами.

У Терентьева была еще одна замашка — принимать надменный вид строгого блюстителя закона. Для него было истинным удовольствием долго перечитывать подорожную, затребовать официальную бумагу и потом старательно записывать все, что требуется по форме, в регистрационную книгу.

В станице он был одним из зажиточных людей. Не так чтобы очень богатых, но при полном достатке. Кроме четверки выездных лошадей и двух добротных возков у него было с полсотни овец, десяток дойных коров, пять-шесть волов для

всяких черных работ. О птице — утках, гусях, курах — и говорнть иечего: ее было вдоволь. Жил он в ладиом четырехкомиатиом доме. И тех, кто поважнее, мог угостить как следует, зная, что н оии расщедрятся. Для других н самовара не ставил — ие счнтал иужным.

Наши путиикн с первого взгляда ему ие приглянулись, хотя ои иемиого зиал и того и другого. Придирчивый старик потребовал бумагу, а соответствениая бумага оказалась только у Драгомирова. При Чингизе было только свидетельство, что он является старшим султаиом Кусмуруиского округа. Но Терентьев зиал, что ои уже не султан, а Чингиз имел неосторожиость не очеиь деликатио сказать: «Я подполковиик, а ты кто?». Этого было достаточио, чтобы раздражнть Тереитьева, чтобы довести его до приступа яростного старнковского упрямства.

— Нет разрешення на пользоваиие, не в моей власти и дать,— уперся он иа своем.

Словом, Драгомиров имеет право, а Чингиз — нет.

Начались нудные переговоры, завершившиеся в коице концов согласием. Теперь надо было выплатить подорожиые — с каждого человека по пять копеек за версту. До Пресногорьковской — Ыстапа прнчиталось со всех троих около шести рублей. Мелочи как на грех ие нашлось, а с десятирублевки Тереитьев ие находил сдачи. Словом, опять начались мелкие препирательства.

Тереитьев проявил еще и жестокость.

У Чокаиа не прошел жар, ему хотелось пнть. И ямщик вместо молока и простокваши прииес кружку несвежей воды из кадушки. Мальчик прикосиулся к кружке сухими потрескавшимися губами, сделал глоток н отставил кружку. Спросили о лекаре в воинской части: ои миогие годы жил в Баглаие. И здесь ие повезло — воинская часть находилась в лагерях, а с иею и лекарь. На врачебную помощь можно было рассчитывать только в Пресногорьковской.

Чингиз готов был ехать хоть назад, в Орду. Но уж слишком далеко позади остался Кусмурун. Да и дорога ие сулила ничего хорошего: мыслимо ли было ехать сиова через этот Каигыргаи с больиым мальчнком. А короче пути нет!

Чокан сквозь дремоту жара вслушивался в эти разговоры. Сознание иеожидаиио проясиилось, он обиделся н за отца и за себя:

— Давайте ехать иа жылаи-сыртах до Ыстапа. Ничего с ними не случится. И Шамрай не рассердится. А со мной пусть будет что будет. Уж еслн суждено умереть...

— Да ие умрешь ты, Каиашжан. Вылечим,— сказал Алексаидр Николаевич. И — Чиигизу:— Сыи правильио говорит. Поехали.

Терентьев вышел. Его расщедрившаяся старуха принесла Чокану простокваши.

Оии распрощались с иегостеприимиым ямщицким двором и выехали в степь.

Чокаи уснул, утомлеииый болезнью, дорогой, бессоииой иочью. Чингиз осторожно взял сына иа колени, обнял обеими руками. И иадобио же было ему заболеть! Скоро ли поправится? Драгомнров притронулся ко лбу Чокаиа, взял руку, иащупал пульс:

— Я, конечио, не врач, но жар спадает, пульс ровиый. Наверное, болезиь пошла иа убыль. Пусть себе спит спокойно.

Он вслух не сказал о том, что улучшеиие может быть временным и, ие дай бог, наступит полная слабость.

Ехали молча по иакатаниой ямщнцкой дороге.

Чиигиз думал только о болезии Чокана.

Абы радовался, что держит путь иа Ыстап, а ие обратно в Кусмуруи вдоль Обагана. Рыбакн ему ие простят пожара. Встреться теперь он с иими — они бы не только гайки с колес, руки бы ему открутили. А из Ыстапа он напрямик отправится домой.

Драгомиров, как обычио, предавался размышлеииям о казахской степн, перемежая их думами о своих самых малеиьких будипчных делах.

Сейчас его заинмала мысль об обычаях гостеприимства у кочевых и оседлых иародов. Лучше всего он зиал казахов, но был зиаком с бурятами, моиголами, калмыками. Прииимая гостя, кочевники отказывались от платы. Никто с него не спрашивал ии копейки за обильиую еду, за иочлег. И так — в любом ауле, где он бывал с поручениями.

Вот в эту поездку иа месячиый срок он взял всего сорок пять рублей. Проехал с тысячу верст. Одиа дорога, если считать по пятаку за версту, обходилась бы уже в пятьдесят рублей. Кормовых полагалось по двадцать копеек в деиь. Это еще шесть рублей. А он истратил сущие пустяки. В русских селах десяток яиц стоил копейку, кружка молока — полушку, калач — полторы копейки. А миого ли ему, Драгомирову, было надо? Яичница, простокваша, ломоть свежего хлеба. Лучшего завтрака в дороге он себе и не желал.

Как только он попадал в казахские аулы, деньги лежали в кармане нетроиутыми. Он мог бы легко их приумножить:

многие баи и бии, замешанные в нечистых делах, были не прочь сунуть ему взятку. Но, человек честный по натуре, Драгомиров пресекал любые подобные попытки. Деньги не убавлялись, потому что и питание и ночлег ему ничего не стоили.

Он возвращался в Омск даже с некоторыми приобретениями, пополнявшими его этнографическую коллекцию. Ему удалось купить в Тургайской степи у одного именитого бая старинную позолоченную сумочку, прикреплявшуюся к поясу, да еще на десять рублей приобрел набор аульных женских украшений: кольца и браслеты, серьги, шолпы и подвески. Тридцать рублей с мелочью он вез обратно домой.

Часто путешествуя по служебным делам, Драгомиров с любопытством присматривался к обычаям кочевых народов, вносил пометки в свою записную книжку. Особенно много сведений скопилось у него о казахах. Они могли бы пригодиться для будущей книги.

Его занимали истоки казахского гостеприимства.

Ведь гостеприимством отличались не только баи. Иные баи, наоборот, становились разборчивыми, знали, кого принять, а кого и не принять. Но обычный, среднего достатка аульный житель и даже бедняк, у которого, как говорится, все жилы наружу, предлагал лучшее, что у него только было. И не придавалось никакого значения — издалека ли приехал гость или из соседнего поселка, какой он национальности, стар или молод он. Женщин встречали так же радушно, как и мужчин. Каждому гостю — внимание, на дастархан — самое вкусное.

Может, этот обычай, думал Драгомиров, связан с той стадией развития человечества, когда у людей общая собственность? Но он убедился, что это не так, что казахи давно прошли эту фазу истории и у каждого есть своя личная собственность.

Не кочевой ли образ жизни определял их щедрое гостеприимство, незнакомое оседлым народам? Рядом, в станицах, продают все — от калача до молока. Не потому ли так повелось, что жизнь станичников связана с базаром? Но, задавая себе такой вопрос, Драгомиров тут же отвечал, что и в жизни казахов базар стал играть не последнюю роль, в ауле хорошо знали цену деньгам. И все-таки решительно отказывались от платы. Почему?

До самой Пресногорьковской его занимали и маленькие расчеты и большие мысли.

Эта станица расположилась между двух озер: одно — с чистой пресной водой, другое — с соленой. От Пресногорьков-

ской до Петропавловска тянутся такие озера вдоль казачьей Горькой линии.

Акыи Котели из кипчакского рода, прославляя богача здешнего края иекоего Караса, прозванного Солкары — Верзилой, сказал между прочим:

Степь от Ыстапа до Кзылжара
Окинь орлиным взором,
Какой простор озерам, пресным
И солеиым озерам!

В Пресиогорьковской — Ыстапе много лет находился штаб казачьих кавалерийских войск, так иазываемого второго отделения. Отсюда иачинались походы на Кокчетав, Атбасар, Акмолу, и во избежание случайных нападенний Пресногорьковскую, как и иекоторые другие станицы, окопали глубокнмн рвами, возвели иебольшие защитные укрепления, держали вооруженную охраиу. Жизнь в станнцах чаще всего протекала настолько мирно, что об этой охране сочняли всяческие бесхитростные забавные историн. Деревня Половнинка между Пресногорьковской н Кургаиом получнла прозвище Аксыйр — Белая корова. Рассказывают: увндели караульные, что к околице подбираются какие-то светлые фигуры, решили — это враги в белых халатах. Караульные бросили свой пост, всех подняли на ноги, приготовнлись обороняться, а оказалось, это всего-навсего белая корова с двумя такой же масти годовалыми телятами. Пастух недоглядел,— она и осталась на выгоне. С той поры и шутили: смотрнте, аксыйр нападет!

В это время и в Пресногорьковской было тихо, и уже давно нникого не пугало ее казахское прозвнще Ыстап.

... Над домами станицы возвышалась церковь, первой возннкающая на горизонте и хорошо видная издалека благодаря своей светлой окраске. Когда уже можио было разглядеть ее купола и зелеиые деревья, Чингиз, бережно державший на коленях Чокаиа, время от времени прнкладывая руку к его лбу, тихо позвал:

— Просись, Канашжаи, подъезжаем.

Чокаи ие откликиулся, он спал глубоко и ровно — жар уже не мучал его.

Чингиз легонько потормошил сына. Мальчик недовольно и удивлению открыл глаза:

— Что ты мне поспать не даешь?

— Да ты уж и так всю дорогу проспал. Вот он, Ыстап. Сейчас отдыхать будем.

Сна словно ие бывало. Чокан вспрыгнул на облучок и

сел рядом с Абы. Еще давала себя знать слабость после жара, еще немного кружилась голова. Но любопытство играло в быстрых живых глазах. Ведь каждое новое место притягивало, увлекало его. А здесь он еще никогда не бывал. Говорили, Ыстап — большая станица, красивее которой трудно найти.

Чокан пока не находил ничего особенного.

Они плутали вдоль глубоких рвов, с трудом преодолевая навороченные по обочинам горы земли. Лошади пугались, возок изрядно качало.

Не сразу выехали они на хорошо накатанную дорогу единственной станичной улицы.

— Абы!— подал голос Чингиз.— Здесь где-то должен проживать Тлемис, сын Сапака. Тот Тлемис, что никогда не выезжает на джайляу.

— Ау, хан-ием, попробуем найти.

Абы не надо было объяснять, что после бестолкового вчерашнего дня Чингиз хочет отдохнуть в доме джигита и поесть поплотнее. Пусть он и беден, но ни в чем не откажет гостям.

В станице проживало несколько казахов, отказавшихся от кочевья ввиду скудости достатков своих. Они пасли скот у станичных богатеев, помогали им сеять пшеницу. Их называли жатаками. Чингиз помнил, как однажды этот самый Тлемис приезжал в Орду. Несмотря на свою бедность он держался независимо и с достоинством, произвел впечатление человека гордого и сообразительного, умеющего поговорить и с ага-султаном. Доброго мнения о нем был и Абы. Вот где же он только может быть?

— Кажется, хан-ием, жатаки живут на том краю станицы, неподалеку от мельницы. И Тлемис должен там быть...

— Ты твердо знаешь? .

— Скорее всего там,— не слишком уверенно ответил Абы.

Драгомиров промолчал. Ему было безразлично, где останавливаться, у кого обедать Чокан продолжал рассматривать мелькавшие станичные дома и не находил в них ничего особенного.

А мы пока воспользуемся случаем и расскажем о Тлемисе, к которому направлялись наши путники.

Тлемис принадлежал к ветви Шайгоз рода уаков. На месте нынешнего Ыстапа, Пресногорьковской станицы, была родина его предков, аул, где жил его отец Сапак Когда начали строить станицу, казаки согнали аул, но Сапак остался со станичниками и нанялся в пастухи, причислив себя тем самым к обделенным судьбою жатакам.

Их называли так и казахи и русские.

Жатакам так трудно жилось, что некоторые из них в надежде на лучшее переходили в христианскую веру. По всей казачьей линии можно было встретить таких крещеных казахов. Бедствуя, как и другие, Сапак не принял христианства, видя, что и крещеным оно не пошло впрок. Однако он все равно нарушил обычай предков, запрещавший не только есть свинину, но и прикасаться к свиньям. Польстившись на заработок, он стал свинопасом и пас хозяйское стадо у подножья сопки Сары-оба, верстах в тридцати-сорока от станицы.

В эти годы Кенесары предпринял нападение на роды Керей и Уак, обвинив их в подчинении России. Кенесары увел у них много скота и пленных. Бай и батыр Есеней, одинаково уважаемый двумя родами, ограбленными ханом, пустился в погоню за Кенесары, вернул захваченные им табуны и отары, освободил пленников, а пленных кенесаринцев сдал в штаб русских войск.

На обратном пути у сопки Сары-оба он приметил стадо свиней и пастуха, сбежавшего при их приближении. Обнаружив вокруг немало волчьих нор, Есеней решил, что в одной из них и прячется пастух. Он велел его немедленно отыскать. Сапака — это и был испугавшийся пастух — скоро извлекли из одного волчьего логова.

— Ты, что же, не мог найти себе другого дела!— набросился Есеней на дрожавшего свинопаса, и в наказание за измену мусульманским обычаям жестоко его избил. Сапак скончался от побоев. К тому времени и относится приезд в Орду младшего сына Сапака Тлемиса с жалобой на Есенея ага-султану Кусмурунского округа Чингизу. Но Чингиз уже тогда побаивался Есенея, предчувствуя, что такой противник ему не по силам. Он еще не отказывался от мысли примириться с ним, и поэтому просьба Тлемиса о помощи осталась без ответа.

... Теперь Чингиз не случайно хотел повидаться с Тлемисом. Хотя он тогда и не помог ему, они еще могут быть полезными друг другу. Объединенные общей ненавистью к Есенею — разжалованный султан и жатак, чуть выбившийся в люди. Он представил себе Тлемиса: слегка рыжеватого стройного джигита, озорника в детстве, еще подростком научившегося воровать. Ведь это он, припоминал Чингиз, вскоре после смерти отца угодил в тюрьму и был сослан в Сибирь за свои отнюдь не бескорыстные шалости. Ведь это он, доводилось слышать Чингизу, научился в ссылке говорить, читать и писать

по-русски. А вернувшись в родные края, нанялся приказчиком к помещику Светлову, жившему неподалеку от города Кургана. Помещик этот поплатился за свою жестокость — однажды его убили на дороге. И хотя Тлемис был непричастен к убийству, он предпочел за лучшее быстренько уехать в сторону Улытау к родственникам матери. Так оно было спокойнее. Он появился в Пресногорьковской, когда дело уже предали забвению, и добывал для воинского отделения продовольствие, подводы, сбрую. Этим он и промышлял себе на жизнь. А когда весною в станице заключался договор с пастухом, подпись свою ставил Тлемис, а стадо пас его старший брат Кусемис. Жили братья порознь: летом Кусемис ставил возле мельницы старую-престарую юрту, зимой пристраивался к кому-нибудь в соседи. А Тлемису чуть ли не бесплатно достался флигель одного из зажиточных пресногорьковских казаков. Должно быть, за то, что в богатом доме помогала по хозяйству красивая и работящая жена Тлемиса Кырмызы, мастерица на все руки — она умела и шить, и вязать, и вкусно приготовить обед.

Тлемис, хоть и в тюрьме побывал, жил легче и удачливее своего брата Кусемиса. Тот, способный к плотницкому ремеслу, умевший, как говорили, из дерева узлы вязать, часто тянул впроголодь. Хотя никто в степи не мог изготавливать так, как он, двухколесные казахские арбы, на которых в аулах все чаще и чаще перевозились вещи во время кочевок. Для работы отыскивал кудрявые березы, называвшиеся почему-то красными. Отыскивал неторопливо, неторопливо разделывал гибкие и прочные стволы, чтобы арба была долговечной, не давала до срока трещин. Выручка от двух-трех арб в год и дань, полученная за выпас станичного скота, составляли весь его заработок.

Тихого, замкнутого Кусемиса Чингиз и в глаза не видывал. Рассказывали, он был похож на своего безответного отца: и характером — травинки не вытащит изо рта овцы, и смиренным трудолюбием, и внешностью — смуглое лицо в угрях, остронос, неказист...

Что касается Тлемиса, он мог бы далеко пойти. Чингиз думал: случится так, что Есенея утвердят ага-султаном, хорошо бы Тлемису пристроиться к нему помощником-переводчиком. Где он еще найдет такого ловкого и грамотного человека! А с помощью Тлемиса нетрудно будет и под Есенея яму подкопать! Тлемис сумеет скрыть свою вражду к Есенею. И еще одна картина рисовалась в воображении Чингиза: молодая жена — токал Есенея — наверняка увлечется пылким и строй-

ным толмачом. Пусть ему будет худо, старому ожиревшему быку!

... Они уже приближались к той окраине станицы, за которой еще недавно темнел смешанный лес — сосны, березы, тополя. Но лучшие деревья пошли на порубку, и от леса остались только пни и густой низкорослый кустарник с разлапистыми кривыми ветвями. Место было непроезжее и труднопроходимое, люди там теперь почти не бывали. Зато зверья развелось видимо-невидимо. Оттуда лисы прокрадывались в станичные курятники, а зайцы обгладывали капусту на огородах. И ворам удобно было укрывать там краденых овец и другой скот. Случались там и убийства. В лесу попахивает кровью, говорили в станице. И поэтому он получил прозванье Красного леса.

За мельницей, почти у самого леса, и стояла дряхленькая, черная от копоти и времени юрта Кусемиса.

Прежде Чингиза мало интересовала судьба сыновей Сапака. Ему, ханскому потомку, простые казахи, люди черной кости, были безразличны. Он встречался лишь с теми, кто сумел добиться положения и богатства, но в душе презирал и их. Пренебрежительно отнесся он и к Тлемису, приезжавшему к нему в Кусмурун несколько лет назад. Недобрая мужская зависть вспыхнула в нем, когда он невольно залюбовался красотой этого джигита с крепко и ладно сбитым, как у натренированного коня, сухощавым телом, с характером пылким и резвым, как у скакуна на кокпаре — козлодранье, со словами весомыми, как камни, летящие в овраг. Блестящие большие глаза, иссиня-черные тонкие усы и бородка, чистое смуглое лицо. И эта независимость и живость в обращении! Дай ему только повод, он будет с тобою говорить на равных. По всему этому, и еще из-за сложности тогдашних отношений с Есенеем Чингиз оттолкнул его от себя. А сейчас размышлял: Тлемис может пригодиться, может помочь. И Чингиз, тяжко вздыхая, бормотал, чтобы не слышал никто: «До чего переменчив мир!»

Чингизу было решительно все равно: по-прежнему ли Тлемис пасет стадо или опять стал приказчиком, или обеспечивает подводами военных. Важно найти сторонника в это трудное время. И если удастся сговориться, он и ночевать у него останется. А нет — разве мало в Ыстапе домов, где их охотно примут. Особенно вместе с Драгомировым, который, кстати сказать, уже решился ночевать там, где можно помыться перед сном в русской бане.

Абы, толком не зная, где живет Тлемис, правил в сторо-

ну черной юрты. В свете закатного солнца она выглядела до того неприглядно, что даже лошади, казалось, так и норовят объехать ее.

Абы и в самом деле просчитался. Он подъехал не к дому Тлемиса, а к юрте его старшего брата.

У Кусемиса был черный куцехвостый кобель, отличавшийся таким густым на низких тонах лаем, что ему дали кличку Курилдек — басовитый. Соседи-русские называли его кратко — Курка. Обычно он лежал на привязи у кривого дерева. На свободе он и конного успевал схватить за ногу. Кусаться как попало, вгрызаться глубоко в тело острыми клыками, было не в привычке пса. Он цепко держал свою жертву, пока из юрты не выходил хозяин, которому он подчинялся беспрекословно.

Бережно охранял он и единственную коровенку с телком — постоянное, никогда не умножавшееся хозяйство Кусемиса. Волки не подступали к ней, хотя в Красном лесу они не переводились.

Курилдек первым услышал приближение возка Чингиза и предупредил Кусемиса коротким недовольным лаем. Хозяин знал, кобель попусту брехать не будет. Значит, кто-нибудь из станицы. Кусемис вышел из юрты, прикрикнул: «Ложись!» Пес лег, вытянув передние лапы, и недоверчиво посматривал то на хозяина, то на необычный для этих мест возок.

Кусемис старался угадать, кто это подъезжает. Шум колес и топот коней он услыхал еще в юрте. Слух у него был лучше, чем у его собаки. Может быть, в лес за топливом из станицы отправились? Может быть, случайные проезжие? Но почему они едут прямо к его юрте?

Не успел Кусемис как следует разглядеть возок, как пес вырвался вперед и помчался ему навстречу. Пеших он еще мог миловать, но конных недолюбливал, а уж если это была какая-нибудь арба, то и хозяину не всегда удавалось сдержать своего Курилдека. Лошадей он не терпел, хватал их за ноздри или за ноги и не столько причинял боль, сколько пугал до одури.

Так вышло и на этот раз. Пес мгновенно очутился перед жылан-сыртами, прянул и цапнул за морду коренника. Лошадь метнулась, пытаясь в страхе встать на дыбы, и возок перевернулся. Курилдек застыл на месте и только тяжело дышал, высунув язык. Остальное его не касалось, он сделал свое дело.

Тут подошел и Кусемис. Он волновался, еще не зная, что

за людн приехалн н серьезио лн онн пострадали. На всякнй случай он, прежде всего, крепко взял своего пса за ошейиик. Чего доброго, и иа путинков бросится, а потом поди разбирай! Осмотревшись, Кусемис убеднлся, что большой беды ие произошло. Лошади, к счастью, вовремя остановилнсь, послушные Абы. Потащи оин возок дальше, плохо прншлось бы прнехавшим!

Со стороиы стаиицы на полном скаку летел всадиик. Путиики еще ие разобрались, что произошло, а ои уже спешился н шагал прямо к иим.

Это был Тлемнс, сообразивший раньше брата, что приехал в Пресногорьковскую Чиигнз. Древияя степная пословица «У народа пятьдесят ушей» и здесь оказалась вериой. Тлемиса уже успелн нзвестить обо всем: и что Чнгиз потерял свое ага-султанство и что он везет своего сыиа учиться в Омск. Едииствеиио, чего ои ие зиал,— это маршрута бывшего султана. Поедет ли ои из Баглаиа на Курган, или вдоль казачьей лииии. Чтобы гость его ие застал врасплох, он купил у одного казака жириую овцу, велел прибрать флигель и приготовить свежих баурсаков.

Тлемнс случайно стоял у окиа, когда возок Чннгнза промчался, грохоча, по едииствеииой станнчиой улице. Он успел заметнть, что лошадн уже устали. Где же будет Чиигиз ночевать? День подходит к коицу. Впереди только одии Кыркайлек. Там все казахи крещеиые н ие окажут ему гостеприимства. Да ои и сам не будет у иих останавлнваться. А дальше — Кабаи. На таких взмылеииых лошадях до иего ие доберешься. Почему же тогда он промчался мимо? Кому-кому, а Чингизу и Абы,— его сразу узиал Тлемис,— хорошо известно, что в Ыстапе живу я с брагом. Или ои иами преиебрег?..

Тлемиса оскорбила одна эта мысль, ио любопытство его не оставило. Благо, оседлаиный коиь стоял наготове. Ои решил иемедленно выяснить, куда же отправился Чиигиз, н вскочил в седло. Доскакал до окраииы станицы н тут увидел, что гости не свернули на дорогу в Кыркайлек, а иаправились к мельнице, к черной юрте брата. И тут Тлемис смекиул, что оин просто ие знают его нового жилья н думают, что едут к иему, а ие к брату. «Должио быть, султаи считает, что я до сих пор пасу скот»,— самодовольио улыбиулся Тлемис.

Он сбавил ход коия, чтобы удостовериться в своем предположении. Все остальное произошло у него на глазах.

Прежде всего он подошел к Чингнзу, уже пытавшемуся подняться, подхватнл его под мышкн н помог встать:

— Апырай, султан-ай, снльно не ушиблись?

— Ннчего не случнлось, ннчего!— Чингиз, из гордости не желая показывать, что чувствует боль, самостоятельно пошел мелкнми шажкамн н вдруг обнаружнл, что прнпадает на правую ногу. Драгомнров поцарапал лоб н прнкладывал платок к небольшой ранке. У Чокана пошла кровь из носу, а к этому ему было не прнвыкать. И только один Абы даже нспуга не нспытал. Недаром про него говорили, что н в воде он не тонет н в огне не горнт. С привычным спокойствнем он справнлся с возком, поправил сбрую н дожидался, что ему прикажут дальше.

Больше всех перепугался Кусемнс. Он как схватнл за ошейник внновннка несчастья, так и застыл, оторопело поглядывая то на гостей, то на брата. Тлемнс даже прнкрикнул на него:

— Ну, что стоншь как вкопанный?!

— А что же мне делать?— растерянно промямлнл старший брат.

— Ты знаешь, кто к нам приехал? Что наделала твоя собака!

Тнхим Кусемисом неожнданно овладело раздражение. Он не переноснл, когда на него кричалн:

— Мне все равно кто... Я н собаку не учнл бросаться н в гостн ннкого не ждал.

Тлемнсу стало неловко за грубость н безучастность брата. Однако он знал, стонт ему заупрямнться, он н не такое наговорнт. Поэтому он махнул на него рукой н залебезил перед Чингизом:

— Плохо получнлось, торе мой, проедемте в наш дом, садитесь в возок.

Чингнз промолчал. Чтобы разряднть обстановку, Драгомнров сказал:

— Ннчего страшного. Мы ушнблись немного. Уже вечереет. Разумнее всего переночевать в этой станнце.

— Ннчего страшного,— подтверднл Чннгнз н удостоил Тлемнса благодарного взгляда.

— Саднтесь, торе мой!— указал Тлемнс на возок. И только тогда Кусемис спросил взволнованным шепотом у брата: «Кто это?».

— Чингиз!.. Да, да... Тот самый — ага-султан Чннгиз... Внук хана Аблая.

Кусемнс заметно ожнвнлся и круто переменнл тон:

— Кони-то уперлись в мою юрту, значнт, в моей юрте и надо переночевать.

Тлемис шепотом, восклнцая с тревогой «ойбай, ойбай», стал быстро доказывать брату, что в юрте у него н тесно н плохо, что торе прнвык спать на перине н пуховой подушке, и что угостнть его Кусемнсу нечем.

Задетый за жнвое свонм младшнм братом, пастух оскорбился:

— Думаешь, я не найду у русских такой же внслозадой овцы, какую ты хочешь прнрезать?

Тогда Тлемнс пошел на попятиую, чтобы ие разжнгать ссоры и не обижать брата дальше.

— Коке!— обратнлся он к нему с почтительностью младшего, как не обращался обычно.— Пусть отпробуют н твоей пнщн. У тебя есть айран?

Кусемнс не ответнл сразу. Неужелн брат ие знал, что молока одной коровенкн не хватало иа айраи, что молоком в его юрте разбавлялн просяиой суп: это была едииствеиная еда и единствеиный напиток. Но даже брату он постыдился сказать «иет» н, запинаясь, ответнл уклончиво:

— Еслн не захотят ждать мяса, найдем угостнть чем-ннбудь другнм.

— Ты только сам нх прнгласн.

И Тлемнс вместе с Кусемисом подошел к Чингнзу, явио смущенный столь затянувшнмся, не рассчитаиным на чужне ушн разговором.

Султан еще не саднлся в возок, следуя правилам степной учтнвости н полагая, что это идут обычиые в таких случаях переговоры между родственннкамн. О том, что Кусемис старший брат Тлемнса, Чннгнз н не подозревал. Да он, в сущиостн, не очеиь-то интересовался нм, как н всем простолюдьем. И когда Тлемис представнл Чиигнзу своего старшего брата, он сухо протянул не слншком вежлнвое:

— А-а-а!...

Кусемнс не обратил вннмания иа пренебрежительный тон нлн сделал внд, что не заметнл, н, подбирая самые убедительиые н краснвые слова, отдал должное гостю н в заключенне прнгласил его в свою юрту отведать угощеиия.

Ох, как не хотелось Чннгизу переступать порог этого продымленного, жалкого, неряшлнвого жилища! Его отталкнвал даже внешиий внд. Да и не иужеи ему этот Кусемис. Но... «Ты уважаешь хозяина — брось любимой хозяйской собаке кость.

Хочешь добиться поддержки младшего брата, не обойди своим вниманием и старшего».

И Чингиз сказал:

— Хорошо, мы идем к вашему дастархану.

Драгомиров не откликнулся. А Чокан! Разве он мог не посмотреть эту обшарпанную юрту. Она выглядела чуть лучше шалашей рыбачьего поселка, но самая захудалая черная юрта аула Карашы была по сравнению с ней куда опрятней. И как только в ней живут люди!

... Был Черный шанырак Белой юрты Орды.

Был свой черный шанырак, свой черный обруч и у ответвления Шайгоз рода уаков. Шайгозинцы насчитывали в это время немногим более тысячи юрт. Их родовой черный шанырак, переходя из поколения в поколение, достался Сапаку, а теперь его хранил Кусемис. Менялся остов, обновлялись — пусть не часто — кошмы, а выделанный из дуба шанырак только темнел и затвердевал с годами, десятилетиями. Жили шайгозинцы бедно, не было в их роду теперь ни богачей, ни прославленных батыров, но они продолжали почитать свою обветшалую святыню, хотя юрта давно потеряла свой благопристойный облик и меньше всего походила на хранилище счастья. Она уменьшилась в размерах, вросла в землю, дрожала на ветру дырявой пропитанной копотью кошмой. Но женщины, больные или желавшие ребенка, проводили, как и встарь, ночь на пороге этой юрты с молитвой и надеждой.

Кусемис отдернул туидик, чтобы стало немного светлее, открыл юрту. В сумеречном свете неприхотливое убранство жилья казалось совсем убогим. Хозяйку юрты Улту нельзя было упрекнуть в неопрятности. Она всегда тщательно мыла свои кадушки вместе с другой деревянной утварью. Жалкие продовольственные запасы были на виду: просо, туго набитое в мешочек, и молоко. Из этого проса и готовился суп, катыкты-кара: просяной отвар, разведенный молоком. Пробовавшие этот суп из чистенькой долбленой дубовой кадушки, хорошо просушенной накануне, ели его со смаком.

Катыкты-кара и был главной пищей в семье Кусемиса. К нему добавлялись продукты, собранные в воскресные дни. У сибирских казахов русский воскресный день назывался азына. По воскресеньям жатаки, пасшие скот, обходили с мешками за плечами дворы своих станичных хозяев и собирали азыну — продукты, как дополнительную плату: одни выносили хлеб, другие — картошку, третьи делились творогом и сметаной, а те, что пощедрее и побогаче, давали пастуху и мясо.

Так и жили от воскресенья до воскресенья: день — сытые, день — голодные. Некоторые жатаки умудрялись даже откладывать на зиму кое-что из этих даяний.

День приезда Чингиза был днем азыны. Улту вместе с ребятишками собирала в станице положенную пастухам дань.

Как ни старалась Улту держать в чистоте свою бедную юрту, ей не удавалось избавиться от мух.

И гости, едва перешагнув порог, услышали их нетерпеливое жужжание. Как только в юрту проник слабый свет, целые тучи мух вылетели из щелей, поднялись из уголков и сразу же облепили пришельцев. Навязчивые, словно комары в рыбацком поселке, они лезли куда попало. Чингизу муха залезла даже в нос, и вместе с Чоканом он выскочил из юрты. Этого еще только не хватало!

Сыновья Сапака опять переругивались шепотом. Тлемис корил старшего брата за необдуманное приглашение, злился от стыда, а Кусемис мягко оправдывался и повторял одну и ту же фразу: «Что же делать, если я так живу».

Вероятно, братья далеко бы зашли в своей перебранке, если бы у юрты не появилась Улту вместе со своим младшим сыном Данияром и старшим сыном Тлемиса Ташатом. Носившая обычно довольно аккуратную одежду, повязывавшая голову чистым платком, Улту в дни азыны облачалась в самую что ни на есть рвань, считая, что жены станичников из жалости подбросят больше в ее мешок. В таком нищенском одеянии и возвратилась Улту домой. Тлемис со стыда готов был сквозь землю провалиться. Опешила и Улту, увидев перед собой богатого казаха — торе с позолоченными эполетами на плечах. Она бросила на пороге мешок и прошмыгнула в юрту.

Ташат и Данияр случайно оказались здесь одновременно с Улту. В сборе азыны они никогда не участвовали. Они увлеченно играли в бабки, и только промчавшийся возок Чингиза отвлек их от обычных мальчишеских забав. Они и побежали к мельнице. Ташат, ровесник Чокана, еще несколько дней назад узнал из разговора взрослых, что через Пресногорьковскую должен проехать Чингиз — торе со своим сыном. Выросший в русской среде и даже посещавший русскую школу, мальчик до сих пор видал только русских торе — господ-начальников, и ему не терпелось посмотреть на знатного казаха и его сынка. Вот бы взглянуть, вот бы поговорить с ним. Ташат рассказал об этом Данияру, и Данияр загорелся вместе с ним: непременно встретимся, непременно побеседуем!

Мальчишки были настойчивыми и смелыми.

Ташат предводительствовал в кругу своих станичных сверстников и его полушутя называли даже атаманом.

Данияр был моложе Ташата года на два, но тоже довольно бойко говорил по-русски, хотя отец, верный старине, не позволял ему учиться в русской школе, опасаясь, что сын со временем отойдет от мусульманской веры и станет крещеным.

И вот теперь они не сводили глаз с Чингиза и Чокана. Султан в своей красивой военной форме, понятно, поразил воображение мальчишек, но еще больше внимание привлек сын именитого торе. А Чокан, стоило ему почувствовать на себе чей-нибудь взгляд, особенно взгляд своих ровесников, немедленно приосанивался, напускал важность, хмурил брови, подражая отцу. Всем своим видом он как бы говорил: «Ну, чего уставились, какой есть такой и есть». Правда, долго пыжиться ему редко удавалось, а сейчас он услышал разговор Тлемиса с отцом и сразу же стал обычным любопытным мальчуганом-подростком.

— Поехали, мой торе. Ко мне в дом поехали, в станицу,— уговаривал Тлемис Чингиза, все еще переживая стыд за нищую юрту брата.

— Ну, что ж, поехали.— И Чингиз зашагал к возку, едва заметно прихрамывая.

Но на его пути решительно стал Кусемис:

— Терпенье, мой торе. Вы же знаете слова предков о пустой юрте и пустых руках. Не обижайте нас, мой торе.

Он говорил так просто и веско, что Чингиз заколебался, хотя ему очень не хотелось возвращаться в юрту. И Кусемису все стало ясно без слов. Он показал на широкий пень — здесь тоже был когда-то лес.

— Присядьте сюда, мой торе. Я сейчас принесу угощенье.

Чингиз пристроился на пне. К отцу подошел Чокан, оперся на его плечо, думая: ну что может принести этот смешной пастух?

Кусемис долго не задержался. Он вышел из юрты с березовой долбленой чашей в руках. Он нес ее осторожно, чтобы не расплескать напиток.

— Ничем я вас, мой торе, порадовать не могу, кроме нашего просяного супа. Он разведен молоком и хорошо утоляет жажду. Мы и кормимся им. А если вы останетесь ночевать, я и овцу на убой найду.

Чингиз взглянул на темный отвар, втянул ноздрями острый кисловатый запах. Приложил губы к краю березовой чаши, отхлебнул глоток на пробу. И поразился — напиток был

действительио приятеи иа вкус. Тогда он выпил всю чашу, не отрываясь, до самого дна. Почувствовал благостное тепло, расходящееся по всему телу. Напиток был чуточку хмельной, как кумыс. Жажда прошла мгновенно, на лбу выступили капельки пота.

Чокан без слов поиял, что угощенье пришлось отцу по душе. У него даже слюнки потеклн в ожидании, что и ему поднесут. И он с готовностью принял кроткое предложение Кусемиса:

— И тебе, сынок?

Повторяя все жесты отца, он запрокинул иаполненную до половины чашу и медленно выпнл ее.

— Божье питье! Как вкусно! Даже у нас, в столовой юрте, такого не пил.

— И мне!— подал густой голос Абы, которого давно мучили и жажда и голод.

— Проходи, пожалуйста, в юрту. Пей, сколько хочешь.

Абы надолго скрылся в юрте. Должно быть, Улту угостила его еще странными дарами нз мешка.

И только Драгомиров вежливо, но твердо отказался от угощения. Когда ему хотелось пить, он подкладывал под язык какую-то диковинную пилюлю.

Перед отъездом Тлемис успел шепнуть брату:

— Приходи вместе с женеше, поможете ухаживать за гостями.

Кусемис возрадовался, как в то мгновенье, когда убедился, что Чингиз без всякого отвращения выпил скромный напиток бедных жатаков.

... Впереди, показывая дорогу, ехал Тлемис. За ним не отставал Абы. Только им одним известной тропкой бежали, пересекая станицу наискось, Ташат с Данияром. Оии оказались у дома Тлемиса одиовременно с возком.

Кусемис ловко освежевал приготовленную к приезду Чингиза овцу, разрубил тушу, а дальше за дело принялась Улту. Булькал во дворе котел с бараниной, румяной корочкой покрывались в кипящем сале баурсаки, дымил самовар. Главные хлопоты по приему гостей легли на плечи красивой жены Тлемиса Кырмызы. Оиа всюду успевала, быстрая и гибкая в движениях, и приветливая улыбка ие сходила с ее свежего, чуть полноватого лица. Даже Чокану оиа понравилась. «Под стать самому агаю»,— подумал он. И в самом деле, Тлемис и Кырмызы очень подходили друг к другу. По обрывкам отдельных фраз Чокан догадывался, что она зиает и русский язык. Образованная, значит.

Но особеино виимательио иаблюдал за Кырмызы Чиигиз. Ои, хотя бы взглядом, не мог пропустить ии одной привлекательиой жеищины. Глаза его стали влажиыми, блестящими, в посадке головы появилось что-то ястребииое, хищное. Нескромиые мысли появились у иего. Ему вспомиился уже далекий иочлег в ауле Есеиея. Хорошо бы н здесь так вышло.

Чокаи, слегка перекусив, уже устремился к своим сверстиикам. Мальчишки быстро заводят дружбу и еще быстрее иаходят повод для ссор. Виачале Ташату н Данияру льстило, что с иими готов играть иарядио, по-городскому одетый торе. Потом Ташат почувствовал себя, как всегда, атамаиом. В горах у диких коз иа стадо бывает только одии вожак. И Ташат, освоившись, иачал верховодить и новым зиакомым. Пусть гость с характером, ио н он тоже! Зачем ему, призиаииому атамаиу, потакать своему ровеснику, хоть и сыиу султана? По годам оии ровесиики, а в силе и ловкости Ташат ему ие уступит. Ои и более рослый и более крепкий. У маленького торе — бледиоватый цвет лица, ои худощав и, видно, часто болеет. А ои, Ташат, розовощек — в мать. Он, Ташат, зиает русский язык. И кого ои только ие обыгрывал в бабки!

В первой же игре ои повел себя заносчиво. Мол, с кем ты играешь, сыи султаиа?

Перед иачалом игры обычно меряются битками. У кого биток ложится альчиком, тому н прииадлежит право метать первому.

Чокаи, как гость, получил право раскинуть битки. Три битка — Ташата, Даиияра и свой. Они были крупиее обычных — выделаиы из коровьих асыков, хотя и основательио подточены. Чокаи едва уместил их иа своей иебольшой ладоии. Он произиес привычиую скороговорку:— Кожыр-кожыр такем сок!— и швыриул их на землю. Желтый биток Ташата лег альчиком, темиый с крапинками Данияра — боком, а чокаиовский, коричиевый, перевериулся, стало быть, начииать игру выпало Ташату. Но Чокан иеожиданио заупрямился:

— Я буду метать, и все...

— Почему ж это ты? Мой упал альчнком, а не твой,— ие захотел уступать Ташат.

— И все равно буду метать раиьше. Мой перевериулся,— стоял иа своем Чокаи.

Слово за слово, спор разгорелся. Ташат доказывал — так не играют. Чокаи говорнл, что в Кусмуруие играют имеино так. Обычный мальчншеский спор. И он бы закончился примиреиием, если бы Ташат ие сказал:

— Уж ие потому ли будешь метать первым, что ты сын торе?

— А хотя бы и так. Что ты мне сделаешь?

Чокаи оскорбился уже всерьез, но Ташат продолжал его поддразиивать н вдруг, неожндаино для самого себя, пренебрежительно и скверно выругался. Не просто выругался, а задел честь торе.

Чокан вспыхиул. Ташат и заметнть не успел, как Чокаи со всего размаха ударнл его тяжелым битком в бритую голову. Еще мгновение, и Ташат, теряя сознание, повалился иа землю.

С плачем н крнком Даииyap бросился к Ташату, обиял его, пытался подиять на ноги и внезапио завопил так громко, что услыхали все сидевшие в доме Тлемиса.

— Умер, умер!

Выскочнл Тлемис, побежал на нстошиый крик Данияра, увидел своего сыиа, беспомощио свеснвшего голову иа руки Даииyapa. Уголкн его полуоткрытого рта были мокрыми от пеиы.

Растеряниый Тлемнс пытался представить, что тут произошло, но Данияр толком ничего не мог объясиить и только ревел. После иастойчнвых расспросов Данияр, так и не вспомиив имеин Чокаиа, с трудом сквозь слезы выдавливал одио слово за другнм:

— Этот ударил его... Сын торе... Бнтком... Вот сюда.

Тлемис иащупал иа затылке сыиа здоровеииую шншку. Из нее еще не переставала сочнться теплая кровь. Ташат тихо застоиал.

Между тем, вокруг собралнсь соседи н все, кто был во флигеле, ие исключая Чиигиза и Драгомирова. Только один Драгомиров не поддался панике, взял руку Ташата, иашел пульс, просчитал про себя:

— Хорошо бьется сердце. Обморок у него. Только не шумите, пожалуйста. Мальчику покой иужеи. Подстелите чтонибудь прямо сюда. Надо бы лекаря вызвать. А пока запрещаю кому-ибудь его трогать.

Люди мало-помалу успокоилнсь, принеслн одеяло, положили под голову подушку. Кто-то поехал верхом нскать лекаря, хотя по уверению других он находнлся в отъезде. Драгомиров без особой иадежды достал нз саквояжа свой фраицузский флакон. Но к его удивлению и после пьяной иочи в рыбацком поселке там было достаточно спирта, чтобы протереть рану Ташата. Драгомиров так и сделал. От прикосновения тряпки, иамочеииой спиртом, Ташат снова застонал.

Тогда все уже убедились, что мальчик жив, и разом заговорили о Чокане.

Но он, воспользовавшись суматохой, давно сбежал. Он попытался спрятаться в своем возке, но тут подвернулся вездесущий и преданный Абы, сообразивший, что лучше Чокану выждать не здесь, а в уголке двора под старой соломой. Абы единственный из взрослых наблюдал за спором ребят; он видел, как пришел в неистовство Чокан и ударил Ташата.

Верный слуга промолчал. Только потом, улучив удачную минуту, шепнул обеспокоенному Чингизу, где скрывается мальчик.

Если разобраться, ничего серьезного не произошло. Самая обычная драка. Ташат уже приходил в себя и стонал скорее от обиды, чем от боли. Отец еще волновался за его здоровье, но не так, как в первые минуты.

Чингиз никак не мог принять правильного решения. И сразу уезжать и оставаться в гостях представлялось ему одинаково неудобным. Беседа не клеилась, хотя все оставались на своих местах. Только один Кусемис незаметно покинул флигель брата.

Он и явился виновником дальнейших событий.

Такой рассудительный, трудолюбивый и гостеприимный, такой смиренный на вид, в душе он таил ненависть к ханам и даже маленькому торе не мог простить его нападения на племянника. Все равно отыщу его, где бы он ни прятался, думал он.

Шаг за шагом обыскивая каждый уголок двора, Кусемис наткнулся наконец на зарывшегося в солому Чокана: попался,волчонок! Такая ярость овладела им, что он схватил мальчишку за горло. Хорошо, что подоспел Абы и другие люди. Они вырвали Чокана из рук пастуха, славшего проклятия всему ханскому роду, его предкам и потомкам. Чингиз, преодолев спесь, миролюбиво пытался его успокоить, но в ответ услышал такую оскорбительную ругань, что махнул рукой и отошел в сторону.

Нечего было и думать о разговоре по душам с Тлемисом, хотя тот умело сдерживал себя и не сказал бывшему ага-султану ни одного резкого слова, по-прежнему почтительно называя «мой торе».

— Не брезгуйте, мой торе, нашим дастарханом, вы у нас в гостях, что бы ни произошло. Передохните и — в путь!

Ташата уже давно внесли в дом, он постанывал и переворачивался с боку на бок. Лекаря не дождались. По совету

одного старика приложили к ране сырое курдючное сало. Мальчик повздыхал, поохал и задремал.

Но беседа за дастарханом шла вяло, свежая баранина словно потеряла вкус, у чая исчез аромат.

Посидели ради приличия, попробовали улечься спать. Но сон не был сном. На рассвете Чингиз и Драгомиров взяли ямщицких лошадей и, отпустив Абы восвояси, отправились дальше.

Абы прощался с Чоканом в небольшом дворике Тлемиса, где в углу еще рыжела разворошенная солома, в которой озорник прятался накануне.

Абы давно и крепко привязался к Чокану. Сколько раз он выручал мальчика, сколько раз заминал последствия его детских шалостей. Поэтому ему сейчас изменило его обычное, поистине удивительное, спокойствие. И, напутствуя своего любимца, слуга еле удержался от слез.

— Ты знаешь, Канашжан, я вам не советчик. Я человек темный, маленький. Но, сказать по правде, думаю — тебе надо подчиниться воле отца. Хан-ием, отец твой, решения своего не переменит. Ты будешь учиться в Омске. И у него хватит сил обуздать тебя. Но ты должен одуматься. Пора перестать быть забиякой. Знаешь пословицу: «Когда неразумный сын растет — и спор неразумный с ним идет». Не упрямься, Канашжан. Учись! И не причиняй отцу горя. Ему и без тебя приходится плохо. Думаешь, прибавится к нему уважения, если скажут: и родной сын его не слушается. Не глупи больше! Спокойно езжай в Омск. А там, сам увидишь — все образуется.

Чокан молча согласился. Он был даже пристыжен, чувствуя, что правда на стороне Абы. И надо же было вчера огреть битком этого Ташата! И надо же было сопротивляться отцу там, в Кусмуруне. Он, Чокан, уже не маленький. Он все понимает, что происходит вокруг.

Зря заезжали в Ыстап к этому Тлемису, одни только неприятности, рассуждал Чингиз. Перестал он дружить с удачей. Тлемис — не большой человек, но и с ним ничего не вышло. Однако Чингиз еще не расстался окончательно с мыслью найти себе сообщников, чтобы при случае отомстить Есенею. Может быть, таким верным помощником будет крещеный казах Сатыбалды из станицы Кабанской. Но теперь он не был уверен и в Сатыбалды. Заезжать к нему или не заезжать?...

Старый ямщик, говоривший по-казахски свободно, но с русским акцентом, служил когда-то солдатом в Имантау,

бывал в Срымбете, знал хорошо Айганым и других ханских потомков. Он рассказал об этом Чингизу, причмокивая языком от удовольствия при воспоминании о далеких годах, которые в пожилом возрасте всегда представляются лучше, чем они были.

— Твой ата, твоя аже, Сартай и Абдильда моими тамырами были. Золотые люди! Никогда не обижали. Приедешь в Орду — встречают, как брата. Кумыс — вволю, еда — самая вкусная. Доброе время было.

Кони уже были наготове.

— Куда прикажешь, Чингиз Валиевич?

— На Кпытан, в Пресновку,— неуверенно отвечал Чингиз ямщику.— Доедем до развилки, там видно будет.

Чокан, еще продолжая переживать слова Абы, необычно сосредоточенный и задумчивый, сел рядом со стариком. Он ушел в себя, не задавал никаких вопросов и без прежнего любопытства провожал глазами последние домики станичников и так же равнодушно смотрел на равнину с редкими зелеными островками жмущихся друг к другу берез.

Тронулись станичной улицей, переходящей в большак.

В степи, там, где дорога раздваивалась, старик придержал коней. Один шлях шел вправо, низиной; другой подымался на холмы, заросшие березняком,— он-то, огибая колки, и вел к станице Кабанской.

— Бери, старик, влево.— Чингиз все-таки решил побывать у Сатыбалды. Богат, близок к русским, недолюбливает Есенея.

Старик больно хлестнул длинным конопляным бичом облезлых ямщицких лошадей и свернул, куда ему приказал Чингиз. Чокан даже не спросил, к кому они едут. Молчал и Драгомиров, измученный долгой поездкой.

Надо ли было снятому с должности старшему султану искать поддержки у Сатыбалды? Он был слишком растерян, лишенный привычной власти, в это трудное для себя время не всегда правильно оценивал людей. Вот и кружил долгой дорогой, избегая явных своих врагов, но не пренебрегая случайными, а порою и вовсе ненужными встречами.

Кем же был этот Сатыбалды, к кому он направлялся сейчас?

Его предком был Керей, он принадлежал к этому роду, к подветви Жайылган из сибанов. Его отец Макыбай жил бедно, но был хватким, имел живой ум. Как-то он косил сено на лугу, а рядом паслись подросшие ягнята Есенея. Неосторожным взмахом косы Макыбай загубил одного ягненка. Сооб-

щили Есенею. Он призвал Макыбая к себе. Всем известно было, что суровый на расправу Есеней в таких случаях приказывал оголить спину виновного и сечь розгами. Джигиты секли истово. Случалось, человек на всю жизнь оставался калекой. Поэтому Макыбай и сбежал от наказания в Кабанскую станицу.

Там его взял под свою защиту некий Карас Казин, человек богатый, пользовавшийся покровительством властей. Биография Караса и его родословная достойны удивления. Дальний предок Караса жил в орде Кучума Шопгы-тура на месте нынешнего города Тюмени и исполнял при хане должность священнослужителя — кази. Имя его позабыто. Известно только, что во время похода Ермака в восьмидесятых годах шестнадцатого столетия Кучум был разгромлен и бежал в ханство Ногайлы, а кази попал в плен. Ермак, рассказывают, предложил ему выбор: либо принимай христианскую веру и живи на здоровье, либо казним. Пленник выбрал жизнь, и с той поры начался род крещеных Казиных. Казины накапливали богатство и даже бывали атаманами. В Отечественную войну 1812 года Кирилл Казин геройски сражался с французами, заслужил, как утверждали местные знатоки истории, внимания царя Александра Первого и считался настолько надежным человеком, что ему доверяли охрану дворца.

Карас Казин был прямым потомком Кирилла. Он служил сотником в воинской части, квартировавшей в Пресногорьковской, рано расстался с погонами, поехал в Кабанскую станицу и женился там на засидевшейся в девках дочке богатого станичника татарских кровей Коянова — Глафире. Глафира была единственной дочкой, и отец пожелал, чтобы зять остался в его доме. Казин нисколько не противился этому. Еще его деды дружили с Кояновыми и даже были связаны каким-то родством.

Карас стал наследником состоятельного казака. Он расширил посевы тестя и умножил его скот. Работящая Глафира во всем помогала ему. Прошли недолгие годы, и уже не только в их станице, но и далеко окрест с Казиным считались, с Казиным вели дела, одни перед ним заискивали, другие покровительствовали ему.

Макыбай очутился у Казина в годы его процветания. Человеку смышленому, ему нетрудно было догадаться, что его хозяин тяготеет к казахам.

У Казина было много друзей в аулах, особенно среди крупных баев и влиятельных биев. Поддерживал он связь

и с многочисленными казахскими чиновниками в Омске и других сибирских городах. Зимой Казин жил в станице, а летом уезжал вместе с приглянувшимся ему казахским аулом на джайляу, ставил, как именитый бай, белую юрту, держал кумысных кобылиц, сам ездил в гости к своим тамырам и устраивал им прием по всем обычаям богатых казахов. В совершенстве владея казахским языком, он нередко разбирал аульные тяжбы и приобрел репутацию настоящего бия. Его часто так и называли: Карас-бий.

Он умело излагал степнякам историю своего далекого предка, священнослужителя у хана Кучума. Дескать, он крестился против своей воли и остался в душе мусульманином. Днем для вида ходил молиться в русскую церковь, а по ночам совершал намаз. Умирая, попросил благословения у муллы. Карас под секретом сообщал, что душа его предка на глазах у набожных мусульман унеслась в рай. А чтобы простодушные слушатели окончательно поверили его рассказам, добавлял: «И мы, его потомки, чтим дорогу своего предка. Я и сам, числясь православным, в церкви не бываю, свиного мяса не ем». Об этом, впрочем, знали и сами его казахские приятели. Казин и дома, в станице, и в степи ел любое мясо, кроме свинины, а на зиму, как аульный богач, непременно заготовлял согум — запас конины, прирезая нескольких лошадей из своего тысячного табуна.

Так вел себя Казин в быту, так добивался поддержки видных мусульман из казахов и татар.

Но с русскими он вел себя как православный. Что было у него в душе — трудно сказать. Может быть, он придерживался и в самом деле христианской религии. Достоверно одно: многих казахов, покорных ему, в том числе и его работников, он стремился обращать в христианскую веру. Так, значительная часть кабанских казахов стала крещеной.

Хитрый подход Караса Казина к людям испытал на себе Макыбай.

— Пойми меня,— уговаривал он,— Есеней сильный человек. Но если ты примешь крещение, я смогу постоять за тебя, и он не будет в состоянии сделать тебе плохое.

Так Макыбай и стал православным.

Перевез он из аула в станицу и свою семью: жену с ребятишками. Но, видно, не подошло детям новое место. Из всех сыновей и дочерей Макыбая выжил только один — Сатыбалды.

Не так уж часто бывает, чтобы сын и лицом, и телосложением, и манерами был точной копией отца. Даже рябин-

ки на смуглой коже были одинаковыми — оба переболели в детстве оспой — даже широкие ноздри были, как говорится, тютелька в тютельку, даже мигали они и облизывали языком верхнюю губу, словно передразнивая друг друга. Оба коренастые и ловкие, они были схожи во всем. Сын и характером повторял Макыбая, изворотливостью и ловкостью не уступая отцу.

Про них в станице даже шутили:

— Приходилось ли вам видеть, чтобы художник нарисовал два таких одинаковых портрета?

... Карас, крупный торговец скотом, закупал на ярмарках в Атбасаре и Куянды быков и яловых коров. Осенью, после того как скот нагуливал жир над джайляу, перегонял его на базары Кургана, Челябы, Тюмени, Ирбита, Тобольска. Отощавший скот ставил зимой на стойловое содержание. И когда он входил в цену — продавал.

Закупкой, откормом и перепродажей скота в хозяйстве Караса ведал Макыбай. Скот откармливали в заимке, неподалеку от станицы. Заимку эту связывали с его именем, а русские жители называли ее по-своему — Маховой.

Макыбай возился с гуртами, а его подросшего сына Сатыбалды Карас взял к себе помогать по хозяйству. Неожиданно Карас умер. Детей у них не было, и Сатыбалды, ставший к тому времени взрослым юношей, так и остался в доме овдовевшей Глафиры. Глафиру все казахи величали Кулпара· старики — младшей снохой,— Кулпара-келин; а те, кто помоложе,— Кулпара-женгей или Кулпара-байбише. Волосы у нее были с чуть рыжеватым отливом: тоненькая и стройная в совсем молодые годы, теперь, в свои тридцать с небольшим она располнела и округлилась, но сохраняла свою привлекательность.

К Сатыбалды Глафира относилась нежно, как к сыну, а быть может, и совсем иначе. В станице в аулах находились охотники позлословить на их счет. Но сам Сатыбалды вежливо называл ее Кулпара-женгей, ни в чем ей не перечил, понимал ее с одного слова и быстро выполнял все поручения вдовы. Покорность и услужливость сделали свое дело. Кулпара-женгей передала в руки Сатыбалды все хозяйство, и сама наделила его русским былинным именем Садко, считая молодого джигита и щедрым по натуре, и неунывающим весельчаком, что в общем было не совсем так. Казахи, приходившие в дом, подражая Кулпаре, звали его Сатка. Глафира не намного пережила мужа. Почувствовав приближение смерти, все состояние она перевела на имя своего любимца Садко.

Так Сатыбалды стал одним из первых богачей станицы. Он навел новый порядок. Сосновый шестикомнатный дом Караса, стоявший на отшибе, он приспособил для батраков, а сам выстроил себе двухэтажный особняк, снизу — кирпичный, сверху — бревенчатый. Открыл бакалейную лавку, обнес подворье забором. Торговля скотом оставалась главным его доходом. Он выделил косяк аргамаков, развел молочное и мясное стадо, содержал тонкорунных овец с мелкой шелковистой шерстью, приобрел пестрых миргородских свиней, не чурался и птицы — кур, гусей, уток. Все, что приносило прибыль, манило Сатыбалды. Поэтому он не упустил возможности взять на себя и содержание ямщицкого двора в станице.

Его отец Макыбай не притрагивался к свинине ни в доме Караса, ни в гостях у станичников и после своего крещенья. А Сатыбалды уплетал сало за милую душу, ел без меры баранину и пристрастился к водке. Под сорок лет он так разжирел, что уже не мог самостоятельно сесть на коня, а дрожки под ним так и гнулись.

Женился он после смерти Глафиры на вдовой молоденькой поварихе Марии, которую иначе и не называл, как «моя маржа», слово, обозначающее жену, но отсутствующее и в русском, и в казахском, и в татарском языках. Со своей маржой он прижил множество детей — смуглых, как он, со вздернутыми носами. Ни у сыновей, ни у дочерей ничего не было от веснушчатой рыжеволосой Марии, Сатыбалды твердо помнил только имя своего первенца, нареченного станичным попом Ефимом. Нашему удачнику с трудом давались русские слова и имена. Своего Ефимку он с колыбели перекрестил в Екима. Над семьей Сатыбалды в станице подсмеивались, но осторожно, чтобы, избави бог, не дошло до ушей хозяина. Так, всю ребятню называли выводком черной вороны.

Разбогатевший торговец довольно равнодушно относился к своей одежде и на детей не слишком тратился. Девочки ходили у него в длинных ситцевых платьях, мальчуганы щеголяли в коротких полотняных штанишках. Двух-трехлетним малышам не полагалось и этого: они бегали в чем мать родила.

Но в своих торговых делах Сатыбалды был куда как аккуратнее и размашистей. О них и о широком влиянии Сатыбалды Чингиз хорошо знал и раньше. Что же касается всяких подробностей, то их дополнил словоохотливый ямщик, не преминув упомянуть о том, как жестоко обходится этот Садко с его кабанским собратом по ямщицкой езде.

Когда они уже въехали на станичную улицу, старик сказал:

— А знаешь, Чингиз Валиевич, у иего во дворе четверо ворот, с какой стороны хочешь, с той и въезжай.

Станица была как станица. По всей казачьей линии строились эти бревеичатые дома, чаще с дощатыми, реже с железными крышами. Одии поменьше, другие побольше. Так было и здесь. Только дом Сатыбалды, приметный издали, от самого въезда возвышался верблюдом в табуне лошадей. Когда подъехали ближе, удивились пестрой расцветке особияка — крыша зеленая, нижний этаж голубой, ставни павлиньей пестроты, ворота — в тон ставням. И повсюду — всякие цветочки, петушки. Хозяин, известный пренебрежением к своей одежде, разукрасил свое жилище так, чтобы каждый видел: да, здесь живет человек с достатком!

Старик ямщик, зная и спесь Сатыбалды и его уважение к чинам и богатству, прибавил ходу на стаиичиой улице, чтобы веселым звоном зазвенели колокольцы, подвешенные к дуге. Колокольцы ои подвеснл самые что нн иа есть звучные: он вез нынче и потомка ханской крови и офицеров российской армии. По одному звуку колокольцев Сатыбалды догадается: путники едут почетные, их надо принять самому, их не отправишь на постоялый двор. Оскорбятся, потом не оберешься беды.

Не слишком прыткие в степи кони под взмахами бича, под лихие возгласы приосанившегося ямщика с таким перезвоном и перестуком мчали прямо к дому Сатыбалды, что ни у кого не могло возникиуть сомиенні: важные люди едут.

Не возникли онн и у Сатыбалды, проверявшего что-то по хозяйству во дворе под навесом.

Приближающийся звои колокольцев отвлек его от обычных забот. Интересно, кто бы это мог быть? Сатыбалды подошел к воротам и заглянул в щель. «Прямо к моему дому иаправились. Издалека, должно быть. Не ииаче как иачальство»,— бормотал он, поспешно вытаскивая засов.

Казалось бы, чего проще — раскрыть ворота. Но это иехитрое дело во дворе Сатыбалды почти всегда связывалось с небольшими, но забавными неприятностями. Всему виной были свиньи. Неуклюжие пестрые животиые только и выжидали удобного случая, чтобы выскользнуть на улицу. Откуда у них и ловкость бралась? Они выскакивали на своих кривых ножках с необыкиовеииой быстротой и немедленно устремлялись к соседским огородам, подкапывая их и выбирая коренья по вкусу. Признавали оии только своего свинаря Бощибая.

Его они побаивались, а на остальных и вниманиия не обращали. И иапасть могли, и свалить на землю. Тем более, никто из соседей ие рисковал бить их палкой. Страх перед Сатыбалды соседи переносили и иа его свиней.

Сатыбалды иедоглядел, как рядом с иим очутился крупный чериый кабаи. Ои метнулся иа улицу, едва распахиулись ворота. Тучный Сатыбалды, тяжело придыхая, засеменил за ним. В это время ямщицкая повозка уже остаиовилась у дома. Пока ие похожий иа богатея богатей безуспешно старался загнать кабаиа обратио, иа улицу выскочила и свинья со своими поросятами.

Сатыбалды безнадежио махнул рукой: ему не под силу было справиться.

— Бощибай!— крикнул он, как ему казалось, громко, а иа самом деле хрипло и приглушенно. Горло, заплывшее жиром и хронически воспалеииое от водки, давно ие позволяло ему даже говорить в полиый голос.

Но Бощибай услышал. Батрак был уже тут как тут. Нескладный и иизкорослый, словно кривое дерево с широким раскидистым верхом и тонеиьким коротким стволом. Он то и дело подымал свою худую руку с рукавом, закатаниым до локтя, зажимая какой-то тряпицей нос и рот. Ему, считавшему себя мусульманином, был противеи запах свиией. Он вообще испытывал к иим непреодолимое отвращеиие, но ухаживал за иими уже миого лет и умел их откармливать. Он даже прииимал от маток поросят и возился с иими, отчаяино ругаясь и поминая злым словом свиное рыльце, свиной пятачок. Он мог обругать и хозяиаа и его детей. Но Сатыбалды спускал ему это и, посмеиваясь, хрипел: «Довольио, свииья, довольио!»

... Услужливо выпятив свою, иикогда не знавшую ножниц и гребня, спутаииую поседевшую бороду, Бощибай заглядывал сейчас в рот Сатыбалды. Мол, что ты от меия хочешь, хозяин? Но, разозленный неудачиой погоней за кабаном, Сатыбалды молча отвесил ему оплеуху. Пастух даже не поежился. Ну, ударил и ударил. Не в первый раз. Огляиулся, поиял, в чем дело и помчался за свииьями куда бойчее своего толстого повелителя.

...Всю дорогу не пророиивший ни слова Чокаи с обычиым своим любопытством следил за этой сцеиой. Смешливый от природы, он захлопал в ладоши и безудержно захохотал.

— Ты что эты?— недовольио остановил его отец.

— Разве ие видишь сам?— с трудом проговорил Чокаи, захлебываясь от смеха.

— Что ты здесь нашел смешного?— повторнл отец.

— Ты, ата, лучше скажи, свинья это или человек?— н Чокан указал пальцем на Сатыбалды.

— Ойбай, тише!— сердито прошептал Чингиз и толкнул Чокана под бок, чтоб тот замолчал.

Но мальчик продолжал смеяться:

— Ты только посмотрн на того черного кабана и этого толстяка. Ну, какая между ними разница: один на четырех ногах, другой на двух. Вот и все. Онн так похожи друг на друга. Скажи перед богом, что нет?

— Помолчи, Канашжан! Брось, я тебе говорю.— Шепот Чингиза стал пронзительным, свистящим.— Жнриый, сердитый н есть тот человек, к которому мы ехали.

— Ну н что ж такого? Я говорю только о том, что увидел.

— Замолчн сейчас же. Вот он идет к нам. Услышит твой смех, неудобно будет.

Все свои силенки собрал Чокан и сделал серьезное лицо.

Вразвалочку, медленно направлялся к путникам Сатыбалды.

— Наш бай-купец Садко, Чингиз Валиевич,— успел тихо сказать ямщик.

Пока Чингиз, боясь, как и всегда, уронить свое достоинство, раздумывал, сойти ли ему с пролетки или отсюда поприветствовать станичного богача, старик уже пожимал руку Сатыбалды и торопливо ему сообщил: «Ага-султан. Подполковник Чингиз Валиханов». Внушительного впечатления это не произвело. Сатыбалды сделал только широкий жест в сторону ворот, означавший «прошу пожаловать».

Чокан взглянул на ворота и, не удержавшись, опять прыснул.

Мудрено туда было проехать или даже пройти, если в воротах сгрудились свиньи, возвращенные Бощибаем и соседями, если на шум во дворе и перезвон колокольчиков выбежали дети — весь выводок черных воронят. Все смешалось: ребятишки, поросята, чуть растерянный Бощибай, черный кабан, никак не желавший возвращаться обратно, и владелец дома с подозрительными маленькими глазками.

Чокану стало невыносимо смешно. Хохот так и душил его. Сатыбалды бросил на него взгляд исподлобья и угрюмо отвел в сторону. Ему и в голову не пришло, что мальчик может смеяться над ним. Но смех этот все равно показался ему грубым и неприличным. Дурной, должно быть, решил он про себя.

Свиней наконец загнали в сарай, на воронят прицыкнул

отец, и они разлетелись кто куда. Путникн нашн въехали во двор н были приглашеиы в дом.

Но Чокан не унимался. Ои нет-нет да и снова с необыкиовенной отчетливостью представлял то кабанов — двуногого и четырехиогого, то пестрых поросят и ребятишек, и опять смеялся: сиачала в кулак, а потом заливисто и громко.

Сатыбалды мрачнел все больше и больше. Поведеиие сына султана ему явно не нравилось. Нахмурившись, он даже спросил у Чиигиза:

— Что он, в своем уме или больной?

— Не замечал за ним ничего такого,— смутился Чингиз,— просто не знаю, какой шайтаи его сегодня попутал.

...После чая Чингиз вышел просвежиться и позвал с собою Чокаиа. Глаза отца не предвещали ничего доброго. Он сжал кулаки:

— Ты бросишь, наконец, свон смешки? Стыдно за тебя, понимаешь? Или ты ждешь, чтоб я тебя ударил?

Отец вплотиую подошел к сыиу, а тот только вобрал голову в плечи и не сдвинулся ни на шаг.

— Бей, отец!

— И побью. Черная земля свидетель. Везде тебе тесно. Всюду норовишь что-нибудь затеять. И в Орде и в пути. Остановнлись на отдых. Дом просторный. С хозяииом можно поговорить о деле. Но я смотрю, и здесь нам не усидеть. Сатыбалды уже волком смотрит. И все из-за тебя, из-за твоих смешков. Ты их прекратишь илн нет? Не то мы сейчас уедем, ио я тебя...

Отец уже готов был выполиить свою угрозу. Но нспугать Чокана ему ие удалось. В глазах сына вспыхивали такие же злые огоньки, как и в глазах отца.

Чокан ие сказал, что он прекратит или продолжит свои шуткн. Он заговорил совсем о другом:

— Ты от меня скоро нзбавишься, отец. Но пока я с тобой, не смей меия трогать. Слышишь, ие смей. Плохо мне будет, тебе еще хуже. Не нспытывай на мне свой кулак. Я правду говорю.

Чннгнз почувствовал в словах сына хорошо знакомое ему самому недоброе упрямство. И ие только упрямство, но и угрозу. Вспомнил себя юношей. Вспомнил рассказы о крутых иравах своих предков, способиых на все, вплоть до петли иа шею, когда их обидят. Нет, с этим мальчиком сладить не такто просто.

— Ты мие не веришь? Попробуй, ударь.

Но у Чингиза уже ие подымалась рука на сына.

И Чокан, понимая, что отец сдается, сказал мягче, с едва уловимой улыбкой:

— Если ты, отец, будешь бить меня за каждую свинью, что же от меня останется?

Оба они вернулись в столовую заметно помрачневшие.

И Чингиз не смог прийти в хорошее настроение. Он не был до конца уверен в том, что Чокан опять не рассмеется, не скажет шутливого или дерзкого слова. Впрочем, мальчик уже не смеялся.

Чингизу было неприятно предполагать, что Сатыбалды догадался — юнец потешается именно над ним. А между тем это было действительно так. Уже задавая свой вопрос Чингизу, Сатыбалды мысленно проклинал мальчишку. Предпочитая слушать гостей, а не говорить, он на этот раз совсем ушел в себя, только приличия ради вставлял в беседу односложные слова.

Встретил он Чингиза и Драгомирова, как подобает. Стол был уставлен и свежей бараниной и копченостями из конины. Обед готовили казахи, всего было вдоволь.

Но никакого разговора не получалось. Чингиз даже не упомянул имени Есенея. Он оставил всякую мысль заполучить Сатыбалды себе в союзники.

И обильная пища и постели с пуховыми подушками и перинами сами по себе ничего не значили. Больше говорили маленькие сердитые глаза хозяина и его явное нежелание долго быть на виду у гостей. Он рано ушел к себе в спальню и больше не показывался.

Чингиз ворочался на мягкой постели и почти не смыкал от досады глаз.— Ах, бог мой,— повторял он про себя,— лучше бы ты прибрал меня, чем я еще раз унизился перед такими крещеными свиньями.

Чокан спал всю ночь, то тревожно вскрикивая, то посмеиваясь во сне.

Драгомиров временами просыпался, и ему казалось, что он дома, в Омске. Но Омск был далеко, Александр Николаевич натягивал на себя одеяло, и снова покачивался возок и плыла перед глазами степь с дымками аулов на горизонте.

Чингиз встал рано, спросил, где Сатыбалды. Хозяин уже успел уехать по каким-то торговым делам, пренебрегая гостями. Но внешне все обстояло прилично. И стол накрыт на дорогу, и бричка с впряженными в нее двумя аргамаками дожидалась путников во дворе, и Бощибай радостно размахивал кнутом, избавленный хоть на день или два от возни

со своими пестрыми свиньями. Сатыбалды наказал ему отвезти гостей, куда они только пожелают.

Выехали рано, по холодку.

Едва станица скрылась за холмами, как Чингиз задремал.

Драгомиров снова предавался размышлениям о степных обычаях, об этом крещеном казахе, одолеваемом жаждой прибыли, неповоротливом с виду и ловким в делах.

Свое любимое место рядом с возницей занял Чокан, бодрый, по-прежнему любопытный, умевший, как думали про него, сразу забывать неприятности вчерашнего дня.

Такой смешной и несуразный среди своих свиней, Бощибай преобразился в степи. Чокан уже вчера вечером, покинув гостевую комнату, где было так скучно и не вязался никакой разговор, наблюдал за Бощибаем возле кухни. Там собрались работники Сатыбалды и его бедные соседи, крещеные и некрещеные казахи, собрались, чуя запах свежей баранины и бульона — сурпы. Как говорят, незачем стыдиться, когда можно попробовать мяса. Сатыбалды, скупой во всем остальном, придерживался правила раздавать остатки с гостевого стола и угощать горячей сурпой и своих батраков и станичных жатаков. Пусть, дескать, знают его щедрость. А беднота что? Она и этому рада. Вот тут Чокан и убедился, что Бощибай может быть неунывающим весельчаком, заставить улыбнуться угрюмого старика, пошутить с ребенком, смутить молодуху соленым крепким словцом. Без ругани он не мог обходиться. Без насмешек — тоже. Но на Бощибая никто не обижался. Наоборот, его подзадоривали, чтобы он разошелся еще больше. Рассказчиком он был отменным. Все свои невзгоды забывали батраки, внимая его уморительным историям.

Пристроившись рядом с Бощибаем, Чокан ждал от него, тщедушного веселого старика с кудлатой бородой, чего-нибудь необычайного. Кого же он ему напоминал? Да ведь это старик из сказки. Старик Перекати-поле, Канбакшал. Ну конечно, он! Его может унести ветром, но он может перехитрить и ветер.

И Чокан приготовился слушать.

Но старик не очень торопился.

Он тоже, в свою очередь, наблюдал за Чоканом, оглядывался на дремавшего Чингиза, на молчаливого, уставшего Драгомирова. Достал сшитый из бараньей кожи мешочек — табакерку, суженный в конце, отсыпал добрую щепотку табака — насыбая и заложил его за нижнюю губу. Всасывал

приятиую дурманящую горечь, сплевывал и через некоторое время повторял все снова. Наверное, от едкого табака губы Бощибая были в ранках и ссадинах, а в кудлатой поседелой бороде коричневато-зеленоватыми пятнами темнели табачные крошки.

Наконец Бощибай искоса взглянул на Чокана и рассмешил его коротенькой присказкой. Потом еще одной. Потом изобразил своего хозяина Сатыбалды, искусно подражая его хриплому тихому голоску. И тут принялся сказывать сказку об одноглазом обжоре — Жалгыз козди жалмауыз. Эту старинную веселую сказку сменила сказка о Страшном орле, Кыран-каракши.

Чокан умел слушать, как никто. Все события отражались в его широко раскрытых глазах. Он вздрагивал от страха, смеялся, а когда добрый герой попадал в беду, готов был заплакать.

Лошади трусили без понуканий по знакомой им сухой накатанной дороге. Время в пути проходило незаметно. Они ехали пресновским большаком через Екатериновку — Кутырлаган и уже приближались к Островке, известной в аулах под названием Кокала.

Кокала — зеленый мигающий огонек. У этого названия есть своя история, связанная с историей Островки, которая, как утверждают некоторые знатоки, была первой казачьей станицей, построенной на линии между Звериноголовской — Багланом и Петропавловском — Кзылжаром. Когда закладывались первые станичные дома и казаки уже начали выпасать скот, местные казахи из аула Ирсая выкопали вокруг кладбища ров и поставили забор, чтобы коровы не затаптывали могилы. Среди них и могилу самого Ирсая, известного бая рода Кошебе, решительно ставшего на сторону России. Когда потомок Аблай-хана Абайдильда выступил против подчинения русскому правительству, Ирсай собрал казахов из близких ему аулов и изгнал с этих мест воинственного хана. В знак благодарности русские власти дали ему чин хорунжего. Уважали его и в аулах, как в свое время уважали и деда Ирсая — Жоламана. Рассказывали еще, что на могиле Жоламана и в его честь и в честь его внука светил, то потухая, то вспыхивая снова, зеленоватый огонек — кокала.

...Пролетка поравнялась с густой березовой рощей. Здесь-то и находилось кладбище, могилы Жоламана и Иртая. Бощибай остановил лошадей, разбудил Чингиза.

— Уже Кокала. А вот — могила Ирсая.

Чингиз сошел с пролетки, направился к кладбищу и прочитал там молитву в память умерших предков.

Вернулся, спросил у Бощибая:

— Ты знаешь дом Андрея Бекетова? Говоришь, знаешь. Вот туда нас и привези.

Андрей Бекетов был боевым товарищем Чингиза в походе против Кенесары. Когда Кенесары был оттеснен на юг, Чингиз вскоре стал ага-султаном, а Бекетов вернулся в родную Островку — Кокалу и скоро стал станичным атаманом. В одну из своих поездок в Омск Чингиз заглядывал и к Бекетову, с удовольствием потом вспоминая, как провел у него время. Что же ему сулит нынешняя встреча?

...Вот и знакомый бревенчатый дом, потемневший от времени. Перед распахнутыми воротами на низком пеньке сидел бородатый казачий офицер в летней форме есаула. Он задумчиво попыхивал трубкой и поначалу не обратил никакого внимания на путников. Потом скользнул глазами, вгляделся попристальней, похоже, удивился, встал и быстро зашагал к приезжим.

— Если не ошибаюсь, Чингиз Валиевич?

Чингиз посмотрел, широко улыбнулся·

— А вы, значит, Николай Ильич?

— Он самый, Потанин.

И они крепко обнялись, как добрые старые приятели.

Да, это был Николай Ильич Потанин, представитель фамилии, широко известной в Сибири и в казахских степях.

Когда по приказу Петра Первого в начале восемнадцатого века из Тобольска в восточное прииртышье отправилась военная экспедиция под начальством подполковника Бухгольца, в ее составе был и офицер Аркадий Потанин. Он остался начальником первого русского поселения Ямышево на берегах среднего Иртыша. Позднее, с появлением Омска и Семипалатинска, Ямышево стало крупным торговым центром, где останавливались и китайские купцы, и караваны из ханств Средней Азии, не говоря уже о многочисленных русских торговцах.

Сыну Аркадия Потанина Илье принадлежал первый дом в Островке, в той самой Кокале, в которой Чингиз встретился с Николаем Ильичем.

В 1813 году Илья Аркадьевич отдал своего сына Николая в Омское военное училище, готовившее офицеров преимущественно из детей русских казаков. Николай закончил это училище в чине корнета и несколько лет работал там воспитателем. В ту пору в азиатское отделение училища поступил и Чингиз. Николай Ильич близко познакомился и с Чингизом и с его

матерью Айганым. Знакомство это перешло в дружбу. Потанин тянулся к казахской степи, стремился ближе сойтись с ее людьми.

Способный офицер, знающий премудрости тогдашней военной тактики и разбиравшийся в восточной политике России, он во главе казачьей сотни сопровождал в обратный путь представителя Кокандского ханства, приезжавшего в 1829 году к царю в Петербург с подарками. Из этого путешествия он возвратился с некоторыми предложениями к плану присоединения ханства к России. Участвовал Николай Ильич и в подавлении казахских восстаний, прошел со своим отрядом через Сузак до Чимкента, участвовал в разработке планов операций против Туркестана и Ташкента. Однако вскоре он ушел в отставку, возвратился к своим родичам в Ямышево и женился там на дочери артиллерийского капитана Варваре Филипповне Туркиной Из Ямышева он переехал в Баянаул и служил некоторое время переводчиком ага-султана Баянаульского округа Мусы Чорманова, шурина Чингиза Через несколько лет переехал в Пресновку, недолго служил в воинской части, размещенной в станице, а потом решил взяться за литературный труд — описать свои путешествия.

У Николая Ильича было семь или восемь детей.

Старший сын Григорий родился в Ямышеве.

Дети Николая Ильича, как и он сам, росли среди казахов, часто бывали в аулах, разговаривали по-казахски

Григорий Николаевич уже в глубокой старости писал в своих воспоминаниях

«В общем жители Ямышевки, в том числе и наша семья, одинаково хорошо говорили и на русском и на казахском языках. Станичные девушки и парни дома и на улице пели и русские и казахские песни, соблюдали русские обычаи, придерживались и многих казахских».

Вот такая семья и была у Николая Ильича в Пресновской, откуда он приехал погостить к своим родственникам в Островку и неожиданно встретился с Чингизом.

Обнимались крепко, смотрели друг на друга и, как водится, находили перемены — и морщинки и первые седины..

Из ворот дома вышел подросток в кадетской форме, посмотревший на Чингиза и его спутников с некоторым удивлением.

— Прошу любить и жаловать. Мой старший сын Григорий. По-казахски Кургерей.

Чингиз слегка пожал плечами. Мол, что это за казахское имя?

— Аксары Керей, Кулсары Керей... Есть же у казахов такое присловье?— улыбнулся Николай Ильич.

— Есть!— подтвердил Чингиз, довольный, что Потанин так хорошо знает казахский язык.

— Вот по этому присловью я ему и имя придумал. Что такое «кур», правда, мне неизвестно. Но если трудно называть «Кургерей», можно звать просто Гереем или Кереем.

Чингиз опять улыбнулся.

— Поздоровайся, Керей!— Николай Ильич показал сыну на Чингиза.

Кадет не растерялся, протянул руку и на чистом казахском языке произнес:

— Ассалаумагалейкум.

— Уагалейкум ассалам!— Чингиз потряс руку подростка, похлопал его по плечу.— Вырасти большим, будь счастливым.

Ревнивому Чокану с первого взгляда не очень понравился этот русский мальчик, одетый в военную форму, как торе. Единственное, что его приятно удивило, так это уменье и отца и сына чисто говорить по-казахски. Зоркие глаза Чокана сразу приметили и сходство Григория с Николаем Ильичем. Отец был рослым человеком, и сын тянулся вверх. Одинаковыми были у них темно-русые волосы. Только у отца они были гуще и вились сильнее, а у сына на лоб спускалась приглаженная челка. Сходство довершали глубоко сидящие небольшие глаза и выпуклые, по-монгольски резко очерченные скулы и такие же широкие виски, про которые казахи говорят, что они и тюбетейку натянуть мешают.

Чокан засмотрелся на Потаниных и даже растерялся, когда отец его представил:

— А это мой сын. Везу в Омск учиться. Слезай, Канашжан, отдай салем доброму моему тамыру.

Чокан растерялся еще и потому, что ему ни разу не случалось слышать, чтобы казахи по-мусульмански приветствовали русских людей. Сказалось и его трудно истребимое озорное упрямство. Он не сдвинулся с места и равнодушно отвернулся в сторону. Отец опять испытал чувство стыда, но, стремясь как-то загладить поведение сына, сказал не без смущения:

— Избалован он у меня. И не привык еще к русским.

— Ничего, ничего, привыкнет,— понял его Потанин,— Так как же мы решим, Чингиз Валиевич? Здесь мои родственники. Я к ним приехал с женой и ребятами. Может, погостюем? Или сразу к нам в Пресновку, в Кзылтан махнем? Как лучше?

Ни на какой третий выход Потанин, конечно, не был согласен.

Чингиз рассказал ему, по возможности короче, о своих делах и почему он спешит в Омск.

— Тогда отдохнешь — и в Пресновку.— Николай Ильич был непреклонен.— Без твоей доли — сыбаги я тебя не отпущу, Чингиз Валиевич. Может статься, и в Омск вместе поедем.

Будь это во власти Андрея Бекетова, он бы задержал и Потанина и Чингиза еще хоть на неделю. Потанины и Бекетовы с давних пор находились в родстве. Еще их предки обменивались невестами. Почти половину Островки составляли Бекетовы, да и Потанины встречались на каждом шагу. Пиршество затевалось небывалое. Размашисто. Основательно. На всю станицу. Встречали Потаниных, как положено. Готовились исподволь. Сначала пять, а потом еще две бочки бражки доставили из Тюмени. Запаслись горилкой, обжигающей, как спирт, и пахнущей — ах, как хорошо! Хранилось все это в погребе, на льду. Русские казаки Горькой линии переняли в аулах способ заготовки мяса на зиму, не брезговали кониной и умели откармливать лошадей. Зажиточные казахи бывали в гостях у станичников, а станичники охотно принимали приглашения в аулы. И в каждом русском доме, хотя бы с небольшим достатком хранились копчености на случай приезда гостя. Так и теперь в Островке, в Кокале, каждый казак только и ждал дня, чтобы пригласить бекетовского родича — Николая Ильича.

Чингиз, зная гостеприимство здешних станичников, не прочь был бы и сам задержаться в Кокале, попировать. Тем более, вместе с Потаниным. Но одно обстоятельство удерживало его: неподалеку отсюда жил Тобай, зять Есенея, женатый на старшей его сестре. Правая рука Есенея в кознях против Чингиза, он помог лишить его султанской власти в Кусмурунском округе. Потомки Ирсая, казахи, жившие в Кокале, дружили с Шабаком, а Шабак был одним из преданных Есенею людей. Как знать, джигиты Тобая могли бы наделать ему неприятностей — и сплетню придумать, и станичников натравить, и драку затеять.

Вот поэтому из двух предложений Потанина он с легким сердцем выбрал отъезд в Пресновскую.

Понятно, Бекетовы были огорчены. Но Николай Ильич дал обещание вскорости вновь навестить их со всей своей семьей.

...Так наши путники оказались в Пресновке, в Кзылтае, самой большой, хорошо укрепленной и живописной — вокруг озера, березовые перелески — станице Горькой линии.

Драгомиров только переночевал и отправился дальше, в Омск. Его проводили с почетом, гурьбой вышли за ворота, желали доброго пути и скорой встречи.

Одиу только иочь провел в Пресновке и Бощибай. Его отъезда иикто не заметил, кроме Чокана. Ему так не хотелось расставаться со своим Канбакшалом, стариком Перекати-поле, добрым сказочииком и балагуром. Еслн бы кто-ннбудь спросил Чокана,— уедешь с Бощибаем?— ои бы, не раздумывая, ответнл,— коиечно, уеду! Но Чокана об этом иикто ие спрашивал, да Чокан н сам поиимал, что это иевозможно. Но когда Бощибай отправился в иочиое попасти коней, мальчнк увязался за иим и до самой зари снова слушал веселые и страшиые сказки.

Грустно стало Чокану без полюбившегося ему старика Перекатн-поле. Но скучать долго ие пришлось. В самом Николае Ильнче Потаннне, от которого он так капризно отвериулся в первые мннуты нх встречи, скрывался талаит замечательного рассказчика. Его рассказы и отдаленно не походнли на сказки Бощибая. Старик с кудлатой бородой ожнвлял злых духов — джниов и шайтаиов, добрых и иедобрых волшебников, велнканов и неистовых обжор, а Николай Ильич рассказывал о том, что он видел сам, о поездке в Коканд н Ташкент и о других путешествиях. В нпх была правда, но какой удивительной и сказочиой была эта правда.

Потанин понимал и восхищался природой. И умением рассказывать о ней воодушевлял слушателей. Снежные горы и стремнтельные реки, озера необыкиовенной голубнзны, широкие степи, барханиые пустыни с редкнмн глубокими колодцамн Он мог рисоватг повадки диких лошадей н аитилоп, помнил миожество иеведомых растенпй юга Он говорил о древних городах Средней Азии и ее памятниках, об нсторин и обычаях разных народов, населяющих эту землю, о мудрых ученых, поэтах и воинственных полководцах.

Его жадно слушал не только Чокан. Даже Чингиз, чаще всего равнодушный к любому миогословью, старался не пропустить ни одиого слова рассказчика.

Николай Ильич вел свои беседы в гостнной после обеда или ужина, в присутствии других гостей илн вдвоем с Чннгизом. И иензменно в течение всех этнх дней Чокан прнстраивался на корточках возле отца и ие сводил глаз с Потанина, поиимая, что перед ннм открывается иной, доселе неведомый мир. Так он мог просиживать до глубокой иочи, пока окончательио не уставал рассказчик или он сам.

Николай Ильич приметил это:

— Зиаешь, Чингиз Валиевич, сыиок твой, будет все благополучно, ие ииаче как отправнтся в далекие страиы.

...Пройдут годы, Чокан вырастет, станет сам знаменитым путешественником и скажет:

«Первым человеком, привившим мне эту страсть, был Николай Ильич Потанин...»

...В доме Потаниных Чокан даже сетовал про себя, что так много времени отнимало угощенье. Николай Ильич отдавал Чингизу все должные почести, соблюдая обычай казахов. Из своей заимки, где он держал табун лошадей и отары овец, в первый же день приезда велел привести жирного стригунка и зарезать его:

— Это доля твоего деда Аблая.

И хотя мяса оставалось вдоволь и на следующий день, новый жеребенок пошел на убой:

— Это доля — сыбага твоего отца Вали-хана.

На третий день прирезали яловую овцу — сыбага байбише Айганым.

Николай Ильич и на четвертый день хотел забить еще одну овцу, но Чингиз решительно воспротивился.

— И без того хватает мяса. Не пить же мы будем овечью кровь.

Но в пятый день, в канун отъезда, под ножом оказались два годовалых ягненка. Тут Потанин был настойчив:

— Это твоя доля и доля твоего сына.

Понятно, такие горы мяса предназначались на угощенье не одного Чингиза. Потанин слышал, что в аулах рода Кошебе недолюбливают бывшего султана и, чтобы поднять в их глазах Чингиза, он пригласил знатных кошебинцев разделить с ними дастархан. Разумеется, они не могли отказаться от приглашения: Потанин в станице считался видным человеком, и ссориться с ним было нельзя. Кошебинские баи, можно сказать, против своей воли приехали в дом Николая Ильича, с Чингизом вели себя необычайно вежливо и даже сделали попытку позвать его в свой аул.

— Я сам достойно провожу своего гостя,— круто отклонил предложение Потанин, а Чингиз только руками развел: мол, здесь он во власти Николая Ильича...

Чингиз чувствовал себя спокойно под этой мирной гостеприимной крышей. Первые два дня его еще волновало, как бы Чокан не поссорился с Гришей Потаниным. Ведь он так недружелюбно и ревниво посмотрел на него вначале. Но мягкий и тихий Григорий сам сделал шаги для сближения. С детских ранних лет Гриша рос среди аульных ребятишек и, конечно, у него были многие, одинаковые с чокановскими привычки. Когда старшие уединялись или отдыхали, можно было выку-

паться в озере, и, хотя в общем возраст и кадетская форма не позволяли поиграть в асыки — они так развивают меткость глаза. Можио было просто поговорить. Мальчики вместе обедали н вместе спали в детской комиате.

Имя Григорий, Гриша чуждо было слуху Чокаиа и с трудом выговарнвалось. Кургерей звучало тоже сложиовато. Так ои и стал Келеем и для Чиигиза и для Чокаиа.

Чокаиа особеиио интересовало учеиие Керея. Ему самому предстояло учиться в Омске, и поэтому он старательио выпытывал все подробности. Знал об этом и Григорий Потаиии. Он закоичил начальиую школу в Пресиовской, а в 1845 году поступил в Омское училище, преобразоваииое в следующем году в кадетский корпус. Прошел год, как ои проучился в корпусе, и теперь отдыхал на летиих каиикулах дома.

Гриша рассказывал: в прежнем училище велись заиятия и иа татарском языке, а после преобразоваиия училища в кадетский корпус едииствеииым языком для преподаваиия стал русский.

— Как же я буду изучать иауки!— тревожио воскликиул Чокан.

— Не бойся, иичего трудиого нет,— успокоил его Керей.— У иас в корпусе есть дети и мусульмаи и моиголов. За одиу зиму изучишь русский язык.

Гриша показал ему русский алфавит и иачал зиакомить с буквами. В прошлую зиму ои сам посещал уроки татарского языка, иаучился арабскому письму и свободио читал. Но говорил ои и читал по-татарски иа казахский лад.

Чокаи тоже хорошо зиал арабское письмо.

У Гриши Потаиииа были и татарские киигн.

Сопоставлять русские буквы с арабскими было действительио не так уж тяжело. И Чокаи со своей отличиой памятью быстро усваивал потаииискне уроки. Правда, ои усвоил пока всего иесколько слов: я — меи, ты — сеи, ои — ол, вода — су, хлеб — иаи, я ем — меи жеймин, ты ешь — сеи жейсии, ои ест — ол жейди. И еще иесколько коротких сочетаиий...

...Отцы радовались этой крепиущей дружбе. Особеиио Чиигиз, довольиый, что этот уравновешеииый, рассудительный русский мальчик, знающий к тому же казахский язык, будет учиться вместе с его сыном.

Николай Ильич в свою очередь придавал большое значение тому, что Чокаи, сыи друга, будет одним из первых мальчиков казахской степи в иовом кадетском корпусе.

Николай Ильич был и офицером н российским вериоподданным, но, выросший среди казахов, ои дружил со миогими из

ннх. Знакомясь с казахской нсторией, бытом и культурой, он видел в казахском народе черты добродушня и честности. Можно сказать даже больше: он полюбнл казахов, стремился приобщить нх к русской культуре, чтобы открыть дорогу гражданскому росту народа. По его мнению, надо было шнре привлечь казахских детей в русские школы. И он часто советовал делать так своим тамырам. Тамыры слушали вннмательно, однако поступалн по-своему: желающих, как правило, не оказывалось. Но, как говорится, просьбу, обращенную к небу, выполнила земля: его старый друг Чингнз вез своего сына учнться в Омск.

Получалось само собой, что Гриша и Чокан решнлн ехать вместе.

Правда, Нннолай Ильич мог проводнть сына и Чннгнза с Чоканом только до Петропавловска — Кзылжара. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Пресновки.

Выехалн с рассветом на паре сильных лошадей, чтобы к вечеру быть уже на месте.

Чингиз невесело прнзадумался и потом сказал Нниолаю Ильичу, что в Кзылжаре у него есть один приятель, бай, и у него он обязательно намерен остановиться.

Потанин поннтересовался, кто же это?

— Малтабар,— кратко ответил Чингнз.

Нннолай Ильич понимающе кивнул головой и не счел нужным больше донимать вопросами своего гостя, хотя, судя по выражению лица, он не питал слишком добрых чувств к Малтабару.

Чннгиз считал необходимым навестить кзылжарского богача по делу, необходимому, но малоприятному. Он нмел некоторые основання назвать Малтабара своим приятелем, нли во всяком случае человеком, с которым связан крепкими узами прошлого. В двух словах об этом не скажешь. И пока нашн герои едут в Кзылжар, мы сделаем небольшое отступление и познакомнм чнтателей с пронсхождением Малтабара.

Нам уже случалось говорнть, что у хана Аблая было много жен и много детей. У одной из его жен, красавицы Бабак, подаренной хану уйгурскими беками, был сын Рустем.

Рустем, как и многие другие сыновья Аблая, ставшне султанамн по просьбе казахских родов Большого и Малого жузов, возглавил родовую ветвь Дадам-Табык, чьи аулы кочевали вдоль реки Токраун северо-восточнее Балхаша.

Рустем стал соратником Қасым-хана, отца Қенесары, сопротивлявшегося подчинению России. Қасым, спасаясь от преследования царских войск, укрылся в Қокандском ханстве. Но

кокандский хан, подозревая его в измене, велел отсечь ему голову. Той же казни были подвергнуты и сыновья старшей жены — байбише Касыма Есенгельды и Саржан. Кенесары и Наурузбай, сыновья младшей жены — токал Касыма, со временем продолжили борьбу с Россией и, несмотря на тяжкую участь отца и братьев, порою в этой борьбе опирались на кокандцев. Но Рустем не мог им простить казни Касыма, и в каждом кокандце видел врага.

Однажды Рустем, побывав в гостях у баганалинцев у подножий Улутау, пригласил к себе знаменитого акына того края Жанака. Жанак обещал приехать будущим летом и сдержал свое обещание.

Жанак застал Рустема в пойме реки Токрауи среди табунов. Рустем предложил акыну ехать в аул:

— Я скоро поспею, ты отправляйся пока один.

Акын увидел большой аул с белой юртой — ордой Рустема — в центре. Спешившись у белой юрты, Жанак обомлел: перед юртой рядом с ямой для котла лежал связанный кокандец. Акыну толком никто не объяснил, что это за человек и почему его связали. Вошел в юрту, удивился еще больше: из-под груды одеял испуганными глазенками озирались два кокандских мальчика лет шести-семи. У их изголовья сидела грузная пожилая женщина с темным морщинистым лицом. Она взглянула на Жанака холодно, строго и промолчала.

Акын никак не мог понять, что происходит. Но тут раздался топот коней и знакомый властный голос Рустема:

— Выходи, Жанак, сюда.

Рустем, не покидая седла, звал своих джигитов. Из соседней юрты выбежали двое с закатанными по локоть рукавами. Лезвия ножей сверкали наготове.

— Прикончите связанного!— приказал Рустем.

Казнь свершилась на глазах акына, в недобрый час приехавшего погостить.

Позднее Жанак узнал: убитого звали Коныргожой. Он был полуузбеком, полуказахом из Ташкента. Все товары этого мелкого торговца легко умещались в поклаже двух-трех ишаков. Ни сам Коныргожа, ни тем более его дети, не имели и отдаленного отношения к казни Касыма. Но ненависть Рустема не считалась ни с чем. Только мать его Улдакай — та суровая женщина, сидевшая у изголовья,— грудью встала на защиту детей, не позволив их и пальцем тронуть.

Что же оставалось делать с маленькими Акгожой и Кзылгожой? Ташкент далеко. Оставлять их в ауле нельзя, да и мстительность Рустема не имела границ.

Тогда Улдакай сказала:

— Пусть их возьмет Жанак, скажет, что иашел в песках Прибалхашья, отдаст воспитывать в какой-иибудь далекий аул.

Рустем подарил Жанаку верблюда и, когда тот отправился в обратиый путь, и ему и детям сказал иа прощаиье:

— Если кто-нибудь спросит, где отец — отвечайте: ие знаем. Говорят, умер, заблудившись в песках. Забудьте и ваши имена: старшего теперь зовут Малтабаром, младшего — Култабаром. Будете ие так отвечать — месть моя иайдет и вас.

Начались злоключения виовь нарečениых сирот. Виачале Жанак оставил Малтабара с Култабаром иа берегу озера Кургальджиио в ауле родовой ветви Барши-Темеш. Мальчики просили милостыию, потом, когда немиого подросли, стали батрачить. Подростков взял к себе пасти овец карааульский бай Шобек, сыи Байсары. Байсары и Шобек жили в Аиртау ие так далеко от Айганым, и поддерживали дружбу с ханшей.

Гостя в ауле Шобека, Айганым приметила двух смуглых братьев пастушат. Она ие очеиь поверила, что их иашли в песках пустыии, и отец погиб, заблудившись в бархаиах. Происходившая из рода ходжей, Айгаиым своей узбекской кровью почувствовала, что подростки — ее сородичи. Она попросила Шобека отдать ей сирот, окружила их доброй заботой.

В Орде Малтабар и Култабар почувствовали себя джигитами. Братья только внешне походили друг иа друга. Малтабар ие в пример робкому и вялому Култабару отличался живостью характера и сообразительиым умом.

Каждый год в аул Айганым иаведывался приезжавший из Петропавловска — Кзылжара к себе иа родину в Кокчетав один торговец-татарин. Он завозил ей годичиый запас сахара и чая. Бойкий Малтабар понравился торговцу, и ои попросил разрешения Айганым сделать его своим приказчиком.

Малтабар стал сопровождать торговца во всех его поездках, а потом иаучился самостоятельно совершать сделки в аулах.

Торговые дела привели одиажды осеиью Малтабара в аул Кощигула, сыиа Шопаиа, иа берег озера Тараигул. Богатством своим Кощигул уступал разве что баю здешиих мест Зильгаре. Говорят, у него было пять тысяч лошадей и около десяти тысяч овец. Набожиый Кощигул, совершавший паломиичество в Мекку, выстроил иесколько мечетей и иастолько фанатичио следовал мусульмаиским обычаям, что иичего ие продавал за деньги — ии скот, ни шерсть, ии шкуры, ии конский волос. Он считал, что иа русских деиьгах есть клеймо креста, а поэтому

эти деньги нечестивые. Лучше бросать шерсть, как сухие ветви, в пламя очага, чем продавать ее за деньги. Малтабар воспользовался наивной набожностью богатого скотовода и стал обменивать у него шерсть и конский волос на ящики чая и сахара. Обмен расширялся с каждым годом, и, естественно, в пользу Малтабара. От Кощигула он увозил на верблюдах дорогую поклажу.

Малтабар разбогател, завел самостоятельную торговлю, закупал дешевых овец в Джетысу — Семиречье, завел салотопенный завод. Выделывал овечьи шкуры, ездил на местные ярмарки, отправлял и шерсть и сало далеко за Урал.

Айганым повидала Малтабара еще задолго до того, как он стал известным в Сибири богачом. Она заезжала к нему вместе с Чингизом по пути в Омск. Тогда у него была только одна крестовая изба из четырех комнат. Всякие загоны и сараи он начинал строить. Но Айганым подивилась и тому, чего достиг за такой короткий срок обездоленный джигит.

До Чингиза-юноши доходили слухи о богатстве Малтабара, именовавшегося купцом первой гильдии. Заехав молодым офицером в Кзылжар, Чингиз видел уже не крестовую избу, а особняки с лавками на первом этаже, мечеть с двумя минаретами и даже кирпичное здание медресе. Чингиз не мог понять, как пригретый в Орде нищий подросток достиг такой, в его представлении, роскоши. Самолюбие ханского потомка заговорило в нем, и он счел ниже своего достоинства перешагнуть порог особняка Малтабара.

...Так было тогда. Не так было теперь. Чингиз решил склонить свою надменную голову перед бывшим слугой Айганым. Чингиз не только лишился султанской власти, у него и деньги вышли. А сейчас, когда он должен был устроить и сына в Омске и поправить свои дела, деньги требовались как никогда. Даже перед Чоканом, не говоря о других, он чувствовал себя неловко. Завидит Чокан в станичной лавке на ямщицком тракте какую-нибудь вещь, попросит отца купить, а кошелек пуст. Но если в дороге, останавливаясь у знакомых и друзей, еще можно было избежать трат, то уж в Омске без них никак не обойтись...

Первая встреча с Малтабаром не сулила унижений. Купец, плотно пообедав, пил чай, когда Чингиз подъехал к его воротам. Разомлевший от сытости и тепла, послал джигита узнать, кого там бог принес. Но едва он услышал имя — хан Чингиз, как наспех сунул ноги в галоши и выбежал, потный и красный, на улицу встречать почетного гостя. Чингиз сразу узнал Малтабара, хотя он стал полнее и уже не носил тонко

подбритые усики, а отпустил круглую татарскую бородку. Малтабар остановился у пролетки, сложил руки на груди, низко поклонился, приглашая Чингиза в дом.

Чокан знал, к кому они едут, но зачем едут — ему было неведомо. Отец соскочил сразу и поздоровался с Малтабаром, а Чокан не трогался с места, пока купец почтительно не позвал его:

— Выходите, мырза!

Гостей разместили в двух комнатах на верхнем этаже, в третьей — накрыли дастархан. По обычаю городских мусульман Малтабар не познакомил Чингиза ни с одной из своих жен, а их у него было три — казашка, татарка и узбечка. Блюда носили джигиты, ухаживал за Чингизом и нарезал мясо сам хозяин. Каких только вкусных угощений не предлагали гостям! Чингизу вспомнился дастархан Сейфсаттара. Позднее он не встречал ничего подобного: ни у ханов, ни у биев-торе, ни в казачьих станицах.

Чокан и Гриша быстро наелись, выбежали на улицу, заглянули в лавку Малтабара. Чего только в ней не было! Просунулись в приоткрытую дверь мечети Имам в большой чалме стоял в стороне мехраба, грузный, исполненный достоинства. Низко склонялись верующие, касаясь лбами молитвенных ковриков. Должно быть, среди них были и Чингиз с Малтабаром. Но мальчики их не обнаружили.

Они бы долго наблюдали за молящимися, если бы их тут же не прогнал какой-то пожилой человек, сердито сверкнув глазами.

Ребята подбежали к медресе, заглянули в окна сквозь переплет железных прутьев. Слабый свет с улицы проникал в просторные комнаты, но учащихся не было видно. Они, очевидно, разъехались на каникулы, а в медресе шел ремонт.

...На следующий день Малтабар показал гостям свои владенья на берегу Ишима, огибающего городок с западной стороны. Здесь была и широкая пойма Алкаи, затоплявшаяся во время весеннего паводка. После спада воды она зарастала густой сочной травой. Малтабар арендовал у казны этот луг и нанимал рабочих скашивать так называемые сотенные участки: сто копен сена равнялись стоимости одной овцы. Кто не набирал ста копен, тот не получал и денег. Малтабар умел прибирать к рукам рабочую силу. Многие оказывались у него сначала в долгу, а потом в ярме. А сена вполне хватало кормить скот, не распроданный до зимы.

Салотопенный завод высился на прогалине, окруженной зарослями чернотала. Все вокруг было пропитано щекочущим

прогорклым запахом. Не только детям, но и взрослым дышать было здесь так трудно, что они предпочли выслушать рассказ хозяина на вольном воздухе. Чокан запомнил, хотя еще не понимал до конца всей механики этого производства и торговли, что яловая курдючная овца, закупленная в Семиречье, стоила, примерно, рубль. При перетопке сала каждая такая овца давала около полутора пудов жира. А пуд жира стоил восемьдесять копеек. Значит, мясо и шкура овцы доставались Малтабару почти даром. Но оборотистый купец еще и стриг овец и шерсть, сваленную в войлок, кипами отправлял в Малороссию, как называли тогда Украину. Не меньше ста подвод в год, в иные годы — и несколько сотен.

— А прибыль?— полюбопытствовал Чингиз.

— Одна кипа шерсти возмещает стоимость двух баранов,— не совсем определенно ответил Малтабар.

И тут Чингиз издалека намекнул о своем желании одолжить денег.

Малтабар не промедлил и секунды:

— Пожалуйста, и не только сегодня, а всегда, когда только потребуется. Можете не стесняться. Ваша матушка-ханша подарила мне состояние. Как же я могу не выручить ее сына?

Говорил Малтабар сладко, умилительно, а на душе у него было совсем другое. Им руководила не благодарность Айганым, а привычка задабривать деньгами людей, которые могут при случае пригодиться. Пускай Чингиз сейчас не был ага-султаном, пускай дела у него пошатнулись. Но, видать, зубы у него еще крепкие, да к тому же подполковник. С ним так легко русские власти не расстанутся, он еще возвратит свое влияние в степи. Придет время, Чингиз понадобится мне и поддержит меня.

Не так уж велика была и его благодарность Айганым. Он считал себя обязанным прежде всего себе самому. Вот брат Култабар. Их вместе приютила Айганым. Но брат так и не выбрался в люди, так и остался в ауле и снова перебрался в аул Шобека, сына Байсары, где батрачил в детстве. Пас чужих овец и теперь.

В эти дни он гостил у Малтабара.

Чокан видел его. От отца он узнал историю братьев.

И, столкнувшись с Култабаром, он удивился. Моложе брата года на два, а поседел, сгорбился. Похож на старика в свои сорок пять лет. А Малтабар — вон какой молодец. В черной круглой бородке — ни сединки, щеки пышут здоровьем, ходит молодцевато. Один франтоват, другой — в поношенной одежде.

Чокан спросил:

— Скажи, мой аксакал, брат у тебя бай. А почему ты так плохо одет?

Култабар поглядел на мальчика смиренно и грустно:

— И меня сделал бедным бог и ему дал богатство бог. Так всегда в жизни, сынок.

Чокану такой ответ показался неясным:

— Но брат знает, как ты живешь, Почему не помогает?

— Не помогает — и все,— откровенно сказал Култабар,— знаешь пословицу: «Коль мышь густою шерстью обрастет, тем чаще в страхе дрожь ее берет».

Чокан легко разгадал смысл пословицы. Он еще раз посмотрел на Култабара, и ему стало грустно.

...Наступил срок отъезда в Омск. Малтабар вызвался довезти Чингиза до места. Чингиз, зная, что еще предстоит возвратиться к разговору о деньгах, попытался вежливо отговорить купца:

— Дел у тебя по горло. К чему тратить зря время? Дашь нам джигита и пару лошадей, благодарны будем.

— Такого гостя и встретить и проводить как следует надо. Вы же не просто в Кзылжар приехали, а ко мне. Как же я сам себе в глаза посмотрю, если сам не отвезу вас в Омск. До него рукой подать. Больше об этом и говорить не стоит...

Дорога до Омска — каких-нибудь сто восемьдесят верст — была хорошо известна Малтабару, имевшему и в этом городе свои коммерческие связи. Может быть, ему надо было побывать там и теперь. И хотя до Омска на выносливых быстрых конях можно было доехать за день, если собраться на рассвете, Малтабар знал, что так скоро не получится: по дороге много казахских аулов, а там есть люди, нужные и ему и Чингизу.

О деньгах напомнил сам Малтабар:

— Вы мне, таксыр, намекали на копейки. Сколько вам надо, скажите?

Чингиз, давно не имевший больших денег, рассчитывал на самую скромную сумму.

— С кулак будет достаточно, Маке.

Малтабар не понял: сто ему нужно или тысячу? Переспросил еще раз.

Чингиз смутился. Он удовольствовался бы сотней, но повторный вопрос Малтабара он расценил, как желание дать вдвое меньше.

— Ну, хорошо. Полкулака.

И опять Малтабар не понял: пятьдесят или пятьсот?

— Я, таксыр, давно не бывал в ауле. Не могу прикинуть, сколько вам надо. Вы назовите прямо цифру.

Гордость Чингиза была уязвлена. Ему так не хотелось унижаться перед купцом-выскочкой. Может быть, он вообще не хочет давать? Но деньги нужны, без них не обойтись. Ради них он заехал в Кзылжар. Собравшись с духом, он тихо сказал, сгорая от стыда:

— Пятьдесят рублей, Маке.

Пятьдесят рублей. Деньги тоже не маленькие. На них можно приобрести четырех коней-скакунов. Но для Малтабара пятьдесят рублей были мелочью. Малтабар на ярмарке, угощая русских торговцев, от которых может быть прок в будущем, с легкой душой выбрасывал в два и в три раза больше. Ему показалось, что Чингиз боится остаться перед ним в долгу. Он решил про себя: гордый султан больше обращаться к нему с такими просьбами не будет. Это его первая и единственная просьба. Поэтому надо быть щедрым. Да и смущение Чингиза не прошло мимо него.

— Эх, таксыр, много возьмете, мало возьмете,— нет вашего долга передо мной. Это я делаю в память матушки-ханши.

Он вытащил из кармана две новенькие пестро-голубые бумажки и, почтительно склонившись, положил на колени Чингизу.

Две сторублевки! Чингиз ахнул про себя. Почти двадцать отборных коней. И у чиновников, как он, и у торговцев средней руки не всегда водились такие деньги. В пору ага-султанства ему делали подарки, проще говоря, давали взятки. Но тогда два коня считались богатым подарком. А здесь?...

— Берите, таксыр! Никакого долга за вами нет.

Он преданно смотрел в глаза Чингизу. Чингиз сунул сторублевки в карман.

Выехали в Омск так: на пароконном возке — Чингиз, Чокан с Гришей и возчик; отдельно на тарантасе — Малтабар.

Путь шел вдоль долгой овражной низины Жолды-Озек. По обе ее стороны то и дело встречались керейские аулы ветви Токал и уакские аулы ветви Шога. И те и другие входили теперь в Кокчетавский округ и подчинялись еще недавно ага-султану Зильгаре, атыгайцу из ветви Андагул. Сбросив потомков Аблая, султан черной кости оказался отнюдь не добродетельнее султанов белой. Керей и уаки терпели от него такие поборы, что времена Вали и Айганым представлялись им как самые лучшие. В аулах поговаривали разное. Уже известно было, что снятый с ага-султанства Чингиз едет в Омск, но к этому добавлялась и вторая новость: Кусмурунский округ не

будет больше существовать самостоятельно, его присоединят к Кокчетавскому округу. А во главе поставят,— кого бы вы думали? — Чингиза! И хотя о Чингизе мнение не было единым, многие побаивались его своеволия, все же надеялись — он будет лучше покойного Зильгары и его ко всему равнодушного сына Мусы. Поэтому ему везде стремились оказать хорошую встречу, и дорога, рассчитанная на один день, растянулась на четыре.

Как относился к этим слухам сам Чингиз?

Ему еще никто прямо не предлагал новой должности, но казахи справедливо говорят — без ветра и трава не будет качаться. И у доброй и у худой вести есть всегда источник. В Омске его поддержат, в этом он почти не сомневался. Оставалось только молиться двум святым и одному богу.

Когда Чингиз толковал с аульными старейшинами, Чокан и Гриша уединялись. Чокан продолжал брать у своего нового друга уроки русского языка. Он запомнил уже всю азбуку и научился — правда, еще не без путаницы и ошибок — складывать буквы в слова. И на бумаге и без бумаги. Гриша только дивился памяти и способностям Чокана, думая про себя, что он так же легко будет постигать любые науки и не останется ни одной, которой он не узнает.

Занятия русской азбукой были для Чокана увлекательной игрой.

— Только смотри, Керей!— шутливо грозил он Потанину.— В корпусе об этом никому не рассказывай.

Гриша утомлялся быстрее Чокана. Особенно в дороге его клонило ко сну.

Под легкий шум колес, глядя на однообразно покачивающиеся крупы лошадей, на пыльную придорожную траву, Чокан раздумывал об этом путешествии, самом большом в его короткой жизни. То, что ему приходилось видеть в родном ауле, по сравнению с нынешними впечатлениями было холмиком рядом с горой.

Сколько новых людей, станиц, больших и малых аулов, Кзылжар с его купеческими особняками, а впереди — Омск!

Другими глазами увидел Чокан и отца. Он помнил его с тех пор, как помнил себя. Помнил первым человеком Орды, самым сильным, самым гордым, надежнее его нет на свете. В путешествии он оказался непривычно робким. Не очень-то с ним посчитались в рыбацком поселке. Не так с ним разговаривал и Кусемис в Ыстапе, и Сатыбалды в Кабане. А в Кзылжаре и теперь, в пути, он держит себя с Малтабаром так, будто Малтабар — хан, а он его слуга. И называет его с

почтением — Малтеке. «Доброе утро, Малтеке. Благодарю, Малтеке. Я согласен, Малтеке».

Разве так говорил отец, разве так он поступал, когда чувствовал в своих руках силу и власть? Не только батраки, но и богатые торговцы, и даже те, что признавались уважаемыми людьми рода, не осмеливались заходить без разрешения в его Белую юрту. Никто не решался заговорить с ним, как равный с равным. Он белая кость, ханский потомок. С уважаемым бием, с известным баем, поднявшимися из низов, из черной кости, внешне Чингиз был благосклонен, но в душе презирал их. Чокан своими ушами слышал, как он говорил ага-султану оренбургских казахов Ахмету Жантурину. Эти слова были словно предвестьем сегодняшней поездки:

— Выхода нет, прошло время ханов, приходится считаться с той уважаемой черной костью. Я б их всех втиснул в шелуху одного просяного зернышка.

И богатый, случается, умирает от голода. Презиравший всех Чингиз оказался пленником в шелухе просяного зерна. Власть ага-султана потеряна, остался один скот, да и его не так много: четыреста лошадей, меньше тысячи овец, верблюдов едва хватает на одну откочевку. Скот до первого джута, как слышал Чокан. Так можно оказаться и на такыре нищеты.

Выходит, торговец Малтабар куда богаче, а значит, и почетнее отца. Малтабар при Чокане хвастал, сколько денег он получает с одной ярмарки. Таких денег его отец вообще не видел. Почему Чингиз стремился увезти сына от лавок, почему за всю дорогу не купил ему ничего? Да потому, что у него нет денег. Вот он и унижается перед теми, у кого они есть.

Чокан зажмуривал глаза как филин, дремлющий днем на суку. Что такое богатство? Что такое бедность? Почему богатство Малтабара недосягаемо для отца?

Прежний порядок вещей был нарушен. Мальчик не задумывался раньше над судьбой бедняков из аула Карашы. Он просто знал — они самые несчастные на свете и находятся в зависимости от Орды. Это было так же естественно, как естественно, что он сын своего отца. Но теперь он повидал еще рыбаков. В Черном ауле у каждого был кров над головой, было у каждого свое — пусть маленькое — хозяйство. У рыбаков и этого не было. Жизнь их зависела от случая. Сеть не заменит вымени, рыба не скот. Она не слушает бича. И как рыбаки живут зимой? Чокан просто не мог себе представить, как можно жить в холода в этих камышовых хижинах. А что станется с его тезкой — маленьким Чоканом?

Так один за другим возникали вопросы, а ответа на них не

было. Как не приходил ответ и на то, почему не помогают друг другу братья Тлемис и Кусемис, Малтабар и Култабар... Как можно сетовать на Тлемиса, как можно его бранить, если он сам беспомощен, а вот Малтабар все бы мог сделать для брата, но не делает. Значит, у него такая черствая душа? Значит, он так дрожит за свое богатство?

Чокан вспомнил, как однажды в ауле акын Жаманкул рассказывал сказку о добром страннике Асан-Кайгы, искавшем для народа на своей верблюдице Жельмая по всей степи страну счастья Жер-Уюк. Асан-Кайгы так и не нашел ее. После бесплодных скитаний он возвратился домой и, бесконечно усталый, произнес печальные слова, жалея и людей и всех живых, населяющих землю.

Ты снова далека, моих путей мечта,
Страна добра и счастья, Жер-Уюк...
Не может жить кулан без гривы и хвоста,
Зато живет змея, живет без ног, без рук.

Каким он был, странник Асан-Кайгы?

Может быть, и ему, Чокану, придется так же тщетно странствовать по свету?

Ему не шли на ум и занятия русской азбукой. Он забыл о том, что рядом дремлет Гриша.

Он даже не заметил, как на горизонте показался Омск...

Город стоял на высоком берегу Омбы — Оми, там, где она впадает в Иртыш.

Он был заложен в 1716 году на месте татарского аула Омбы. Омбы, Омбылау значит «вязнуть в глубоком снегу». Да, глубокие снега выпадают здесь, в пойме двух сливающихся рек,— ни пешему не пройти, ни конному не проехать.

Дорога Жолды-Озек проходила низиной, город возник издалека. Сторожевыми башнями крепости, церковной маковкой с крестом.

Первым увидел Омск Гриша. Как только он открыл глаза, дремоты как не бывало. Подтолкнул Чокана:

— Смотри, вот он — Омск.

Чокан, очнувшись от своих дум, всмотрелся туда, куда показывал Гриша.

— Это что?

— Крепость.

— А там дальше? Я вижу большой дом.

— Это острог.

Чокан не сразу понял. Гриша объяснил ему как мог.

— Значит, там держат людей и не выпускают их.

Гриша принялся было растолковывать Чокану, но тут вмешался Чингиз. Ему не хотелось, чтобы сегодня, перед въездом в город, сын узнавал об Омске всякие невеселые подробности. Он отвлек Чокана от крепости, от острога:

— Погляди, Канашжан, какой прекрасный Омск. Тебе жить там!

Город был еще далек. Проходили верста за верстой, а казалось — они стояли на месте. Теперь Чокан не сводил с него глаз. Теперь он больше всего желал как можно скорее увидеть вблизи его башни, его крепость, увидеть кадетский корпус, где начнется новая, такая не похожая на прежнюю его жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В ОМСКЕ

На пороге кадетского корпуса

В степи Малтабар далеко опережал Чингиза, словно выхваляясь своими рысаками. Чокан даже обижался порой. Но у въезда в город они поравнялись и уже не отставали друг от друга.

Чокану все было внове: каждый домик на окраине, каждый встречный — будь это обыкновенный городской мальчуган, старый бородатый казак, сидевший у своего дворика и равнодушно покуривавший трубку, или степенная женщина, выходящая с покупками из лавки.

Пыль, почти незаметная в степи, оседала даже на листве редких деревьев. Она стлалась за их возком густыми клубами.

— Где останавливаться будем, таксыр?— прокричал Малтабар.

Чингиз только рукой махнул. Мол, все равно где.

Малтабар попридержал своих рысаков, соскочил с тарантаса, подошел к возку:

— Хотите, у купчихи Коробейниковой? У нее постоялый двор и для мусульман и для русских. Кормит хорошо. Комнату я вам устрою. В обиде не будете. Тратиться не придется.

Чингиз быстро согласился. С той, уже далекой поры, когда он учился и жил в доме богача — татарина Сейфсаттара и едва не стал мужем беззаветно полюбившей его Диль-Афруз, он не раз, приезжая в Омск, обходил и дом Сейфсаттара, и дом ахона сибирских казахов Габдиррахима, и дома других казахов и татар. Ему приятнее всего было останавли-

ваться у одного казачьего есаула, весельчака и его тамыра, но теперь, вместе с сыном, это было не так удобно. Настойчиво звал его и Драгомиров, но он знал,— Драгомиров жил небогато, и поэтому не хотел стеснять его. У купчихи так у купчихи! Кажется, он слышал ее фамилию и даже помнит ее дом.

Тем временем они проезжали уже той частью города, где расположился кадетский корпус.

— Здесь я останусь,— сказал Гриша.— А завтра тебя найду, Чокан.

Сколько окон! Сколько окон! Это было первое впечатление от огромного, каменного, чисто выбеленного здания, растянувшегося так далеко, что на этом пространстве могла разместиться вся их Орда с аулом Карашы.

— Я тоже учился здесь, сынок.— Чингиз смотрел не на корпус, а на Чокана.— Тогда здесь было войсковое училище. Ну, прощайтесь, дети. Завтра, Керей, приходи к нам.

Мальчики обнялись. Чокану очень не хотелось расставаться. Разреши отец, он бы вместе с Потаниным хоть сейчас перешагнул порог этих больших дверей...

Тронулись дальше, к той низинной части Омска, которая называлась Мокрое.

Дом Коробейниковой с просторным подворьем не походил на остальные дома. Неуклюжий, двухэтажный, да еще с мезонином и пристроенной к нему баней, он сразу бросался в глаза.

Чингиз еще в Кзылжаре слышал, что у Малтабара с Коробейниковой есть торговые дела; по этой причине, и по другой, никакого отношения к торговле не имеющей, он в ее доме свой человек.

Навстречу гостям вышла полная, даже слишком полная женщина, уже в тех годах, когда вес прибавляется, а красота идет на убыль. Но она — светло-русая, чуть веснушчатая, с поигрывающими зелеными глазами — и теперь выглядела привлекательной. Чингиз, несмотря на всю озабоченность и судьбой сына и своей судьбой, успел подумать про себя: «Да она совсем ничего! Еще можно останавливать коня у ее ворот».

Малтабар к ней подошел первым и, по-видимому, сказал несколько лестных слов о Чингизе. Иначе бы она вряд ли так засуетилась, ласково, нараспев обращаясь к нему:

— Отдохнете у нас, голубчик. И сынок отдохнет.

Пока Варвара хлопочет, устраивая наших путников, поведаем историю ее семьи, историю, примечательную для Омска тех лет.

Русские военные дружины, устремившиеся в Сибирь в се-

редине XVI века, снаряжались купцами. Купцы и торговцы шли вслед за воинами. Где еще вчера был военный стан, сегодня открывался базар. Небывало разбогатели купцы Строгановы. Они начали со своего знаменитого соляного промысла, а потом протянули руки и к руде, и к пушнине, и к скоту.

От десятилетия к десятилетию, от века к веку росло строгановское состояние.

У одного из именитых братьев, у Самсона Строганова, служил приказчик Яков Коробейников. Он сумел выйти в люди. Его наследники появились в Омске вскоре после того как был заложен город. И одним из первых домов вслед за крепостью, казармами, избами новоселов стал купеческий дом Коробейниковых. Обнесенный широким забором, он манил к себе и крупных и мелких торговцев. Здесь можно было узнать, что и где выгоднее купить, а где продать. Здесь лихо обманывали друг друга и сообща вырабатывали планы торгового обмана кочевников с их бесчисленными стадами.

Постоялый двор Коробейниковых кишел как муравейник. При дворе были и харчевня и лавка со всеми необходимыми товарами.

Особенно славился дом Коробейниковых своей баней. Она топилась по-черному, как большинство русских бань. В ней можно было попариться вволю, исхлестать до красноты свое тело березовым веником.

Рассказывают, сам Петр, любивший черную русскую баню, посылал в Сибирское воеводство князя Меншикова, и князь рапортовал императору, что воеводы сибирские живут в великой нечистоплотности, и самодержец издал указ, повелевающий строить бани повсюду в Сибири.

Баня Коробейниковых и была построена по этому указу. Но какая же баня могла существовать без мыла?

Мыла не хватало и за Уралом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В хорошее мыло добавлялось кокосовое и пальмовое масло, а его приходилось ввозить из далекой Индии и Китая. Дорого стоили и другие ароматические примеси. Хорошее мыло было доступно только богатым, только белой кости. Не одним беднякам, но и какому-нибудь мелкому торговцу приходилось обходиться без него. Чтобы удешевить стоимость мыла, еще во времена Петра для его изготовления стали употреблять растительные масла,— подсолнечное, конопляное, льняное. А в царствование Екатерины Второй пошли в ход и животные жиры — бараний, говяжий, свиной.

Масляничных растений в Сибири почти не было. На производство мыла шло преимущественно баранье сало. В XVIII

веке его фунт стоил четверть копейки, потом цена поднялась и к середине XIX века достигла двух копеек.

Коробейниковы из поколения в поколение умножали свои богатства. Немалый доход приносили им и постоялый двор с баней.

Ко времени нашего повествования Варвара Викторовна Коробейникова осталась единственной представительницей почтенной фамилии. Еще до своей смерти постоянно прихварывавший отец переложил все заботы по хозяйству на ее плечи.

Владелица постоялого двора, бани и лавки отличалась характером властным, лукавым и капризным. Она сверх положенного засиделась в девках. При жизни отец отказывал женихам, желавшим взять Варвару из дому. А такого, чтобы согласился жить с ними вместе, не находилось. Оставшись одна, Варвара привередничала еще больше: ей казалось, женихи зарятся не на нее, а на особняк и постоялый двор. Так она и не дождалась милого, который пришелся бы ей по душе. Но жаркая кровь не угомонилась. Говорят, многие немолодые конники, заезжавшие в купецкий двор, попадали в капкан, не без уменья поставленный Варварой.

Не каждого степняка она удостаивала своего гостеприимства. Иным выразительно показывала пальцем на ворота:

— Бар, бар! Проваливай!

Казахи ее так и называли Барбар, а те, к кому она была уж слишком немилостива, окрестили ее и за веснушки на лице и за крупное тело Шубар байтал — Чубарой кобылицей.

У Малтабара не было никаких оснований злиться на Варвару Коробейникову. Когда бы ему ни приходилось бывать в Омске, он всегда останавливался у нее. Ни за комнату, ни за постой лошадей, ни, тем более, за баню она с него не брала ни копейки. Да и как она могла брать с него, если у них давно установились и деловые и любезные во всех смыслах отношения. И Малтабар был не промах и у Варвары — губа не дура.

И осенью и зимой Малтабар снабжал Варвару жиром для мыла. Он арбами отгружал ей кости — копейка за пуд. А из каждого пуда она с большой выгодой для себя вываривала четыре-пять фунтов жира. Малтабар научил ее получать и щелочь по казахскому степному способу — долго кипятить в казане золу и не просто золу, а непременно от горькой верблюжьей травы — ала бота, кипятить до тех пор, пока не останется густое месиво. Потом тщательно отцедить желтоватую жидкость, кипятить ее вновь, выпаривать, и уж тогда на дне

котла получать порошок — степную щелочь. В массу жира и щелочи по мере варки надо было добавлять шерстяную труху. Вот и получалось плотное черное мыло, неказистое на вид, но очень дешевое, хорошо смывавшее грязь и, кроме того, уничтожавшее насекомых.

Путнику, особенно приехавшему издалека, помыться в коробейниковской бане было приятным и недорогим удовольствием.

Истопили баню и для Малтабара с Чингизом и Чоканом. Правда, Чокан фыркал, ему не нравился запах черного мыла, кричал —«Мне жарко, я задыхаюсь!» Но все же начисто отмыл дорожную грязь и вернулся в отведенную им комнату свеженьким, аккуратным и будто немного похудевшим, осунувшимся после долгого и нелегкого путешествия.

Поговорить бы сейчас с Гришей! Но Гриша был и рядом и далеко — в том таинственном корпусе, порог которого ему предстояло переступить.

Тут Варвара пригласила к ужину. Знавшая вкусы мусульман и особенно вкус Малтабара, она постаралась, как умела.

Чингиз приналег на еду, несколько умереннее ел Малтабар, а Чокан поклевал, как воробышек, и вышел из комнаты, из дома. Ему не нравился двор купчихи, заваленный невыделанными шкурами, кипами шерсти, необваренными костями, заставленный арбами, пахнущий пылью и дегтем. Снова топили баню, и едкий дым мешался с этими застоявшимися запахами. Чокан взглянул на забор. За ним начинался лесок, похожий на те, что попадались по дороге. Недолго думая, Чокан перемахнул через забор, сделал несколько шагов и даже удивился. Города не было, знакомо шелестела листва над головой, заливалась какая-то пичужка. Закатные лучи солнца, просачиваясь сквозь ветви, освещали в траве ягоды земляники. Их было меньше, чем в березовом колке на пути из Кзылжара. Тогда они вместе с Гришей собирали землянику горстями — бледно-розоватую, но душистую и чуть кисловатую на вкус. Там росли и грибы. Но Чокан, как и все казахи, считал их несъедобными.

Пора было ехать. Мальчиков зычно позвал Чингиз. Торопливо набивая ягодами карманы, они побежали к возкам. А здесь он, Чокан, один; и ягод не так много; и никто его не зовет. Он не спеша собирал землянику, и ему было хорошо. Он и не заметил, как закатилось солнце, и в глубоких сумерках возвращался на подворье Коробейниковой.

Отцу вначале и в голову не приходило, что Чокан может куда-нибудь исчезнуть. Он спохватился только с приходом

Гриши Потанина. Гриша забежал проведать своего нового друга, рассказать ему что-то очень важное, а Чокана и след простыл. Искали во дворе, искали на улице. Кадет так и ушел ни с чем. Может быть, он в корпусе?

Чингиз сперва злился на сына. Не успели и дня прожить в городе, как снова неприятность. Что за характер, что за непоседа! И как только он учиться будет? Да, выйдет ли из него вообще что-нибудь путное? Потом злость и раздражение сменились волнением. Город большой, единственный знакомый у Канашжана — Григорий, Керей, Гриша.

В своей комнате на азиатской половине гостиницы Чингиз прошелся несколько раз по мягкому ковру и прилег на постель, уткнув голову в подушку. Не выдержал, заплакал Чингиз. Заплакал, тихо приговаривая:

— Господи, аллах великий, в чем я так провиннлся перед тобою, что послал ты мне не ребенка, а беду! И в ауле — одно озорство, одни шалости, и в дороге не давал покоя, а в городе взял и совсем исчез. Почему ты, боже, послал мне такого упрямца. Лучше уж совсем оставил бы меня без сына...

Сказал и испугался: не верь мне, боже!

И со скорбью подумал, что виноват он перед богом и людьми, что много недоброго на его совести. Скольких он заставил проливать слезы, скольким доставил горькие страдания. Мирские дела не кончаются бесследно. Бог карает за содеянное.

В приступе раскаяния к Чингизу возвращалась часто покидавшая его вера. Тогда он вымаливал у бога прощение. И в этот раз он расстелил на ковре свой чекпен нз верблюжьей шерсти, заменявший ему молитвенный коврик, жайнамаз. Сложил по обычаю руки и принялся молиться. В такие минуты он был самым набожным и самым усердным. Он спешнл наверстать пропущенные моленья — коза намаз и, зная свое непостоянство, молился в счет будущих дней — нафиль. Он вставал н садился, как предписано намазом, но очень скоро устал и начал отдавать земные поклоны — шажду — на корточках, прнкладываясь лбом к полу. Но и этот ритуал утомил его. Он достал янтарные четки, подаренные ему хаджи, побывавшим в Мекке, и перебирал их, соблюдая традиционный счет: первые тридцать три камня с мольбой о спасении — субхан алла; вторые тридцать три камня с восхвалением аллаха — алхамдульилля; третьи — тридцать три с прославлением величия аллаха — аллах акбарин. С последним, сотым, камешком он поклонился богу и замер, вслушиваясь — не идет лн Чокан.

Чокан не шел. Давно рассеялась злость, но не успокаивалось сердце. Ему было стыдно своих проклятий. Что, если их и в самом деле услышал аллах? И он опять обратился к нему с молитвой: «Не посылай, боже, горя на голову моего жеребеночка».

Слабость овладевала им, слезы — одна за другой — падали на камешки четок, на чекпен.

Он уже не отсчитывал камешки, а машинально их перебирал и в такт их легкому ритмичному стуку покачивал головой. И тут к нему подкрался самый близкий, в представлении казаха, враг человека — сон. Дома ли, в дороге ли, Чингиз всегда засыпал быстро и крепко. Его здоровый храп мешал сну других, но домашние предпочитали мучиться, остерегаясь вспышки внезапного гнева. Смельчаки находились редко. Сон Чингиза был одновременно и глубоким и чутким. Он улавливал любой посторонний звук, мгновенно просыпался, соображал, что бы это могло быть, и засыпал снова.

...Чокан так же легко перемахнул через забор, с трудом пробрался через захламленный двор и чутьем угадал едва светившееся окно их комнаты. Не решившись зайти сразу, он заглянул в окно: красноватый полусвет крохотной лампы-светильника — уштык освещал фигуру отца, застывшего на корточках. Тонкое пламя светильника дрожало, как мышиный язычок. Казалось, что вздрагивает и отец. Опять заснул на жайнамазе! Чокан и пожалел отца и ему стало чуточку смешно. Он обошел дом, открыл без скрипа наружную дверь и, ступая на цыпочках, нашел отведенную им комнату. Приложил ухо к двухстворчатой двери — раздавался знакомый храп. Дверь распахнулась без шума, и Чокан по мягкому ковру, как можно осторожнее, стараясь не разбудить отца, прошмыгнул к постели.

Но отца разбудил даже этот мягкий шорох. Вернулся, значит. Укладывается спать. Пусть спит спокойно. Не буду его ругать. Не буду с ним пререкаться. И стал похрапывать, теперь уже нарочно. Посапывал и Чокан, хотя еще бодрствовал. Отец и сын, словно сговорились, невинно обманывая друг друга. Чингиз оставил свой верблюжий чекпен — походный жайнамаз, тихонько подсел к сыну, и недавняя горечь с новой силой взяла его в тиски. Он обнял мальчика, прижался к нему, слезы душили его. Чокан лежал лицом к стене: в приливе сыновней нежности он перевернулся на другой бок и, не выдавая себя ни единым звуком, будто все это происходит во сне, полуобнял плечо отца. И Чингиз подавил слезы, приник крепче к сыну, к своему жеребеночку, к частице своей души.

И тогда наступил настоящий прочный сон.

Чингиз проснулся как всегда рано, в тот час, когда в ауле еще не начинается первая дойка кобылиц.

Чокан мирно и сладко спал. Как бы невзначай его не разбудить! Стремясь не делать лишних движений, Чингиз тихонько высвободил руку из-под головы сына. Осторожно привстал и склонился к нему. Прикасаясь губами к виску, втягивал и втягивал ноздрями родной сыновний запах. И так тепло становилось на сердце от этой самозабвенной радости, что все вчерашние волнения откатились куда-то далеко, и спокойствие возвращалось к Чингизу вместе с верой в свою судьбу и судьбу сына. Чокан пошевельнулся, сонно приоткрыл глаза, ничего не понял и снова, свернувшись поудобнее, заснул.

Чингиз тихо прочитал молитву, не откладывая на сей раз своего не столь частого обстоятельного обращения к аллаху в трудные минуты жизни. Оделся, прошел в комнату Малтабара.

Бодрый торговец, пышущий здоровьем и утренним самодовольством, деловито щелкал костяшками на счетах, примериваясь к очередной сделке. Рядом сидела Варвара, и внезапный приход Чингиза не успел согнать с ее губ улыбки, предназначенной Малтабару. По-видимому, они мягко перешучивались.

Чингиз еще раз быстро взглянул на Варвару — улыбки уже не было.

Малтабар держал в строгости не только своих жен, но и ее. Накануне он сказал ей: «Не показывай перед ханом наших отношений, не вольничай. Не вертись в комнате, когда он придет». И далеко не робкая в обращении со своими обычными гостями Варвара повела себя с Чингизом, как настоящая аульная женгей, соблюдая обычаи казахских женщин. Она посидела самую малость и молча вышла из комнаты. Чингиз проводил ее с тем же выражением глаз, каким провожал, бывало, в новом на своих путях ауле тех полнотелых казашек, с которыми не прочь был познакомиться поближе.

И так как Малтабар ничем не обнаружил своего пристрастия к Варваре, начал откровенно подшучивать по поводу ее тучных прелестей.

Малтабар поддержал шутки. И они еще беззлобно почесали бы языки, если бы в гостинице купчихи неожиданно не появился Драгомиров.

Александр Николаевич успел не только хорошо отдохнуть после длительной поездки и принять свой подтянутый, аккуратный вид, не только доложить начальству о делах в степи,

но и поговорить с нужными людьми о султане Чингизе и его сыне. Он и в самом деле симпатизировал своему давнему омскому однокашнику и сумел рассказать о нем в самом выгодном свете. Драгомирова приняли и начальник корпуса генерал-майор Шрамм и омский генерал-губернатор Николай Семенович Сулима. Оказывается, молодой артиллерийский капитан Ждан-Пушкин, инспектор классов, ведавший всеми учебными делами в корпусе, уже получил лаконичный приказ: «Зачислить».

— Значит, будет Чокан учиться,— заключил свой первый рассказ Александр Николаевич,— а теперь поговорим о тебе, Чингиз Валиевич. Заранее должен сказать: как это по вашим степным правилам,— подарок мне за хорошую весть причитается. Суюнши!

И он еще раз повторил, смакуя сочно и протяжно:

— Суюнши!

Драгомиров подробно доложил губернатору обо всем, что касалось ага-султана Чингиза Валиханова. Да, действительно скопилось много жалоб, характеризующих его с худшей стороны. Но некоторые факты, сообщенные в этих бумагах, просто вымышленны, на них не стоит и внимания обращать. В других сообщениях есть доля истины, доля, но не вся истина. Дело в том, что с упразднением ханской власти многие казахи открыто недолюбливают потомков ханской крови и Чингиза в том числе. Есть, однако, другая более глубокая причина. Среди всех окружных султанов Чингиз лучше других знает русские законы. Он стремится проводить их в жизнь. И это не по душе сторонникам строгого соблюдения обычаев предков. Кроме того, многие влиятельные казахи признают подчинение России только на словах. А Чингиз действительно предан России и русскому престолу.

У генерал-губернатора Сулимы была понятная слабость. Он сам гордился, что в его жилах течет голубая дворянская кровь, и к белой кости относился иначе, чем к простолюдью.

— Каким же способом вы предлагаете поднять подорванный престиж Валиханова?— спросил он Драгомирова.

Драгомиров ответил губернатору, что в Кокчетавском округе, как известно его превосходительству, должность ага-султана занимает сын скончавшегося Зильгары — Муса. В противоположность своему отцу, жестокому и жадному, но решительному и выступавшему против ханских потомков, и не в пример своему брату Алибеку, унаследовавшему худшие качества отца, Муса был настолько тихим и равнодушным ко

всему, что вообще ничего не делал. На смену ему хорошо послать Чингиза.

Генерал-губериатор сразу согласился, но предложнл ие разглашать этого решеиия, пока не поступит высочайшее утверждение из Петербурга. Валихаиов может быть свободен, ему сообщим поздиее.

Другое предложение Драгомирова о слиянии двух округов — Кусмурунского и Кокчетавского — в один генерал-губериатор поддержал тоже, но заметнл, что этот вопрос ие входит в его компетеицию, следует запросить Сибирский комитет, а комитет в свою очередь запросит министров, и только тогда дело пойдет в сенат. Тем не менее губернатор не отказался подписать бумагу иа этот предмет.

О Чингизе говорили еще в связи с его отстраиеиием от должности старейшииами Кусмурунского округа н избранием иа его место Есеиея Естемесова.

— Ну, если Валиханов желает,— пусть остается там до его утверждения в Кокчетав. Все равно и Есенея утверждать надо. Выборы — выборами, ио право остается за нами.

Драгомиров ответил губернатору, что обстановка слишком накалеиа и это невозможно. Враги Чингиза могут пойтн иа все, вплоть до убийства. Пусть уж до поры до времени там правит Есеней.

Чиигиз виимательио слушал Драгомирова и кивал головой, подносил к губам чашу с кумысом и ставил на стол, ие отпробовав и глотка. Так растрогал его рассказ Драгомирова. А под коиец обнял Александра Николаевича, расцеловал:

— Вот это тамыр! Вот это настоящая дружба!

Драгомиров торопился к себе в присутствне. Чингиз взял с иего слово, что они увидятся завтра.

Распрощались. Совсем радостно было бы на душе у Чингиза, если бы он ие вспомнил о Чокане. А вдруг опять заупрямится, захочет вериуться в степь. Силой ие заставишь его учиться. Да если и оставншь — он сбежит. Побоится в свой родиой дом возвращаться, к Мусе Чорманову в Баянаул отправится. Он полюбил Мусу, увязывался за ннм, когда Муса гостил в Орде. Если бы не Шепе, он так бы и уехал. Топал ногой, гневался, грозил мне и матери, грознл дяде, что будет жить не у нас, а у своего нагашн[1]. Наснлу его утнхомирили, но кто сможет утихомирить его в Омске?

В живом воображении Чингнза уже рисовались картины одна мрачиее другой. Чокан бредет степью, подннмается ветер, он теряет дорогу, гибнет...

[1] Родственник по материнской линии, дядя, брат матерн.

Он пошел посмотреть, как там себя чувствует сын. Время уже близилось к полудню. Чокан проснулся сравнительно давно, но вставать ему не хотелось. Он представил себя в ауле. Мать никогда его не будила. Пусть мальчик выспится. Пока он нежился под одеялом, она не открывала тундик, чтобы ему не мешал солнечный свет. Но в жаркое время откидывала нижний край кошмы — пусть мальчику свежее дышится. Вблизи белой юрты скота не было, гости останавливали коней на почтительном расстоянии и медленно шли в Орду, след в след, друг за другом. Абы и гостей предупреждал, что Чокан спит, и они говорили вполголоса, не нарушая его покоя. Остальным детям, встававшим спозаранку, запрещали играть вблизи Белой юрты. Зейнеп прогоняла их подальше, в степь или аул Карашы. Мать так баловала сына, что порой давала поручение одному из джигитов: не допускать близко к юрте коров или лошадей, спасающихся от оводов.

Спал Чокан долго, просыпался и вставал с постели не так, как другие. Даже взрослея, он неохотно расставался со своими привычками. Произнтельно выкрикивал одно слово:

— Апа-а-а!

Зейнеп, хлопотавшая где-нибудь неподалеку от юрты, стремглав бежала на зов своего любимца.

— Что тебе, Канашжан?

Нет, он не отвечал сразу. Он глядел на мать и пускался в слезы. Зейнеп несла к его постели на выбор густой каймак, каспак — неподгоревший осадок перекипевшего в котле молока, свежий творог — белый иримчик, торта — шкварки от перетопленного сливочного масла, не кумыс, а саумал, чуть-чуть начавшее бродить кобылье молоко. Из мясного больше всего ему по вкусу были почки и сердце. Но ел он и вяленую конину, и горьковатый, с кислинкой, овечий сыр, когда ему хотелось чего-нибудь острого.

Зейнеп и Кунтай наперебой потчевали Чокана. Он продолжал капризничать: того не хочу, этого не хочу. Мог отшвырнуть от себя и вдребезги разбить чашку, зная, что ему не попадет.

Конечно, с годами он становился спокойнее, но нет-нет и сказывались прежнее упрямство и избалованность. И Чокан бушевал снова. Однако стоило появиться в юрте Жайнаку, как Чокан вставал, быстро завтракал и уходил в степь со своим приятелем.

Чингиз побаивался, что Чокан начнет капризничать и в дороге. Но хотя он пропадал, как вчера, как в рыбацком ауле, хотя он продолжал дерзить старшим,— вел он себя куда

скромнее, ложился спать и вставал вместе со всеми, ел, что ему предлагали, и уж во всяком случае не устраивал утренних скандалов.

Но на этот раз — может быть, впервые за все путешествие выспавшись как следует и разнежась под теплым одеялом на пуховой подушке,— Чокан, припоминая свой аул, мать, Кунтай, Жайнака, почувствовал, как все это отдалилось от него, и ему стало жаль себя, детства, друзей. Он всхлипнул раз, другой, и уже не мог унять льющихся слез.

Услышав шаги отца, он перестал плакать и зажмурил глаза.

Чингиз, едва взглянув на сына, понял, в чем дело. Он не подал вида и сел в сторонке. Начал негромко разговаривать вслух сам с собою, но каждое слово предназначалось ему, Чокану. Останешься, мой сынок, в городе, будешь хорошо учиться, станешь большим человеком, каких не много в степи. Я уже вижу тебя в офицерском мундире. И по-русски ты будешь говорить лучше, чем твой отец. Наберись терпенья, Канашжан. Я знаю, ты умный мальчик. В аул ты всегда можешь вернуться, если захочешь. Но снова попасть в город, в корпус куда трудней.

Самыми теплыми словами называл Чингиз сына. Плавно, без пауз текла его речь. Она и доходила до Чокана и немного раздражала его. Он больше привык к отцу немногословному, суровому, властному. Ласково уговаривать могла мать, отец приказывал.

И Чокан слегка застонал, притворяясь, что просыпается.

Отец тут же подсел к нему, положил руки на плечи:

— Что, Канашжан?

— Апа-а-а!— звонко протянул он, прекрасно понимая, что Зейнеп далеко. Ему захотелось испугать отца.

— Мы же не дома, Канаш!— с плохо скрытой тревогой попытался урезонить его отец.

Чокан уставился на отца еще влажными от слез глазами:

— Каймака хочу.

— Будет и каймак.

Чингиз быстро вышел из комнаты и через две-три минуты вернулся с большой пиалой, доверху наполненной каймаком.

— Ешь, Канаш.

Чокан взял чашку, медленно рассмотрел ее, слегка пригубил и капризно протянул обратно:

— Я ведь каспак просил, а не каймак.

— Есть и каспак,— спокойно ответил отец, решив в последний раз побаловать сына, потакая ему во всем.

И снова вышел.

Чокан не узнавал отца. Никогда он не приносил ему чашки к постели. Что это с ним случилось? Да ведь он же отец мне, единственный здесь близкий человек. Он же любит меня. Поэтому и нежничает. Ему хочется, чтобы я остался учиться. Вот он и старается угодить. И Чокану стало стыдно.

Когда отец принес каспак и теплый еще калач из кислого теста, Чокан не только бросил капризничать, но принялся так охотно уплетать за обе щеки, что отец улыбался от удовольствия: а я-то его считал разборчивым лакомкой. Он дома поклюет, поклюет, там отщипнет кусочек, там возьмет горсточку, глоток каймака, глоток саумала, глядишь — и сыт. Больше его не уговоришь. Но если Зейнеп предложит ему что-нибудь одно, он непременно попросит другое. А здесь, вдали от дома, взбрыкнул один раз, почувствовал свою вину и теперь за один присест съел все до капельки, до крошки.

Даже по этой, казалось бы, пустяковой, причине у Чингиза росло доверие к сыну. Но когда Чокану вздумалось погулять, он пристально следил за ним из окна.

...Вот он перелез через забор, сделал несколько шагов в сторону леса, но вернулся обратно, спрыгнул снова во двор и вдруг решительно направился к воротам.

Чокан шел на голос Гриши Потанина. Его услыхал и Чингиз. В это мгновение ему захотелось быть поближе к сыну и он поспешил к ним. Его умилила встреча. Мальчики радовались ей, словно не виделись целую вечность. Они обнимались, хлопали друг друга по спине, перешучивались, мешая русские и казахские слова. И снова обнимались.

— Постой, Чокан. Я расскажу тебе, что было вчера. Я, понимаешь, к Старкову прошел, Евгению Ивановичу. Он — сибирский казак, как и мой отец. Офицер. Вместе с моим отцом в казачьем войсковом училище учился. Преподает у нас географию и за порядком следит. Он поможет тебе. Честное слово, поможет. Я ему все рассказал. И про твою память, и про то, как русскую азбуку начали учить. Еще я ему сказал, что отец за тебя просит. Он пообещал все устроить. Говорил, правда, что придется тебе в приготовительном классе побыть. Присмотрятся к тебе, определят, как быть дальше. Пусть, предупредил, не обижается, если не будет успевать. Тогда ему уж никто не поможет. И знаешь, Чокан, что я ему ответил? Вы не сомневайтесь: он не только первый приготовительный, но и второй за год окончит.

Чокан еще не знал разницы между первым и вторым приготовительным, но всего приятней и яснее была сама забота

о нем нового друга. Так бы, должно быть, поступил и долговязый Жайнак.

Похвалил Гришу и Чингиз:

— Очень хорошо ты сделал, Керей.

Но Чингиз, чтобы не омрачать искренней радости мальчика, промолчал, что главное уже подготовил Драгомиров, что от Старкова зависит не столь уж много. Но и такой разговор, по мнению Чингиза, был далеко не лишним.

— Чокан мой, Канаш!— продолжал с той же напористой быстротой Потанин, выговаривая казахские слова на казачий сибирский лад.— Пойдем наш корпус смотреть. Чудесный дом! В него все кпытаны и кукалы вместятся и еще найдется место для целого аула.

Чокан слушал и с восхищением и настороженно. Он был только на пороге окончательного решения. Его еще смущал город, еще всем своим существом он тянулся в родную степь. Одно дело уговоры взрослых, даже отца: на словах он согласился с ними, а в душе еще копошились сомнения. Надо было их отбросить раз и навсегда или...

— Пойдем, Чокан!

Гриша взял его за руку, и он стригунком на поводу покорно пошел за ним. Пошел в кадетский корпус, здание которого видел лишь во время короткой остановки на пути к Коробейниковой.

Мы пока распростимся с нашими юными друзьями, чтобы рассказать читателям о возникновении кадетских корпусов вообще и Омского кадетского корпуса в частности.

Слово кадет — французского происхождения. Оно означает младший. В XVII веке в Западной Европе появляются первые кадетские корпуса — закрытые учебные заведения преимущественно для детей привилегированных сословий, чтобы готовить их к будущей военной службе и в офицерские школы.

Первый кадетский корпус в России с теми же целями был основан в 1732 году. В годы, о которых идет речь в нашем повествовании, к середине XIX века, их число уже приближалось к двадцати.

Россия давно и прочно утвердилась в Сибири. Ее восточные границы достигали Японского моря и Сахалина. Ее границы на юго-востоке проходили вдоль хребтов, окаймлявших казахскую степь.

Продвижение России в Сибирь не встречало особенно упорного сопротивления угро-финских, тюркских и монгольских народов, населявших ее бескрайние просторы. Самым серьезным врагом еще в XVI веке оказался татарский хан Ку-

чум. Около пятнадцати лет продолжалась его война с дружинами Ермака Тимофеевича. После разгрома Кучумского царства остальные сибирские народы более или менее мирно принимали российское подданство.

Но, охраняя свои государственные интересы от непокорных племен, царское правительство держало Отдельный Сибирский корпус со штабом в Тобольске и пограничную линию. В корпус входили регулярные военные части, на пограничной линии службу несли сибирские казаки. Каждая станица была своеобразным редутом — укреплением. Каждый казак был и земледельцем и воином. Казаки призывались и в регулярные полки, входившие в Отдельный корпус, и дома, в станице, подчинялись своему атаману, имевшему офицерский чин.

Уже во второй половине XVIII века стало ясно, что большой ущерб жизни края, в том числе комплектованию и боеспособности войск, наносит недостаточность образования и военной среды и всего сибирского казачества. Не только жители станиц, не только простые казаки, но и казаки-офицеры часто были неграмотными.

Долгое время на огромной территории отсутствовали не только военные школы, но крайне мало было и начальных школ, не говоря уже о гимназиях. Только две гимназии существовало на всю необъятную Сибирь — в Иркутске и Тобольске. Уездные училища находились в Тобольске, Красноярске и Енисейске. В Иркутске открыли навигационную школу, в Омске — азиатскую школу для подготовки переводчиков. Вот, в сущности, и все, если не считать, что в первой половине XVIII века в Тобольске и Иркутске появились так называемые «Гарнизонные школы», где кроме грамоты и арифметики дети обучались фронту и ружейным приемам с деревянными ружьями.

В 1765 году по распоряжению инспектора Сибирских войск генерал-поручика Шпрингера были созданы военные школы в Омской, Петропавловской, Ямышевской и Бийской крепостях. Школьники там «обучались всему строевому и до воинской службы и ее порядку принадлежащему: грамоте, арифметике, барабанщичьей науке, играть на флейте». В дополнение к ним были заведены военно-сиротские школы для обучения детей бедных дворян и кантонистов.

Нечего и говорить, что «сведущих людей», учителей, не хватало, и, случалось, преподавание вели полуграмотные урядники. Школы эти часто были школами только по названию.

Что касается казачьего населения Степного края, то оно по-прежнему было лишено возможности получать образование;

тем более потому, что было разбросано на протяжении двух тысяч верст вдоль всей вооруженной границы Китая.

В 1807 году начальником пограничной линии и командиром Отдельного Сибирского корпуса был назначен генерал-лейтенант Глазенап — боевой участник войн с Турцией, инспектор кавалерии Кавказской армии, командующий действующими войсками в Грузии. Он принялся энергично устраивать в каждом полку полковые, а в каждом селении — станичные школы. С именами Глазенапа и его адъютанта штабс-капитана Броневского, поставленного им во главе казачьих войск, связано и создание при войсковой канцелярии в Омске Войскового казачьего училища. Временно оно было размещено в так называемом Посольском доме, предназначенном для приезжавших в Омск азиатских посланцев и купцов.

Училище создавалось с трудом. Семьсот сорок восемь рублей на его создание отпустила военная казна, пятьсот двадцать два рубля было собрано по подписке. А всего на первых порах имелась тысяча триста рублей. Лес на постройку нового здания заготавливался и поставлялся казаками «безденежно». Штат училища был весьма невелик: смотритель из отставных казачьих офицеров (есаул Соколов) и три учителя, тоже из отставных военных. Вначале в училище было принято всего тридцать воспитанников, а к концу учебного года их уже насчитывалось пятьдесят пять, что и побудило в дальнейшем взимать на содержание училища денежные пособия с полков казачьего войска.

История училища вплоть до его преобразования в кадетский корпус распадается на два периода. Их рубежом можно считать 1825 год,— в этом году оно стало именоваться Училищем сибирского линейного казачьего войска, принято было на казенный счет и, находясь по-прежнему при войске, поступило под непосредственное начальство командира Сибирского корпуса. На содержание училища отныне ассигновалось свыше пятидесяти тысяч рублей в год, штат учителей вырос до пятнадцати человек, а в «служительскую» команду входили унтер-офицер и сорок рядовых из сибирских регулярных инвалидов. Курс обучения стал семилетним. Когда в 1828 году к училищу присоединили и влачившую довольно жалкое существование Омскую азиатскую школу, к числу преподаваемых наук были добавлены основы ветеринарии и сельского хозяйства. В этих нововведениях нельзя не видеть и некоторых забот генерал-губернатора Сибири Михаила Михайловича Сперанского, умного приверженца монархии и деятельного реформатора тех времен.

Были годы, когда училище готовило учителей для полковых, эскадронных и станичных школ, топографов, войсковых писарей и даже мастеровых. Но выпуск строевых офицеров всегда был главной его задачей.

Последующие командиры Отдельного корпуса, генералы Капцевич и Вельяминов, каждый по-своему заботились об училище, меняли характер тех или иных второстепенных направлений: то заводили ферму или хутор, по тогдашнему наименованию, то вместо красных погон утверждали желтые из гарусной тесьмы, то налегали на рисование и черчение, то на верховую езду.

Преемник Вельяминова генерал-лейтенант Сулима учредил в училище два новых класса и продлил срок обучения до девяти лет, заменив архитектуру и ветеринарную науку более необходимыми в те годы дисциплинами — атакой и обороной крепостей, учением о малых войнах, тактикой и даже военным красноречием. Французский язык, оставленный в курсе дворянских воспитанников, для детей казачьего сословия был заменен языком татарским.

Со времени перехода корпусной штаб-квартиры из Омска в Тобольск училище приобрело большую самостоятельность и расширило свою, говоря нынешним языком, материальную базу: ему были переданы многие помещения и службы. Но командование корпуса все время продолжало держать училище в сфере своего внимания.

Новый генерал-губернатор князь Горчаков в каникулы 1837 года побывал в училище и многое ему там не понравилось. Прежний директор, кавалерийский полковник в отставке Черкасов, вскоре вынужден был оставить училище, а новым директором училища был назначен генерал-майор Шрамм. Именно в эти годы училище все больше и больше стало напоминать кадетский корпус — и своим летним лагерем, снабженным по распоряжению князя Горчакова палатками из линейных батальонов, и усилением притока воспитанников из дворян, и приобщением училища к высшим кругам Омского общества.

Однако училище выпускало меньше офицеров, чем позволяли его возможности. Дело в том, что казачьи воспитанники производились в офицеры только на войсковой службе. Этим и объясняется, что при шестнадцати казачьих и девяти дворянских выпусках из училища в ряды сибирских войск вышло всего сто одиннадцать офицеров. Каждый офицер слишком дорого стоил государству.

Так, в Сибирском штабе вызревал проект о преобразовании

училища в кадетский корпус. Проект вскоре был рассмотрен генерал-лейтенантом Гурко и передан на утверждение императору. 5 января 1846 года училище стало Сибирским кадетским корпусом. Он был подчинен главному начальнику военно-учебных заведений в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу и состоял под попечительством командира Отдельного Сибирского корпуса.

Новый кадетский корпус имел некоторые свои особенности — шестилетний курс обучения в трех классах, по два года в каждом, обучение форпостской службе, рассыпному строю, топографской съемке, сверх русского, французского или немецкого — и татарский язык. Помимо закона божьего для православных — учение Магомета для мусульман. Сохранялось деление на роту и эскадрон для дворянских и казачьих детей. Учитывалось некоторое количество мест для сыновей киргизских (казахских) султанов, биев и старшин.

Общее число воспитанников было определено в двести сорок человек.

Директором корпуса к году нашего повествования оставался генерал-майор Шрамм, а инспектором классов за пять месяцев до приезда в Омск Чингиза с Чоканом был назначен, как мы уже рассказывали, капитан дворянского полка И. В. Ждан-Пушкин, человек образованный и прогрессивный для своей должности.

... О своем корпусе, о ротном эскадроне, о любимых и нелюбимых учителях, о том, чем кормят, а кормежка была довольно скудноватой — мясо только по воскресеньям и в праздничные дни, своей полуказахской, полуказачьей скороговоркой и болтал по дороге от дома Коробейниковой Гриша Потанин. Но Чокан плохо слушал его, многого он просто не понимал, а ко многому был равнодушен, потому что думал о своем.

Ребята шли через низинный лесок мимо одиноких домиков с плоскими крышами. Лесок подступал к самому берегу Иртыша; он с каждым годом редел от постоянных порубок, и уже нельзя было понять, где начинается естественная поляна, а где еще недавно росли деревья. Скоро сквозь стволы и начинающую рано увядать в засушливое это лето листву забелели здания корпуса.

До сих пор покорно следовавший за Гришей Чокан обнаружил признаки нетерпения и заторопился. Неожиданно он оказался впереди.

— А это что, а это, а это?— забрасывал он вопросами Гришу.— Ойбай, какой большой дом!

Чокан во все глаза смотрел на главное здание корпуса.

— Должно быть, сто саженей в длину!— прикинул он, будучи не так далек от истины.

Для чего стоят во дворе гимнастические снаряды он так и не понял, убежденный, что только на коне настоящие джигиты развивают силу и ловкость.

Но громада здания поразила его.

В лесу Кунтимес у Чингиза была своя зимовка — сосновый дом из четырех комнат. Рядом с жалкими землянками соседей родительский дом был великаном. Чокан подрос, аул отца перекочевал в Кусмурун, ближе к военному укреплению. Мальчик увидел там особняк воинского начальства, сложенный из местного камня. В нем было столько комнат, что прежний зимний дом в Кунтимесе показался ему крохотным, как лачуга.

В дни этого своего путешествия Чокан побывал в двухэтажном доме крещеного Сатыбалды. Кусмурунский крепостной особняк сразу потерял все свое величие в глазах Чокана. Но ведь и дом Сатыбалды по сравнению с домом Малтабара, с домом, который в Кзылжаре так и называли Актас — Белый камень, уменьшился в размерах до самого обыкновенного... А теперь здания кадетского корпуса. Рядом с ними и знаменитый Актас — словно ягненок рядом с верблюдом. И во сне не снились Чокану такие дома. Неужели он будет здесь жить и учиться!

Заглянули в здание. Там показалось еще лучше, еще красивее. Откуда было знать Чокану да и Грише, что генерал Шрамм, директор корпуса, воспользовался добрым расположением князя Горчакова и испросил дополнительные суммы на внутреннее убранство, чтобы здесь, в далекой и богатой Сибири, кадеты учились, как в Пажеском корпусе в Петербурге. Князь Горчаков поддержал Шрамма. В это время он готовился к поездке в столицу. Там он встретился с великим князем Михаилом Павловичем и подробно доложил ему о положении дел в Сибирском кадетском корпусе. Великий князь указал военному министру на необходимость удовлетворить просьбу сибиряков. Вот откуда здесь появились и мебель и убранство, так восхитившие Чокана.

Кадеты еще не возвратились из отпусков. Эскадронные и ротные спальни сияли чистотой. У каждой кровати — тумбочка, зеркало. На тумбочке — белая и черная щетки: одна для одежды, другая для обуви. А какие умывальники, даже туалет! Недавно Чокан считал верхом совершенства белую юрту Орды. Да разве сравнить белую юрту с этим дворцом. И по-

том этот туалет. Нет, Чокан не будет им пользоваться. Это грешно. Лучше уж бегать в лес.

А как хорошо в классном кабинете, в спортивном зале!

Своей церкви в 1847 году в корпусе еще не было. Но Чокан впервые увидел православные иконы — складень в серебряных ризах: в центре Николай чудотворец, справа — чудотворец Кузьма, слева — великомученица Екатерина. Зажженные лампады отбрасывали на иконы ровный и мягкий свет.

Все было удивительно и непохоже на виденное до сих пор.

Сколько очагов могло уместиться в одной кухне! Какой просторной была столовая! Даже гардероб в нижнем этаже учебного корпуса, где кадеты оставляли свою верхнюю одежду, был никак не меньше конюшни Кусмурунской крепости, где содержались хваленые жылан-сырты.

— Скажи, Гриша, а конюшня здесь есть?— спросил неожиданно Чокан, уставший от бесконечных лестниц с этажа на этаж, снизу вверх и сверху вниз, уставший от этих больших комнат.

— Есть и конюшни. Только я тебе хочу показать...

— Нет, ничего больше не показывай!— перебил Гришу Чокан.— Хочу коней смотреть.

— Ну, пойдем посмотрим. Только это не простые кони и даже не наши степные аргамаки. Их с малороссийского конного завода привезли, а настоящая их родина — Англия. Таких коней ты еще не видал. Пестроногих, рыжих, с белыми звездочками на лбу.

Чокан про себя подумал: видал я и рыжих и с белыми звездочками. Но посмотрю, все равно посмотрю. И отправился за Кереем. Чокан любил лошадей. А лошади и впрямь оказались чудесными. Красавцы, настоящие красавцы. Мальчик зацокал от восторга, у него зарябило в глазах — он не знал, какой конь лучше. Все были как на подбор. Он метался от одного аргамака к другому, он смотрел с таким восторгом, что даже конюх, старый казак-бородач, обычно без жалости прогонявший глазевших на коней ребят, тут не сказал ни слова.

Когда Чокан нагляделся досыта, он вспомнил строки акына Марабая из Малого жуза, давно заученные им наизусть. Вспомнил и громко прочитал:

Он весь, как туго натянутый лук,
И стрелами уши торчат.
Такие кони быстрее вьюг.
Всадника степью мчат.
Копыта коня высекают огонь,
Искры летят вослед.

Неистов, как тигр, горячий конь,
Змеится степной хребет.

Смысл стиха едва доходил до Гриши. Только несколько знакомых слов прозвучали в ритмичных строках: уши, копыта, тигр, змея. О коне, должно быть? Он не дал до конца дочитать Чокану:

— Что за стих это? Об аргамаках?

Чокан недовольно подтвердил:

— Да, об аргамаках.

— Вот об этих?

— Нет, о тех конях, что были у нас, казахов, в древние времена. Они были еще лучше!

— Ты сам сочинил, Чокан?

— Нет, акын.

Гриша расспрашивал и кто такие акыны и стремился понять все стихотворение. Акын — поэт. Это было ему доступно. Но восхититься стихом мешало плохое знание языка. Словом, как наш конек-горбунок, подумал он.

— Это кони из сказки, Чокан. А перед нами настоящие, живые. Ты хотел бы иметь такого коня? И поскакать?

Еще бы он не хотел! А куда? В степь, к далекому Кусмуруну, к своему другу Жайнаку, к любимому оврагу, заросшему тальником и березами.

Его снова позвал дом, хотя ему так понравилось все, что он увидел сегодня. Гриша не раз ловил восхищенные взгляды Чокана. Но вспышку чокановской тоски по заповедным просторам он так и не приметил. Поэтому уже у ворот дома Коробейниковой, случайно повстречав Чингиза, он шепнул ему с уверенностью: «Канаш остается в нашем корпусе».

Уверился вместе с ним и Чингиз. Можно теперь ничего не опасаться и спокойно ехать домой. Лучше даже ехать раньше, чтобы Чокан снова не заупрямился. Останется один, чужих людей постыдится. Малтабар в обед уже отправился на своих рысаках в Кзылжар, оставив для него пароконную повозку и джигита.

Чокан ходил в этот день в доме Коробейниковой необычно тихий, задумчивый. На вопросы отвечал рассеянно, невпопад. Вечером не пререкался с отцом, не противился его ласке. Они так и заснули рядом, полуобнявшись. Сон мальчика был глубоким. Чингиз поднялся на восходе солнца. Ни один мускул не дрогнул на лице Чокана. Его не разбудили шаги отца, утренний намаз,— в эту поездку Чингиз редко откладывал молитвы на завтра. Потом Чингиз долго стоял у изго-

ловья спящего сына. Жаль было расставаться со своим озорником. Не скоро он привыкнет к Омску. Тяжело придется одному. Чингиз растревожился, расчувствовался, одно настроение резко сменялось другим. Опять он еле удержал слезы. Но не менять же решения! Правильного, разумного решения. В нем — судьба Чокана. Ах ты озорник, озорник! Мой упрямый Канашжан.

К завтраку Чокан опаздывал. Чингиз попросил разбудить его и позвать.

Джигит вернулся: Чокана нет на месте. Куда же он запропал?

Тревога Чингиза уступила место гневу. Он был готов обругать Чокана, ударить его. Гнев накалялся с каждой минутой. Тут зашел джигит Малтабара и сказал:

— В повозке ваш сын. Притворяется, что спит. Я его тормошил, тормошил, а он молчит и глаз не открывает. Будто не слышит.

Угрюмый Чингиз, не закончив завтрака, быстро зашагал во двор к повозке. На ходу бросил джигиту:— Запрягай!

Увидел Чокана, свернувшегося в повозке, как зверек в норе.

— Канаш, вставай! Слышишь, вставай!

Сын не отозвался.

Чингиз вытряхнул мальчика из возка. Легко, без усилий, словно какой-нибудь лисий треух. Поставил на ноги прямо перед собой и дал две звонких пощечины одну за другой. Чингиз, не взглянув на сына, дрожа от ярости, сел в возок и хрипло сказал:

— Гони!

За воротами удалялся, стихал звонкий перестук копыт.

Варвара и двое приезжих оказались свидетелями этой сцены. Немолодой казах, вероятно, из соседнего аула, сокрушался:

— Правду говорят, что у ханских потомков каменные сердца.

Удивил и Варвару этот султан-подполковник, до сих пор представлявшийся ей таким сдержанным:

— Жестокий какой! Да разве можно так с сыном?

Безмужняя, не имевшая детей, она прониклась бабьей жалостью к мальчику. Он лежал на земле, испачкав пылью еще вчера чистенькую одежду. Лежал, даже не в силах выдавить слезу. В который раз беспощадно обиженный отцом. Ему стыдно было взглянуть в глаза людям. Ему было стыдно перед Варварой. Сильная, ухватистая, она подняла барахтаю-

щегося Чокана и понесла его в дом, как трехлетнего ребенка. Положила на еще не прибранную постель. Чокан уткнулся лицом в подушку и молчал. От стыда, от горечи, от приступа недетской тоски.

Варвара вышла из комнаты. Несколько раз заглядывала она в окно. Чокан не менял положения, только плечи его по временам вздрагивали. Заходила к нему, пробовала поднять,— он ни в какую. Уж не заболел ли? Нет, не похоже. Жара нет, сердце бьется ровно. Приносила завтрак, он и внимания не обратил.

Чокан, может быть, не встал бы и к обеду, но тут появился Гриша, дежуривший с утра по корпусу, потому что начали с летних каникул возвращаться кадеты. Чокан и его встретил сперва безучастно. Но хозяйка предупредила Гришу о случившемся, и он издалека, осторожно стал приводить в чувство своего тамыра, чтобы ненароком вновь его не обидеть.

Чокан молчал, словно Гриши и не было в комнате.

Что ж, была не была. Слова не действуют, подействует сила. У Гриши, с виду худенького и даже, пожалуй, хрупкого, твердые мускулы и крепкая хватка. В драках со сверстниками он не знал поражений. Однажды они шутливо схватились с Чоканом, но друг друга никто не одолел.

Гриша поднял с постели Чокана, попробуй-ка сопротивляться. Но Чокан и не сопротивлялся. Он открыл глаза, смутно, будто бы со сна, посмотрел:

— Пусти, Керей!

— И не подумаю.

— Пусти, я спать хочу.

— Не хочешь ты спать, Канаш. Я все знаю. Отец уехал. Теперь твой дом — наш корпус. Ты его уже знаешь. Пойдем.

Глаза Чокана стали узкими, злыми. Он ничего не ответил.

— Может, ты решил учиться у нас, а жить здесь?

Чокан вспомнил вчерашние слова Гриши, оброненные им как бы невзначай. Потанин умел замечать многое, недоступное другим мальчишкам, и был порядочным сквернословом, как, впрочем, и все казачата. Так он сказал о Варваре, что та неспроста обхаживает молодых джигитов, принимает их на постой, кормит, холит. А потом, как привяжется, тошно джигиту будет! Вот и сейчас с умыслом, с насмешкой Гриша повторил:

— Значит, ты решил учиться у нас, а жить у нее? Что ж, дело твое. Самому потом худо будет.

Чокан вчера пропустил мимо ушей намеки Григория, а сегодня оскорбился:

— Пустн меня, Керей. И можешь идти своей дорогой.

— Не оставлю я тебя, Канаш. Не оставлю. Вот устроишься ты, будет все в порядке, тогда поступай как знаешь.

— Уходи, говорю тебе.

— А если не уйду?— Гриша уже думал свести все к шутке, а получилась настоящая ссора.

— Если не уйдешь, пожалеешь.— Чокан сжимал кулаки, готовый подраться хоть сейчас.

Им овладевала злость. Такая же неожиданная и яростная, как у отца. Злость, распалявшая глаза его прадеда Аблая, о которой знали не только в Орде и аулах, но и в казачьих станицах.

— Что с тобой случилось, Канаш?

— Керей, не уйдешь, значит?— Чокан выругался и хотел броситься на Гришу. Но он уже был за дверью комнаты, и Чокан не стал его догонять.

Гриша бежал не потому, что был трусливым. Он просто не хотел шума и драки. Из-за чепухи может кончиться дружба. Он не погнушался еще раз поговорить с Варварой.

— Ты иди, миленький, не беспокойся!— низким своим голосом пропела она.— Я уж его никуда не пущу. Я уж присмотрю за ним. Завтра придешь, он шелковым будет.

Потанина одолевали невеселые предчувствия, ему было жаль Чокана, но он никак не мог уронить себя в глазах купчихи, показывать ей свою слабость и, круто развернувшись, заторопился в корпус, отбивая шаг, как на строевом учении.

Варвара время от времени заглядывала в окно к Чокану, а в сумерки тихо подошла к его двери и прислушалась. На этот раз он спал без всякого притворства. Пускай себе спит! И Варвара принялась за свои обычные дела: распоряжалась по хозяйству, постукивала на счетах. Она забыла и о Чокане и о Чингизе, как вдруг кто-то из батраков сказал ей, что ее спрашивает подполковник-казах, уехавший утром. И подъехал он не на лошадях, а пришел пешком и дожидается у ворот. Варвара удивилась. Что за морока? Уехал, возвратился. Уж не случилось ли чего дорогой? Маялась с сыном, теперь с отцом. Если бы не наказ Малтабара, пропади они все пропадом.

А между тем, Чингиз никуда и не уезжал из города. Хотя он был разгневан последней выходкой Чокана, но не мог его оставить на произвол судьбы. Он остановился на окраине города в доме одного неприметного татарина и решил не по-

кидать Омска, пока окончательно не определится сын. Может, его присутствие дурно влияет на мальчика, и без него, почувствовав себя самостоятельным, Чокан будет вести себя лучше. Если уж случится так, что сын окончательно заупрямится, пусть пеняет на себя! Увезу его домой! Узнать о Чокане он сумеет, недаром был султаном.

...Варвара вышла за ворота и ахнула. Она едва узнала Чингиза в чужом поношенном малахае и чекпене из верблюжьей шерсти.

— Это вы, Чингиз Валиевич? К чему такое переодевание? Вас все равно узнал мой батрак.

— Так лучше. Потом узнаете. Вы мне скажите, как там мой сын?

Голос Чингиза был приглушенным, грустным.

— Спит ваш сын. На той же постели, где и спал.

— Я пройду к нему, посмотрю.

— Только смотрите, не разбудите, а то опять начнется.

— Нет, я буду осторожен. Только я пройду один, хорошо? А света мне не надо. Я все увижу, все пойму и так.

Чингиз неслышно вошел в комнату. Сел на пороге, испытывая слабость в ногах. У него всегда было так. Гнев сменялся нежностью, уверенность в своей силе — жалким чувством бессилия. Даже любовь к сыну проявлялась у него в разное время по-разному. Сейчас преобладала тревога. Только бы он не проснулся. Но Чокан спал крепко. Крадучись подошел к сыну, чуть коснулся виска Чокана, втянул по привычке степняка его запах. И расчувствовался окончательно. Слезы покатились из его глаз. Одна капля упала на лоб Чокану. Тяжелая холодная капля. Чокан заворочался, пробормотал сквозь сон:

— Апа! Мама!

Повернувшись на другой бок, задышал ровно и спокойно. Чингиз так боялся разбудить сына, что не посмел больше быть рядом. Крадучись, еще осторожнее, покинул комнату. Его так шатало, что он хватался за стены.

Варвару напугал его вид. Ей показалось, султан всхлипывает. Вероятно, это так и было. Странный человек, подумала она, то бьет сына, то плачет. Понять ничего нельзя. Для порядка она спросила:

— Что случилось, Чингиз Валиевич?

Она и не ожидала ответа. Снисходительно и бесстыдно усмехаясь, Варвара глядела ему вслед. Он удалялся расслабленной неверной походкой, и неизвестно еще было, придет он сюда или не придет.

Для Варвары Коробейниковой многое оставалось непонятным и в характере киргизского султана и в поведении его сына. Смышленый мальчик, скоро юношей будет, своенравен, упрям, а может плакать и капризничать как дитя. Как он чувствует себя там, в темной комнате?

И Варвара, жалея его бабьей жалостью, жалея его такого стройненького, смугленького, с переменчивыми глазами — то озорными, насмешливыми, то печальными, растерянными, безмужняя, бездетная Варвара пошла на азиатскую половину и решительно распахнула дверь, за которой спал в своем беспокойном сне Чокан.

Варвара сбросила с себя платье, легла с ним рядом под одно тонкое покрывало. Обняла мальчика, прижалась к нему. Он вообразил, что это отец и, отвечая лаской на ласку, еще теснее приник к Варваре, пробормотал что-то невнятное и глубже погрузился в безмятежный сон. Она поворочалась, поворочалась и тоже задремала. Беспокойно, смутно, тяжело.

Чокана первого разбудил солнечный луч. Должно быть, долго я спал, подумал он и хотел свободно и широко потянуться. Но тут же почувствовал, что зажат в чьих-то руках. Отец снова приехал? Нет, не отец. Это не его дыханье, не его запах. Чокану стало муторно, когда он увидел толстое жирное плечо Варвары. Значит, это она пришла к нему ночью, стиснула его. Он попробовал осторожно выскользнуть, одеться и сбежать. Но в это мгновенье Варвара проснулась:

— Полежи еще, мальчик! Куда ты?

Чокан пришел в ярость. Полураздетая толстая женщина, ее потные руки и полусонные глаза вызвали у него приступ отвращения:

— Да пусти же ты, корова!

— Ах ты окаянный степной дикарь!— разозлилась Варвара.— Погоди же ты, миленький!..

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в дверях не появился Гриша Потанин.

Гриша молниеносно принял сторону своего друга.

Варвара, нисколько не смущаясь ребят, бросая то на одного, то на другого раздраженные взгляды, оделась и поспешила ретироваться, дабы избежать громкого скандала. Мало что могут наговорить на купчиху, у которой нет надежного заступника.

Мальчики остались одни. Затравленный, смятенный Чокан едва пришел в себя и кинулся навстречу Грише:

— Керей!.. Кургерей! Братишка!

Чокан плакал взахлеб. Он не сразу даже с помощью друга смог унять свои слезы.

— Уйду из этого дома, Керей...

Перестав наконец плакать, он ничего не стал рассказывать Григорию, а Григорий ни о чем не расспрашивал его. Как бы подхватывая слова Чокана, поддакивая другу, он повторил:

— Уйдем из этого дома, Чокан! Уйдем в кадетский корпус! Ты же его видел?

Но Чокан промолчал. Он все еще продолжал колебаться. Для него ли эти спальни, эти залы?

Кроме того, Чокан помнил, и Григорий знал об этом, что учиться он будет в корпусе, а жить на постоялом дворе Коробейниковой, что отец через Варвару будет снабжать его деньгами. Так мальчику легче привыкать к городу, меньше строгостей, больше раздолья! Что же касается корпусного начальства, то оно охотно шло на этот своекоштный вариант.

— Уйдем, Чокан, к нам! Слышишь?

Чокан услышал. В короткие мгновенья раздумья ему стало ясно, что в этот дом он и шагу больше не ступит. Никто его не может заставить здесь жить. Он начал лихорадочно собирать в торбу белье и другие пожитки, оставленные для него отцом. Верхнюю одежду и саквояж Чингиз взял с собой. Чокану выдадут обмундирование. Зачем ему лишнее?

— Так где же твои вещи?— спросил Григорий.

— А вот,— и Чокан потуже затянул узел на своей торбе. «Небогато!»— подумал про себя Гриша, а вслух сказал: — Давай ее сюда.

Они пошли, взявшись за руки, сдружившиеся, казалось, давным-давно, готовые постоять друг за друга.

Гриша, как сумел, объяснил Чокану, что корпус разделен на две части — роту и эскадрон. В роту определяются дети офицеров и гражданских чиновников из дворян, в эскадроне находятся дети казаков. В роте — свои офицеры, в эскадроне — свои. Преподаватели для всех общие, но ротные кадеты учатся в своих классах и живут в своих дортуарах, а эскадронные — в своих.

— Дортуар? А что такое дортуар?

— Ну, спальня иначе. Комнаты, где мы спим, готовимся к занятиям.

— А столовая?

— Столовая для всех одна.

Гриша слышал, что кадетам из роты после выпуска легче

служить, чем воспитанникам эскадрона, детям казачьих офицеров. Им и чины даются быстрее. Он спросил:

— Может, ты как ханский потомок будешь жить вместе с дворянами?

Чокан задумался. Его воспитывали в пренебрежении к простолюдинам, и порою он сам гордился своими далекими предками. Чингизид. Белая кость. Уже теперь, в Омске, отец однажды наставлял его: помни, ты не простой казах, ты должен учиться лучше всех и держаться с достоинством. И еще отец просил не повторять его ошибки. Когда он учился, то сторонился русских ребят и поэтому плохо усвоил русскую речь. Не поступай так, Канаш. Будь все время среди русских, тогда и ученье пойдет хорошо. Чокан обещал отцу беспрекословно выполнять эти его наставления. Но надо ли было сейчас говорить обо всем этом Керею?

Когда они пришли в корпус, оказалось, что директор генерал-майор Шрамм отсутствует и есть только Евгений Иванович Старков, преподаватель истории и географии. Он замещал сейчас эскадронного командира Кучковского, отличного учителя математики, но скверного по характеру. Сибирский казак, окончивший в свое время войсковое училище, Старков был куда добрее и уже знал о Чокане со слов Гриши.

Ребята остановились перед его кабинетом.

— Так где же ты будешь? В роте, в эскадроне, среди дворян? Может быть, со мной вместе в эскадроне?

Что ему ответить?

В ушах звучали слова отца: «Помни, ты не простой казах». Но рядом был Гриша, Керей, Куркерей... Разве плохо быть с ними вместе в эскадроне.

— Хорошо бы, Керей, в эскадрон!

С тем и вошли в кабинет Старкова.

— Значит, это и есть Чокан, сын султана Чингиза Валиханова?

Евгений Иванович с любопытством всматривался в будущего кадета. Какой смуглый и шустрый. Будь его кожа еще темнее, он походил бы на любимого арапа Петра Первого. Верно, и у того вначале, пока не обвык, был такой же пронзительный взгляд, как у детеныша пантеры в клетке. Какие большие блестящие глаза. Чуть раскосые, умные, живые. Но почему он так хмурит брови? Почему такой нелюдимый с виду, настороженный?

Гриша после года учения умел бойко разговаривать с командирами и учителями. Ему было тем проще представить

Чокана, потому что он уже говорил о нем. Он не жалел слов, превознося на все лады своего нового друга.

— Значит, хочет быстрее научиться русскому языку? Молодец, настоящий джигит.

Чокан смутился, понимая, что его хвалят.

— Пойдешь в приготовительный класс. Понял?

Гриша ответил за него:

— Да, да... Он все понимает, ваше благородие.

— Отведи, Потанин, сына султана в дортуар эскадрона.

В дортуаре, в спальне, все было таким, как видел Чокан в первый день посещения корпуса. Те же аккуратные одинаковые кровати, тумбочки. Только одно огорчило его: воспитанники приготовительного класса выглядели уж очень маленькими. Многие из них были по плечо Чокану, не отличавшемуся высоким ростом. Дети, совсем дети, восьмилетние, девятилетние. А ему было уже двенадцать. Я тут годовалый верблюжонок среди новорожденных,— представил себя Чокан со стороны, не удержался и прыснул:

— Ты чему смеешься?— даже обиделся Григорий.

— Не буду я здесь жить, стыдно! Мелкота кругом.

— Тогда пойдем в наш дортуар. Свободные кровати есть, кадетов мало, а там посмотрим, как быть.

Все устраивалось проще и легче, чем думали Чокан и его друг. И даже Чингиз, все еще продолжавший волноваться за сына. Он решил больше не показываться сыну на глаза. Он боялся — Канаша позовет степь. Боялся, потому что хорошо помнил, как однажды его самого сманили туленгуты и он без разрешения начальства войскового училища сбежал домой и был насильно водворен обратно. Тогда его матери — ханше Айганым — пришлось писать письмо в Кокчетавский окружной приказ, чтобы ее сына не увольняли, пока он не выучится по-настоящему.

Вот и скрывался он на окраине Омска и втайне от сына вызнавал, как он себя чувствует, как идут его дела. Он уже отдал деньги — все двести рублей, одолженных у Малтабара — то ли в качестве платы за год ученья, то ли как взятку: он и сам толком не разбирался в этом, но был убежден — хрустящие бумажки всегда помогают.

Снова навестил он и дом Коробейниковой. Но не в пример прошлым посещениям Варвара и говорить с ним не пожелала.

— Ты скажи, где мой сын?— настаивал Чингиз.

— Не сторож я вашему сыну, с утра его нет. А где он бродяжит — одному богу известно.

Едва Чингиз заикнулся снова, как Варвара грубо отрезала:

— Ну, что вы ко мне пристали?

Чингиз отправился в корпус. Через караульного вызвал Гришу Потанина, взял с него слово, что тот ничего не скажет Чокану. Гриша успокоил отца: дела идут как нельзя лучше. О том, что произошло у Варвары, он умолчал.

На следующий день Чингиза известили, что приказ о зачислении сына подписан. Отцовский долг был исполнен. Больше в Омске дел не оставалось. Уповая на одну судьбу, Чингиз выехал в степь.

С Чоканом он так и не попрощался.

Шесть стремительных лет

Осенью 1847 года и кадеты и учителя часто говорили между собой о маленьком киргиз-кайсацком султане. Его успехи были ошеломительны. Кто-то произнес слово — феномен! И в самом деле, успехи Чокана оказались феноменальными. В первые дни он с трудом произносил несколько русских слов. Ему легче было в тетрадке нарисовать поражавший его городской пейзаж, чем сказать — «Я живу в городе Омске». А рисовал он замечательно, верно схватывая детали. Он даже отвечал рисунками на вопросы.

— Расскажи, Чокан, какая юрта у твоего отца.

И Чокан набрасывал очертания юрты в Орде, на холмах Кусмуруна, и рядом, чтобы яснее представить ее размеры, изображал всадника.

Но так продолжалось недолго. До начала зимних каникул он настолько свободно овладел русским языком, что смог учиться не хуже своих остальных товарищей. А к концу учебного года среди сорока кадетов своего класса он попал в тройку лучших.

С той же стремительностью он изменил многим прежним аульным привычкам. Как бы удивилась Зейнеп, узнав, что ее Канаш по утрам больше не валяется в постели. Правда, умение рано и быстро вставать далось ему нелегко. Бывало, все в спальне уже на ногах, а он еще нежится, еще дремлет. Пробовали его однажды будить, как принято в корпусе — стащили одеяло. Чокан разозлился и швырнул в обидчика сапогом. Потом его стали подымать осторожнее, а через месяц он уже сам вскакивал по сигналу подъема, умывался и завтракал вместе со всеми. Он так неожиданно быстро и прочно

расстался с прежней сонливостью, что и засыпал позднее всех После одиннадцати часов вечера урядник, обходя спальни, частенько обнаруживал горящую свечу на тумбочке Чокана. Он читал. Совершенно безжалостный к другим, урядник благоволил к Чокану и делал вид, что не замечает этого нарушения. Ишь, какой старательный! Читает все, читает.

На глазах совершалось чудо. Аульный мальчик, знавший сказки и песни, арабскую азбуку и начатки Корана, оказался таким восприимчивым, что без особенного труда усваивал самые неожиданные для него предметы. Он увлекался географией, историей древних азиатских и африканских государств.

Занимался арифметикой, хотя она давалась ему нелегко и он ее попросту невзлюбил. Грамматику русского языка Чокан изучал настойчиво, помня совет отца. И потому, что он хорошо успевал в грамматике, ему прощали неряшливость в чистописании, каллиграфии. Буквы у него и в тетради и на доске получались некрасивыми. Уроки татарского языка Чокан не посещал, заявив, что он и так его знает. А вот священную историю, несмотря на необязательность для мусульман занятий христианской религией, он не пропускал и даже ходил на молебны — не затем, чтобы показать свою верность христианскому богу, а так, интереса ради. В первый год учения он был совершенно равнодушен к занятиям гимнастикой, плаванием, фехтованием. Может быть, считал в душе, что это ему не нужно, а может быть, и ленился. Верховая езда — другое дело! Но ей обучали позднее, и Чокан с завистью смотрел, как выезжали на аргамаках старшие кадеты. Он бы им показал!

Заниматься приходилось так много, что не хватало времени даже потосковать по родной степи, по Орде, по Жайнаку.

А в степи, в отцовском ауле, происходили перемены.

Чингиз не задержался долго в Кусмуруне и со всей семьей переехал в Срымбет.

В конце зимы из Омска, из Областного правления сибирских киргизов, пришла бумага, подписанная полковником Карлом Казимировичем Гутковским. В ней сообщалось, что Кусмурунский округ с его территорией и населением присоединяется к Кокчетавскому округу, а султаном — правителем этого большого объединенного округа назначается Чингиз.

Чингиза полковник Гутковский вызывал в Омск. Тот хотел отправиться сразу, но наступила неожиданно ранняя весна. Бурно таял обильный снег — в распутицу ни на арбе, ни на коне далеко не уедешь.

Весна была ранней, но долгой. Пока подсохли дороги и

Чингиз собрался в путь, в Срымбет пришла другая радостная весть. Путник, завернувший в аул из Омска, потребовал суюнши, награду за добрую новость: Чокан закончил класс, больше всего пятерок. И чувствует себя хорошо.

В сопровождении джигитов и с непременным Абы Чингиз выехал в город своей юности, в город сына.

В это время кадеты готовились к отъезду в летний лагерь.

Чингиз не был уверен, что сын знает о его приезде. Ему не хотелось первому идти к Чокану. И по праву старшинства, и оттого, что он еще не был уверен до конца в его разумности. Вдруг снова начнет капризничать и, только что став на правильный путь, надумает сбежать в аул. Поэтому он и послал Абы проведать Чокана и занести ему домашние лакомства.

Абы не терялся и в городе, готовый выполнить любое поручение. Однако отыскать Чокана в корпусе оказалось не многим легче, чем в зарослях волчьего оврага. Спальня была пустой, в столовой кончали обедать. Должно быть, он там, во дворе, играет в мяч, сказал ему по-татарски один кадет.

Действительно, во дворе играли кадеты. Все в одинаковой одежде, все одинакового роста. Бегают, суетятся, кричат.

Наконец Абы увидел Чокана. Он загорел, окреп, вытянулся. На лбу блестели капельки пота. Весь увлеченный игрой, на секунду остановившись на месте, он обратил внимание на Абы только после второго или третьего оклика. Абы вкладывал в приветствие всю душу, а Чокан ответил ему, как однокласснику, которого видит ежедневно. Ответил и опять побежал за мячом. Игра увлекала его больше, чем появление слуги, с которым было связано все аульное детство.

— Канаш, Канаш!— отчаянно взывал Абы.— Я хочу тебе сказать...

— После скажешь!— оборвал Чокан и, словно приготовляясь к прыжку, следил за схваткой.

— Что значит «после», Канаш? Твой отец приехал. Хан-ием...

Но именно в это мгновение мяч попал в руки Чокана. С новой силой захваченный игрою, он позабыл даже ответить.

Абы всего ожидал, только не этого Он постоял, постоял, даже пытался еще что-то сказать, а потом разобиделся, огорчился и отправился в дом, где они остановились.

Чокан вдогонку ему не бросил и слова, даже не спросил, куда прийти к отцу.

Что могло с ним произойти? Неужели обижается до сих пор, что его силком привезли в город? Сердится на меня. А за

что? Я не провинился перед ним. Или опять заговорила в нем жестокая ханская кровь?

Так размышлял Абы, обдумывая, как бы не поссорить отца с сыном. Пусть лучше на меня гневается Чингиз!

И объяснил, что не сумел поговорить, что занят был Канаш.

А наутро обмолвился, будто бы невзначай:

— Может, хан-ием, вы сами навестите сына?

Чингиз вспыхнул:

— Почитает меня за отца, сам придет. Не склоню же я перед ним голову. Ты, надеюсь, сказал, куда идти. А то еще к Варваре побежит.

Абы смутился. Главного-то он и не сказал Чокану. И снова отправился в корпус. Но кадеты уже уехали в лагеря.

Так в это лето Чингиз, не повидав сына, вернулся в Кокчетавский округ с дипломом султана.

А между тем после игры Чокан искал Абы, искал, где только мог, но тут подошло время сбора в лагеря, и он подчинился раз и навсегда заведенному механизму эскадрона.

Никакой вины перед отцом у него не было.

К началу второго учебного года Чокан в корпусе был уже совсем своим человеком. По-русски он говорил настолько свободно, что в этом не отличался от остальных сверстников — русских ребят. Он стал первым казахом, учившимся на равных правах со всеми. Первым казахом в кадетском корпусе и предшествующем корпусу войсковом училище. За три с лишним десятилетия здесь обучались и братья Алгазины, и братья Байгуловы, и Асанов. Но они только носили казахские фамилии, а по существу и деды их и отцы, принявшие христианскую веру, давно превратились в обычных линейных казаков. Исключение составляло азиатское отделение училища. Однако и там казахов были считанные единицы, и среди них — отец Чокана.

О редкостных способностях Чокана говорили и преподаватели и кадеты. Он был на виду у всех. Он особенно увлекался историей — и греческой, и римской, уроки географии — ее преподавал Евгений Иванович Старков — он встречал, особенно после математики, как праздники. Память и, вероятно, особое лингвистическое чутье помогали ему усваивать языки с завидной легкостью. Не говоря уже о русском, он отлично успевал и в немецком языке, а к концу второго года без словаря читал французские тексты.

О Чокане поговаривали не только в дортуарах и классах эскадрона — он привлекал и ротных офицеров, дворян, связанных со сливками Омского общества. Через них слух о нем проникал и за пределы корпуса. Но сам Чокан не придавал этому никакого значения. Один его мир не имел границ — мир истории, давних событий, воскресавших на страницах учебников Кайданова и Смарагдова. Другой мир — малый, но близкий: эскадрон, класс, этот несносный вожак класса, клянчивший конфеты у тех, кто возвращался из воскресного отпуска, а потом, с хитростью, достойной Малтабара, менявший сласти на перочинные ножи и карандашики. Чокан объявил против него поход. Высменвал его, передразнивал, рисовал его с толстым животом и подписывал рисунок так: «Купец кадетского корпуса второй гильдии». «Эх,— думал Чокан,— мне бы сюда моего Жайнака, мы бы у него все его товары отобрали, и конфеты, и ножички, и тетрадки». Но нашлись и здесь помощники. «Торговый дом» был разгромлен, а признанным вожаком класса стал Чокан.

Ближе всех к кадетам из корпусного начальства был инспектор классов Иван Васильевич Ждан-Пушкин. Блестящий молодой артиллерийский капитан, служивший на Кавказе, он был и строг, и образован, и, как выяснилось позднее, обладал многими привлекательными качествами — душевной внимательностью, честностью, благородством.

Но раньше этого Чокан и его товарищи испытали на себе его строгость.

Однажды дежурный офицер обходил классы. Как раз в это время Чокан передразнивал бывшего вожака. Офицер подозрительно посмотрел на раскрасневшихся от смеха ребят, спросил, что у них тут происходит и, не получив ответа, вышел. Чокан прикрыл плотно дверь, стукнул по двери кулаком и свистнул вслед офицеру.

Офицер вернулся:

— Кто это тут безобразничает?

Молчание. Он повторил свой вопрос. Показал пальцем на одного:

— А вы что скажете?

— Не знаю.

— А вы?

— Я и не слышал.

У эскадронных кадетов не принято было выдавать товарищей.

Дежурный офицер разгневался и покинул класс. Скоро он вернулся вместе с Ждан-Пушкиным.

Но и Ждан-Пушкин ничего не добился. Положение обязывало. Капитан задумался и отчеканил:

— Лишаетесь воскресных отпусков, пока класс не выдаст шалуна.

Даже бывший вожак не осмелился предать Чокана.

Почти полгода продолжалась война между Ждан-Пушкиным и классом. Одно воскресенье за другим проходило в корпусе. Чокан говорил товарищам:

— Мой аул далеко, мне терять нечего. Пойду и скажу: это я.

Но одноклассники не соглашались.

Наказание продолжалось, а у самого инспектора классов росло уважение к ребятам. Он умел ценить дух товарищества. Втайне Ждан-Пушкин догадывался: Чокан мог и не свистнуть, но зачинщиком всей этой не столь уж выходящей из ряда вон истории был, вероятно, он. Ведь вожак класса! Но виду инспектор не подавал. Понятно, ему в конце концов, пришлось уступить. Не длиться же наказанию бесконечно.

Чокан все это время злился на Ждан-Пушкина. Посчитал его жестоким. Дал ему прозвище Шиддат — грозный, имя, известное в истории ислама. Доброхоты сообщили Ивану Васильевичу об этом.

— Шиддат, говорите? А что это значит?

На этот вопрос Ждан-Пушкину не ответили. Только поляк Гонсевский, преподаватель истории, учившийся в Вильно, а затем закончивший Казанский университет, объяснил ему смысл прозвища. Конечно, это наш юный султан постарался. Ждан-Пушкин только усмехнулся.

Вскоре произошло еще одно столкновение.

Инспектор классов преподавал математику. Случалось, он замещал и учителя истории, читал и курс артиллерии.

... В классе Чокана шла самостоятельная подготовка к экзамену по математике.

Кадеты собрались вокруг большой черной доски. Один из них мелом производил вычисление и вслух объяснял что к чему. Все слушали внимательно. Все, кроме Чокана. Он сидел в глубине класса и рассеянно посматривал в потолок. За этим занятием и застал его Ждан-Пушкин.

— Валиханов, а вы почему не готовитесь?

Чокан встал, посмотрел в лицо Шиддату:

— Если бы я стоял у доски и слушал, это было бы простым притворством. Я целый год не понимаю математики. Неужели за час мне ее объяснит наш кадет. Он же плохой преподаватель.

— Идите за мной, Валиханов.

И они вместе вышли из класса.

Кадеты заволновались. Хотя розги и карцер, особенно розги, были в корпусе наказанием редким, даже исключительным, многие решили, что за этот дерзкий ответ самому инспектору Чокан жестоко поплатится.

Невесело было и на душе Чокана.

В коридоре, пока они дошли до инспекторской комнаты, Ждан-Пушкин не произнес ни слова.

— Вот, Валиханов, вы будете находиться здесь до окончания занятий. Я вас запираю. А потом пойдете в дортуар. Так скучная, говорите, вещь математика? Ну, чтобы вы не скучали, читайте пока.

Ждан-Пушкин достал из небольшого шкафа две книги.

И, уже подходя к двери, обернулся:

— Вы можете еще раз убедиться, какой я грозный.

Иван Васильевич сказал серьезно, без тени улыбки, но Чокан сообразил, что он ему говорит о прозвище. И говорит беззлобно, как бы прощая ему.

... Короткий звук ключа в замке, и он остался один в инспекторской, куда кадетов вызывали только для серьезных, не обещающих ничего хорошего разговоров.

Чокан огляделся. На стене портрет Николая I в золоченой раме, стол, крытый сукном, высокое кожаное кресло, несколько стульев. Книжный шкаф, чуть побольше, чем у них в эскадроне.

Что же это, однако, за книги?

Журнал «Современник». А другая?— «Петербургский сборник». Никогда еще такие книги в руки Чокану не попадали. Кадетам рекомендовали читать Карамзина, Лажечникова, Кукольника, барона Брамбеуса. Это что-то не то! Правда, имя Пушкина и многие его стихи неведомыми путями проникали и в корпус. Но этим исчерпывалось представление кадетов о русской литературе.

Чокан открыл «Петербургский сборник» и сразу стал читать «Бедных людей» Ф. Достоевского.

Оторваться он не мог. Он представлял себе Петербург городом дворцов и памятников, городом военных, министров, важных чиновников. А перед ним — страница за страницей — раскрывалась совершенно другая жизнь. Он видел не только богатые лавки и пышные кареты, но и темные дома и грязные комнаты, и вдыхал тот душный спертый воздух, в котором «чижики так и мрут».

Есть свой Черный аул и в столице, подумал Чокан.

Его потрясла грустная любовь Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой.

В двери щелкнул замок.

— Увлеклись, Валиханов. Вы три часа просидели здесь. Согласитесь, я вас очень жестоко наказал. А книги можете взять к себе в дортуар. Предупреждаю, аккуратно возвратите через неделю.

Чокан вспыхнул. Он даже не поблагодарил инспектора классов. Но взгляд его был такой, что Ждан-Пушкину не надо было ничего объяснять.

По сияющим глазам Чокана одноклассники поняли, что взбучки он не получил. Многие, впрочем, так ничего и не узнали. Только своему неизменному другу Грише Потанину и новому близкому приятелю Федору Усову — и кровати их стояли рядом в спальне и за партой они сидели вместе — он рассказал все как было.

«Бедные люди» прочитаны были в срок не только Чоканом.

Сын казачьего офицера Федор Усов жил в станице на берегу Иртыша между Павлодаром и Семипалатинском. Он был года на два моложе Чокана, но выше его ростом. Худой, горбоносый, с длинной шеей, он напоминал какую-то птицу, скорее всего, журавля. Но кадеты прозвали его страусом, а Чокан — на казахский лад — коки каз.

Коки каз знал казахский язык, говорил на нем чисто, без всякого акцента. И все-таки Чокан поставил условие:

— Хочешь со мной дружить, говори только по-русски.

В виде исключения они практиковались по-французски, и по-немецки, особенно по-немецки, примерно одинаково зная его. Даже пытались спорить на нем. Но в английском языке, которого не знал и Чокан, у Федора во всем корпусе не было соперников. Дело в том, что его отец, образованный офицер, долгое время находился в Лондоне, в русском посольстве, где служил в качестве помощника военного атташе. Федя родился уже в России, но в семье его учили с малых лет английскому языку.

И тем не менее, именно Федор, полушутя, полусерьезно называл Чокана патрицием, белой костью, а себя — плебеем, сыном казака, дослужившегося до высокого офицерского чина. Чокану это, пожалуй, несколько льстило.

У Федора было много знакомых в городе. Он первый узнавал новости. Он был одним из первых, кто сделал имя Чокана известным среди омичей.

От Федора кадеты узнали и о событиях в Европе, связан-

ных с революцией 1848 года. Подробиости о иих дошли в Сибирь с большим опозданием.

Кадеты не очень ясно представляли себе смысл событий.

Усов неожиданио объявил себя республиканцем и радовался тому, что трещат троны.

— И кто же займет место царей?— спросил один из иаивных кадетов.

— Вот такие плебеи, как я.— И Усов похлопал ладонью по своей груди.

Ребята развеселились.

— Что же тогда делать таким патрициям, как Валиханов?

— Кроме России, такие патриции всюду уже проиграли!— подлил масла в огонь Усов.

— Нам хватит и русского царя, остальиых — к черту!— Чокан произнес эти слова не без почтительного уважения к императору.

Юиоша, почти подросток, ои продолжал себя чувствовать потомком хаиа и привержеицем монархии. Спорил с Усовым, петушился, ио порою и сам сомиевался.

Особеино будоражили ум уроки Гонсевского по всеобщей истории. У поляка Гонсевского были свои революционые привязаниости. Где-то в глубине души он считал себя якобинцем. Даже рассказывая об эпохе Возрождения, он отмечал прежде всего ее демократические стороны, увлекательно набрасывал портреты выдающихся деятелей средневековья. Чокану полюбился Леонардо да Виичи. Вот бы таким быть — и учеиым-мыслителем, и художииком, и изобретателем.

Чем ближе были уроки новой истории, тем чаще Гонсевский отвлекался и с увлечением говорил о событиях, происходящих в Европе. Не без риска для себя ои рассказывал кадетам об итальянском революционере Гарибальди и вожаке веигерских повстанцев — поэте Петефи.

Курс всеобщей истории закаичивался XVIII веком, вплотную подходя к великой фраицузской революции. Но, странное дело, Чокаиа иадолго привлекла фигура Наполеоиа Бонапарта. Может быть, потому, что в небогатой библиотеке эскадроиа оказалась его подробная биография. Чокану нравилась решительность Наполеона, с волнением ои читал страиицы, посвященные Египетскому походу.

... Споры между Чоканом и Федором разгорелись сиова после знакомства с курсом русской истории. Русская история излагалась тогда как история царей. Начиналась оиа Рюриком и завершалась династией Романовых.

Усов всячески издевался над Романовыми:

— А ты знаешь, Чокан, что их дальним предком был Кобыла. Представь себе, Кобыла. Бие, как говорят у вас в аулах. Им, Романовым, положил начало выходец из Литвы, кажется, пруссак. Звали его Гланда Комбила. Вот его и перекрестили в Кобылу. Дело это было еще в XIII веке. Принял этот Комбила христианскую веру, обрусел и потомки его стали настоящими русскими. Царь Михаил Федорович был истинным Романовым. А уж после Екатерины Первой пошли немцы.

Но, издеваясь над Романовыми, Федор Усов гордился тем, что казаки были их опорой.

Теряя нить разговора, он возбужденно кричал:

— Кто подчинил Кавказ России? Казаки! Кто покорил Астраханское и Казанское ханство? Казаки! А нашу Сибирь? Казаки. Кто продвигается на юг и в Среднюю Азию? Казаки.

Чокан соглашался:

— Но что из этого? Скажи, Федя?

— А то я тебе скажу, что мы были опорой Романовых, но никогда не были их рабами. Понял?

И Усов называл имена Степана Разина и Емельяна Пугачева. О Пугачеве Чокан имел некоторое представление. Он знал, что потомки хана Абулхаира защищали интересы царя, но большинство казахского народа сочувствовало Пугачеву и многие примкнули к его войску. Эти рассказы, слышанные в степи, получали подтверждение в книгах.

Сумятица властвовала в умах кадетов.

Не был от нее избавлен и Чокан.

Их воспитывали верными царю и отечеству, но и книги и некоторые преподаватели внушали юношам совсем другие мысли.

Допускал вольности на уроках истории Гонсевский. Уж на что, казалось, был строг Ждан-Пушкин, но и тот набрался на Кавказе вольнолюбивого духа от офицеров, причастных к декабристам, и познакомил Чокана с демократическими журналами тех лет.

Но особенно много для развития кадетов, для Чокана сделал преподаватель русской словесности Николай Федорович Костылецкий. Он любил читать на уроках Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Читал хорошо, наслаждался сам. Крамольных отрывков, правда, он не читал. Но строил свои занятия на основе взглядов Белинского, не называя, однако, его имени.

На Чокана он посматривал внимательно. Как-то во время перемены взял его под руку и заговорил по-татарски, приближая некоторые слова к казахскому языку.

Спросил, знает ли он сказку о Козы-Корпеше.

Чокан быстро заговорил и о других поэмах и сказках.

— Вы ко мне домой заходите, Валиханов. Почитаем арабские стихи.

Костылецкий был сибирским казаком. Поэтому и пришлось ему из Казанского университета, который он закончил по восточному факультету, ехать не переводчиком русского посла в Константинополь, а служить на казачью линию. Он мечтал стать ориенталистом, стремился на Восток, но и русскую литературу и знал и любил.

Он был достаточно сдержан со своими воспитанниками, но случайно оброненное им слово, невзначай сказанная фраза в беседе с Чоканом дома делали свое дело.

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, переписанные от руки стихи Пушкина, знаменитое письмо Белинского к Гоголю — все находило горячий отзвук в кадетских сердцах. Как-то в дортуаре оказались стихи Лермонтова «На смерть поэта». Чокан прочел их вслух. С того часа он не мог без восторга говорить о Лермонтове.

Но чтение имело и другое последствие. Среди кадетов нашелся доносчик, и Ждан-Пушкину пришлось пригласить Валиханова в инспекторскую и сделать ему отеческое внушение:

— Вы так можете себе испортить будущее. На вас возлагаются большие надежды.

А что Чокан знал об этом будущем?

Он увлекался многим. Дальние страны манили его. Сопредельные страны Востока. Он не забывал рассказов отца Гриши Потанина о путешествиях в Ташкент и Коканд. Он читал, не отрываясь, книгу «Путешествие Палласа» и «Дневные записи» Рычкова. С колыбели знакомая степь освещалась новым светом.

Чокан часто бывал у Иртыша. Задние ворота корпусного двора выходили прямо на берег. Там, за рекой, стлался простор, дымки на горизонте, едва различимые юрты подкочевавшего ближе к городу аула. А дальше? Опять степь. А за ней? На восток и юг? Неведомые страны, таинственная Средняя Азия.

Он стоял вместе с товарищами по эскадрону. Жадно всматривался в заречную равнину. Сделал шаг вперед и вне-

чатал сапог в сырую после иедавиего дождя землю. И вдруг хлопнул себя по иоге и посмотрел иа кадетов мечтательно и иасмешлнво:

— Вот моя иога. Глядите! Одни бог зиает, где оиа очутнтся через иесколько лет.

Кадеты расхохотались:

— У тебя, Валихаиов, иога действительио драгоцениая. Только смотрн, чтобы оиа далеко ие завела.

В ием просиулся сыи Чингиза. Черные глаза, как тлеющие угольки:

— Далеко заведет, ие беспокойся. Дальше твоей стаиицы, где ты будешь хоруижим...

Спорить дальше не хотелось. Чокаи затроиул больиое место. Не миогим воспитаиникам эскадроиа удавалось вырваться за пределы лииейиой службы. А ои султаи, белая кость.

Струился Иртыш. Широкий, быстрый, иепрозрачиый. Сколько раз бродил Чокаи по его высокому берегу, сколько раз думал о своей судьбе. И не только о своей судьбе.

Весиою 1850 года, еще до иачала ледохода, на берегу Иртыша у иего произошла горькая встреча, надолго, если не иавсегда, вошедшая в память.

Зимою в городе стало известно, что из Тобольска, из пересыльиого острога в каторжиый каземат Омской крепости доставлены государствениые преступникн, пропагаидисты возмутительиых идей и заговорщики писатель Федор Достоевский и поэт Сергей Дуров. Петрашевцы, участникн тайиого общества, приговореииые к смертиой казин, повешеиию, замененному моиаршей мнлостью ссылкой в каторжиые работы.

Первым об этом, естествеино, узиал геиерал-губернатор, он сообщил о прибытии «злоумышлеиииков» своим блнзкнм людям, в том числе директору корпуса генерал-майору Павловскому, пришли кое-какие письма от жеи декабристов из Тобольска. И иет иичего мудреиого в том, что об этом прослышали и Федор Усов, бывавшнй во миогих приметиых омских домах, а вслед за ним и Чокаи Валихаиов и иекоторые видиые чииовиики, интересующиеся степью.

Достоевский... Тот самый автор «Бедиых людей». Над страиицами этой доброй повести ои всплакнул в иистекторской комиате Ждан-Пушкина. Достоевскнй, приоткрывшнй ему глаза иа другой Петербург.

Значнт, он в крепостн, под строгой охраиой часовых. В крепостн, вндиой издалека в степи. Заковаиный в кандалы, как лютый разбойиик. Светлые кииги и каторжная тюрьма. Одио с другим иикак ие связывалось. Это было для Чокаиа так же

иесовместнмо, как приятный вкус острожиого хлеба, который некоторое время привозили к иим в столовую, когда сломали старую пекарню н строили новую.

... В теплый и влажиый деиь над Иртышом стоял легкий туман. Лед иа реке кое-где потемиел, но трещин иигде не было видно. Снег частью стаял, частью лежал, сырой и иоздреватый.

Кадеты шли вдоль берега, радуясь иаступавшей весие, радуясь тому, что из-за болезни преподавателя заиятня коичнлись раиьше, чем всегда.

Навстречу попалась женщина-калашиица. Ее зиавали и в корпусе.

— Что? Калачн остались?

Кадеты не прочь были закуснть перед обедом — щи да каша.

— И, миленькие, не осталось вам иичего,— весело затараторила калашиица.— Пустая моя торба. Арестаитики всю разобрали. Кому за деиежки, а кому и так отдала.

— Арестаитикн?— переспросил Усов.— Какие арестантики?

— Да вариаки иаши из крепости. Каторжные. Убивцы.

— Где ты, говоришь, оии?

— Там, иа берегу, где две барки казеиные в лед вмерзлн. Урок им дан — барки ломать, как будто в городе дров иет. Посмотреть хотите? Да вас конвойиые ие подпустят. Это меня уж давно зиают.

Калашница ушла.

— Пойдемте?

— Коиечно, пойдемте. Может, ои там.

— Ты думаешь — Достоевский?— шепиул Чокану Усов.

Кадеты заторопилнсь. Пройдя с полверсты, оии увидели на берегу солдат, окруживших работавших у барки каторжииков.

Чокан взглянул на тот берег. Степь мутно и широко расстилалась до горизоита. И сырой белый снег и уже обиаружнвшаяся земля сливались в одни иеуютиые цвета бескоиечной равинны.

— Но я-то свободен,— говорил ои сам с собой.— Это моя степь. Где-то там н наш аул. А оии? А ои?

И солдаты и арестанты были уже совсем близко.

Солдаты перемииались с иоги на иогу, скучали, а возле барки похаживал уитер-офицер с палочкой и покрикивал.

Потом несколько арестантов отошли от барки, присели на бревно. Один достал кисет с табаком, его примеру последовали и другие.

С краю, ближе к кадетам, отдыхал молодой каторжник. Он снял мягкую, надвинутую на лоб бескозырку. Его голова была наполовину обрита, но все равно зоркие глаза Чокана разглядели высокий лоб с залысиной.

Усов подтолкнул его:

— Ближе подойдем. Это он, Достоевский.

Они подошли к конвоирам и ясно услышали надтреснутый голос унтер-офицера:

— Эй, вы, что расселись? Продолжайте.

Чокан видел одно лицо: бледное, землистое, с выступившими веснушками. Глубокие серо-синие глаза. Русые волосы.

Спокойное лицо, не выражающее ни тоски, ни грусти. Только многое скрывалось в этих запавших светлых глазах. Скорбь? Ум? Обреченность?

— Эй, вы, что расселись?..

Первым поднялся с бревна он, пошел к барке. За ним лениво потянулись остальные. И закипела работа. Как ловко взмахивал топором он (вслед за Усовым Чокан уже был убежден в том, что это был Достоевский). Он сначала распахнул арестантский тулупчик, а потом и вовсе сбросил его. Туман рассеялся, стало теплее. Когда он становился спиной к кадетам, на спине тускло блестел туз. Преступник.

— Господа кадеты, что вы тут глазеете? Нельзя. Идите своей дорогой, господа!

Унтер-офицер постукивал палочкой о сапоги и, обернувшись к конвоиру, неожиданно ударил его:

— А ты что, раззява! Разве не знаешь государеву службу?

Кадеты неохотно отошли, стали в сторонке. Отправился к барже и унтер-офицер. Тогда конвоир с внезапным озлоблением бросил Чокану, именно Чокану:

— Сказано уйти, так уходите!

Чокан едва не ответил дерзостью, но Усов вовремя взял его под руку:

— Пойдем подальше. С ними все равно не сговоришься.

Минутное раздражение Чокана перешло в грусть, грусть — в раздумье. Отчетливо вспомнилось: «Чижики так и мрут». Ему было отчаянно жаль Достоевского, он понимал всю меру унижения, доставшуюся ему. Но что он мог сделать, как он мог помочь писателю, он, обыкновенный кадет?

Федор и Чокан молчали. Им было и так все понятно. Их настроение передалось и другим кадетам. Медленно брели

обратно, к корпусу. И еще раз остановились, чтобы увидеть, как арестованные возвращалнсь в острог. Они шли быстро, подгоняемые конвоирамн. Глухо позвякивали кандалы, скрытые под одеждой.

Нет, никогда этого не забудет Чокан!

Позднее он думал: конечно, ему живется куда как легко. Но были времена, когда и ему привелось испытать полную меру унижения.

Пусть он считался белой костью, сыном султана, внуком одного нз самых влиятельных ханов, однако он был в представленни корпусного начальства инородцем, «буратана», как говорили казахи. Как инородца его уже в третьем классе не допускали к военным играм, когда кадеты состязались в умении владеть холодным оружием.

Неожиданно его отстранили и от занятий по военной топографин. Он настолько оскорбился, что хотел бросить кадетский корпус, и наверняка сделал бы так, если бы друзья вовремя не отговорнлн его от этого, в сущности, легкомысленного шага.

Но дальше — больше. В следующем классе увеличилось чнсло военных дисциплнн — тактнка, артиллерия, фортифнкация, опасные для инородцев науки. И опять они оказались запретными для Чокана. По счастью, нх преподавал полковник Карл Казимирович Гутковскнй, в то время помощник военного губернатора областн сибирских кнргнзов.

Чокан бывал дома у Гутковского. С дочкой Карла Казнмнровича, с гимназисткой Катей, совсем девочкой по сравнению с ним — она была года на четыре моложе, занимался французскнм языком. Жена Гутковского Екатерина Яковлевна добродушно подшучивала: «Воркуют, как жених н невеста, будет наша дочь женой султана». Карл Казимирович, которому очень нравился Чокан, отвечал также полушутя: «Не султана, а образованнейшего офицера с большой будущностью».

Чокан в этом доме чувствовал себя тепло и однажды откровенно пожаловался Гутковскому:

— Карл Казимировнч, вот вы говорите, я буду офнцером. А какой же я офицер без военных знаннй? Я уже раз хотел сбежать из корпуса. Может быть, я был прав?

— Нет, молодой человек, оставьте эти мысли. Конечно, я не в силах изменить правил. На нних высочайшая подпнсь. Но я вам достану все необходнмые книги. Читайте внимательно. Что будет непонятно — я объясню. Но закончнть корпус просто необходнмо.

Гутковский переубедил Чокана и вручнл ему учебннкн:

курс артиллерии Маркевича и Веселова, фортификации Телякова и Госмара, учебник тактики генерала Шитова, кавалерии — Граббе. И еще несколько книг по военному искусству, в том числе и труды известного военного теоретика Карла Клаузевица — «Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года», «1799 год», и «1812 год», тоже о Наполеоне. Эти книги не были переведены на русский язык и имелись в Омске только у Гутковского. Клаузевица, критически относившегося к деятельности Кутузова, будущим офицерам обычно не рекомендовали. Тем с большим интересом знакомился Чокан с работами немецкого генерала, поклонника Гегеля и знатока военной истории.

...Последний учебный 1852—1853 год Валиханов в корпусе занимался преимущественно историей русской культуры, новой историей, языками и законоведением, а военных лекций не посещал, читая дома книги из библиотеки Гутковского.

Карл Казимирович пробовал поговорить с директором корпуса генерал-лейтенантом Павловским — не сделать ли исключение для этого молодого, способнейшего султана. Павловский и сам хорошо относился к Чокану, но от такого смелого шага воздержался.

И Чокан читал. И учебники, и Клаузевица, и книги о походах и путешествиях. Его одинаково волновали и страницы, посвященные победоносным маршам Александра Македонского через горы Гиндукуша и в долину Сырдарьи, и кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. Он изучал историю колониальных войск англичан, французов, испанцев. Его манили по-прежнему загадочные страны Азии.

Его тянуло к людям образованным. И получилось само собой, что перед юным кадетом открылись двери лучших домов Омска.

От дома Гутковского путь вел к дому его родственников Капустиных, связанных в свою очередь родством с известным тобольским домом Менделеева, известным лучшей библиотекой в Сибири. Прекрасная библиотека была у Капустиных и здесь. Рассказывали, что книги в Омск везли они на пяти подводах. Капустин-младший, Сергей Яковлевич, недавно кончил Казанский университет, не чуждался идей утопического социализма и любил вести несколько свободолюбивые разговоры. Капустин-старший сквозь пальцы смотрел на возвышенные забавы брата и добросовестно исполнял принятые обязанности самого щедрого омского хлебосола, которые успешно разделяла с ним и его молодая жена. Она преподавала в женской гимназии французский язык и литературу и, отличаясь романтическим

складом характера, охотно принимала на себя роль хозяйки просвещеннейшего в сибирском городе салона.

В доме Капустиных, в Мокром, в Фортштадте, принимались и ссыльные, бывал там и сам генерал-губернатор Густав Христианович Гасфорт.

Он и приметил там смуглого юношу, в сторонке увлеченно читавшего какую-то географическую книгу. Это легко можно было видеть по карте, на которой то и дело оставлял одному ему ведомые знаки Чокан.

— Это Валиханов, сын старшего султана, ваше превосходительство,— услужливо шепнули ему.

— Слышал, а как же, слышал,— прогудел Гасфорт,— вы потом представьте его мне.

— Умнейший юноша из инородцев, ваше превосходительство, образован, страсть к путешествиям имеет.

— Буду думать, куда наиполезнейшим образом направить его способности. Нам нужны преданные люди из киргиз-кайсаков. Буду думать.

И Густав Христианович, заложив руки за спину, торжественно зашагал к своей супруге, с ней он советовался во всех случаях жизни и таскал за собой во время каждой поездки в степь.

Довольно добрый старик, Гасфорт имел слабость напускать на себя важность, придавал значение всяческим внешним эффектам и был склонен к прожектированию. Это именно он создал проект новой религии для киргизов, так и оставшийся неосуществленным как и многие другие его начинания.

Густав Христианович гордился своим, пусть отдаленным, родством с теми немецкими герцогами, которые находились в родственных связях с царской фамилией. Впрочем, это обстоятельство, вероятно, имело отношение к быстрому продвижению по службе и Христиана Фердинандовича и его сына, нашего омского Гасфорта.

Христиан Гасфорт командовал в Крыму корпусом и одновременно с успехом для себя занимался коневодством. Восточнее Севастополя он открыл конный завод, поставлявший лошадей армейской кавалерии. Возле завода у сопки находилась довольно богатая усадьба генерала. Здесь рос Густав, отсюда он уехал в военное училище, а потом в Берлинскую военную академию. Александр Первый отправил сына, закончившего курс военных наук, под начало отца. Густав Христианович молодым офицером принимал участие в кампании 1812 года.

В Сибирь он приехал уже стариком в звании генерала от инфантерии.

Честолюбивый, словоохотливый, он рассказывал своим подчиненным и были и небылицы. Мог прихвастнуть знакомством с Пушкиным и Дантесом. Мог рассказать, что сам предупреждал поэта: не стреляйтесь с Дантесом, он — отличный стрелок.

Густава Христиановича покоробило, что здание генерал-губернаторства в Омске, как и дом, предназначенный ему, имели непрезентабельный вид. Бревенчатые избы, сказал он брезгливо. Он давно мечтал возвести дворец Гасфорта, такой же роскошный и величавый, как дворцы князей Воронцова, Юсупова, Шереметьева в Крыму, Петербурге и под Москвой. Но даже доходы от конного завода, доставшегося ему по наследству, были слишком малы для состязания с богатейшими людьми России.

Теперь, пребывая в должности генерал-губернатора Западной Сибири, командира Отдельного Сибирского корпуса, Густав Христианович решил потрясти воображение скромных омичей и построить такой губернаторский дом, которого не видел еще ни один российский город. Для него он избрал ровную площадь против кадетского корпуса, представлявшегося ему зданием генерального штаба. А сам губернаторский дом — так по крайней мере хотелось Гасфорту — должен напоминать Зимний дворец. Он приказал заменить деревянный мост через Омь железным, очевидно, видя перед глазами не скромную сибирскую речку, а державную Неву.

Словом, Гасфорта захватили преобразовательские идеи и он подал прошение на высочайшее имя с просьбой разрешить ему строительство. Гасфорту помог граф Блудов, близкий ко двору Николая Первого.

Проект честолюбивого старика начал осуществляться в тот год, когда Чокан кончал корпус.

К этому времени Гасфорт задумал ввести некоторые изменения и в служебную структуру губернаторства. В частности, он решил обзавестись тремя адъютантами: одним — по общим административным делам, вторым — по руководству местными строительными работами и третьим — по управлению сибирскими киргизами.

На должность третьего адъютанта как нельзя лучше подходил, по его мнению, Чокан Валиханов. Он все чаще и чаще присматривался к этому молодому человеку, благосклонно заговаривал с ним самим, выспрашивал мнение о нем и в семье

Гутковских и в других омских домах, где ему приходилось бывать.

Смуглый Чокан с выразительными необычными чертами восточного лица в роли адъютанта привлекал Гасфорта еще и потому, что тешил его стариковское тщеславие. Был же у Петра Первого любимец арап Ибрагим Ганнибал! Почему бы Густаву Христиановичу не заполучить себе этого экзотического киргиз-кайсака, по уверениям многих, похожего на петровского любимца. Эффектно и небесполезно. Он умен, сообразителен, начитан. Он поможет ему решать самые сложные вопросы в отношениях со степью, со своими соотечественниками и, кроме того, он, говорят, отлично знает историю и географию сопредельных восточных стран.

...Весною 1853 года в кадетском корпусе предстоял выпуск. В числе других заканчивал корпус и Чокан Валиханов.

Генерал Гасфорт церемонию выпуска решил обставить с небывалой доселе торжественностью и впервые провести в Омске на площади перед генерал-губернаторством военный парад.

Эта мысль не давала покоя Густаву Христиановичу. Ему казалось: так будет поднят его престиж, о котором он заботился по любому поводу сверх всяких мер. Когда один священник робко заметил, что по смыслу церковного наказа трезвонят приветствие только царю или царским особам, старик распетушился, нахмурился, грозно предупредил: «Здесь я царь! Чтобы в следующий приезд, приказываю, трезвонить во все колокола!»

Но устроить парад оказалось делом еще более сложным. Офицеры казачьей линии были преимущественно есаулами и сотниками, капитанов и майоров встречалось среди них не много. Выросли они в станицах, знали один-единственный город Омск и слыхом не слыхали, как проводятся парады. Правда, в Отдельном Сибирском корпусе были офицеры, прибывшие из Петербурга и Москвы, но их было совсем немного.

Словом, программа парада составлялась с трудом, и прошло немало времени, пока ее утвердил Гасфорт.

В параде должны были участвовать городской гарнизон в количестве тысячи пик, кадеты старших классов и казачья молодежь, несшая караульную службу на линии. Командовать парадом надлежало Гутковскому, принимать парад — самому Гасфорту. Всем участникам парада вменялось в обязанность быть при орденах и медалях и в приличествующей случаю форме.

Вот тут и выяснилось печальное обстоятельство, что за

исключением высших чинов и некоторых состоятельных офицеров, армейские командиры, не говоря уже о солдатах, носили поношенную одежду старой, вышедшей из употребления формы. Что касается казаков, то они были одеты на свой простой станичный лад, кроме незначительного числа богатеев. У десяти человек на каждую казачью сотню не было сабель или ружей. Пушки — и те не были в полной исправности. Требовалась основательная чистка от ржавчины, чтобы выкатить их без чувства стыда на праздничную площадь.

Только кадеты были в порядке. И Шрамм и Павловский кое-что сделали для их обеспечения. Да и Гасфорт, инспектируя корпус, убедился, что нынешняя кадетская форма оставляет желать много лучшего, и выхлопотал из Петербурга дополнительные комплекты нового обмундирования.

Срок парада приближался с каждым днем. Времени для подготовки войск не хватало. Гасфорт приказал интендантам обеспечить строевиков лучшим, что у них есть на складах. Хлопотали, как могли, и в казачьих станицах.

Лихорадочная эта озабоченность не укрылась от населения. Возникали всякие разговоры, толки, кривотолки.

— Царь едет в Сибирь, его и готовятся встретить.

— И не собирается царь сюда. Война, говорят, начинается...

В охотниках строить свои предложения не было недостатка.

Шептали:

— Кенесары объединился с войсками Коканда и Хивы. Идет на нас.

— Китай затеял что-то недоброе.

А какой-то недоучка мулла, путая века и события, тайно говорил таким же как он неграмотным старикам:

— Кучум-хан не погиб. Он собирает татар, чтобы восстановить в Сибири свое ханство.

Калмыков-джунгар и тех приплели досужие языки.

И когда действительно сведущие чиновники и офицеры пытались правдиво объяснить, в чем дело,— им не очень-то верили.

Слухи продолжали расти. Даже посевов вокруг Омска той весною было меньше обычного, даже многие баи окрестных аулов решили на всякий случай перегнать скот на самые дальние джайляу.

Никак не могли взять в толк неграмотные люди, что парад и в самом деле состоится в честь выпуска кадетов:

— Прежде такого не бывало, почему же теперь такой переполох?

А Гасфорт тем временем заслушивал подчиненных о ходе подготовки, которая шла на удивление усердно.

Он по-стариковски суетился и хвастал, хвастал.

В сущности не для выпускников, для себя устраивал он этот парад. Ох, как не терпелось появиться на площади во всем своем блеске, при всех своих регалиях. Он вспоминал санкт-петербургские парады после победы над Наполеоном, лицо его приобретало трогательно торжественное выражение, и он врал, нисколько не заботясь о том, что кто-нибудь из видавших виды офицеров может заподозрить его в хвастовстве:

— Тогда, знаете, только один Барклай де Толли имел орденов и медалей больше, чем у меня.

Если бы Гасфорт пожелал припомнить подлинные происшествия, он мог бы потешить своих слушателей не одним забавным рассказиком. Но эти тайники памяти ему, естественно, не хотелось тревожить, как и не мог он приглушить в себе страсть к показному блеску.

Однажды он отправлялся на высочайшую аудиенцию. Изрядно располневший к тому времени, он извлек свой боевой мундир, придававший ему, как он думал, молодцеватость и статность. Не без труда он затянул его на все пуговицы, готовые отлететь при любом неосторожном, резком движении. Он нацепил все ордена и медали, а их у него и впрямь было немало, и явился смешным и напыщенным перед очами царя. Рассказывают, Николай едва не расхохотался, довольно бесцеремонно ткнул палец в живот Гасфорта и наградил его отнюдь не лестным прозвищем. Но Густав Христианович принял это как монаршью ласку и с прежней бережливостью хранил этот свой боевой мундир. В нем, уже изъеденном молью и подштопанном соответствующего цвета нитками, и только в нем решил он показаться своему воинству и населению Омска, которое — по его замыслу — соберется у площади. Пусть другие генералы и офицеры будут в новехоньких — с иголочки — мундирах. Ему, Гасфорту, дано право представить себя боевым, бравым генералом.

Но как ни суетился Гасфорт, как ни выбивались из сил его подчиненные, лицезреть парад к девяти часам утра явилось на площадь только несколько десятков городских зевак. Войска и кадеты были уже построены, но площадь оставалась довольно пустынной. Раздосадованный генерал пришел в

ярость, выбранил устроителей и заявил, что парад начнется, когда на площади будет достаточно населения.

Парад пришлось задержать на три часа.

Народ собрали. Правда, не в том количестве, как представлял себе генерал-губернатор.

Наконец-то состоялся выезд Гасфорта в сопровождении офицеров из ворот кадетского корпуса. Тучный и напыщенный, он довольно ловко держался в седле на белом аргамаке. Густав Христианович не мог скрыть своего удовольствия, когда оркестр заиграл «Боже, царя храни!». Вместе с генерал-майорами Павловским и только что прибывшим в Омск фон Фридрихсом он объехал войска, принял рапорт Гутковского, не без труда спешился и поднялся на сооруженный к празднованию деревянный помост.

Он говорил о России, о верности Сибири царю и отечеству, о значении кадетского корпуса, об инородцах. Говорил сбивчиво, тихо и слегка заикался. Его жирное лицо от напряжения побагровело. Бравый генерал почесывал свою курчавую, в два расходящихся клина бородку. Гасфорта не столько слушали — разобрать его речь было почти невозможно — сколько смотрели на него. Кое-где раздавались беззлобные смешки. Но он не замечал их, как не отдавал себе отчет и в полной своей беспомощности как оратора.

Закончив, он приосанился, снова затеребил бородку и поглядывал направо и налево с таким видом, будто спрашивал: Ну как?! Теперь, надеюсь, вы поняли величие своего генерал-губернатора.

Говорили еще. И так же тускло, так же тихо, кроме, разве, генерала Павловского, гулким басом поздравившего своих воспитанников с окончанием корпуса.

И тут на помост поднялся Чокан Валиханов, корнет, султан Мухаммед-Ханафия Валиханов, как объявили полное его имя, почти незнакомое омским кругам. Его называли просто Чоканом, в редких случаях Чоканом Чингизовичем. Он уже был известен, как молодой человек из инородцев, прекрасно владеющий словом. И те, кто бывал в домах Гутковского, Капустина, Гонсевского, кто видел Чокана на приемах и у Гасфорта, уже привыкли к его отменным манерам, остроумию, шуткам, умению разговаривать с женщинами. Одна дама сказала с восхищением:

— Смотришь на него и думаешь — он получил воспитание не у нас в Омске, а в Петербурге. И даже не в Петербурге, нет, в самом Париже.

Те, кто знал Чокана, и те, кто видел его впервые, смотрели на выпускника с одинаковым интересом.

Он был зерном пшеницы в ячмене, ловчим легким лашыном, редкой по уму и хватке птицей среди обыкновенных ястребов. Он привлекал девушек и дам, хотя сам держался с ними по молодости достаточно скромно и застенчиво.

— Послушаем, что скажет наш Чокан.

А те, кто видел его впервые, спрашивали друг у друга:

— Чокан? Шокан? А кто он? Калмык, бурят, киргиз? Смотри, на какую высоту поднялся.

— Султан, потомок хана, белая кость!— шептал наслышанный о Чокане купец своему соседу.

Чокана преобразила новая форма. Да и сам он стал шире в плечах, стройнее и выше. Его так хорошо обтягивал голубоватый китель с погонами корнета. Так ладно сидела на нем фуражка с позолоченной кокардой. И лицом он был своеобразно красив: открытый чистый лоб, брови, густые у переносицы, разлетались к вискам тонкими дугами. Смело сверкали чуть раскосые глаза. Над верхней губой уже пробивались усики, но острого и чистого подбородка еще не касалась бритва.

Недаром он внимательно слушал и читал рассказы об ораторах древности. Недаром читал Цицерона. Недаром узнавал от Гонсевского о пламенном Марате, ораторе великой французской революции. Гонсевский загорался во время занятий. Подражая Марату, он говорил так, что ему самому хотелось подражать. И восприимчивый Чокан перенял от Гонсевского некоторые его приемы. Начинать спокойно, уверенно, не спеша, а потом овладевать слушателями.

— Уважаемые дамы и господа! Ваше превосходительство!— Он посмотрел на собравшихся, произнес внятно и с достоинством:— Мы сегодня закончили первый Сибирский императора Александра I кадетский корпус. Среди нашего выпуска я единственный представитель от инородцев.

Не каждому пришлись по душе такие слова.

— Ишь, куда повел сразу,— пробормотал купчик с окладистой русой бородой.

— Я вырос, воспитывался и получил знания в русском учебном заведении,— продолжал Чокан, а бородач говорил про себя так, чтобы его слышали и другие: «С этого бы начал».

— Моя большая родина — Россия, малая родина — родная степь.

— Сколько волка ни корми, все в лес смотрит,— злился купчик.

— России и своему иароду, своей родиие,— повысил голос Чокаи,— я посвящаю отиыие весь свой ум, все свои зиаиия, свое сыиовиее сердце. Им я буду служнть.

— Захотелось родииу иметь кнргизу, ишь ты!— прозвучали грубые и иасмешливые слова. Кто-то даже захлопал обидчнку в ладоши.

Но Чокаи ие слышал их. Ои был во властн еще ие зиакомого волнеиия Ои остаиовился, чтобы перевести дыхаиие, набраться сил и продолжить:

— Окиием взглядом прошлое. В разные эпохи в мнре возиикали крупиые государства. На востоке были Ассирия и Вавилон, процветал Египет, снльным государством была Моиголия, подымалась Турция. А вспоминте древиюю Грецию и Римскую нмперию. Ныие одиой из могущественных империй является Россия.

Здесь Валнхаиову уже аплоднровала вся площадь.

— Самое прочиое будущее, господа, за ней, за Россией. Чтобы мои слова звучали убедительиее, сопоставлю Россню для примера с Аиглией. Да, Аиглия — громадиая колоииальная держава. И в богатстве и в иауках оиа превзошла сейчас Россию. И все-таки, я считаю будущее России намиого лучше будущего Аиглии. Почему?— спросите вы меия. Я отвечу словамн современиого русского педагога Коистантина Дмитриевича Ушииского. Ои рассказывает об одиом отце, завещавшем своим сыиовьям жить в едиистве. Взял отец прутья. Достает один за другим, сгибает и ломает. Потом взял все прутья вместе,— попробуйте согиуть, попробуйте сломать.

Чокан поднял правую руку, обратил ее ладоиью к слушателям, распрямил пальцы:

— Невелика сила у каждого пальца. А соберните всех их вместе.

И Чокаи сжал руку в кулак:

— Кулак сильиее ладоии. Правильио я говорю?

Чокана поддержали.

— Я это говорю к тому, что сила иашей России в едииstве ее территорин, в том, что малые иароды стали под ее руку, объедннились с ней. И, зиачит, ее ие одолеет ннкакая виешняя сила. У Аиглии иет такого еднества территорни. Ее владеиья разбросаиы по свету, разделены морямн н океаиамн. Прндет время, и оиа распадется. Распадется подобно почке коровы, как говорят мои соплемеиники. Но Россия иикогда ие потеряет своего едиинства.

— Сегодня Россия и Англия состязаются между собой. Англия владеет землями в Америке и Азии, в Африке и в Австралии. В настоящее время через Индию она нацелила свои стрелы и на Среднюю Азию.

(Тут зашептались и офицеры, стоящие неподалеку от Чокана. Смотрите, мол, какую он навел политику.)

— Но мы должны положить конец ее притязаниям.— Чокан покраснел, это было самое горячее место в его речи.— Народы Средней Азии и мой родной казахский народ, киргиз-кайсаки, как нас неправильно называют, должны подняться к вершинам культуры. Нам всем необходима поддержка цивилизованного государства. Для Средней Азии есть одно такое государство — ее сосед, Россия. Две трети моей родной степи — под рукой России. Оставшаяся треть тоже присоединится к ней. А затем Россия ступит и на широкие просторы Средней Азии. И на этом пути от чистого сердца я буду служить и России, и казахской степи, и Средней Азии.

Чокан под аплодисменты спускался с помоста.

Разгоряченный, в каплях пота, он спустился резкими порывистыми шагами, не глядя под ноги, находясь во власти высокого волнения.

Он, может, оступился бы и упал, если бы в это мгновение его не поддержал дядя, старший брат по матери — нагаши Муса, сын Чормана. Сильный высокий мужчина, он распахнул Чокану свои объятия, прижал к груди, поднял его на руки, как мальчика. Муса плакал от радости и гордости, что так возмужал Чокан, которого он знал совсем маленьким.

Речь Валиханова для многих его знакомых прозвучала неожиданно. Его способности оценили давно, но такая концентрация смелых политических мыслей ошеломила и тех, кто был с ним рядом в последние годы.

Некоторым омским правителям не очень понравились слова Чокана, сопоставляющие его степную страну и страны Средней Азии со странами Европы. Надо ли подыматься азиатам к вершине культуры, думали они. И можно ли сразу всем сердцем служить и России и кочевникам?

— Смотрите-ка, как заговорил ваш киргиз, ваш будущий адъютант, Густав Христианович,— не без насмешки заметил один видный офицер.

Но Гасфорт с немецкой самоуверенностью оборонялся:

— Власть-то у меня, а не у него. Не он будет командовать мной, а я им. И не ему, а нам определять наш путь.

...Народ уходил с площади по домам. У всех на устах была речь Валиханова. К ней относились по-разному, но о способ-

ностях Чокана никто не спорил. В нем соединилось все: и смелость, и ум, и знания. И как он молод. Ему лет восемнадцать-девятнадцать. Не более.

— Да, с большим будущим молодой человек.

— Только бы вырасти ему дали. А то заткнут рот, свяжут ноги. Дескать, зачем далеко шагать инородцу?

Конец первой книги.

СОДЕРЖАНИЕ

Сабит Муканов

ПРОМЕЛЬКНУВШИЙ МЕТЕОР

(переаод с казахского)

КНИГА ПЕРВАЯ

Редактор *В. Полевская.*
Художиик *К. Зульпикаров.*
Худ. редактор *А. Сергеев.*
Техн. редактор *С. Лепесова.*
Корректоры *Г. Сыздыкова, А. Аужанова.*

ИБ 1823

Сдаио а набор 30.01.80. Подпнсано в печать 14.04.80. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 1. Литературиая гарнитура. Высокая печать. Печ л. 13,0 Усл п. л. 21,84. Уч.-изд л. 25,3. Тираж 100 000 экз. Заказ № 76. Цеиа 1 руб. 80 коп. Издательстао «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательста, полиграфии и книжной торговли, г. Алма-Ата, 480091, пр Коммунистический, 105. Фабрика книги производственного объединеиия полиграфнческнх предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательста, полиграфии н кинжной торгоали, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 p. 80 к.